

Семь искусств 2/2015



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

2/2015

Журнал

**«Семь искусств»
№ 2 (60) 2015**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2015

Журнал «Семь искусств» № 2 (60) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 356 с., 24,4 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2015

Оглавление

| | |
|---|-----|
| <i>Василий Демидович</i> интервью с Д.В. Аносовым | 5 |
| <i>Григорий Полотовский</i> Нижегородский математик Артемий Григорьевич Майер и его курс истории математики | 16 |
| <i>Юрий Чизмаджев</i> Во сне и наяву | 63 |
| <i>Александр Кунин</i> Обманчивая ткань реальности. Владимир Набоков и наука | 68 |
| <i>Евгений Шраговиц</i> Новая физика как источник образов в цикле Мандельштама «Восьмистишия» | 77 |
| <i>Игорь Топоров</i> Пастернака они читали | 89 |
| <i>Ефим Курганов</i> Тютчев и античный способ философствования | 96 |
| <i>Борис Тененбаум</i> Муссолини. Главы из новой книги | 113 |
| <i>Лев Бердников</i> Дресс-код и самовластье | 123 |
| <i>Марк Шехтман</i> Улица Кирова, дом 21, кв. 36 | 138 |
| <i>Лев Харитон</i> Юра и Тирца | 159 |
| <i>Дмитрий Бобышев</i> Человекотекст. Трилогия. Книга первая. "Я здесь" | 192 |
| <i>Александр Габриэль</i> Эквилибриум Стихоживопись | 234 |
| <i>Елена Аксельрод</i> Признание в любви | 237 |
| <i>Борис Горзев</i> Полустанок Ешкандай | 246 |
| <i>Елена Матусевич</i> Сладкая женщина. Три рассказа | 269 |
| <i>Илья Криштул</i> Ледоруб Троцкого | 274 |
| <i>Владимир Кузьмук</i> Между Эросом и Танатосом | 279 |
| <i>Наталья Гинзбург</i> Мой муж. Перевод с итальянского <i>Моисея Бороды</i> | 317 |

| | |
|--|-----|
| <i>Игорь Ефимов</i> Закат Америки. Саркома благих намерений | 327 |
| <i>Виктор Гопман</i> Пражские соблазны и загадки | 335 |
| <i>Виктор Захаров</i> Русская Прага | 342 |
| <i>Борис Юдин</i> Эффект Галатеи (о стихотворении “Тренада” Михаила Светлова) | 348 |

Василий Демидович

ИНТЕРВЬЮ с Д.В. АНОСОВЫМ

Обратившись с просьбой к заведующему кафедрой динамических систем Мехмата МГУ, академику РАН Дмитрию Викторовичу Аносову (30.11.1936-05.08.2014) об интервью, я услышал в ответ: «Вышлите мне ваши вопросы по электронной почте, а там посмотрим». Я так и поступил и стал ждать его решения.

Ждал я довольно долго и даже подумал, что Дмитрий Викторович просто забыл о моей просьбе. Пересёкшись с ним на факультете, я спросил о судьбе моих вопросов. Оказалось, что Дмитрий Викторович об интервью отнюдь не забыл, и что он скоро вышлет мне по электронной почте ответы на мои вопросы. И, действительно, через некоторое время я получил обстоятельные ответы на все поставленные вопросы.

Ниже я привожу эти ответы, изложенные в форме обычного интервью.



Д.В. Аносов

Д. В первом своём вопросе я всегда прошу рассказать собеседника коротко о себе и о своей семье. Я знаю, что Вы родились в 1936 году в Москве. Но как звали Ваших родителей и каков был род их занятий, в частности, не был ли кто-нибудь из них математиком?

А. Родители — Аносов Виктор Яковлевич, Воскресенская Нина Константиновна. Они были родом из Саратова, но с самого конца 20-х годов работали в АН в Ленинграде, откуда и переехали в Москву, когда туда была переведена основная часть АН. Оба были научными работниками — химиками, достигли профессорско-докторского уровня. Поэтому в доме было довольно много научно-популярной литературы, которую я с интересом читал.

Д. Были ли у Вас братья и сёстры и если "да", то кем они потом стали по профессии?

А. Я был единственным и поздним ребёнком.

Д. В каком классе у Вас проявился осознанный интерес к математике? И когда Вы для себя чётко решили поступать на Мехмат МГУ?

А. Осознанный интерес к математике появился довольно поздно, а решение идти на мехмат — только примерно в середине 9 класса. Сначала меня заинтересовали (по книжкам) более красочные науки — палеонтология, астрономия. Позднее возник интерес к физике, который в то время стимулировался её грандиозными техническими достижениями (читатель, конечно, подумает об атомной энергии, но тогда в быту даже и радио, а тем более телевидение, были не так уж привычны: радиоприёмники продавались на каждом углу, но я знал, что несколько лет назад, до войны, у нас радиоприёмника не было). На математику я сперва смотрел, как на нечто, необходимое для понимания физики. Только сравнительно поздно я почувствовал, что математика интересна сама по себе.

Д. Принимали ли Вы участие в математических олимпиадах в школьные годы?

А. В 9 и 10 классах (тогда была 10-летка) я участвовал в городских математических и физических олимпиадах с умеренным успехом (по физике чуть лучшим, чем по математике).

Я бывал и на физическом, и на математическом кружках в МГУ, но должен сказать, что первый (его основным руководителем был Г.Д. Петров) привлекал меня больше. Я уже имел случай заметить в другом интервью, что кружковая математика казалась мне чем-то подозрительным. И по сей день кажется, и, подозреваю, не мне одному. В предисловии к известной книге Куранга и Роббинса "Что такое математика" найдены удачные слова, что понимание математики возможно лишь при "действительном соприкосновении с самим содержанием математической науки". В какой-то степени неизбежно, что в кружках часто приходится соприкасаться с какими-то побочными ветвями, которые от основного содержания довольно далеки, — реалистично ли было бы предвосхищать в кружке университетский курс? Но в результате получается, что если сравнить кружковую тематику с той же книгой Куранга и Роббинса, в которой предпринята попытка действительно отразить это самое основное содержание, то общего окажется не так уж много.

Д. Если Вы окончили школу с медалью, то как проходило Ваше собеседование при поступлении на Мехмат МГУ и помните ли Вы, кто его проводил? Если же медали не было, то Вам пришлось сдавать факультетские вступительные экзамены, и каково было Ваше впечатление от них?

А. Я окончил школу с золотой медалью. Собеседование принимали В.Г. Карманов и Л.Н. Большев. Они интересовались не только моими математическими знаниями, но и прочими моими интересами — как насчёт спорта? (никак), музыки? (люблю классику, но современная музыка вроде Прокофьева, кроме его "классической симфонии", мне не нравится. Тут они усмехнулись: тебе, мол, ещё предстоит подрасти. И, конечно, оказались правы), общественной работы? (у меня не лежала к ней душа, но раз вести общественную работу надо было, то в школе я работал в стенгазете. Карманов, бывший секретарём факультетского бюро ВЛКСМ, это запомнил и позднее привлёк меня к такой же работе на факультете).

Д. Из слов Вашего сокурсника — Михаила Ильича Зеликина — я уже знаю, что на 1-ом курсе лектором по алгебре у Вас был Александр Геннадьевич Курош, по геометрии — Борис Николаевич Делоне. Почему-то далее Михаил Ильич отме-

тил, что на 2-ом курсе математический анализ он слушал у Александра Яковлевича Хинчина.

А кто же у Вас читал математический анализ на 1-ом курсе — не Александр Яковлевич? И легко ли для Вас "прошла" первая сессия?

А. Тогда на первом курсе студенты ещё не делились на будущих математиков и механиков, но всё равно были два потока — просто студентов было слишком много, чтобы учить их всех вместе. Мы с Зеликиным были на разных потоках. На моём потоке аналитическую геометрию читал П.С. Александров, анализ — А.Я. Хинчин, алгебру — И.Р. Шафаревич. На втором курсе нас разделили на математический и механический потоки. Зеликин перешёл на математический поток и у него сменились лекторы.

С сессией, насколько я помню, проблем не было.

Д. Как Вы определились на 2-ом курсе с Вашим научным руководителем — им сразу стал Лев Семёнович Понтрягин, который Вам читал курс обыкновенных дифференциальных уравнений?

А. Ещё до поступления в МГУ и затем в начале 1-го курса я слышал краем уха о Л.С. Понтрягине. Занятия по аналитической геометрии в моей группе вёл Е.Ф. Мищенко — один из ближайших сотрудников Л.С. От Е.Ф. я узнал, что в следующем году Л.С. будет читать курс обыкновенных дифференциальных уравнений и вести специальный семинар для интересующихся. А так как ввиду моих прошлых физических симпатий меня больше всего привлекала аналитическая часть математики, то, естественно, я и отправился на этот семинар.

Должен отметить, что у меня фактически был ещё один руководитель — уже упоминавшийся Е.Ф. Мищенко. Но Л.С., конечно, был главным.

Д. Помните ли Вы тему Вашей первой курсовой работы?

А. Это была учебная работа (ведь тогда курсовые начинали писать на 2 курсе) — математическое описание работы релаксационного генератора колебаний с неоновой лампой. О нём говорилось в классической книге "Теории колебаний" А.А. Андропова и С.Э. Хайкина (шёпотом передавали, что у этой книги был и третий автор), где рассматривается получающееся в пределе при нулевом значении некоего малого параметра разрывное движение. Связь этого предельного объекта с тем, что происходит до перехода к пределу, подробнее освещается в известной книге Дж. Стокера "Нелинейные колебания в механических и электрических системах". Её русский перевод появился в 1953 году, но я всерьёз ознакомился с ним позднее, когда в данном вопросе уже разобрался сам. Я упоминаю о книге Стокера просто как о свидетельстве того, что соответствующий вопрос был изучен, и моя работа могла быть только учебной.

Подобные вопросы относятся к теории сингулярных возмущений. В данном случае "сингулярность" состоит в том, что малый параметр является множителем при производной. Как раз перед этим Л.С. и Е.Ф. выполнили важную работу об асимптотике периодического решения, "близкого к разрывному" (до них существенные результаты в важном частном случае получили Ж. Хааг и А.А. Дородницын). Как я подозреваю, давая мне эту тему Л.С. имел в виду, что я в дальнейшем буду какое-то время ею заниматься. Но вышло иначе — отчасти по его же "вине". На 3 курсе он предложил мне заняться другой темой, тоже связанной с сингулярными возмущениями, но несколько другими — там не было специфического для

предыдущей темы явления "срыва". Он вполне мог вначале думать, что одолев новую (и более простую) тему, я затем, обогащённый опытом, вернусь к прежней. Однако тема моей кандидатской диссертации (предложенная, как обычно, моим руководителем, т.е. Л.С., причём не без участия Е.Ф.) отстояла ещё дальше от начала моей работы. Так вот я и пошёл в сторону, после кандидатской уже "своим ходом", но вначале опять-таки под сильным влиянием Л. С.

Мой первый удачный дебют в качестве лица, самостоятельно выбирающего свою тематику, был связан с грубыми системами, которые ещё в 30-е годы были введены Л.С. и А.А. Андроновым (опубликовавшими маленькую докладную заметку, хотя и не "перевернувшую мир", но существенно изменившую позицию наблюдателя, который на этот мир смотрит). А ту программу, которую имел в виду Л.С. в 1954 г., в конце концов (но гораздо позднее — в начале 90-х годов, уже после его смерти) успешно выполнили Е.Ф. Мищенко, Н.Х. Розов (который был моим однокурсником и начал заниматься релаксационными колебаниями одновременно со мной, но не бросал их до полного успеха), Ю.С. и А.Ю. Колесовы (отец и сын, работающие в Ярославле). Часть окончательных результатов была чуть раньше получена испанским математиком К. Боне.

Д. Расскажите немного о Вашем первом знакомстве со Львом Семёновичем Понтрягиным. Испытывали ли Вы чувство робости при общении с ним?

А. Первая довольно длинная беседа с Л.С. была на втором курсе. Кажется, мы говорили о теории Пуанкаре-Бендиксона, о которой мне предстояло рассказывать на спецсеминаре. Во всяком случае, такова была её математическая часть, о которой я помню, а вообще-то разговаривали и на какие-то другие темы. Разговор происходил отчасти в Нескучном парке, куда Л.С. попросил меня сводить его на прогулку (он жил рядом).

Особой робости, по-моему, не было. Л.С. не заботился о том, чтобы произвести впечатление на студента. Возможно, он понимал, что и так произведёт.

Д. В Вашу студенческую жизнь кто из математиков (помимо Льва Семёновича) оказал на Вас особое влияние? В частности, общались ли Вы с Павлом Сергеевичем Александровым и Андреем Николаевичем Колмогоровым?

А. На первом курсе я ходил на учебный семинар по алгебре (введение в теорию Галуа), который вёл И.Р. Шафаревич. К весне там остались трое студентов — Ю.С. Манин, Е.С. Голод и я. Позднее я посещал ряд спецкурсов и спецсеминаров, кроме понтрягинского.

Я был на 3-м или 4-м курсе, когда группа относительно молодых математиков решила изучать новые (тогда преимущественно французские) работы по алгебраической топологии и обучать этому студентов. В эту группу входили: В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе, А.Л. Онищик, М.М. Постникон, И.Р. Шафаревич, А.С. Шварц. К ней как бы примыкал Е.Б. Дынкин — со студентами он этими вещами не занимался, но какое-то время сам изучал соответствующие работы и сыграл заметную роль в создании сборника переводов "Расслоенные пространства" — нашей библии того времени.

Должен также упомянуть о спецкурсе Н.В. Ефимова по дифференциальной геометрии в целом. Не помню, слушал ли я его студентом или аспирантом. Он не нашёл никакого отражения в моей научной работе, но впечатление произвёл.

С П.С. я не общался. С А.Н. не было личных контактов. На его лекции по теории динамических систем и соответствующий семинар я ходил (это был 1957-

58 учебный год). Наряду с Л.С. и "топологическими просветителями", А.Н. оказал основное влияние на моё формирование как математика. И чтобы закончить с этим, надо назвать ещё С. Смейла.

Д. Занимались ли Вы в студенческие годы общественной работой?

А. Да, но немного — работал в редакции стенгазеты "За передовой факультет" (мы её называли "Заперфак"). Это, как я говорил, было результатом собеседования. Я дорос до её редактора. Конечно, был (как и все) агитатором.

В аспирантуре "продвинулся" дальше по комсомольской линии — полгода был даже секретарём комитета ВЛКСМ МИАН. Понятно, это продвижение было относительным — ведь людей соответствующего возраста в МИАН было гораздо меньше, чем в МГУ.

Д. После окончания Мехмата МГУ Вы поступили в аспирантуру Математического института имени В.А. Стеклова АН СССР. А почему не в факультетскую аспирантуру — так посоветовал Лев Семёнович? И кто принимал у Вас вступительный аспирантский экзамен?

А. На моём курсе у Л.С. и его сотрудников было несколько студентов (в том числе работающие по сей день в МГУ М.И. Зеликин и Н.Х. Розов), и естественно, что одним он посоветовал идти в аспирантуру МИАН, а другим — в МГУ.

Не помню, кому я сдавал вступительный экзамен в аспирантуру. Едва ли это могло обойтись без Л.С., но кто ещё?

Известно, что из года в год, начиная чуть ли не с довоенных времён, Л.С. задавал поступающим в аспирантуру один и тот же вопрос: какова риманова поверхность арктангенса? Казалось бы, поступающие в n -ый год, где $n > 1$, могли бы узнать об этом вопросе от поступавших ранее и подготовиться. Но этого явно не происходило — каждый год вопрос оказывался неожиданным для поступающих и потому прекрасно выполнял свою фильтрующую роль. Почему-то мне этого вопроса Л.С. не задал. Возможно, ему и так было ясно, что я могу на него ответить. Я ведь соприкасался с близкими вещами.

Д. Кандидатскую диссертацию Вы защитили, кажется, досрочно. Помните ли Вы её название? Кто были по ней Вашими оппонентами и где происходила её защита?

А. Кандидатскую диссертацию "Осреднение в системах обыкновенных дифференциальных уравнений с "быстроколеблющимися" решениями" я защитил 9 июня 1961 г. за несколько месяцев до окончания срока аспирантуры. Позднее исследование соответствующих вопросов в более конкретной обстановке и, соответственно, с более сильными результатами продолжали другие, прежде всего, А.И. Нейштадт. Благодаря ему результаты в этой области достигли такого уровня, что в 2001 г. они были отмечены премией Ляпунова Российской АН (присуждена мне — видимо, как инициатору, — и А.И. Нейштадту). Парадокс: результаты моей докторской диссертации были удостоены Государственной премии СССР четвертью века раньше (в 1976 году).

Одним из моих оппонентов был В.М. Волосов. Стыдно сказать, но второго оппонента я не запомнил, им должен был быть кто-то из мехматского совета. С Волосовым я подробно беседовал о диссертации, вот я его и запомнил, а со вторым оппонентом таких бесед не было. Не запомнил я и организацию, куда диссертация

была послана на "внешний отзыв", скорее всего это был Институт математики АН УССР. Защита происходила в МГУ, потому что тогда требовалось защищаться обязательно в "чужом" совете — там, мол, подойдут объективнее.

Дата защиты свидетельствует о том, что защит было много (тогда ведь по всем математическим специальностям был один Совет) и отдыхать членам Совета в начале лета ещё не приходилось.

После защиты аспирантура закончилась. Увы, это означало, что кончилась свободная жизнь, хотя в МИАН грех жаловаться на стеснения, налагаемые трудовой дисциплиной. Всё же тогда была волна таковой, и какое-то время мне — младшему научному сотруднику без степени (я ещё не был утверждён) — надо было приходиться к началу рабочего дня и расписываться в журнале на вахте. Так как утром никого больше в комнате не было, я частенько дремал на диване.

Д. После защиты кандидатской диссертации Вы стали сотрудником Стеклового математического института и уже через четыре года блестяще защитили там свою докторскую диссертацию. Кто по ней были Вашими оппонентами?

А. Защита произошла в МИАН (требование защищаться в чужом Совете было отменено) осенью 1965 года. Оппоненты — В.И. Арнольд, А.А. Кириллов и И.И. Пятецкий-Шапиро. Казалось бы, следовало привлечь Я.Г. Синая, тематически наиболее близкого. Но совсем незадолго до того я писал отзыв МИАН ("отзыв внешней организации") на его докторскую диссертацию. Если бы мы писали друг на друга, это могло бы показаться не совсем благовидным. "Внешней организацией" на сей раз был матмех ЛГУ, отзыв писал В.А. Рохлин.

Д. Работая в "Стеклове", Вы не теряли связи с Мехматом МГУ. Расскажите немного о Вашем общении с "мехматскими диффуриками старшего поколения", прежде всего с Иваном Георгиевичем Петровским, а также с Самарием Александровичем Гальперном, Евгением Михайловичем Ландисом и Ольгой Арсеньевной Олейник.

А. Я долго почти не общался с мехматскими диффуриками, за исключением, конечно, понтрягинцев (у которых основным местом работы был всё-таки МИАН) и ещё В.М. Миллионщикова (но с ним я довольно тесно общался позднее, с середины 60-х годов). Вот если говорить обо всём МГУ, то с начала 60-х годов я тесно общался с В.П. Масловым, с которым познакомился на Международном симпозиуме по нелинейным колебаниям в сентябре 1961 года в Киеве (там же впервые увидел Смейла и познакомился с ним).

Расскажу один эпизод, связанный не с самим Масловым, но с его работами.

Наука подчас развивается довольно странными путями. Помню, спустя несколько лет в Москву приехал знаменитый "урчапист" (многие читатели угадают его имя, но я сам называть его не буду). Он спросил меня о новостях в советской науке по близким к нему темам и записывал за мной в блокнот. Но когда я заговорил о Маслове и квазиклассике, он закрыл блокнот и сказал, что это его не интересует. Пикантность ситуации в том, что он уже стоял на пороге одного из своих лучших достижений — теории псевдодифференциальных операторов — (или даже уже перешагнул этот порог), а "канонический оператор" Маслова имеет к ней прямое отношение.

Непосредственного общения с И.Г., С.А. и О.А. у меня не было, пока я не стал по совместительству работать на мехмате (1968 год). Но я слушал лекции Е.М.

по 16-ой проблеме Гильберта (не то в конце студенческих годов, не то в аспирантские годы) и ходил к нему на соответствующий семинар. Результатом было следующее впечатление: качественная картина поведения решений обыкновенного диффура в комплексной области — вещь интересная и ею стоит заниматься; бесспорная заслуга И.Г. состоит в том, что он привлек к ней внимание, ввёл несколько основных понятий и установил несколько фактов. Есть ли у них доказательство анонсированного результата — неясно, чёткого изложения явно нет, но (как я тогда допускал) возможно, что в духе их соображений всё-таки можно провести полное доказательство, только тут ещё чистить и чистить. Примерно в таком духе я и ответил Л.С., когда он спросил моё мнение. А тогда решался вопрос о присуждении И.Г. и Е.М. Ленинской премии за эту работу. Л.С. пришёл к выводу, что это было бы преждевременно.

Позднее (то ли осенью 1963 года, то ли весной 1964 года) С.П. Новиков организовал семинар по обсуждению этого исследования И.Г. и Е.М. Собственно, об их первоначальной публикации 1955 года уже было известно, что в ней есть серьёзный пробел. Это было признано в печати самими авторами (здесь основную критическую роль сыграл Ю.С. Ильяшенко весной 1963 года). Но к тому времени Е.М. написал книгу о 16-ой проблеме с совсем другими рассуждениями в соответствующем месте.

Основная работа над книгой, должно быть, была проделана ещё до критических высказываний Ю.С., так что изменение спорного места вначале было вызвано желанием иметь что-нибудь менее громоздкое. А после этой критики новое доказательство показалось выходом из положения. На нашем семинаре мы обсуждали не работу 1955 года, а новую рукопись. Я при этом играл роль главного "адвоката дьявола" и, к сожалению, преуспел: доказательства нет и не видно идей, на которых оно могло бы основываться. Примерно так и сказал С.П. в разговоре с И.Г. В опубликованных воспоминаниях С.П. он подчёркивает, что этот разговор никак не испортил его отношений с И.Г. Моих тоже (хотя тут я не знаю, насколько И.Г. знал о моей роли). То же самое применительно к себе констатировал и Ю.С. Ильяшенко, примерно тогда же (и, по-видимому, более или менее независимо) пришедший к тому же отрицательному выводу. Надо ли добавлять, каким образом это характеризует И.Г.?

Возвращаясь к своим студенческим годам, отмечу, что тогда у меня не было серьёзных контактов по части диффура ни с кем вне окружения Л.С. Несколько преувеличивая, могу сказать, что субъективно я воображал, будто мы настолько впереди планеты всей, что и разговаривать не с кем и не о чем. А объективно я, видимо, стремился как можно больше и быстрее взять от Л.С. и его окружения, и пока не взял, не интересовался, где бы ещё что подцепить. Кроме того, я ведь посещал спецкурсы и спецсеминары по другим дисциплинам. Так что времени, действительно, оставалось мало. Но я всё же прослушал в студенческие годы спецкурс А.Н. Колмогорова, а также спецкурс В.В. Немыцкого по качественной теории.

Это о студенческих годах. А позднее я ходил к В.И. Арнольду и Я.Г. Синаю, которые раньше меня "созрели" как вполне самостоятельные учёные. На семинар Синая, вторым руководителем которого стал В.М. Алексеев, я продолжал ходить ещё долгие годы, когда семинар из учебного превратился в исследовательский.

Как и многие молодые люди, какое-то время я ходил на семинар И.М. Гельфанда, что способствовало расширению моего кругозора. Это было вскоре после аспирантуры.

Семинар был довольно необычным, о чём читатель, вероятно, слышал. Арнольд и я боролись на нём за права человека и достигли того, что нам разрешалось сидеть, где мы хотим. И.М. иронизировал: "Хоть на окнах или на эпидиаскопе" (тогда в больших аудиториях — а это была 14-08 — стояли огромные эпидиаскопы), но мы оставили эту провокацию без внимания.

Кажется, в аспирантские годы я прослушал спецкурсы И.М. и О.А. на близкую тему (УрЧП газодинамического и аналогичного характера). Было интересно сравнить эти два изложения.

Д. Насколько я знаю, Вы были участником Международного Математического конгресса в Стокгольме в 1962 году. Это был Ваш первый выезд за границу? И каково было Ваше впечатление от участия в таком престижном математическом форуме?

А. Я не был участником Стокгольмского конгресса. Спасибо участвовавшим в нём В.И. Арнольду и Я.Г. Синаю, которые довели информацию о моей работе (грубость геодезических потоков на замкнутых римановых многообразиях отрицательной кривизны) до сведения наших заграничных коллег, включая таких корифеев, как Ю. Мозер и С. Смейл. Благодаря этому я стал как бы заочным участником конгресса.

А за границу я впервые попал в 1964 году, сопровождая Л.С. и его супругу в поездке по США.

Д. Следующий Международный Математический конгресс состоялся в 1966 году уже в Москве. Я его хорошо помню, но участвовал в нём лишь в качестве "слушателя" (не считая того, что будучи аспирантом, был включён в "группу поселения иностранцев", поскольку мог немного изъясняться по-французски). Мои молодые сокурсники, Толя Каток и Толя Стёпин, выступили там с совместным секционным докладом. Разумеется, и Вы — уже признанный учёный — также стали докладчиком этого Конгресса. Можете ли Вы вспомнить что-нибудь примечательное при его подготовке и проведении?

А. Насчёт подготовки и проведения конгресса я ничего не могу добавить к тому, что более или менее общеизвестно. Для меня, конечно, очень важным оказался контакт со Смейлом, который, по-видимому, впервые в развёрнутом виде изложил общую концепцию равномерной гиперболичности.

А вот об одном эпизоде, связанном с подведением итогов конгресса, стоит рассказать. И.Г. Петровский, как председатель Оргкомитета конгресса, докладывал свои выводы на заседании Национального комитета. Он сделал преувеличенный упор на наше отставание в области теоретической математики. Возможно, он находился под впечатлением каких-то особенно ярких результатов и с грустью признавал, что они ему недоступны. Но в общем-то как раз к тому времени наметившееся было отставание удалось более или менее ликвидировать. Настоящее отставание было и осталось в другом — в уровне математики вне нескольких столичных и близких к ним центров.

Его доклад вызвал резкие возражения. При общем характере заседания они неизбежно могли только сводиться к фиксации иных позиций. Но мне запомнилось высказывание М.В. Келдыша, который сказал примерно следующее. Я не знаю, на каком мы месте в чистой математике, на втором или третьем, но это место неплохое. А вот положение с прикладной математикой, и особенно с компьютерами, от коих она зависит, гораздо хуже. А.А. Дородницын добавил, что по степени

компьютеризации мы находились тогда на уровне Португалии и чуть впереди Испании и Греции — не очень приятное соседство (имея в виду тогдашние режимы в этих странах).

Д. Когда появился Ваш собственный спецсеминар? И помните ли Вы своего первого аспиранта?

А. Я работал мехмате (по совместительству) с начала 1968 года до середины 1973 года и затем начиная с осени 1996 года. Начав там работать, я стал читать спецкурс по теории динамических систем и, как это часто делают, сразу же организовал учебный спецсеминар для закрепления и пополнения соответствующих сведений у интересующихся студентов.

Со временем (кажется, осенью 1969 года) этот семинар начал перерастать в научный семинар, который я вёл вначале совместно с А.Б. Катком, а затем (и по сей день) с А.М. Стёпиным (одно время у него был и третий руководитель — Р.И. Григорчук). Семинар работал и в то время, когда я не числился на мехмате (временами заседания проводились в МИАН и ЦЭМИ, где работал Каток).

Ещё в самом начале у меня промелькнул студент М.И. Монастырский, который многим известен как автор нескольких книг по истории современной математики. Его общую эрудицию я в какой-то степени могу поставить себе в заслугу, но не его собственную научную деятельность по некоторым математическим вопросам физики — этим он стал заниматься независимо от меня.

Первые несколько аспирантов (ещё в МИАН) у меня не были удачными. Хорошими оказались два более поздних аспиранта (вначале они были моими студентами), А.А. Блохин и А.Б. Крыгин. К сожалению, по разным причинам они не остались в науке (Блохин, заболев, даже не написал диссертации, хотя ещё в студенческие годы опубликовал научную статью). Зато в ней остались и приобрели известность их сверстники М.И. Брин и Я.Г. Песин. Они не были в аспирантуре (думаю, понятно, почему), но всё же успешно вели научную работу (вначале — под моим руководством).

Д. Вы, наверное, хорошо знали Николая Николаевича Боголюбова. Не можете ли Вы рассказать немного об этом выдающемся учёном?

А. Нет, формально я даже не был с ним знаком. Хотя знал некоторые его работы. Их влияние на мою деятельность по осреднению очевидно, но было косвенное влияние и в другом отношении, что я уже имел случай отметить в печати (см. Д.В. Аносов, О вкладе Н.Н. Боголюбова в теорию динамических систем. УМН, 1994, т. 49, вып. 5, стр. 5-20). Пару раз мне случалось письменно обращаться к нему с просьбами, которые он удовлетворил.

Д. Андрей Андреевич Болибрух Ваш ученик? Было бы интересно услышать от Вас какие-нибудь "штрихи к портрету" этого прекрасного математика.

А. А.А. не был моим учеником. В студенческие и аспирантские годы он изучал топологию, и его руководителем был М.М. Постников. Его постепенное переклочение на диффуры происходило без моего влияния — в то время он более всего был связан с А.В. Чернавским и В.А. Голубевой. Он написал книгу воспоминаний "Воспоминания и размышления о давно прошедшем. (М.: 2003)", охватывающую период от детских лет до его взлёта. Кое-какие биографические сведения и обзор наиболее важной части его научных достижений имеются в статье: Д.В. Ано-

сов, В.П. Лексин, Андрей Андреевич Болибрух в жизни и науке. УМН, 2004, т. 59, вып. 6, стр. 3-22.

Я познакомился с ним в его "переходный период". Естественно, его первые шаги в новой области, хотя и удачные, не предвещали сенсации. О том, как я о ней узнал и как вначале реагировал, рассказано в упомянутой статье. Повторяю вкратце: когда О.В. Висков сказал мне, что А.А. решил 21-ю проблему Гильберта, я не поверил. Я спросил Ю.С. Ильяшенко, не знает ли он о достижении А.А. Оказалось, слышал, но не знает деталей. Я решил разобраться в вопросе и попросил О.В. передать А.А., чтобы он позвонил мне. С этого началось моё сотрудничество с А.А. "Сотрудничество" — слишком громко сказано. А.А. в своей области был несомненным лидером, а мне только удалось в двух-трёх случаях по-новому осветить его результаты. Это, как оказалось, было не так уж плохо, но, повторяю, ни в какое сравнение с достижениями А.А. не идёт.

Д. Ваша замечательная брошюра "Взгляд на математику и нечто из неё", содержащая любопытные исторические отступления, читается с большим интересом. Так вот, в связи с историей, вопрос: а как Вы относитесь к точке зрения Владимира Игоревича Арнольда, что Тот, которого в древне-египетской мифологии считали богом Луны, мудрости, письма, и счёта, покровителем наук, писцов, священных книг и колдовства, а греки отождествляли с Гермесом, был просто человеком — "величайшим учёным, которому после его смерти фараон лишь присудил божеское звание и имя: Тот, бог мудрости"?

А. То, что Вы изложили, ничему не противоречит (в Японии определённо был случай посмертного обожествления некоего крупного чиновника, ставшего богом таковых), хотя едва ли может быть доказано. Но В.И. идёт гораздо дальше. Он сам печатно изложил свою позицию (в книжке "Нужна ли в школе математика", М.: МЦНМО, 2001) и мне незачем её повторять. Я только отмечу, что, не меняя истории древних обществ, В.И. относит начало точных наук в намного более древнее время, чем считается в исторической науке. (Так что в этом — только в этом — отношении получается как бы "Фоменко наоборот".) Древняя наука, по его мнению, была тщательно засекречена и тем не менее успешно развивалась, так что там была система Коперника и механика Ньютона. (Как насчёт КАМ?)

Странно, что человек, известный своим свободолобием, верит в возможность процветания науки при гораздо более полном её засекречивании, чем в наше время, когда засекречиваются только технические разработки и то, что к ним непосредственно прилагает.

Д. На нашем факультете Вы возглавляете созданную в 2000 году кафедру теории динамических систем. Когда появилась идея об организации на Мехмате МГУ такой кафедры и сразу ли она получила всеобщую поддержку? Например, создание в 1966 году нашей кафедры общих проблем управления происходило с некоторыми трудностями, и преодолены они были лишь благодаря горячей поддержке Ивана Георгиевича Петровского.

А. Идея об организации кафедры теории динамических систем возникла незадолго до 2000 года. В письме, адресованном ректору МГУ В.А. Садовничему и подписанному А.А. Болибрухом, Е.Ф. Мищенко и мной, она мотивировалась так:

"1). Теория динамических систем является одним из наиболее актуальных и быстро развивающихся разделов современной математики. Это, в частности, отража-

ется в том, что на всех последних Международных Математических Конгрессах по этой теории неизменно делалось несколько докладов, обычно включая пленарные.

Теория динамических систем, возникшая исторически как важный раздел теории обыкновенных дифференциальных уравнений, в настоящее время далеко вышла за рамки последней и имеет разнообразные связи с рядом разделов математики. Российские, а затем советские математики с самого начала занимали одно из лидирующих мест в развитии этой теории, создав тем самым традицию, которую нужно поддерживать.

2). Математический Институт имени В.А. Стеклова РАН, который мы представляем, заинтересован в том, чтобы подготовка молодых кадров в этой области по-прежнему велась на высоком уровне, свойственном Московскому Университету. Нет сомнения, что аналогичная заинтересованность имеется и у ряда других научных учреждений. Нам представляется, что создание новой кафедры помогло бы в решении этой задачи".

Эту идею я обсуждал с коллегами, начиная с будущих авторов письма и переходя затем на более высокий должностной уровень — руководители РАН (А.А. Гончар и Ю.С. Осипов) и МГУ (В.А. Садовничий). Идея встретила поддержку со всех сторон, окончательное же решение, естественно, принял ректор МГУ В.А. Садовничий.

Д. Разрешите ещё личный вопрос. Я знаю, что Ваша жена — Лидия Ивановна, также выпускница Мехмата МГУ. Есть ли у вас дети и чем они теперь занимаются, в частности, стал ли кто-нибудь из них математиком?

А. Моя дочь Ольга окончила мехмат и аспирантуру (под руководством Ю.С. Ильяшенко), в основном опубликовав полученные (по общему мнению, неплохие) результаты. Одно время Оля преподавала в ВШЭ, но затем, повторяя путь своей матери, ушла в личную жизнь и диссертации писать не стала. Сейчас она всецело занята своей дочкой Танюшей, родившейся в сентябре 2006 года. Посмотрим, не вернётся ли она к научной работе и (или) преподаванию, когда Таня подрастёт...

Октябрь 2007 года



Григорий Полотовский

Нижегородский математик

АРТЕМИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАЙЕР

и его курс истории математики

*Версии, гипотезы, теории
спорят о минувшем заразительно,
истинную правду об истории
знает только Бог. Но приблизительно.*

* * *

*Из тихого житейского угла
мне видно, как разбой по свету рыщет,
и ясно понимаю: не могла
история светлее быть и чище.*

Игорь Губерман



Артемий Григорьевич Майер
(6 сентября 1905 — 20 сентября 1951)

Имя замечательного нижегородского математика Артемия Григорьевича Майера хорошо знают специалисты по качественной теории дифференциальных уравнений и теории бифуркаций динамических систем. Однако, насколько мне известно, не существует ни одной сколько-нибудь обстоятельной публикации о его жизни и научно-педагогической деятельности.

Настоящая статья представляет собой попытку заполнить этот пробел в историко-математических исследованиях и, в частности, собрать в одном месте как опубликованные, так и неопубликованные воспоминания об Артемии Григорьевиче Майере. Мы начнём с краткого описания научных результатов А.Г. Майера, затем перейдём к биографической части, включающей очень интересную родословную семейства Майеров, после чего опишем деятельность А.Г. Майера в Горьковском (ныне Нижегородском) университете, завершившуюся драматической кампанией 1950–51 гг. по осуждению «идеологических ошибок профессора А.Г. Майера в курсе истории математики».

Научные результаты и публикации

Список опубликованных работ А.Г. Майера по нынешним меркам совсем короткий, так что его удобнее поместить прямо в тексте, не заставляя читателя листать страницы до списка цитированной литературы. Известные библиографические справочники [1] (стр. 435–436) и [2] (стр. 826) приводят всего 17 работ А.Г. Майера. Оказалось, что ещё 8 работ — я благодарен Е.А. Андроновой, указавшей на три из них, М11, М13 и М21 — пропущены составителями [1] и [2]. Эти 8 работ помечены в приводимом ниже списке звёздочками^[1].

Список опубликованных работ А.Г. Майера

- М1. *Об одном неравенстве, связанном с интегралом Фурье* // ДАН СССР, 4 (1934). С.353–360 (совм. с Е.А. Леонтович).
- М2. *Доказательство существования предельных циклов у уравнений Рэля и Ван-дер-Поля* // Горький, Учён. зап. ГГУ, вып. 2 (1935). С.19-35.
- М3.**К теории связанных колебаний двух самовозбужденных генераторов* // Горький, Учён. зап. ГГУ, вып.2 (1935). С.3-12.
- М4.**Исследование уравнений Рэля и Ван-дер-Поля* // Изв. ГГУ, вып.2 (1936).
- М5.**К теории вынужденных колебаний в сложном генераторе* // Горький, Учён. зап. ГГУ, вып. 6 (1937). С.25-36.
- М6. *О траекториях, определяющих качественную структуру разбиения сферы на траектории* // ДАН СССР, 14 (1937). С.251–254 (совм. с Е.А. Леонтович).
- М7. *Грубое преобразование окружности в окружность* // Горький, Учён. зап. ГГУ, вып.12 (1939). С.215-229.
- М8.**De trajectoires sur les surfaces orientées* // Comptes Rendus (Doklady) de L'Académie Des Sciences de L'URSS. Vol. 24, №1 (1939). P.673–675.
- М9. *О траекториях на ориентируемых поверхностях* // Матем. сб. 12(54) (1943). С.71–84.
- М10. *Задача Мизеса в теории прямого регулирования и теория точечных преобразований поверхностей* // ДАН СССР, 43 (1944). С.58–60 (совм. с А.А. Андроновым).
- М11.**О задаче Вышнеградского в теории прямого регулирования* // ДАН СССР, 43 (1945). С.345–348 (совм. с А.А. Андроновым).
- М12. *Простейшие линейные системы с запаздыванием* // Автоматика и телемеханика, т.7, вып.2-3 (1946). С.95–106 (совм. с А.А. Андроновым).
- М13.**Задача Вышнеградского в теории прямого регулирования. I* // Автоматика и телемеханика, т.8, вып.5 (1947). С.314–334.
- М14. *Об одной задаче Биркгофа* // ДАН СССР, 55 (1947). С.477–480.
- М15. *О траекториях в трёхмерном пространстве* // ДАН СССР, 55 (1947). С.583–586.
- М16. *Об одной проблеме Биркгофа* // УМН, том 2, вып.2(18) (1947). С.193–194.
- М17. *Общая качественная теория*. В кн.: Пуанкаре А. «О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями» — М.–Л., 1947. С.267–300 (совм. с Е.А. Леонтович).
- М18. *Центр*. В кн.: Пуанкаре А. «О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями» — М.–Л., 1947. С.301–321.

- M19. *О порядковом числе центральных траекторий* // ДАН СССР, 59 (1948). С.1393–1396.
- M20. *О центральных траекториях и проблеме Биркгофа* // Матем. сб., 26 (1950). С.265–290.
- M21. **Задача Вышнеградского в теории прямого регулирования. II. Теория регулятора прямого действия при наличии кулоновского и вязкого трения (продолжение)* // Автоматика и телемеханика, т.14, вып.5 (1953). С.505–530 (совм. с А.А. Андроновым).
- M22. **Теория «ударной машины»* // Горький, Учён. зап. ГГУ, вып.27 (1954). С.3–22 (совм. с А.А. Андроновым).
- M23. *О схеме, определяющей топологическую структуру разбиения на траектории* // ДАН СССР, 103 (1955). С.557–560 (совм. с Е.А. Леонтович).
- M24. *Качественная теория динамических систем второго порядка* — М.: Наука, 1966. — 568с. (совм. с А.А. Андроновым, И.И. Гордоном и Е.А. Леонтович).
- M25. *Теория бифуркаций динамических систем на плоскости* — М.: Наука, 1967. — 487с. (совм. с А.А. Андроновым, И.И. Гордоном и Е.А. Леонтович).

Не являясь специалистом в области динамических систем, ниже я попытаюсь кратко охарактеризовать математическое наследие А.Г. Майера, опираясь на имеющуюся у меня небольшую (менее двух машинописных страниц) неопубликованную заметку Е.А. Леонтович-Андроновой ^[2] «О работах Артемия Григорьевича Майера», ссылки на которую будут помечаться инициалами «Е.Л.» Первые две фразы этой заметки дают ёмкую общую характеристику: *«Артемий Григорьевич Майер был математиком высокой культуры, который наряду с чисто-математическими работами не только мог, но и любил заниматься прикладными задачами. Математические работы А.Г. Майера в настоящее время являются классическими»* [Е.Л.].

Представляется естественным разделить все результаты А.Г. Майера на следующие пять групп.

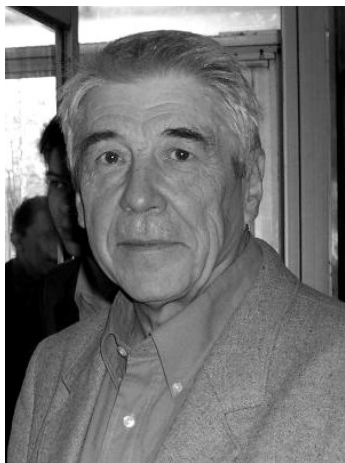
I. *«Это, во-первых — его работа, касающаяся динамических систем на двумерных поверхностях»* [Е.Л.]. Здесь речь идёт о работах M8, M9 из списка выше и о кандидатской диссертации «О траекториях на ориентируемых поверхностях», защищённой А.Г. Майером в Институте Математики при МГУ в 1939 г. *«Содержанием её является установление возможного характера траекторий на поверхностях. Для систем на двумерных поверхностях им создана теория, аналогичная классической теории Пуанкаре-Бендиксона в случае плоскости (или сферы) <...> Эта работа Артемия Григорьевича является основой почти любого изучения динамических систем на двумерных поверхностях»* [Е.Л.].



Евгения Александровна Леонтович-Андропова

II. «Работа, в которой исследуется грубость преобразований окружности в окружность» [Е.Л.]. Это статья М7, в которой «установлены некоторые основные факты — например, необходимые и достаточные условия грубости диффеоморфизмов окружности, непрерывная зависимость числа вращения от параметра и указано, что функция, дающая зависимость числа вращения от параметра, есть, вообще говоря, функция Кантора» [Е.Л.].

III. «Наиболее сильной математической работой Артемия Григорьевича является его работа “О центральных траекториях в проблеме Биркгофа”» [Е.Л.]. Здесь речь идёт о статьях М14, М15, М16, М19 и М20, на которых основана докторская диссертация А.Г. Майера «О центральных траекториях и проблеме Биркгофа», защищённая им в 1947 г.



Леонид Павлович Шильников

IV. В этот раздел входят работы, посвящённые прикладным задачам. В их число входит самая первая статья из списка, М1, о которой Л.П. Шильников ^[3] писал в [3]:

«Она относится к теории линейных систем и содержит ответ на вопрос Л.И. Мандельштама о соотношении между продолжительностью радиоимпульса и размытостью. По существу, Е.А. Леонтович и А.Г. Майер в этой заметке дали точную формулировку классического аналога квантового соотношения неопределённости, имеющего фундаментальное значение для теории связи.»

О другой работе из этой группы, М10, во введении к книге [5] написано:

«Трёхмерная нелинейная задача, получающаяся при учёте сухого трения в муфте, оставалась нерешённой из-за своей большой математической трудности, несмотря на то, что ею занимались Н.Е. Жуковский, Стодола, Грдина, Мизеси многие другие исследователи. Эта задача и была решена А.А. Андроновым и А.Г. Майером.»

К этой же группе можно отнести статьи М3 — М5, М11 — М13, М21, М22. По поводу работы А.Г. Майера над прикладными задачами Е.А. Леонтович пишет:

«Трудно указать математика, который при решении конкретных задач проявлял такую быстроту ориентировки, способность использовать всевозможные математические средства и мастерство» [Е.Л.].»

V. В отдельную группу выделим работы М6, М23, посвящённые построению инварианта, названного «схемой динамической системы».

Построение схемы динамической системы и многие другие вопросы качественной теории динамических систем на плоскости подробно изложены в двухтомной монографии М24, М25, изданной в 1966-1967 гг. В предисловии к М24 говорится: «Настоящая книга была начата в 1949 году А.А. Андроновым совместно с Е.А. Леонтович и А.Г. Майером и после смерти А.А. Андропова (в 1952 г.) и

А.Г. Майера (в 1951 г.) дописана Е.А. Леонтович и И.И. Гордоном [4]. Окончательный вариант принадлежит Е.А. Леонтович».

Основные идеи и результаты Майера получили развитие в работах математиков последующих поколений. Так, динамические системы на поверхностях интенсивно изучались и изучаются до сих пор, в том числе в Нижнем Новгороде. В частности, результаты Майера, касающиеся асимптотического поведения траекторий динамических систем на поверхностях, и идеи А. Вейля и Д.В. Аносова позволили С.Х. Арансону и В.З. Гринесу получить топологическую классификацию транзитивных потоков на ориентируемых поверхностях, подробности можно посмотреть в обзоре [10].

О роли преобразований окружности в изучении динамических систем говорить излишне. Отметим только, что некоторые результаты Майера из [М7] были переоткрыты В.И. Арнольдом в [11] и В.А. Плиссом в [12].

Работа Майера о проблеме Биркгофа — одна из первых работ, показавших, что трёхмерные системы могут быть чрезвычайно сложными. Исследование проблемы Биркгофа тоже получило продолжение: один из примеров Майера был усилен Л.П. Шильниковым в 1969 г. [13], а в 2000 г. результаты Майера были передоказаны другим методом в диссертации С.А. Шаповалова (МГУ).

Наконец, продолжалась и тематика, связанная со схемой динамической системы: так, в работах С.Ю. Пилогина [14] и Я.Л. Уманского [15] подобные конструкции введены для определённых классов динамических систем размерности ≥ 3 , в работах Л.М. Лермана и Я.Л. Уманского по четырёхмерным гамильтоновым интегрируемым системам (см., например, [16]) одним из истоков также является геометрический подход Майера.

Родословная Майеров

«...Служащий при Академии из вестфальских уроженцев у продажи книг Вильгельм Майер до вступления его в Академию, проживая в СП-бурге по билету иностранного отделения адрес-конторы, занимался содержанием частного пансиона и нигде в службе не находился; а 1811 г. июля 1-го дня по особенной рекомендации бывшего министра народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского, объявленной Комитету через предложение его сиятельства, принят в Академию на ваканцию комиссара у продажи книг, каковую должность до сего времени отправляет с отличным усердием и пользой для Академии» [5].

По воспоминаниям Г.И. Филиппсона [6] [19], Вильгельм Майер был «крепкого сложения, бодрый умом и телом 70-летний старик... крайних либеральных убеждений; он был масон и деятельный член некоторых тайных политических обществ, которых было множество в Европе между 1809 и 1825 гг. Как ученый секретарь Академии [7], он получал из-за границы книги и журналы без цензуры. Это давало ему возможность следить за политическими событиями и за движением умов в Европе». И далее: «Старик кончил жизнь самоубийством. Добрая жена его умерла. Старший сын пропал без вести. Младший — Николай остался круглым сиротой». Согласно [16], детали воспоминаний Филиппсона дополняются и исправляются материалами Архива Академии: Вильгельм Майер «в течение 16 лет (с 1811 по 1827 г.) был комиссаром книжной лавки Академии наук. Он вёл деятельную переписку с заграничными книготорговцами, получая от них иностранные издания и

сбывая им издания Академии наук». В переписке по Академии, начатой 15 марта 1827 г., в частности, говорится, что Вильгельм Майер «не выполняет сделанного с ним в 1818 г. условия и не представляет по себе 5.000 рублей поручительства». Далее из материалов Архива следует, что последний срок взноса указанной суммы был назначен на 1 мая 1827 г. В ночь на 2 мая Вильгельм Майер скрылся из дома, оставив записку, 1.250 рублей ассигнациями, несколько серебряных монет и полную лавку книг — казённых и ему лично принадлежавших. По этому поводу Комитет правления Академии наук писал 2 мая 1827 г. санкт-петербургскому обер-полицеймейстеру: «На второе число сего мая, в ночи, отлучился неизвестно куда служивший при Академической книжной лавке комиссар — иностранец Вильгельм Майер, вследствие чего Комитет покорнейше просит ваше превосходительство дать предписание ому следует, чтобы упомянутого Майера, который от роду имеет за 60 лет, волосы на всей голове довольно плотно выстриженные и седые, нос большой и вообще склад лица, свойственный евреям, по-русски говорит нечисто, нигде не держать и, ежели где окажется, то немедленно представить в Академию наук». Согласно [17], «дальнейшая судьба Вильгельма Майера по делам Академии наук остается невыясненной, но впредь он уже именуется “покойным”».

Конечно, читатель давно понял, что Вильгельм Майер упомянут не случайно, а как известная нам отправная точка в родословной А.Г. Майера. Но естественно возникает вопрос, по какой причине мы знаем разные детали о жизни и деятельности вполне рядового служащего начала XIX века? Ясно, что воспоминания Филипсона, написанные в XIX веке, никак не могли быть инициированы появлением в XX веке математика А.Г. Майера. Ответ состоит в том, что младший сын Вильгельма Майера, Николай Васильевич

Майер, был человек совершенно неординарный и необычайно яркий. Кроме Филипсона, который писал:

*«Из новых знакомых особенно замечателен был Н.В. Майер. Дружбе его я многим обязан и потому очень бы хотел изобразить его таким, как он был, но едва ли сумею: так много сталкивалось разнообразных, а нередко и противоположных качеств в этой личности, далеко выступавшей из толпы», воспоминания о Н.В. Майере оставили Н.П. Огарёв^[8] [20] и Н.М. Сатин^[9] [21]. Наконец, Николай Васильевич Майер был приятелем М.Ю. Лермонтова и послужил прототипом доктора Вернера из «Княжны Мери». По утверждениям литературоведов, доктор Вернер — единственное действующее лицо романа «Герой нашего времени», чей прототип не вызывает сомнений. Приведу слова Сатина (см. [21]): «Майер был доктором при штабе генерала Вельяминова. Это был замечательно умный и образованный человек; тем не менее, он тоже не раскусил Лермонтова^[10]. Лермонтов снял с него портрет поразительно верный; но умный Майер обиделся, и, когда «Княжна Мери» была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: «*Pauvre sire, pauvre talent!*» («Ничтожный человек, ничтожный талант!»)».*

Приведу ещё цитату из [17]:

«О Майере как о прототипе доктора Вернера писалось много. Заметка Гершензона «Доктор Вернер» и глава о Вернере в книге С. Дурьлина «„Герой нашего времени“ М. Ю. Лермонтова» дают нам возможность убедиться и в документальности лермонтовского портрета, и в том, насколько изменён и претворён был творческим сознанием Лермонтова живой образ Майера».

Вот словесный портрет доктора Вернера-Майера из «Княжны Мери»:

«Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребёнок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие чёрные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодёжь прозвала его Мефистофелем... Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен».

У профессора Майера имелся показанный здесь автопортрет Н.В. Майера, который он предоставил известному советскому лермонговеду И.Л. Андроникову (1908-1990) по просьбе последнего [11]. Андроников считал, что «кроме глаз Вернера, которым Лермонгов сообщил чёрный цвет, в остальных деталях его наружность совершенно совпадает с автопортретом Майера и впечатлениями очевидцев».

Про Н.В. Майера много и интересно написано в [17] — [21] и [23]. Здесь отметим только, что он действительно был доктором: в 1827 г. окончил Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, в 1833 г. служил уездным врачом в Пятигорске, а в 1834 г. был переведён в распоряжение «начальника Кавказской области» генерал-лейтенанта А.А. Вельяминова. Зимой доктор Майер проводил в Ставрополе, сохранился дом в бывшей усадьбе Щербачевых (сейчас ул. Дзержинского, 183), где он квартировал, и построенный им позже собственный каменный одноэтажный дом (сейчас сильно видоизменённый дом 90А по ул. К. Маркса, см. рис.1).



Николай Васильевич Майер



Рис.1

В 1841 г. в Керчи, где Н.В. Майер жил с 1839 г., он женился на немке 1842 г. у них родились близнецы Николай и Григорий. Умер Н.В. Майер 7 февраля 1846 года в возрасте 40 лет и погребён на городском кладбище в Керчи.

На рис.2 приведён фрагмент генеалогического дерева Майеров. Мы пройдем только по двум ветвям этого дерева. Первая из них, идущая от крупного горного инженера Григория Николаевича Майера (1842-1920) через его сына, участника сражений Первой мировой войны полковника-артиллериста Николая Григорьевича Майера (1873-1939), описана в [24], откуда мы узнаём, что дочь Николая Григорьевича Мария Мальм-Майер (1906-1984) является матерью современного музыканта Евгения Мальм-Майера (род. в 1937 году). Его отец, преподававший в Нейрохирургическом институте в Ленинграде, был репрессирован.

С началом войны многочисленная семья из Севастополя эвакуировалась в Элисту, но под немецкую оккупацию всё же попала.

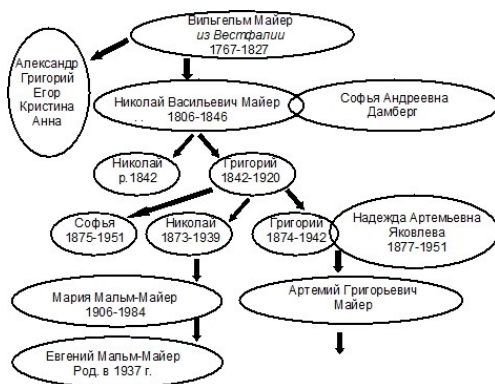


Рис.2.

Позже, через лагерь для перемещенных лиц в Австрии, семья переехала в Аргентину, где Евгений Мальм окончил школу, техникум и консерваторию по классу дирижёра, был организатором и руководителем русских хоров «Ивушка» и «Знаменный», работал переводчиком, преподавал. В 1976 году Евгений Мальм участвовал в постановке «Бориса Годунова» в оперном театре Буэнос-Айреса. Позже он был стипендиатом Института им. Гнесиных [12] в Москве. После окончания курса Е. Мальм на короткий срок возвращается в Аргентину, а затем переезжает с женой в Испанию, в Барселону, где семья живет уже более 30 лет. Здесь он стал носить двойную фамилию, поскольку в Испании носят фамилии и отца, и матери. Е. Мальм-Майер работал с хором Каталонской православной церкви, готовил передачи для национального радио



Евгений Мальм-Майер

Испании, занимался со студентами, читал лекции по истории музыки, сотрудничал с испанскими музыкальными театрами. В настоящее время он руководит камерным хором «Арс-Аниме» (сайт этого хора в Интернете <http://www.arsanimae.org>).

Судя по всему, ни автор статьи [24], ни Евгений Мальм-Майер ничего не знают о судьбе представителей другой ветви дерева Майеров [13], которая идёт от Григория Николаевича Майера через его второго сына, инженера Григория Григорьевича Майера (1874-1942). В 1905 г. у Григория Григорьевича и его жены Надежды Артемьевны (1877-1951, в девичестве Яковлевой) и родился будущий математик Артемий Григорьевич Майер.

Биография А.Г. Майера

В архиве сохранился рукописный черновик автобиографии, написанный А.Г. Майером в 1947 году — см. рис.3. Почерк А.Г. Майера вполне разборчив, так что есть возможность привести расшифровку этого документа, что и сделано ниже; прямым шрифтом в скобках — некоторые добавленные мной дополнительные сведения.

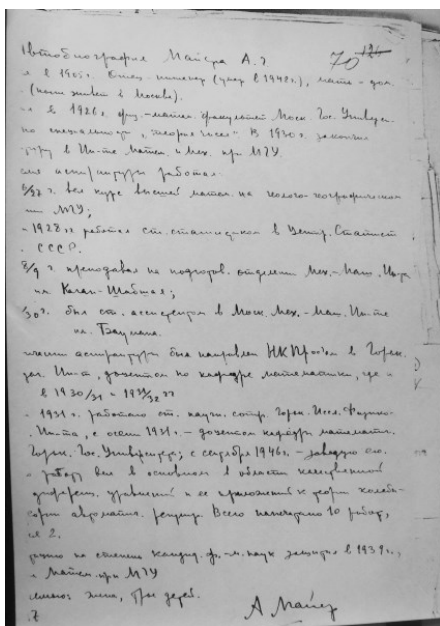


Рис.3

Автобиография Майера А.Г.

Родился в 1905 г. (В г. Дмитриев Курской губернии.) Отец — инженер (умер в 1942 г.), мать — дом. хозяйка (ныне живёт в Москве).

Окончил в 1926 г. физ.-матем. факультет Моск. Гос. Университета по специальности «теория чисел». В 1930 г. закончил аспирантуру в Ин-те

Матем. и Мех. при МГУ. (Руководителем А.Г. Майера в аспирантуре был известный математик А.Я. Хинчин (1894-1959)).

Во время аспирантуры работал:

В 26/27 г. вёл курс высшей математики на геолого-географическом факультете МГУ.

(?) - 1928 г. работал ст. статистиком в Центр. Статист. [управлении] СССР.

В 8/9 г. преподавал на подготов. отделении Мех.-Маш. Ин-та им. Каган-Шабшай.

В 29/30 г. был ст. ассистентом в Моск. Мех.-Маш. Ин-те им. Баумана.

По окончании аспирантуры был направлен НКПрос'ом в Горьк. Педаг. Ин-т, доцентом по кафедре математики, где и работал в 1930/31 и 1931/32 гг.

С 1931 г. работаю ст. научн. сотр. Горьк. Иссл. Физико-Техн. Ин-та, с осени 1931 г. — доцентом кафедры математич. анализа Горьк. Гос. Университета; с сент. 1946 г. — заведую ею.

Научную работу вёл в основном в области качественной теории дифференц. уравнений и её приложений к теории колебаний и к теории автоматич. регулir. Всего напечатано 10 работ, [готовятся] 2.

Диссертацию на степень кандид. ф.-м. наук защитил в 1939 г., в Ин-те Матем. при МГУ.

Имею семью: жена, трое детей.

1947

А. Майер

А.Г. Майер не упомянул, что с 25 апреля 1933 г. по 8 февраля 1934 г. он был деканом физико-математического факультета^[14].

В 1996 г. Е.И. Гордон^[15] и я посетили Е.А. Леонтович-Андронову специально с целью поговорить о Майере, у меня хранится аудиозапись этой беседы. Вот рассказ Е.А. Леонтович-Андроновой из этой беседы о том, как А.Г. Майер попал в ГИФТИ^[16] в группу Андропова: «Он [А.Г. Майер] был по распределению распределён в Нижний Новгород. Так что когда мы сюда приехали с Александром Александровичем [Андроновым], то он уже там был, он работал в пединституте, и Александр Александрович его к себе перетянул и пригрел. В пединституте он чем-то занимался, он чем-то очень трудным, по-моему, он занимался теорией чисел. Он говорил, что вот когда он работал по той тематике, которая у него была в Москве, что он как-то доходил до пределов мысли, что это очень тяжело. Так что он с большим удовольствием, по-моему, связался с Александром Александровичем. Сменил тематику, которая для него была очень тяжела».

Ещё один момент в тексте автобиографии требует разъяснения и заслуживает отступления от основной линии повествования. Дело в том, что сейчас мало кто знает, что это за учебное заведение «Мех.-Маш. Ин-т им. Каган-Шабшай» и кто такой Каган-Шабшай.

Институт, на подготовительном отделении которого в 1928-1929 гг. преподавал А.Г. Майер, был образован в 1920 году и позже получил название «Государственный Электромашиностроительный Институт имени Каган-Шабшай» (ГЭМИКШ). Это был весьма необычный ВТУЗ, созданный с целью образования полноценных инженеров за 2-3 года против обычных в то время 6-7 лет. Основным путём для реализации

этой цели было создание органичной связи между образованием и промышленностью. Вступительных экзаменов было пять — три устных: алгебра, геометрия и тригонометрия, и два письменных: геометрия и алгебра с тригонометрией. 4 дня в неделю студент работал на заводе, 2 дня в неделю по 10-12 часов (!) происходило теоретическое обучение. Институт имел шесть курсов и только один месяц каникул, так что в год проходило по три курса, и через два года студент получал звание инженера, если не проваливался на каком-нибудь экзамене. В случае хотя бы одного провала студент оставался на курсе второй раз. Третий раз оставаться на одном курсе было нельзя. Максимальный срок пребывания в институте — три года.

Не следует особенно удивляться, что такой нестандартный институт принимался в штыки тогдашним Министерством образования — Наркомпросом. Руководство института решило искать защиту, и 9 мая 1928 года в ЦК ВКП(б) состоялась двухчасовая беседа бюро фракции ВКП(б) ГЭМИКШа и Я.Ф. Каган-Шабша со Сталиным. Стенограмма этой беседы опубликована в [25] (см. также [26]). В частности Сталину было доложено, что «у нас есть Рабфак и физико-математическая школа (средняя школа)», «имея ежегодный контингент 330 человек, выпускаем 150 человек». Сам Каган-Шабшай, отвечая на вопросы Сталина, говорил: «Мы должны сказать с полной ответственностью, что мы даем промышленности научно крепко воспитанного и образованного человека, но на другой, принципиально иной научной базе <...>. Мы приблизили почти к университетскому развороту главным образом вопросы математики и механики, ибо это есть действительно научная база инженера — работника индустрии, а не ее чиновника. <...> Вопросы университетской науки математики и механики в количественном и качественном отношении поставлены у нас, как нигде. Здесь мы вытягиваем на максимум»^[17].

Тем не менее, в 1933 году ГЭМИКШ был расформирован. Позднее в его здании (Страстной бульвар, дом 27/16) располагался МАТИ (Московский авиационный технологический институт)^[18], а станкоинструментальный факультет ГЭМИКШа был преобразован Каган-Шабшаем в Московский станкоинструментальный институт^[19].

Но, пожалуй, самое необычное состоит в том, что слово «государственный» в названии ГЭМИКШа не отвечает действительности — институт был создан Каган-Шабшаем на его личные средства. Таким образом, в 20-е годы в Советском Союзе существовало частное высшее учебное заведение!

Яков Фабианович Каган-Шабшай (1877-1939) получил разностороннее образование и благодаря чрезвычайной энергичности и работоспособности воплотил в жизнь многие свои проекты. В своей автобиографии он писал: «С 1910 года не был в отпуске» (см. [27]), а близко знавшие его добавляли, что с того же времени он ни разу не имел выходного дня. Из той же автобиографии: «В 1896-м окончил классическую гимназию в г. Могилеве, после чего поступил в Киевский ун-т на медицинский факультет, который не закончил, а перешёл на математический факультет этого же ун-та, который окончил в 1902 году^[20]. В том же году поступил в Льежский электротехнический институт (в Бельгии) на 3-й курс и окончил его с отличием. После окончания Льежского института в качестве молодого инженера около года пробыл в Берлине на з-де «Сименс и Шукерт», откуда в 1920 г. поступил инженер-электриком на Московский Электрический завод Вестингауза. В 1910 году стал заниматься научной деятельностью и консультационной работой. В 1920 году организовал Институт инженеров-электриков производственников, в дальнейшем Государственный электромашиностроительный институт моего имени, где

был вплоть до конца 1931 года директором и профессором электромашиностроения, заведующим той же кафедрой).

В упоминавшейся выше беседе Каган-Шабшай сказал о себе Сталину: «Я ведь сам человек Запада и должен вам сказать, что там именно инженер высшей квалификации и составляет кадр инженеров-производственников». Этот «человек Запада» не был членом партии, но по убеждениям был патриот и государственный. Еще в 1905 году он писал ^[21] о необходимости создания в России «национального производства, развивающегося на собственные средства и силы, а не идущего на поводу у иностранцев» — тезис, не утративший злободневности и сегодня.

Вот фрагмент яркого описания личности Я.Ф. Каган-Шабшай в [27]:

«Это был человек, обладавший способностью — где бы он ни находился, на каких поприщах бы ни выступал — будоражить мысль. Каган-Шабшай считал наилучшим способом для выяснения истины научный спор и имел репутацию непобедимого полемиста. В нём присутствовало редкое сочетание качеств. Он был крупным инженером-практиком и глубоким теоретиком — физиком и математиком. Незаурядность этой богато одарённой природы проявлялась ещё и в том, что при «повышенной», как он сам выражался, технической подготовке был человеком классического образования и широких гуманитарных интересов. Он знал по меньшей мере пять иностранных языков — из древних латынь, древнегреческий и, по-видимому, иврит, из живых — французский, немецкий, не говоря уже об идише. Это был человек, сумевший проявить себя на разных поприщах, и на каждом из них — будь то производство, наука, педагогика или художественное собирательство — осуществить собственный неординарный подход к делу. В любой области, где бы он ни начинал работать, Каган-Шабшай становился ведущим лицом, если не формально, то по существу.»



Яков Фабианович
Каган-Шабшай

Про ГЭМИКШ сейчас мало кто знает. Больше известна деятельность Я.Ф. Каган-Шабшай на «культурном фронте». Почти сразу после приезда в Москву в конце 1900-х годов он начал собирать произведения искусства, и уже к середине 1910-х годов был одним из самых авторитетных коллекционеров Москвы. Он мечтал создать первую еврейскую художественную галерею в Москве. Но галерею открыть не удалось — Моссовет отказал в просьбе выделить участок под строительство галереи на собственные средства Каган-Шабшай. Его коллекция к началу 1920-х годов «включала свыше 300 произведений живописи, скульптуры и графики более чем 30 мастеров. Её ядром была исключительная по полноте и художественной ценности подборка работ Шагала...» [27]. Сам Марк Шагал писал в [28]:

«Каган был одним из первых покупателей моих картин. Он выбрал несколько штук для национального музея, который собирался основать.»

Каган-Шабшай в разные годы поддерживал Шагала и других художников как меценат. Подробности об этом, как и о судьбе коллекции Каган-Шабшай, см. в [26], [27].

Вернёмся теперь к биографии А.Г. Майера — к пункту «*Имею семью: жена, трое детей*» его автобиографии. А.Г. Майер женился в 1926 году на Нине Фёдоровне Морошкиной (1901-1971), внучке известного юриста, профессора Московского университета Фёдора Лукича Морошкина (1804-1857) и дочери действительного статского советника Фёдора Фёдоровича Морошкина (1850-1918). Их старший сын Александр Артемьевич Майер (1927-1997) был заслуженным деятелем науки и техники, профессором Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, заведовал кафедрами химической технологии керамики и огнеупоров (1974-1976) и химии и технологии кристаллов (1976-1995). Вторым сыном, Николаем Артемьевичем Майером (1932-2012), тоже был крупным химиком, членом-корреспондентом НАН Беларуси.



Александр Артемьевич Майер



Николай Артемьевич Майер

В органической химии известна реакция Разуваева-Ольдекопа-Майера [22]. Дочь Артемия Григорьевича и Нины Фёдоровны, Наталия Артемьевна, 1937 года рождения, в замужестве Казакова — кандидат технических наук, работала доцентом Нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ).

В 1948 г. Артемий Григорьевич и Нина Фёдоровна разъехались, вне семьи у А.Г. Майера родился сын Алексей, который в 1950 г. по обоюдному согласию был ими усыновлён.

А.Г. Майер в Нижегородском (Горьковском) университете

Артемий Григорьевич Майер начал работать в Нижегородском университете с осени 1931 г. в должности доцента кафедры математического анализа, а с 1946 г. до конца своей жизни заведовал этой кафедрой. После защиты (1947 г.) док-

торской диссертации А.Г. Майер в 1948 г. был утверждён ВАК в звании профессора. Этот короткий послужной список совершенно не раскрывает активное участие А.Г. Майера в жизни университета и его особую роль в развитии математики в Нижнем Новгороде. Об этом и будет рассказано ниже на основании архивных документов и собранных автором как опубликованных, так и не публиковавшихся воспоминаний о Майере.



Дмитрий Андреевич Гудков

Начнём с заметки из архива профессора Д.А. Гудкова^[23], которая, насколько мне известно, не публиковалась и предназначалась, вероятно, для местной или стеной печати. Краткость заметки позволяет привести её текст полностью.

Профессор А.Г. Майер играл заметную роль в повышении математической культуры в Горьковском госуниверситете. А.Г. Майер участвовал в разработке курса математического анализа (наряду с проф. И.Р. Брайцевым^[24] и проф. А.Г. Сигаловым^[25]).

Традиции, созданные им, сильны и сейчас. Читал А.Г. Майер и многие другие курсы: дифференциальные уравнения, теорию чисел, качественную теорию дифф. уравнений и т.д. Отмечу содержательный курс истории математики. Этот курс в Горьковском университете теперь забыт. Я особенно сожалею об этом, т.к. ценю исторический подход к развитию математических теорий в современной математике.

А.Г. Майер принадлежал к коллективу учёных, организованному академиком А.А. Андроновым. А.Г. Майер вёл большую научную работу и был симпатичным и привлекательным научным руководителем для своих учеников.

Вспоминается, что создание кафедры математики на радиофаке и «уход» с физмата был идеей Артемия Григорьевича. Очень жаль, что он не дождался



осуществления этой идеи, т.к. живо интересовался применением математики к радиофизическим проблемам.

*Артемий Григорьевич любил стихи, математику и людей.
23.9.76 г. Ученик проф. А.Г. Майера проф. Д. Гудков.*



2-ой курс отделения «Теория колебаний» физфака ГГУ, 1933 г.
В центре за столом сидят А.А. Андронов (слева) и А.Г. Майер.



Выпускная фотография группы радиофизического факультета ГГУ.
В прямоугольных рамках по краям А.Г. Майер и А.А. Андронов.

По поводу написанного в приведённой заметке сразу отмечу, что именно Д.А. Гудков реализовал идею Майера «ухода с физмата»: Гудков организовал в 1961 г. кафедру математики радиофизического факультета, которой он руководил до 1978 г. Перейдя затем на мехмат в качестве заведующего кафедрой геометрии и высшей алгебры (1978-1988 гг.), Гудков восстановил курс истории математики. Что же касается подписи «ученик...», то, конечно, Д.А. Гудков, как и многие другие нижегородские математики, может считать А.Г. Майера своим учителем, однако, как сам Гудков неоднократно говорил и писал, задачу построения теории грубости для алгебраических кривых, решение которой привело в конечном итоге к замечательному прогрессу в 16-ой проблеме Гильберта, предложил ему А.А. Андронов. По каким-то причинам Андронову было неудобно числиться руководителем, и он попросил об этом Майера.



Борис Николаевич Верещагин

Имеются ещё несколько воспоминаний о лекциях А.Г. Майера. Так, Б.Н. Верещагин^[26], однокурсник Д.А. Гудкова по физико-математическому факультету ГГУ и его многолетний товарищ, вспоминал:

"Одним из близких и талантливых сотрудников Андропова, игравшим также весьма серьёзную роль в преподавании таких важных дисциплин, как теория дифференциальных уравнений и уравнения в частных производных математической физики, был доцент, впоследствии профессор математик Артемий Григорьевич Майер. Его прекрасные лекции давали нам, студентам, очень много".

Об отношении студентов к А.Г. Майеру (или А.Г. Майера к студентам?) много говорит фрагмент из воспоминаний неизвестного мне автора А. Борисова (газета «Горьковский Университет» за 28 сентября 1965 года):

Студент получил двойку и уходит с экзамена без тени недовольства. Ему ясно, где его ошибки, что он недоработал. Вам случалось видеть такое? Мне вспоминается в этих случаях экзамен по математическому анализу у профессора А. Майера.

Вот пример буквально восторженных воспоминаний о лекциях А.Г. Майера из книги М.А. Миллера^[27] [35]:

Напомню, что главным Математиком у нас можно было считать Артемия Григорьевича Майера. Это был пример антипеданта. Никакого занудства. Никакого «профессорства». Блестящая сообразительность и лёгкость. Послед-



Михаил Адольфович Миллер

няя служила предметом осуждения со стороны некоторых его коллег. Я думаю, он был Математиком Полёта. Поэтому иногда его заносило.

В пламенных лекциях, экспромтных, свежееизготавливаемых прямо на виду у публики, он достигал максимального успеха, какой только можно представить: в конце каждого присутствия мне хотелось стать математиком! Возможно, не только мне! Пожалуй, не такой плохой критерий оценки «захватываемости профессией»!

Ниже будут ещё воспоминания о лекциях Майера, но сейчас отмечу, что А.Г. Майер совмещал интенсивную научную работу и выполнение большой учебной нагрузки с активным участием в университетской жизни. В характеристике [28], подписанной ректором университета, в частности говорится: «За время работы в университете тов. Майер принимал и принимает активное участие в общественной работе — работал членом бюро секции научных работников, хорошо работал на трассе оборонного строительства, за что получил грамоту Горьковского Комитета Обороны. Сейчас работает председателем [29] ревизионной комиссии Месткома и является председателем студенческого научного общества при университете». Сохранился ещё один документ [30] о работе на строительстве оборонных сооружений в октябре-декабре 1941 г., в котором сказано: «В работе на трассе особо отличились начальник колонны ассистент А.К. Шевелев, начальники и политруки сотен: ассистент М.С. Федотов, доцент А.Г. Майер, аспирант А.И. Кокорин, старший преподаватель Прилучный, О.Н. Шалыганова, доцент Н.А. Жулин, бригадиры аспирант Щербаков, студент Конаков, студентка Харченко, аспирант И.Г. Сумин и десятки других товарищей, отмеченных руководством строительства и Городским Комитетом Обороны».

В голодные военные годы А.Г. Майер был назначен членом «столовой комиссии»: "1. Утвердить столовую комиссию при студенческой столовой № 24 в составе: Тарасова — студ. ГГУ, председатель; Гладышевой Л. — студ. ГПИ, зам. председателя; Бокаревси Л. — студ. ГПИ, член; Исаевой Н. — студ. ГПИ. член. Кокорина А.И. — аспирант ГГУ, член; Майер А.Г. — доцент ГГУ, член; Чулровой — студ. ГГУ, член: < ... > 3. Установить, что в обязанности членов комиссии входит контроль за завозом продуктов в столовую и буфеты: контроль за качеством подготовки обедов в столовой: контроль за правильностью выполнения раскладки продуктов по порциям в столовой и буфетах, <...> контроль за правильностью наценки на блюда в столовой и буфетах, <...> дежурство членов комиссии в столовой и буфетах по особому расписанию ... " (Из Приказа №1 ректора ГГУ от 23 января 1942 года, см. [37]).

По рассказу Н.А. Казаковой, дочери А.Г. Майера, в военные годы Артемий Григорьевич ездил со студентами на лесозаготовки, сдавал кровь для раненых.

О работе А.Г. Майера председателем оргбюро созданного в ГГУ в 1948 г. научного общества студентов (НСО) упоминает (личное сообщение, январь 2014 г.) А.Я. Левин [31]. Воспоминания А.Я. Левина представляются мне очень интересными и ниже приводятся полностью.

Артёма Григорьевича Майера я довольно близко знал. Он был научным руководителем студенческого научного общества, а я сменил Витю Зверева [32] на посту то ли заместителя Майера, то ли председателя этого общества. Мы постоянно встречались с ним на заседаниях президиума общества. Он обычно приносил с собой виноград или другие фрукты для угощения студентов. После заседания мы вместе шли домой, так как он жил

в домах на Алексеевской ^[33], и разговаривали. Он уговаривал меня заняться историей русской денежной системы времен Ивана Грозного. По его мнению это очень интересная тема, так как сложность этой системы свидетельствует, что математические знания того времени были более продвинутыми, чем принято считать ^[34]. Я тогда сказал, что уже влез в историю Флоренции 14-16 веков. Он со знанием дела стал обсуждать со мной историю дома Медичи. Разносторонность его знаний была потрясающей. На юбилее профессора Некрасова ^[35] он заявил, что может прочитать получасовую лекцию по любой заданной теме. Не помню, какие две темы ему предложили, но, как рассказывали очевидцы, он справился с ними блестяще.



А.Г. Майер с дочерью Наташей, 1948 г.



Авраам Яковлевич Левин

Как-то во время такой прогулки мы подошли к магазину на углу Октябрьской и Алексеевской, и он накупил много разных овощей. Начал подсчитывать свой долг и сбился.

Продавец, подсчитав в уме, назвал сумму и прибавил с укоризной: "А ещё в шляпе. Считать надо уметь". Артём Григорьевич засмеялся и сказал: "Не только в шляпе, но ещё и профессор математики". Когда мы отошли, он, продолжая смеяться, сказал: "Теперь до конца дней ему будет, чем гордиться". Он нарочно представился профессором, чтобы воздать должное и доставить удовольствие продавцу. Была в нём некоторая ребячливость. Как-то у лестницы в тогдашнем главном здании на Свердловке ^[39] ко мне подошел незнакомый мужчина и сказал: "Здравствуй. Уже сдал сессию?" Я посмотрел недоуменно. Он расхохотался. А.Г. сбрил бороду и разыгрывал знакомых. За те 4 года, которые я общался с Артёмом Григорьевичем и участвовал в университетской жизни, никаких проявлений особой приверженности официальной идеологии и политике у него я не наблюдал. Напротив, он весьма скептически реагировал на проявления особого рвения в демонстрации приверженности к линии партии. Вот, например, такой эпизод, который я вчера вспомнил. А.Г. был остроумен и быстро реагировал на ситуацию. Был у нас в университете профессор Воронцов ^[40]. Он заведо-

вал кафедрой зоологии на биофаке и занимал должность проректора по науке при ректоре Мельниченко ^[41]. Он был ревностным борцом за выполнение очередных партийных постановлений. В 47–48 годах в соответствии с постановлением ЦК КПСС развернулась борьба против иностранного влияния (против преклонения перед иностранщиной). Например, на общегуниверситетском комсомольском собрании Воронцов выступил с обличительной речью, обвиняя студентов, что они толпами посещают кинотеатр Палас ^[42] (он был рядом с университетом в помещении нынешнего кукольного театра), где шла трофейная лента "Девушка моей мечты" с Марикой Рокк ^[43], и смотрят эту зарубежную порнографию. Из зала спросили: "А Вы видели этот фильм?" Воронцов с негодованием отклонил такое предположение. Тогда тот же голос спросил: "А откуда Вы знаете, что он порнографический?" Весь зал взорвался хохотом. Так вот, с этой же борьбой Воронцова против иностранщины связан эпизод столкновения Воронцова и Майера.

На Ученом Совете университета (тогда защиты проходили на общегуниверситетском совете) шла защита физической диссертации. Я не помню, был Горелик ^[44] руководителем соискателя или оппонентом. В ходе обсуждения Воронцов взял слово и, признавшись, что он ничего не понимает в содержании диссертации, упрекнул диссертанта в злоупотреблении иностранными словами. Горелик взорвался: "Так что, вместо скинэффекта говорить шкурэффект? Есть международные термины".

После защиты в повестке дня Совета был отчет Воронцова о работе кафедры зоологии. Докладывая о различных направлениях, он сказал: "В области орнитологии ..."

Тут Майер прервал его и бросил реплику: "Уважаемый коллега, Вы, вероятно, имеете в виду птицеведение?" Воронцов застыл, раскрыв рот. Члены совета рассмеялись. Потом хохотал весь университет.

Вот такие ехидные реплики были характерны для Майера.

Он любил всякие розыгрыши. Например, когда кто-нибудь в отделе ГИФТИ чихал, он не реагировал. Потом, после какого-нибудь чихания, неожиданно говорил: "Будьте здоровы". Оказывается, он считал эти чихания и желал здоровья только на пятый чих. Объяснял эту странность поговоркой: "На каждый чих не наздравствуешься".

Здесь уместно привести ещё несколько свидетельств М.А. Миллера:

Но когда-то («в свое время») моё поколение — ну, его выделенная часть — любило такую интеллектуальную забаву, подсказанную нам удивительным и неповторимым человеком — профессором математики Артёмом Григорьевичем Майером <...>. Игра-забава состояла в придумывании рассуждений, связующих два или несколько произвольно названных событий, фактов, «случаев из науки и жизни». И чем отдалённее — по смыслу были эти случаи, и чем изощрённее и неожиданнее оказывались придумываемые связи, тем выше была оценка победы ^[45]. (Из книги [41]).

Даже в житейском юморе он умел придавать своим высказываниям теоремно-подобную форму. Он говорил, например: «Миша, — его обращение почти ко всем нам были именными, — я знаю почти всех людей, которых могу и должен знать. Но я не умею их всех расставлять по именам и долж-

ностям! С возрастом число знакомых неуклонно растёт, а число запоминаемых и узнаваемых уменьшается. Равновесие наступает где-то посре́дке жизни, лет под сорок!» <...> А вот ещё одна забавная и вполне педагогичная «теоремка Майера» (увы! Но в моей обработке!): «Всякую мысль, сколь угодно сложно выраженную, можно представить в ещё более сложном виде, причём любым сколь угодно сложным образом усложняя её далее и далее» (Из книги [35]).



Совет НСО ГГУ, 1949 год.

В первом ряду второй слева А.Я. Левин, в центре А.Г. Майер, во втором ряду в центре В.И. Плотников [36], второй справа — А.В. Зевеке [37], крайний справа — Н.Я. Пратусевич [38].

Узнав из сообщения А.Я. Левина, что член-корреспондент РАН Виталий Анатольевич Зверев («Витя Зверев») был связан с А.Г. Майером, я попросил Виталия Анатольевича поделиться воспоминаниями, основная часть которых (личное сообщение, январь 2014 г.) приводится ниже.

Артемий Григорьевич действительно организовал научное студенческое общество, а меня, как самого сильного студента курса, поставил его председателем. Но сильным студентом я действительно был, а общественником был абсолютно никудышным. Не знал, что надо делать, и меня пришлось заменить. Но не это главное. Главное то, что из меня сделали научного работника, способного получать новые научные результаты, два преподавателя нашего ГГУ. Это Габриэль Семёнович Горелик и Артемий Григорьевич Майер. Причем последний — в наибольшей степени.

Мне довелось испытать на себе влияние Артемия Григорьевича как учёного и педагога. Что это сильно повлияло на меня сказать мало, почти ничего не сказать. Под его влиянием и только под его влиянием я что-то новое смог самостоятельно сделать в науке!

Все мои научные подвиги описываются одним общим очень простым алгоритмом. Я получал новые результаты по физике, используя общее математическое описание физических явлений, относящихся к разным обла-

стям физики или к различным областям применения физики. Иных результатов у меня нет, а таких результатов довольно много, а этим методом меня вооружили два преподавателя ГГУ — Габриэль Семёнович Горелик (физическая основа метода) и Артемий Григорьевич Майер (математическая суть метода, вся его практическая основа).

Теперь как это было. С физикой и Г.С. Гореликом было просто, так как он именно этому методу настойчиво учил своих студентов на примере физики колебаний и волн. С математикой всё описать гораздо сложнее, и придётся начать очень издали. Будучи студентом, я с невероятным наслаждением, прямо с упоением слушал лекции Артемия Григорьевича. В его изложении математика выглядела необычайно увлекательной наукой, с необыкновенной захватывающей интригой. Лекции Артемия Григорьевича я слушал в ГГУ, в который поступил учиться, демобилизовавшись из армии после войны, по рекомендации своего близкого друга Михаила Адольфовича Миллера.

Лекции Артемия Григорьевича мне были понятны сходу и необычайно интересны. Помню такой случай. Только что закончилась лекция Артемия Григорьевича, в которой он блестяще рассказал о конформных преобразованиях. После лекции лабораторная работа. Я в этой работе применил только что услышанное конформное преобразование. У меня в результате работы появился график, в котором благодаря конформному преобразованию координат результаты измерений равномерно покрыли теоретически построенную зависимость. У преподавателей, принимавших у меня эту работу, глаза на лоб полезли от удивления таким результатом лабораторной работы.

Главное, что математика при всей ее необычайной удивительности и увлекательности, превосходящей самые увлекательные детективы во много раз, абсолютно точная наука. Это неизменно подчёркивал и доказывал Артемий Григорьевич в своих лекциях. Лекции он читал без бумажки, беседуя с аудиторией запросто, все формулы выписывал по памяти. Он пояснял нам при этом, что каждая лекция от него требует длительной и тщательной подготовки, что у него есть и припасена шпаргалка, которая лежит в кармане и в любой момент может быть задействована, но таких моментов не было.

Но всего того, что сказано выше о педагогической деятельности Артемия Григорьевича, ещё крайне мало. Он умел много больше. Он передавал слушателям, а точнее мне, как его слушателю, свое наслаждение научной работой. Это неизвестно, как и чем передается, но как-то это передается. Для этого необходимо самому испытывать это наслаждение в такой сильной степени, чтобы оно, существенно ослабляясь с дистанцией, достигало до слушателя ещё в такой сильной дозе, которая способна его



Виталий Анатольевич Зверев

зажечь. У меня Артемий Григорьевич не только разжигал наслаждение наукой во время своих лекций, а научил меня самостоятельно разжигать этот огонь у себя впоследствии. Это то же самое, что научить человека ловить рыбу, а не кормить его искусно пойманной рыбой.

Артемий Григорьевич говорил нам, что преподаватели водят нас по им известным тропинкам, кем-то уже протоптанным и исхоженным. Наука находится в стороне от этих тропинок, но никто не учит тому, как надо свернуть с исхоженной тропки и начать прокладывать свою, лежащую в стороне. Так вот, нас Артемий Григорьевич этому учил. Научились не все, но я этому научился именно от него, а без него ничтожём бы не научился. Все дело в том, что меня восхищала и притягивала к себе та математика, которую нам рассказывал Артемий Григорьевич.

Мне Артемий Григорьевич указал и открыл прямую дорогу к счастью, которая лежит через науку. Другим альтернативным путем к счастью является обладание деньгами, к чему многие стали стремиться в 90-е годы. Но это путь весьма сложный, который даже в случае успеха не всегда ведёт к цели, так как счастье за деньги не всегда купишь. Наука ведет к счастью сразу, и оно при этом для всех доступно, но не все эту возможность осознают и не все преодолевают тот путь, который к этому ведёт, и ещё не все его знают. Артемий Григорьевич был человеком, который прошел этот путь. Он был счастливым в науке, был счастлив, беседуя с нами, его учениками. У нас были при этом точно те же отношения, которые были с учениками у тех греческих мудрецов, которые делали науку в древние времена. Он владел секретом того пути, который ведет человека в науку и счастье, и умел его показать!

Ещё об одной стороне педагогической деятельности А.Г. Майера рассказал мне П.Э. Сыркин [46]: в 1939 году, учась в 10-м классе, он был слушателем цикла лекций для школьников, эти лекции читали известные нижегородские учёные — А.А. Андронов [47], Г.С. Горелик, Л.П. Радзишевский [48], С.С. Четвериков [49] и другие. Был в их числе и А.Г. Майер, который рассказывал школьникам, что такое топология. По-видимому, это была первая лекция по топологии, прочитанная в Нижнем Новгороде.

Следует сказать, что А.Г. Майер вообще уделял школьному математическому образованию большое внимание — он был хорошо известен школьным учителям как лектор Горьковского областного института усовершенствования учителей, организовал в университете математическую олимпиаду для школьников.

Курс А.Г. Майера по истории математики

Кроме курсов лекций по различным чисто математическим дисциплинам А.Г. Майер много лет читал «содержательный курс истории математики» (слова из приведённой выше заметки Д.А. Гудкова). Долгое время была известна только [50] одна лекция из этого курса — точнее, у меня был документ, озаглавленный «Стенограмма лекции по Истории математики, прочитанной т. Майер для студентов 6-го курса Университета, группа математиков» с указанием даты «7 февраля 1950 г.» и с несколько неожиданной пометкой «отп. 3 экз. л.к.» (рис.4). Этот доку-

мент представляет собой 17 страниц машинописного текста в формате А4. Как выяснилось недавно (см. об этом ниже), один из «отп. 3 экз.» хранится в Архиве РАН (ф.1938, оп.1, д.461, л.33 — 42).

Лекция начинается «с некоторых общих обзоров географии математики в первой половине и в начале второй половины XVIII века», приводятся «социальные и политические причины» того, что две из ведущих математических стран 17-го века, Англия и Германия, в начале 18-го века отошли в тень, а вместо них лидирующие позиции заняли Швейцария и Россия (обе последние цитаты из стенограммы). Далее рассказывается о создании Петербургской академии наук и довольно подробно — о деятельности Л. Эйлера, с включением в рассказ некоторых элементов его биографии, в том числе его взаимоотношений с М.В. Ломоносовым. Завершается лекция описанием подходов Эйлера к обоснованию анализа. Трудно адекватно судить о лекции по имеющейся стенограмме^[51], а не по живому восприятию или хотя бы по авторскому тексту, но все же можно отметить два обстоятельства: отсутствие каких-либо точных математических формулировок^[52] и стремление А.Г. Майера излагать историю математики прежде всего как историю идей, что, конечно, не просто.

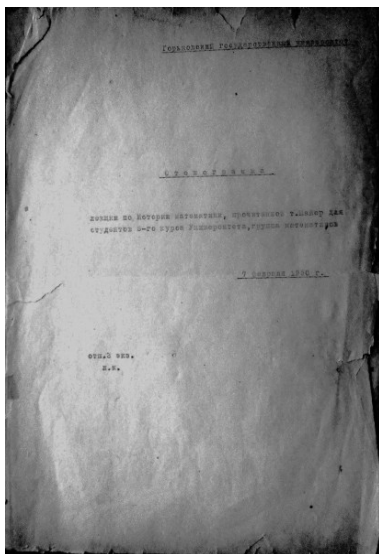


Рис.4. Титульный лист стенограммы лекции, прочитанной А.Г. Майером 7 февраля 1950 г.

Три года назад в той части архива академика А.А. Андропова, которая хранится в Архиве РАН, обнаружили^[53] четыре документа, касающиеся курса Майера по истории математики. Один из них — только что описанная выше лекция, второй (Ф.1938, оп.1, д.461, л.1) — написанный рукой Майера черновик «Программа по курсу истории математики» — представляет собой вполне стандартное по содержанию описание первых трёх пунктов хронологически построенного курса: 1. Общее введение; 2. Первобытный счёт, египетская математика; 3. Вавилонская математика. В качестве приметы времени стоит процитировать фрагмент из пункта 1: «Тезис Маркса об изменении мира. Значение руководящей роли пар-

тии и правительства в развитии математики в СССР; основные причины успехов советской математики».

Третий документ (ф.1938, оп.1, д.461, лл.2, 2об, 3) — написанные рукой А.Г. Майера черновые наброски, озаглавленные «О природе (зачёркнуто) математике». Это девять тезисов философского характера, которые касаются происхождения математики, её сопоставления с другими науками, проблемы появления и роли математических доказательств. Прочитую несколько интересных, на мой взгляд, утверждений А.Г. Майера: «Обычная концепция: научная математика смешивается с логической. Это противоречит всему представлению о науке и ставит математику в особое положение»; «По происхождению своему математика не отличается от других наук о природе: отдельные замечания дают возможность в отдельных случаях связать разные явления»; «Роль традиции в догреческой математике особо велика. Поэтому сравнительная слабость приёмов решения более простых задач, созданных в более раннюю эпоху, по сравнению с приёмами решения задач более сложных, рассмотренных позднее. Критерий истинности научного факта: согласие с опытом и традицией. <...> Нужны совершенно особые условия, чтобы вырвать математику из этого ряда наук. В отношении математики это — сравнительная с другими науками простота, бедность конкретных признаков изучаемого объекта, большая поэтому её развитость. Особые условия древней Греции эпохи VI-IV вв: огромный накопленный материал, отсутствие традиции»; «Возникновение двух отношений к математике: демокритовского и пифагорейски-платоновского. <...> Беспомощность и неприменимость чистой платоновской концепции в чистом её виде». Далее следуют замечания по поводу «Начал» Евклида: «Ничемность ряда постулатов. Отсутствие у Евклида ряда математических фактов. Особое внимание к математическим проблемам, имеющим мистический смысл». И в конце текста: «Крах абсолютной истинности — роль Лобачевского. Его неосознанность до настоящего времени. Концепция аксиом в современной математике, воззрения Энгельса. Смысл доказательства в настоящее время в его фактическом употреблении».

Перейдём к наиболее объёмному документу — ф.1938, оп.1, д.461, лл. 4 — 31 (среди этих листов имеются ещё несколько оборотных), при ссылках на который ниже будет указываться просто номер листа. Это записанный в разлинованном блокноте формата А4 неизвестным мне почерком курс лекций А.Г. Майера по истории математики, озаглавленный «История математики. 1950 – 1951 год» (рис. 5). Сразу замечу, что содержание этого документа, увы, не оправдало моих ожиданий. Нельзя сказать, что в нём мало интересного, но это не запись лекций, а весьма краткий (некоторые лекции занимают всего один лист) конспект, причём довольно странный. Странность эта заключается, прежде всего, в том,

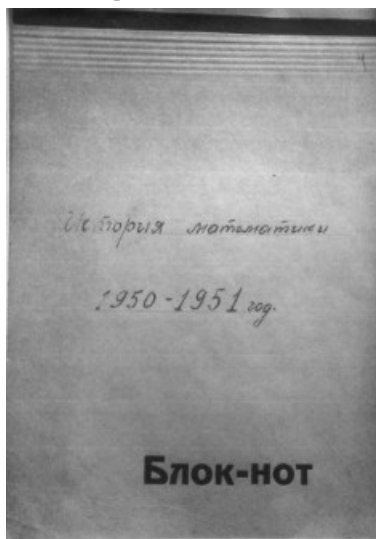


Рис.5.

что в лекциях по истории математики совершенно нет геометрических чертежей и почти нет указания конкретных дат, формулировок математических утверждений, конкретных задач и т.п. Кроме того, на каждом листе блокнота красным карандашом отведены довольно широкие поля (рис. 6), на которых отмечаются ссылки, данные лектором (в том числе на труды классиков марксизма-ленинизма), а также моменты, когда на лекции возникла дискуссия. Запись весьма аккуратная, причём первые после титульного три листа документа (лл. 5-7) первоначально вполне разборчиво написаны на отдельных листах, а затем дословно переписаны более аккуратно тем же почерком в блокнот (лл. 7, 8, 8об). Создаётся впечатление, что этот конспект составлялся по какому-то особому заданию.

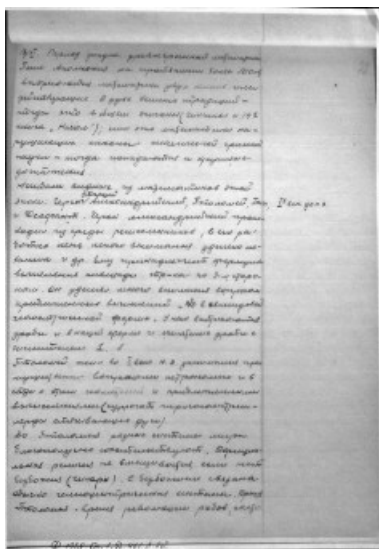


Рис.6.

Всего законспектированы 19 лекций: один раз в неделю с 2.09.1950 до 30.12.1950, плюс последняя лекция 12.02.1951. После вводного материала о математике как науке и о предмете курса изложение идёт хронологически, начинаясь с математики Древнего Египта и заканчиваясь пред историей анализа (Кеплер, Роберваль, Ферма, Паскаль, Валлис, Кавальери). Не имея возможности из-за большого объёма привести здесь конспект лекций полностью, ограничусь некоторыми цитатами, нужными для изложения следующего раздела.

Мнение А.Г. Майера о роли традиции уже встречалось нам в его наброске «О математике». В конспекте лекции 5 (30.09.1950, л.14) читаем: «О примерах силы традиций в наше время. (Работы Лепешинской ^[54], её предшественников, долгая борьба за признание)» с указанием ссылки на полях: «"Большевик" №16, 1950 г.» Чуть ниже: «Сталин о традиции и её преодолении — умение преодолеть устаревшие традиции характерно и для передовой науки нашего времени» со ссылкой на полях: «Май 1938 — приём научных работников». В конспекте этой же лекции дважды утверждается об определяющей роли острой классовой борьбы в возникновении логического доказательства в Древней Греции.

В конспекте лекции 7 (14.10.1950, л.17) написано: «Евклид и его «Начала», обычная оценка Евклида как высокого образца логической строгости, оказавшего тем самым существенное и положительное воздействие на последующее развитие математики. Моя личная точка зрения: сознательный отрыв от практики, закрепленный в логической строгости изложения, гибелен для науки. Наличие в Евклиде обобщений ради обобщений — первый признак ложного пути. Вопрос о возможных ложных путях в современной математике — самокритический пример А.Д. Александрова (Уч.Зап. ЛГУ №2, 1950 год) [55]».

В конспекте лекции 9 (28.10.1950, л.19): «Научная несостоятельность проблемы совершенных чисел: Ленин о партийности в науке; точка зрения, диктуемая нам нашим классом, и понятие научности. О научности теоремы Ферма: уж очень много вокруг неё полезного построено — воздерживаюсь от осуждения». Чуть ниже: «Общая оценка Евклида, идеалистический пифагорейский дух его и сознательный подчёркнутый отрыв его от практических задач. Применение ленинской формулы о гносеологических корнях идеализма. Последующее влияние Евклида. <...> Резюме: в последующем Евклид икона, на которую охотно молятся, но которой фактически не пользуются (масса почтения, мало применения)».

Из конспекта лекции 15 (9.12.1950, л.26): «Алгебра Омара Хайяма. О его личности (ещё раз об определении национальности математика по культуре, а не по племенной принадлежности)».

Из конспекта лекции 16 (16.12.1950, л.28об): «Классовая борьба между демосом и аристократией древней Греции ввела в математику логику, классовая борьба между феодалами и буржуа зарождающегося капитализма ввела в математику элементы диалектики».

Ну и, разумеется, на протяжении всего курса — многочисленные ссылки на Энгельса. Примеры я не привожу, не сомневаясь, что читатель поверит и без примеров, поскольку рудимент ссылок на Энгельса жив и в современных курсах истории математики в России. Мне уже доводилось писать [43], что после того, как стало известно (см. [44]) о полном непонимании Энгельсом не только современной ему, но и совсем элементарной математики, такие ссылки вряд ли могут служить подкреплением какой-либо точки зрения.

«Хроника великой контroversы»

Заголовок этого раздела поставлен в кавычки, поскольку он заимствован из замечательной книги [45] Р.С. Гутера и Ю.Л. Полунова о жизни Джироламо Кардано. Речь пойдёт о, мягко говоря, контroversе [56] между учёным советом физмата ГГУ и А.Г. Майером. Сразу надо сказать, что эти события отражены в работах нижегородского философа А.А. Касьяна и его школы (см., например, [46] – [48]), однако мне представляется необходимым вернуться к этому ещё раз. Дело в том, что работы [46] и [48] представляют собой широкое и объёмное исследование, в которых история с Майером является только одним из эпизодов, а статья [47], посвящённая конкретно «делу Майера», совсем небольшая. В результате, несмотря на аккуратное использование массива архивных материалов, документы «дела Майера» цитируются мало, а они, на мой взгляд, интересны и весьма поучительны. Кроме того, вся ситуация рассматривается в [46] – [48] с другой точки зрения, а мои оценки событий и их героев не всегда совпадают с изложенными в этих работах.

Ещё в 1947 году на закрытом университетском партсобрании ректор А.Н. Мельниченко говорил, что «доцент А.Г. Майер в своих лекциях по истории математики совершенно не говорит о борьбе материализма и идеализма в науке, не рассматривает диалектическое развитие науки, не говорит об историческом процессе того или иного течения в науке»^[57]. Когда конкретно началось «подтавливание» А.Г. Майера, сказать трудно. Приведу фрагмент из статьи Е.И. Гордона [29] в его переводе.

«Вот один из рассказанных мне Д.А. [Гудковым] эпизодов травли А.Г. Майера, весьма ярко отражающий эпоху. На заседании кафедры математического анализа, которое ведет А.Г. Майер, заведующий кафедрой, являются с опозданием двое сотрудников совершенно пьяные. Громко топая сапогами, они проходят в аудиторию, садятся за стол и начинают вслух разговаривать на посторонние темы. А.Г. Майер требует, чтобы они ушли. Они в грубой форме отказываются. После того, как это повторяется несколько раз, Майер прекращает заседание кафедры. На следующий день ему объявляют выговор "за срыв заседания кафедры"».

Д.А. говорил, что эти сотрудники выполняли партийное задание. Конечно, вряд ли было прямое поручение, но была создана такая обстановка, при которой подобные действия фактически поощрялись начальством. Вообще, Д.А. считал, что организаторы этой кампании травли А.Г. Майера сознательно хотели довести его до смерти, прекрасно зная о его тяжелой гипертонии.

Естественно, эти люди преследовали чисто корыстные цели. После изгнания настоящих математиков педагогов с механико-математического факультета они сами возглавили кафедры, бездельничали и бдительно стремились избавляться от постоянно появлявшихся способных молодых людей, чувствуя в них потенциальную угрозу».

Возможно, по описанным причинам, возможно, в силу требований времени, а может быть, и в силу внутреннего побуждения А.Г. Майера, на кафедре математического анализа, которой он заведовал, ставились его доклады с явным идеологическим оттенком — например, в 1949 г. он докладывал «Об элементах идеализма в изложении курса анализа» (см. [48], с. 136). Доклад А.Г. Майера «О преподавании истории математики на физико-математическом факультете» на совете факультета 24 июня 1950 г. послужил прелюдией к обсуждению «идеологических ошибок профессора А.Г. Майера» в конце 1950 — начале 1951 г. По-видимому, материалы к этому обсуждению долго и тщательно готовились — я думаю, что описанные выше стенограмма «отп. 3 экз.» и конспект лекций служили именно этой цели. Кроме того, преподаватели факультета иногда появлялись на лекциях — А.Г. Майер называет их «гастролёры-посетители» (см. ниже).

Основные события развернулись на трёх заседаниях совета физико-математического факультета: 20 и 23 декабря 1950 года и 5 января 1951 года. В Государственном архиве Нижегородской области (ГАО) сохранилась стенограмма этих заседаний — фонд 377, опись 7, дело 130. Ниже при ссылках на это дело будут указываться просто номера его листов. Стенограмма содержит доклад А.Г. Майера 20.12.1950 «Предыстория создания математического анализа» и ответы докладчика на вопросы (39 машинописных листов формата А4), тезисы этого доклада в двух экземплярах (лл. 103-103 об и 112-112 об; тезисы были розданы участникам заседа-

ний), обсуждение этого доклада на заседании 23.12.1950 (50 листов) и продолжение обсуждения, заключительное слово докладчика, обсуждение проекта решения Совета и принятие решения на заседании 05.01.1951 (66 листов). Привести здесь такой объёмный материал не представляется возможным, но мне кажется важным, чтобы желающие могли прочитать основные документы полностью, поэтому они выложены в Интернет: см. <http://www.unn.runnet.ru/nmmo/abstracts/2014-04-08/>

Но есть более короткий документ, во многом характеризующий существо и стиль обсуждения, позиции участников, принятые решения (и, конечно, дух времени) — это статья «Об идеологических ошибках профессора А.Г. Майера в курсе истории математики» в многотиражной газете «За Сталинскую науку» [58] от 19 февраля 1951 года (см. рис. 7). Приведу выдержки из этой статьи (текстовые выделения мои).

За последние годы Совет физико-математического факультета уделял большое внимание вопросу улучшения идейно-теоретического содержания читаемых лекций. Совет неоднократно обсуждал на своих заседаниях преподавание курса истории математики проф. А.Г. Майера. <...> Выступавшие отметили, что проф. Майер допустил в докладе, а ранее и в вводной лекции по истории математики, серьезные ошибки антимарксистского и космополитического характера.



Рис.7.

Несмотря на стремление некоторых членов Совета (доцент Сигалов, доц. Гордон, доц. Неймарк) смазать остроту критики при обсуждении решения, Совет принял развернутое и острое решение, осуждающее ошибки проф. Майера. <...>

Профессор Майер неправильно характеризует роль теоретической науки в развитии техники и взаимоотношение между теорией и практикой. Он утверждает, что «не создание новых областей техники и новых орудий, а попытка объяснить уже известное — вот задача теоретической науки в описываемое время» (XVI—XVII века). <...>

Проф. Майер ошибочно указывает на отсутствие сознательного использования метода диалектического материализма советскими математиками.

Безусловно, ошибочна оценка эвклидовых «Начал», данная проф. Майером. Он пытался охарактеризовать «Начала» и лежащее в их основе стремление к формальной логической строгости как явление реакционное, сыгравшее «очень тяжелую роль» в развитии математики.

Позиция проф. Майера в этом вопросе находится в резком противоречии с общепринятой в советской математике точкой зрения. <...>

Например, в вводной лекции по курсу истории математики он явно понизил значение работ Лобачевского. Говоря о Лобачевском, он не показал его как революционера в науке, не раскрыл научное историческое значение Лобачевского. Рассказ

о геометрии Лобачевского в лекции проф. Майера, по существу, свёлся к «доказательству» антинаучного и, объективно, космополитического утверждения о том, что «геометрия Лобачевского могла быть установлена и в древнее время». <...>

Следует отметить, что в заключительном слове проф. Майер в категорической форме отверг критику членов Совета и продолжал упорно отстаивать свои взгляды.

Странным было и поведение доц. Сигалова, который не присутствовал на первых двух заседаниях Совета (следовательно, не слушал доклад и прения) и в то же время нашёл возможным выступить против всех пунктов проекта решения. В грубой и демагогической форме он обвинил всех членов Совета в незнании основных фактов истории математики.

И под этим — подписи: «Доц. Беневоленский — декан физико-математического факультета, проф. Я. Шапиро, проф. В. Котов, доц. И. Лохин, доц. Н. Отроков».

Напомню, что этот текст опубликован в начале 1951 года, поэтому ряд сформулированных в нём обвинений можно считать обвинениями в уголовных преступлениях.

Здесь нет места, чтобы подробно описать доклад А.Г. Майера. Отмечу только, что, на мой взгляд, это был в большей степени философско-математический, чем историко-математический доклад, хотя, конечно, история и философия математики тесно связаны. И в докладе, и в тезисах А.Г. Майер ещё раз высказал своё отношение к Евклиду: «"Начала" Эвклида создавались не в эпоху подъёма рабовладельческого строя, не в эпоху его развития, а в эпоху упадка. И черты этой эпохи упадка нашли своё отражение в "Началах" Эвклида. И, благодаря этому, "Начала" Эвклида в дальнейшем сыграли очень тяжёлую роль на последующих этапах» (л. 26 об.). Кроме того, в докладе А.Г. Майер выделил четыре этапа в развитии математики: «Я бы сказал так, что в истории математики можно отметить четыре крупных этапа, три из которых осуществились, а один нет.

Первый крупный этап — это создание математического метода, это выработка общего метода, которым решаются те или иные задачи. Это в основном догреческая математика, это эпоха очень ранняя, трудно сказать, когда она осуществилась в Египте, но от математики-рецепта пришли к математике-методу, выработав общий метод, однообразный.

Второй этап, и я считал бы, может быть, более важный по своему значению, это введение в математику формальной логики. Это самое блестящее завоевание древнегреческой математики, эпоха её подъёма, эпоха её развития <...>.

И третий этап, когда математика стихийно, помимо желания её работников, включила в себя те вещи, которые связаны с диалектикой <...>.

Четвёртый этап, на грани которого мы сейчас стоим, это сознательное введение диалектики в математику, это то, что ещё не сделано полностью» (л. 26 - 26 об.).

В ходе доклада А.Г. Майером были подвергнуты резкой критике средневековая «схоластическая математика, эти самые вещи, которые так высоко расцениваются современными и прошлыми идеалистами в области истории науки» (л. 35 об.) и персонально П. Дюгем^[59], Ф. Клейн, И. Цейген^[60], Э. Белл^[61], которые в своих сочинениях давали в той или иной мере положительную оценку роли схоластики, а также Б. Кавальери^[62] как «ученик схоластической школы» (л. 36).

Само собой, с современной точки зрения доклад был перенасыщен цитатами из классиков марксизма-ленинизма. Вот только один пример (л. 25): «... зачитанное мной место у Энгельса с полной отчётливостью говорит, что предыстория создания математического анализа — это история того, каким образом в математику стала входить диалектика...»

После доклада А.Г. Майер ответил более чем на 20 вопросов, после чего заседание было закрыто.

Обсуждение доклада А.Г. Майера на заседании совета 23 декабря 1950 г. начал профессор В.Ф. Котов. В его весьма длинном (17 страниц стенограммы — лл. 1-9 с оборотными) и неуважительном по отношению к докладчику^[63] выступлении и доклад, и тезисы, и курс лекций А.Г. Майера по истории математики были подвергнуты крайне резкой критике:

«Тезисы и доклад называются «Предыстория создания математического анализа». Термин «предыстория», мне кажется, не является строго научным. Если Майер думает иначе, пусть он попробует дать научное определение предмета «истории» и «предыстории» создания науки» (л. 1). «Тезисы и доклад содержат огромное количество серьёзных ошибок, и Совет факультета не выполнит своей задачи, если он терпеливо и шаг за шагом не распутает клубок, запутанный проф. Майером. Легче, конечно, разрубить узел, чем его развязать, но, я полагаю, что перед нами стоит вторая задача. Пусть члены совета простят меня за резкий тон критики, но проф. Майер дал достаточно поводов для этого» (л. 2). «Вряд ли можно представить себе в советской науке более глубокий разрыв с марксизмом в вопросах взаимоотношения науки и практики» (л. 2; сказано по поводу восьмого тезиса Майера (л. 103) о том, что до конца XVII-го века теоретические науки «развивались в хвосте экспериментально выработанной техники»). «Вряд ли нужно доказывать, что острей борьба проф. Майера направлено не в сторону идеализма, а в сторону математики. От такой борьбы выигрывает не материализм, а идеализм» (л. 4). «Совершенно очевидно, что идейный и научный уровень тезисов и доклада является крайне низким. <...> Курс истории математики, как и тезисы доклада, по-прежнему кишат грубейшими ошибками антимарксистского характера. Я посетил ряд лекций проф. Майера, просмотрел ряд студенческих записей. В текущем семестре я был на вводной лекции по истории математики. Везде одна и та же картина» (л. 5 об.). «Проф. Майер уже давно пропагандирует ложное учение о реакционности “Начал” Эвклида» (л.6 об.). «Фундаментальные извращения допущены проф. Майером при изложении успехов русской математики. Он утверждает, например, что геометрия

Лобачевского могла быть установлена ещё в древности. <...> Это утверждение <...> является по своему существу реакционным утверждением космополитического характера» (л. 6 об. — 7). «Говоря о четвёртом периоде [64], проф. Майер утверждает, что в сущности этот период ещё не начался. <...> Выходит, что до сих пор не только в буржуазной, но и в советской математике господствует стихийно-диалектический метод. <...> Только проф. Майёру неизвестно, что, начиная с Великой Октябрьской революции, советская наука, в частности, советская математика, базируется на сознательном и последовательном применении диалектико-материалистического учения, на марксистско-ленинской теории» (л. 7 об.). «Естественно спросить, какие задачи разрешаются курсом истории математики проф. Майёра, чьи политические интересы отражают те фундаментальные ошибки, которые содержатся в высказываниях и лекциях проф. Майёра» (л. 8 об.). «Чем объяснить крайне низкий идейный и научный уровень тезисов, доклада и лекций профессора Майёра? Мне кажется, что всё это объясняется высокомерным, пренебрежительным отношением проф. Майёра к изучению марксистско-ленинской теории. Проф. Майер не занимался и сейчас не занимается вместе с коллективом научных работников университета повышением идейно-теоретического, философского уровня [65]» (л. 9).

Затем примерно в той же манере и с тем же набором аргументов, но несколько менее резко и более коротко, выступили доцент И.Ф. Лохин, доцент А.Н. Марков, профессор Я.Л. Шапиро, декан факультета В.И. Беневоленский, доцент Н.Ф. Отроков, проректор А.К. Шевелёв. Эти выступления тоже были перенасыщены ссылками на Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, причём иногда на те же цитаты, которые были в докладе А.Г. Майёра.

Обсуждение продолжилось 5 января 1951 года. Первым выступил Д.А. Гудков. Его речь разительно отличалась от всех предшествующих как по тону, так и, главное, по содержанию. Это была конструктивная критика с профессиональных позиций лектора и специалиста по истории математики. Ни единого раза Д.А. Гудков не упомянул классиков марксизма и не привёл ни одной цитаты. Приведу несколько фрагментов его выступления.

«1. Профессор Майер читает курс истории математики очень давно и из года в год и несомненно, что в его лекциях есть положительные стороны. К ним относятся, на мой взгляд: а) богатство фактического материала; б) интересное решение вопроса о возникновении формально-логического доказательства в древней Греции; в) освещение отдельных фактов вавилонской и греческой математики.

Имеются также и недостатки, которые я буду разбирать на материале доклада. При этом замечу, что в лекциях, на мой взгляд, имеются аналогичные недостатки [66].

2. Недостатки, имеющиеся в докладе, я разобью на две группы:

а) Недостатки изложения: излишнее многословие, частые отклонения в сторону, слишком большое внимание второстепенным моментам.

б) Идеологические ошибки: неправильное объективно, для слушателей, освещение: деятельности и заслуг отдельных учёных, соотношения науки и практики, оценка Эвклида, периодизация истории математики <...>.

4. Почему же происходят эти ошибки в применении диалектического материализма проф. Майёром? По-моему, потому, что он сам совершенно убеждён, что он владеет диалектическим материализмом, в то время, как в действительности этого нет. Доказывается это тем, что в практическом изложении истории математики, с точки зрения диалектического материализма, он сбивается с этой точки зрения, сбивается в сторону эклектики и софистики» (л. 48, 48 об.).

Далее Д.А. Гудков объясняет, «на что, по-моему, должен обращать основное внимание диалектический материализм в истории математики» (л. 49) и на трёх конкретных примерах из доклада Майера аргументирует свои слова из п.4 выше. Первые два примера — это освещение исторического значения системы Коперника и приведённое Майером высказывание из письма Эйлера о том, что нельзя нападать на теологию за её заблуждения — в математике ещё больше путаницы, а всё же она верна. По поводу третьего примера — утверждения Майера, согласно которому основной причиной появления в математике диалектики является классовая борьба буржуазии и феодализма — Д.А. Гудков говорит: «Эту постановку вопроса мы должны отвергнуть с порога, даже не входя во все детали, т. к. нам ясно, что основной причиной введения диалектики являлась невозможность без этого дальнейшего развития науки» (л. 50).

В конце своего выступления Д.А. Гудков, по-видимому, хорошо представляя себе истинные цели организаторов обсуждения-осуждения и зная о готовящемся решении, сказал:

«Вот я не знаю, могу ли я делать предложение по поводу выводов для совета, поскольку не являюсь членом совета^[67]. Я считаю, что из всей этой дискуссии вытекают такие выводы: во-первых, по-моему, нужно потребовать от проф. Майера, чтобы он остающееся полугодие в своём курсе истории математики относился более строго, учёл результаты этой дискуссии, не применял не апробированных положений, которые являются его личным мнением. Это первое.

Второе, я считаю, что нужно в дальнейшем практиковать чередование в чтении курса истории математики, а, именно, на следующий год назначить кого-либо из наших коммунистов.

И третье — я думаю, что эту дискуссию нужно будет продолжать на философском семинаре для того, чтобы Артемий Григорьевич, который думает над этими вопросами, мог апробировать свои положения и подверг бы их соответствующей критике в научном обществе» (л. 51).

Как и можно было ожидать, попытка Д.А. Гудкова перевести обсуждение в деловое русло не увенчалась успехом. После Д.А. Гудкова выступил М.А. Муzychuk: «Может показаться странным, что в 1951 году Н.И. Лобачевский вновь нуждается в защите своих революционных идей и своей гениальной роли в истории наук. <...> я поставил перед Артёмом Григорьевичем вопрос — как Вы осветили студентам роль идей Лобачевского в формировании теории относительности? Профессор Майер безапелляционно заявил «роль Лобачевского в формировании теории относительности равна нулю» (л. 51). Далее, после долгого перечисления аргументов о величии Лобачевского со ссылками на «очень видных мужей науки» (л. 51) и с прямым зачитыванием длинных цитат из предисловий к изданиям сочинений Лобачевского и т.п., выступающий резюмирует: «Мне кажется, что советские математики вооружены всепобеждающими идеями диалектического материализма, поднятого на высшую ступень в трудах Ленина и Сталина, и руководствуясь только этими идеями, А.Г. должен найти правильный вывод и правильно оценить существо и метод истории математики» (л. 52 об.).

Наконец, А.Г. Майеру предоставляется «последнее слово» (в стенограмме сказано мягче — заключительное слово). Это весьма продолжительное выступление (лл. 53-66 об.) будет передано в изложении, лишь с отдельными цитатами.

Прежде всего следует сказать, что никакого покаяния не было. А.Г. Майер безоговорочно согласился только с замечанием Д.А. Гудкова по поводу освещения вклада Коперника. Затем Майер сказал, что его пример с высказыванием Эйлера был неверно интерпретирован — возможно, по вине самого Майера, который нечётко донёс свою мысль. По поводу инкриминировавшейся ему в нескольких выступлениях недооценке Н.И. Лобачевского А.Г. Майер сказал следующее: «... речь шла не об искажении роли Лобачевского и его идей, а речь шла об упоминании Лобачевского в вводной лекции при учёте того обстоятельства, что этой работе в дальнейшем посвящается ещё две лекции. В прошлом году Я.Л. [Шануро — Г.П.] был у меня на лекции, которую я делал по поводу Лобачевского. <...> Почему, спрашивается, не сделали до него, 2 тыс. лет висела в воздухе проблема и до Лобачевского не сделали. Это была загадка, которая была задана с тем, что потом она будет разобрана. Те студенты, которым была сделана эта вводная лекция, они не умерли и умирать не собираются, и думаю, что они сумеют это понять» (л. 53 об.).

После этого А.Г. Майер сказал, что дальше он будет вести своё заключительное слово по подготовленной им записи.

«Первое. Курс истории математики я веду не по доброй воле — каждый год я прошу меня от него освободить.

Почему он мне труден? Он требует охвата огромного материала — большего, чем тот, которым я располагаю, и у меня нет даже надежды овладеть всем этим материалом. Таково, например, положение с историей Индии, историей арабов — иногда я просто заявляю студентам, что не знаю истории этих народов, по крайней мере, не знаю настолько, что мог бы её им вкратце рассказать. <...> Главная трудность заключается в том, что число советских работ по истории математики всё ещё очень невелико, а исторического учебника нет. <...>

Иными словами: больше 10 лет я пытаюсь, используя общие положения диалектического материализма и отдельные, более точные, указания классиков марксизма-ленинизма, вскрыть действительный ход развития науки, отделить верные факты и обобщения от идеологических извращений» (л. 54, 54 об.).

В ответ на критику предложенных им четырёх этапов развития математики (см. выше цитату с лл. 26–26 об. стенограммы) А.Г. Майер заявил, что неосторожно употреблённое им слово «этап» не означает попытки периодизации истории математики: «Заявляю, что я не имел намерения предлагать какую-то периодизацию истории математики. Я хотел указать на такие моменты в истории математики, которые могли бы служить параллелью к рассматриваемым в докладе событиям. <...> Но выразился я неудачно, и это моя вина. Однако когда я говорил, что этап сознательного использования диалектики в математике ещё не пройден полностью, что мы фактически лишь в преддверии его — я считаю, что я был прав» (л. 55 об.).

Не меняет А.Г. Майер и свою позицию, касающуюся Евклида, подробно поясняя её ещё раз с подкреплением многочисленными новыми цитатами из классиков марксизма. Однако основная его логика остаётся прежней — по Майеру главным определяющим фактором развития является классовая борьба, а одним из критериев оценки математика служит его классовая принадлежность.

Оставляя в стороне другие моменты «заключительного слова», следует отметить, что в целом оно выдержано в духе резкой полемики, прежде всего — с В.Ф. Котовым: «Всё время я напрашиваюсь на доклады, на обсуждение. Но, к сожалению, это обсуждение зачастую склоняется к так называемой «проработке», с искажением и буквы, и духа моих слов — как, например, в выступлении проф. Ко-

това, как имеет место и в выступлении доц. Беневоленского. <...> Мне нужны не угрозы, предупреждения, и прочее»^[68] (л. 54 об.–55). «Проф. Котов объявил название бессмысленным — нет предыстории, есть история. Я не настаиваю на названии — но должен заметить, что 29 глава книги проф. Кагана о Лобачевском называется «Предыстория неевклидовой геометрии» (издание 2-ое, 1948 г.). Главлит не протестовал против такого названия» (л. 57). «...проф. Котов, не задумываясь, подменил слово «объяснение» словом «описание», найденным им в другом месте моих тезисов, и получил махистскую концепцию науки. Так как она была скомпилирована им из разных слов, встречающихся у меня, то он приписал её мне. Я очень благодарен проф. Котову, что он проявил такую умеренность, ограничившись превращением меня в махиста. Развитием того же метода, путём перестановки отдельных букв, он мог бы с той же лёгкостью превратить меня в фашиста» (л. 57 об.). «... в обращении со мной проф. Котов не стесняет себя условностями вроде предрассудка о том, что одно упоминание фамилии без «профессор», или «товарищ», или хотя бы «гражданин» считается невежливым...» (л. 61).

Из стенограммы видно, что и до описываемых заседаний у А.Г. Майера уже были стычки с В.Ф. Котовым: «Мне было заявлено, что, мол, я смотрел, как Вы читаете, никакой бумажки нет, цитаты приводятся на память. Но никаких заявлений, что я неверно цитирую, никаких заявлений, что я искажаю, не было. Было сказано, что это производит такое впечатление, что Вы просто ходите по аудитории и брякаете, что в голову придёт. Я сказал, что это является оскорбительным и это слово «брякаете» я прошу взять назад»^[69] (л. 23). Кроме того, нет особых сомнений в том, что А.Г. Майер понимал, кто является его главным гонителем.

Уже практически завершая своё выступление, А.Г. Майер заявил: «Должен сказать ещё раз: читать не то, что я думаю, я не буду» (л. 65) и «И ещё одно: читать я буду, как и читал, для студентов. Если же гастролёры-посетители, столь у меня частые, не нападут на лекцию, где разбираются основные, принципиальные установки — а придут лекцией раньше или лекцией позже — я для них комкать курс не буду» (л. 66).

После «заклочительного слова» А.Г. Майера был объявлен небольшой перерыв, затем некоторое время полемика продолжалась в том же общем направлении и стиле (выступили философ доцент И.П. Белоусов (по моему мнению, довольно путаное выступление) и с короткими репликами — В.Ф. Котов, А.Г. Майер, В.И. Беневоленский, З.Г. Пинскер^[70] (его реплика не касалась А.Г. Майера и его доклада)).

Наконец, Н.Ф. Отроков огласил подготовленный «комиссией по выработке предложений», избранной ещё на предыдущем заседании 23 декабря, проект решения совета. Состав этой комиссии полностью совпадает со списком подписавших статью в газете «За Сталинскую науку» (при выборах комиссии А.Г. Майер дал отвод В.Ф. Котову, против чего последний не возражал, вместо кандидатуры Котова рассматривалась кандидатура Леонтьева^[71], но члены совета голосованием 8:4 высказались в пользу Котова (л. 23 об.)).

Проект решения был чрезвычайно жёстким, в частности, он требовал от А.Г. Майера предоставить к 20 января переработанный в соответствии с указаниями совета доклад о предыстории развития математического анализа. На это А.Г. Майер заявил: «Я даже не считаю возможным спорить против предложенного проекта резолюции. Всё, что я говорил, всё это было пущено насмарку. Мне приписано всё, что захотели приписать. Я не представляю теперь, как я при таких усло-

виях могу читать курс истории математики. <...> Я предупреждаю: до 20 числа никаких материалов письменных я не могу предоставить...»

Первым в защиту А.Г. Майера выступил А.Г. Сигалов. Это выступление приводится полностью.

Я считаю, что резолюция в целом неверна и хотел бы в целом мотивировать своё мнение. Мне кажется, что резолюцию нельзя принять за основу. В резолюции содержится целый ряд добавлений, категорических утверждений, которые относятся к некоторым конкретным вопросам истории математики. Скажем, как вопрос о роли Эвклида в истории математики, как вопрос о том, какова роль практики, конкретно, в XV-XVI веке, и другие вопросы. Рассмотрение этих вопросов требует от тех, кто берётся эти вопросы решать, каких-то конкретных определённых знаний по истории математики. Я этих знаний не имею и голосовать за резолюцию не буду, и я сомневаюсь, хотя бы один член совета обладает такими знаниями, включая и всю комиссию.



Александр Григорьевич Сигалов

Я не берусь защищать проф. Майера, но кажется, самым справедливым было бы отослать доклад и выступления, которые были по докладу, на кафедру истории математики Московского университета, попросив кафедру дать отзыв об этих материалах. Если же члены совета решат, не будучи компетентны в этих вопросах, которые здесь какие-либо конкретные высказывания содержатся по этим вопросам, я не берусь голосовать за такую резолюцию в целом. А вся резолюция в таком духе и написана.

Относительно принципиальной стороны этого вопроса, я позволю себе напомнить одно из замечательных высказываний из работы товарища Сталина по языкознанию. Он говорит, что начётчики и талмудисты ^[72] рассматривают марксизм, как собрание догм, которые никогда не изменяются, несмотря на развитие общества, в расчёте, что заученные выводы и формулы пригодятся им для всех времён и стран.

Я думаю, что составители этой резолюции поступили, как начётчики, не зная существа дела, взяв отдельные положения марксизма, цитируя их вкривь и вкось.

Применяя их к отдельным эпохам, глубокий анализ им был не под силу, потому что они им не занимались (л. 72 об. – 73).

Поразительное по смелости выступление, особенно если учесть, что в это время в совете МГУ находится не защищённая ещё (защита состоялась в том же 1951 году) докторская диссертация ^[73] А.Г. Сигалова!

В дальнейшем ходе заседания, несмотря на отчаянные попытки Г.А. Ароновича ^[74], И.И. Гордона, Д.А. Гудкова, Ю.И. Неймарка ^[75], З.Г. Пинскера и А.Г. Сигалова

смягчить формулировки, советом факультета было принято решение, содержание которого отражено в цитированной выше газетной статье. «Дирижировавшие» обсуждением В.И. Беневоленский и Н.Ф. Отроков отступили только в отношении двух пунктов: исключили обвинение Майера в «идеалистической периодизации истории математики» и сдвинули явно нереальный срок представления «исправленного» доклада с 20 января на 10 марта.

Считаю необходимостью (не слишком приятной для меня) высказаться по вопросу «а судьи кто», имея в виду под судьями членов «комиссии по выработке предложений» как основных организаторов и исполнителей «контроверз» (у меня нет возможности охарактеризовать всех участвовавших в заседаниях, да и из этих пятерых подписавших статью я застал только Н.Ф. Отрокова и Я.Л. Шапиро).

Насколько я понимаю, декан В.И. Беневоленский не оставил в математике никакого заметного положительного следа^[76]. И.Ф. Лохин имеет ряд публикаций по теории аналитических функций в центральных математических журналах, в 1952 г. он переехал в Москву «на оборонную работу», в 1955 г. защитил докторскую диссертацию. Н.Ф. Отроков в молодости, по-видимому, подавал большие надежды — Б.Н. Верещагин в уже цитировавшихся выше воспоминаниях описывает эпизод из 40-го года: «После конференции было решено организовать семинар по качественной теории дифференциальных уравнений, на котором обсуждались бы работы научных сотрудников университета. В семинаре участвовали А.А. Андронов, А.Г. Майер, Е.А. Леонтович, Н.Н. Баутин, Н.А. Отроков^[77] (аспирант) и ряд студентов, в том числе я. На первом занятии семинара мне было поручено изложить работу Н.А. Отрокова. Работа была интересная, Андронов сказал, что она отличается “аналитической фантазией”, однако, будучи достаточно сложной, она и изложена была трудновато». Я думаю, что эти надежды не оправдались — не вдаваясь в подробности, укажу статью [52]. Четвёртый из подписавших статью математиков, Я.Л. Шапиро, был известным специалистом в области дифференциальной геометрии, заведовал (1947-1963) кафедрой геометрии и высшей алгебры. Отмечу ещё, что у Н.Ф. Отрокова и Я.Л. Шапиро были ученики, ставшие впоследствии докторами наук, и что Н.Ф. Отроков редактировал перевод [53] на русский язык книги Г. Дюлака «О предельных циклах» (выполненный, кстати, ученицей А.Г. Сигалова Г.И. Шиловой).

Отдавая себе отчёт в том, что попытка сравнивать математиков, да ещё работавших в разных областях, вообще говоря, весьма неблагодарна, я всё же полагаю, что в данном случае прошло достаточно много времени, чтобы можно было сопоставить вклады в науку. Так вот, на языке «уровней Ландау»^[78] это сопоставление, на мой взгляд, выражается так: нет сомнений, что А.Г. Майер располагается на значительно более высоком уровне, чем все его оппоненты.

Что касается перечисленных в конце предыдущего раздела защитников Майера, то «по Ландау» они располагаются примерно на одном уровне с А.Г. Майером: все они получили результаты (зачастую «именные»), сейчас являющиеся классическими.

Про профессора В.Ф. Котова следует сказать отдельно. По специальности он был механиком, с 1936 г. заведовал кафедрой теоретической механики, организовал аэродинамическую лабораторию, оснащённую двумя аэродинамическими трубами. Я не знаю, были ли им получены какие-либо результаты по механике — основные его работы относятся к истории механики, опубликованы в журналах «Под знаменем Марксизма», в Трудах института истории естествознания и тех-

ники, в Историко-математических исследованиях. Все эти работы сильно идеологизированы — точнее, написаны под знаком критики с идеологических позиций. Нет сомнений, что в этой «идеологической борьбе под знаменем марксизма» и состояло истинное призвание профессора Котова. Кроме лидерства в травле А.Г. Майера, профессор Котов в 1952 г. играл аналогичную роль в травле замечательного физика Г.С. Горелика [79]. Приведу в подтверждение сказанного три цитаты.

«Главным же травителем Г.С. [80] — вне всяких групп — был “теореманик” В.Ф. Котов — он то работал воистину с упоением хищника! <...> и довёл Г.С. до состояния агрессивной истерики, а по протоколу всего лишь до обзыва Котова «бесплодной смоковницей» (М.А. Миллер, [35], с.147).

«Но во мне сидит и прямое, контактное воспоминание о Котове. Как-то ещё в мои студенческие годы Майер завёл меня в общежитие, где его поджидали В.Ф. Котов и И.Ф. Лохин (кстати, по моим представлениям, довольно талантливый математик, он преподавал у нас матфизику, а потом куда-то уехал). Ждал нас полунакрытый стол, так что Майер стал «третьим», а я «четвёртым». После нескольких «приложений» Котов вдруг встал и произнёс фразу, которую я запомнил на всю доставиющую мне жизнь. Он сказал: «Должен вас покинуть. Меня ждёт работёнка. Мне надо мозги вправлять интеллигентам на семинаре». (Философском, между прочим, и даже, кажется, общегородском)» (М.А. Миллер, [35], с.148).

«Обращение в качестве аргумента в научной полемике к марксистской философии было обычным явлением советского периода нашей истории. Такое обращение могло быть корректным, адекватным, методологически правильным, но могло носить и иной характер — быть некомпетентным, неадекватным сути дела, искажающим содержание аргументационной базы и т.д. Именно последний случай характерен для В.Ф. Котова...» (А.А. Касьян, [48], с.163).

В 1953 г. В.Ф. Котов уехал в Одессу. Там он, сменив по неизвестной причине отчество на «Федосьевич», в 1954-1962 гг. заведовал кафедрой теоретической механики Одесского института инженеров морского флота ([55], с.109). Идеологический пыл его поутих — по-видимому, после смерти Сталина следовало осмотреться, поэтому «основное внимание было направлено на методологические проблемы курса теоретической механики» [81]; есть отзывы о нём как о склочнике и слабом преподавателе (сами соответствующие архивные документы я не видел).

Вместо заключения

«Пришла пора спокойного, взвешенного, объективного осмысления как главных, так и локальных событий, происходивших в советской науке и имевших научно-идеологический характер» ([47], с. 4).

Конечно, к взвешенности и объективности надо стремиться, но вот «спокойно» вряд ли получится: хотя в результате «обсуждения идеологических ошибок профессора А.Г. Майера» никаких репрессий не последовало, курс истории математики в университете был уничтожен. Да и кто может поручиться, что ранняя смерть А.Г. Майера (ему было только 46 лет!), последовавшая 20 сентября 1951

года от инсульта, спровоцированного гипертонией, не зависима от описанных событий? М.А. Миллер пишет ([35], с. 112) что на похоронах А.Г. Майера звучало: «Затравили!». А гонители Майера ещё долгое время «правили бал» на факультете.

Каковы же истинные мотивы предпринятого «обсуждения»? Я думаю, что, прежде всего, проявилось «видовое свойство» homo sapiens: людские сообщества, в частности, профессиональные, не любят выдающихся индивидуумов, особенно если те ведут себя независимо. Кроме того, как пишет (возможно, не слишком взвешенно) М.А. Миллер, «поскольку АГМ был талантлив ещё и «экстерьерно», то есть вызывающе талантлив, то окружающая его бездарь, естественно, не упускала возможность подтравливать его разными “пришивами”» ([35], с.111). Другими словами, люди, не обладающие достаточными способностями, стремились повысить своё положение за счёт идеологической бдительности.

Замечу, что термины «идеологическая дискуссия», «научно-идеологический характер», используемые авторами работ [46] – [48], применительно к «делу Майера» представляются мне не совсем адекватными. Я надеюсь, что несостоятельность мнения о «научных» истоках дискуссии после чтения приведённых документов не требует особой аргументации, хотя, конечно, отдельные моменты обсуждения носили содержательный характер. Что касается идеологии, то обе стороны придерживались одинаковой идеологической позиции, зачастую оперируя одними и теми же аргументами, ссылаясь на одни и те же цитаты. Сейчас, конечно, невозможно установить, насколько искренним приверженцем марксизма-ленинизма был тот или иной участник обсуждения — ясно, что в те годы очень многие были вынуждены более или менее искусно мимикрировать. Но именно А.Г. Майера я не подозреваю в притворстве: во время упоминавшейся выше (в разделе «Биография А.Г. Майера») беседы с Е.А. Леонтович-Андроновой (1996 год) я спросил Евгению Александровну, насколько, по её мнению, А.Г. Майер искренне разделял идеологию марксизма-ленинизма, на что получил совершенно чёткий ответ: абсолютно искренне. И хотя я знаю и другие мнения, мне кажется, что Евгения Александровна права.

На мой взгляд, адекватную квалификацию описанных событий даёт термин «травля», и я думаю, что главные оппоненты Майера, проведя тщательную подготовку, хорошо понимали, что они делают. Может быть, Я.Л. Шапиро несколько выпадает из этого ряда: чтение стенограммы наводит на мысль, что он «получил предложение, от которого не смог отказаться»: выступал он мало и исключительно «в защиту Евклида»^[82].

Курс истории математики на механико-математическом факультете, который возобновил Д.А. Гудков, «по наследству» достался мне. Я надеюсь, что многолетнее чтение лекций по этому курсу даёт мне основание высказать собственное мнение о историко-математических воззрениях Майера.

Оставляя в стороне «идеологическую» насыщенность лекций и доклада Майера — мне она представляется чрезмерной даже для того времени, и я не знаю, объясняется она неуспешной бдительностью «товарищей» или внутренними устремлениями самого А.Г. Майера, — перейду к некоторым ключевым моментам.

По оценке вклада Евклида в развитие математики, как и по другим вопросам, мнения могут быть разными^[83] — в конце концов, история всегда не только факты, но и их интерпретация. И надо отметить, что А.Г. Майер поступал аккуратно: из конспекта лекций видно, что он чётко оговаривал, что это его личное мнение, и давал достаточно подробное изложение содержания «Начал» Евклида. Дру-

гое дело, что, как известно, история не терпит сослагательного наклонения, и трудно судить, как именно развивалась бы математика без Евклида. Надо сказать, что А.Г. Майер переживал «проблему Евклида» очень серьёзно — в упомянутом выше разговоре Е.А. Леонтович-Андропова рассказывала:

«С ужасной яростью Майер говорил: “Я с этого Евклида штаны снимаю!”»

Я майеровскую оценку Евклида не разделяю, но допускаю — в отличие от его неустанных попыток объяснять все исторические явления исключительно классовой борьбой и оценивать математиков на основе их идеологических пристрастий.

Вопрос с периодизацией истории математики сам по себе довольно сложный. Мне уже приходилось высказываться [43], что общепринятая сейчас в России «колмогоровская» периодизация небезупречна. Что касается «четырёх крупных этапов» в развитии математики, то думаю, что А.Г. Майер был прав, утверждая, что «сознательное введение диалектики в математику, это то, что ещё не сделано полностью», поскольку вообще трудно себе представить, как математик, решая какую-то задачу или доказывая теорему, контролирует себя, вооружён он диалектическим материализмом или нет.

А.Г. Майер и в докладе, и в лекциях пропускал имена многих заслуживающих того математиков, а многим из тех, о ком рассказывал, давал слишком пристрастные характеристики. Надо отметить, что это отмечали и некоторые выступавшие на заседаниях совета.

Таким образом, в лекциях и докладе А.Г. Майера действительно были и ошибки, и недостатки. Однако совершенно ясно, что это не может служить оправданием той травли, которой он был подвергнут.

В заключение — по поводу обвинения А.Г. Майера в недооценке им Н.И. Лобачевского. Мнение Майера о том, что логическая основа для построения неевклидовой геометрии имела уже в Древней Греции, представляется мне верным. Оппоненты намеренно вырвали его из контекста лекций, хотя Майер ставил затем другой вопрос — почему же неевклидова геометрия была открыта через 2 тысячи лет? Приводившаяся выше цитата из черновой записки А.Г. Майера «О математике» («Крах абсолютной истинности — роль Лобачевского. Его неосознанность до настоящего времени») даёт мне основание полагать, что А.Г. Майер хорошо понимал значение неевклидовой геометрии. А нападки на Майера по поводу Лобачевского — это, кроме всего прочего, проявление не изжитого до сих пор явления: кричать «Лобачевский — наше всё», не зная зачастую ни геометрии Лобачевского, ни её роли в науке, ни биографии её создателя (см. по этому поводу [58]). А вот Майера биография Н.И. Лобачевского интересовала: Н.И. Привалова^[84], основной сотрудник А.А. Андропова в его исследованиях биографии Лобачевского, писала [59]: «Он [А.А. Андронов] много беседует по этому поводу [о биографии Н.И. Лобачевского], особенно с профессором Горьковского университета А.Г. Майером. В бумагах А.А. Андропова сохранилось письмо Артемия Григорьевича и заметка “Шебаршини Лобачевский”, предназначавшаяся им для газеты, но неопубликованная»; Н.А. Казакова, дочь А.Г. Майера, помнит, как Артемий Григорьевич с воодушевлением рассказывал у себя дома об осмотрах вместе с А.А. Андроновым домовладения Лобачевской — Шебаршина, где родился Н.И. Лобачевский.

В заключение я искренне благодарю В.А. Зверева, Н.А. Казакову, А.Я. Левиня, П.Э. Сыркина, поделившихся со мной своими воспоминаниями об Артемии Григорьевиче Майере, Е.И. Гордона, В.З. Гринеса, Н.А. Казакову и Л.М. Лермана за полезные обсуждения текста, Н.А. Казакову, Е.Ю. Смирнова и музей ННГУ, предоставивших ряд фотографий. В качестве эпилога привожу ещё две цитаты.

«Биографии великих русских ученых не изучаются или, по крайней мере, пока не изучались с той тщательностью, которая была внесена в последние десятилетия в биографии большинства русских великих писателей. <...> Я думаю, что некоторые из этих биографий столь же поучительны».

А.А. Андронов, из письма И.Л. Андроникову, 1948 г.

«Мне очень интересно всё, что относится к жизни и творчеству Артёма Григорьевича. Удивительное обаяние исходило от него. Каждая минута общения с ним была подарком».

А.Я. Левин, личное сообщение, 2014 г.

Литература

1. Математика в СССР за сорок лет 1917-1957. Том второй. — М.: Наука, 1959. 821с.
2. Математика в СССР 1958 — 1967. Том второй, выпуск второй. — М.: Наука, 1970. 762с. (нумерация тома начинается со стр. 821)
3. Шильников Л.П. Леонтович-Андропова Евгения Александровна. — Сб. «Личность в науке. Женщины-ученые Нижнего Новгорода», вып.2. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1999. С.83–102.
4. Shilnikov L.P. Evgeniya Aleksandrovna Leontovich-Andronova // Methods of Qualitative Theory of Differential Equations and Related Topics, AMS Translations, Ser.2. Vol.200, 2000, p.1–14.
5. Памяти Александра Александровича Андропова — М.: Изд. АН СССР, 1955. 718с.
6. Аносов Д.В., Афраимович В.С., Бунимович Л.А., Гонченко С.В., Гринес В.З., Ильяшенко Ю.С., Каток А.Б., Кашенко С.А., Козлов В.В., Лерман Л.М., Морозов А.Д., Нейштадт А.И., Песин Я.Б., Самойленко А.М., Синай Я.Г., Трещёв Д.В., Тураев Д.В., Шарковский А.Н., Шильников А.Л. Леонид Павлович Шильников (некролог) // УМН. Том 67, вып.3 (405), 2012. С.175–178.
7. Editorial Leonid Pavlovich Shilnikov // International Journal of Bifurcation and Chaos, vol.24, №8. 2014 (to appear).
8. Gordon I.I. On intersection invariants of a complex and its complementary space // Ann. of Math. Vol.37, No 3. 1936. P/519-525.
9. Гордон Е.И. Адресат Л.С. Понтрягина — И.И. Гордон (Вступительные заметки) // Историко-математические исследования, Вторая серия, вып. 9(44). — М.: Янус-К. 2005. С.14-26. См. также <http://7iskusstv.com/2011/Nomer11/EGordon1.php>
10. Арансон С.Х., Гринес В.З. Топологическая классификация потоков на замкнутых двумерных многообразиях // УМН. Том 41, вып.1(247), 1986. С.149–169.
11. Арнольд В.И. Малые знаменатели. I. Об отображениях окружности на себя // Изв. АН СССР. Сер. матем. Том 25, вып.1, 1961. С.21–86.
12. Плисс В.А. Нелокальные проблемы теории колебаний — М.-Л.: Наука, 1964. — 369с.
13. Шильников Л.П. К работам А. Г. Майера о центральных движениях // Мат. заметки, т.5, №3, 1969. С.335–339.
14. Пилюгин С.Ю. Фазовые диаграммы, определяющие системы Морса-Смейла без периодических траекторий на сферах // Дифф. уравн., Т. 14, №2, 1978. С.245-254.
15. Уманский Я.Л. Необходимые и достаточные условия топологической эквивалентности трехмерных динамических систем Морса-Смейла с конечным числом особых траекторий // Матем. сб., Т.181, вып.2, 1990. С.212–239.

16. Lerman L.M., Umanskiĭ Ya.L. Four-Dimensional Integrable Hamiltonian Systems with Simple Singular Points (Topological Aspects) // *Translations of Mathem. Monographs*, AMS, v.176, 1998.
17. Бронштейн Н. Доктор Майер // *Литературное наследство*. Т. 45/46. 1948, с.473–496.
18. Эйзенбаум Б.М. Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. С.125–162.
19. Филипсон. Воспоминания // *Русский Архив*, кн. 5, 1883. С.177 — 180.
20. Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения. Т. 1. —М.: Госполитиздат, 1952. — 864 с. С. 403.
21. Сатин Н.М. Отрывки из воспоминаний — в кн. В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. — М.: Худож. лит., 1977.
22. Гудков Д.А. Н.И. Лобачевский. Загадки биографии — Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1992, 241 с.
23. Гершензон М.О. Образы прошлого. — М.: ОКТО, 1912. 564с.
24. Громова Е. Доктор Майер гордился бы потомками // Газета «Ставропольская правда» от 9 августа 2013 г.
25. Газета «Окна» (Израиль), 26.09.02.
26. Топоровский Я. Человек Запада // *Еврейское слово*, № 31. Москва, 2006; см. также <http://archive.is/LvAUx> и <http://archive.is/hZWvg>.
27. Брук Яков. Яков Каган-Шабшай и Марк Шагал // *Бюллетень Музея Марка Шагала*. Вып. 16-17. Витебск, 2009. С.85-101; см. также <http://chagal-vitebsk.com/node/229>.
28. Шагал М. Моя жизнь. — М.: Эллис Лак, 1994. 204с.
29. Gordon E.I. Recollection of D.A. Gudkov // In "Topology of real algebraic Varieties and Related Topics", AMS Translations, Ser. 2, Vol.173, 1996. P.11-16.
30. Polotovskiy G.M. Dmitrii Andreevich Gudkov // In "Topology of real algebraic Varieties and Related Topics", AMS Translations, Ser. 2, Vol.173, 1996. P. 1–9.
31. Полотовский Г.М. Дмитрий Андреевич Гудков // *Вестник Нижегородского университета "Математическое моделирование и оптимальное управление"*, вып. 1(23). 2001. С.5-16.
32. Иван Романович Брайцев (1870-1947) (Серия «Личность в науке») / сост. Кузнецова Н.Б. — Нижний Новгород: Из-во Нижегородского ун-та, 2004. —192с.
33. Жислин Г.М. О работах А.Г. Сигалова по математической физике (к 100-летию со дня рождения) // *Математика в высшем образовании*, №11. 2013. С.105-114.
34. Верецагин Б.Н. В старом и новом Китае: из воспоминаний дипломата — М.: Институт Дальнего Востока, 1999. — 253с.
35. Миллер М.А. Избранные очерки о зарождении и взрослении радиопизики в горьковско-нижегородских местах — Нижний Новгород: Изд-во ИПФ РАН, 1997. —224с.
36. Любимов Д.В. «Этот день мы приближали как могли» // *Нижегородский музей*, №5-6, 2005.
37. Любимов Д.В. Студенты и преподаватели 1941-1942 года. По материалам архивных документов // Газета «Нижегородский университет», №5 (2042), май 2006 г.
38. Цайгер М.А. Арифметика в Московском государстве XVI века — Беэр-Шева: Берилл, 2010. 72с.
39. Симонов Р.А. К истории счёта в допетровской Руси (рецензия на книгу: Цайгер М.А. Арифметика в Московском государстве XVI века. Беэр-Шева: Берилл, 2010) // *Математика в высшем образовании*, №8. 2010. С.133-140.
40. Личность в науке. Г.С. Горелик. Документы жизни / Сост. Н.В. Горская, М.Б. Локтева — Нижний Новгород: ННГУ, 2006. — 298с.

41. Миллер М.А. Всякая и не всякая всячина, посвященная собственному 80-летию — Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2005. — 479с.
42. Губина Е.В. Академик А.А. Андронов и его школа (к 110-летию со дня рождения А.А. Андронova)// Математика в высшем образовании, №9. 2011. С.73–82.
43. Полотовский Г.М. Ещё раз об определении предмета математики и о периодизации её истории — Труды VIII Международных Колмогоровских чтений. Ярославль, 2010. С. 384–391. См. также <http://7iskusstv.com/2013/Number8/Polotovskiy1.php>
44. Хейенорт Ж. ван. Ф. Энгельс и математика // Природа, № 8. 1991. С. 90–105.
45. Гутер Р.С., Полунов Ю.Л. Джироламо Кардано — М.: Знание, 1980. —192с.
46. Идеология и наука. Дискуссии советских ученых середины XX века / Отв. ред. Касьян А.А. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. — 288с.
47. Касьян А.А. История математики и идеология (Горьковский университет, середина XX века) [Электронный ресурс]// Полином, № 2. 2009. С. 4–9. URL: <http://www.mathedu.ru/polinom/polinom2009-2-view.pdf>
48. Образование — Наука — Идеология (опыт отечественной истории)/ Отв. ред. Касьян А.А. — Нижний Новгород: НГПУ, 2012. —393с.
49. Цейтен Г.Г. История математики в древности и в средние века. — М.-Л.: ГТТИ, 1932. — 230с.
50. Цейтен Г.Г. История математики в XVI и XVII веках. — М.-Л.: ОНТИ, 1938. — 456с.
51. Белл Э.Т. Творцы математики: Предшественники современной математики. — М.: Просвещение, 1979. — 256с.
52. Леонтович Е.А. Письмо в редакцию по поводу статьи Н. Ф. Отрокова “Кратные предельные циклы” // Матем. сб., Том 64(106), №1, 1964. С.140–144.
53. Дюлак Г. О предельных циклах — М.: Наука, 1980. —160с.
54. Ливанова Анна. Ландау — М.: Знание, 1983. —240с.
55. Учёные вузов Одессы. Вып.2. Естественные науки. 1946-2008 гг. Ч.2. Математики, механики / Сост. И.Э. Рикун — М.: ОННБ, 2010. —270с.
56. Касьян А.А. История с физикой (Горьковский университет, середина XX века) — Нижний Новгород, 2004. —187с.
57. Матвиевская Г.П. Рамус. 1515–1572. — М.: Наука, 1981. — 152 с.
58. Полотовский Г.М. Несколько замечаний о мифотворчестве в истории математики — Труды IX Международных Колмогоровских чтений. Ярославль, 2011. С. 229-232. См. также <http://7iskusstv.com/2013/Number8/Polotovskiy1.php>
59. Привалова Н.И. Изучение А.А. Андроновым биографии Лобачевского — www.unn.ru/pages/general/brief/lobachevsky/privalova.doc

Примечания

[1] Трудно удержаться от замечания, что с такой «публикационной активностью» — за без малого 20 лет работы «всего» 25 публикаций, да ещё не входящих в Web of Science или Scopus — А.Г. Майер не мог бы в наши дни претендовать на руководство проектом по гранту Российского научного фонда.

[2] Евгения Александровна Леонтович-Андронova (1905-1997) — профессор Нижегородского университета, жена и сотрудник академика А.А. Андронova, сотрудничала с А.Г. Майером на протяжении всего периода его работы в Нижнем Новгороде. О жизни и деятельности Е.А. Леонтович-Андроновой см. [3], [4].

[3] Леонид Павлович Шильников (1938-2011) — профессор Нижегородского университета, один из крупнейших специалистов по теории бифуркаций многомерных динамических систем. О жизни и научных результатах Л.П. Шильникова см. [6], [7].

[4] Израиль Исаакович Гордон (1910-1985) — математик, выпускник Ленинградского университета, первый аспирант Л.С. Понтрягина. В 1935 г. в своей диссертации, опубликованной позже в [8], ввёл кольцо когомологий. Таким образом, построение кольца когомологий было независимо и одновременно осуществлено тремя математиками — А.Н. Колмогоровым, Дж. Александером и И.И. Гордоном, причём все трое сделали на эту тему доклады на международную топологическую конференцию 1936 года в Москве. Конструкция умножения когомологий, предложенная И.И. Гордоном, отличалась от конструкций А.Н. Колмогорова и Дж. Александра, которые были одинаковыми. С 1944 г. И.И. Гордон — доцент Горьковского университета. Подробнее об И.И. Гордоне см. [9].

[5] Архив Академии наук (Ленинград), фонд № 4, опись № 2 за 1817 г., дело № 1, лл. 6–9. Здесь и ниже цитаты даны по [17], где приведена ссылка на указанный архивный документ. Об авторе этой очень интересной статьи [17] Н.И. Бронштейн мне удалось узнать из [18] только то, что она была научным сотрудником Института русской литературы АН СССР и погибла в Пятигорске в 1942 г. во время оккупации.

[6] Григорий Иванович Филипсон (1809-1883) — русский генерал, сенатор, участник Кавказской войны.

[7] Здесь у Филипсона неточность — см. ниже.

[8] Николай Платонович Огарёв (1813-1877) — русский поэт, ближайший друг А. И. Герцена.

[9] Николай Михайлович Сатин (1814-1873) — русский поэт-переводчик.

[10] Это «тоже не раскусил» относится к написанному Сатиным перед этим: «Белинский, впоследствии столь высоко ценивший Лермонтова, не раз подсмеивался сам над собой, говоря, что он тогда не *раскусил* Лермонтова».

[11] Как рассказала дочь А.Г. Майера Наталия Артемьевна Казакова, И.Л. Андроников с трудом расстался с этим портретом — пришлось специально ездить в Москву, чтобы вернуть портрет. Замечу ещё, что в архиве академика А.А. Андропова (1901-1952) сохранилось письмо от 18.05.1948 (оно опубликовано в [22]), в котором он приглашал И.Л. Андроникова принять участие в изучении биографии Н.И. Лобачевского. Ответил ли на это письмо Андроников мне неизвестно, но в изучении биографии Лобачевского он участия не принимал.

[12] Современное название — Российская академия музыки имени Гнесиных.

[13] После написания первой версии этого текста ситуация изменилась — летом 2014 года Евгений Мальм-Майер и Наталия Артемьевна Кузнецова, дочь А.Г. Майера, встретились и познакомились в Москве, сейчас они переписываются.

[14] ЦАНО (Центральный архив Нижегородской области), ф.377, оп.6, д.9, л.53а. Приказ № 374 от 27.04.33 о назначении доцента А.Г. Майера деканом физико-математического факультета.

[15] Евгений Израилевич Гордон, профессор Восточного Иллиного университета (США), сын И.И. Гордона. В описываемое время был профессором Нижегородского университета.

[16] Горьковский (сейчас Нижегородский) научно-исследовательский физико-технический институт, был образован в 1930 г. как самостоятельное научное учреждение республиканского значения, затем в 1932 г. был включен в систему Горьковского Государственного университета (ГГУ).

[17] В это легко поверить, зная, что на подготовительных курсах работали математики такого уровня, как А.Г. Майер.

[18] Нынешнее название: МАТИ — Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского.

- [19] Сейчас он называется МГТУ «Станкин».
- [20] Я.Ф. Каган-Шабшай закончил университет не в Киеве, а уже в Одессе (*примечание автора*).
- [21] В 1940-1941 годах в Москве было подготовлено трёхтомное собрание сочинений Каган-Шабшай. Это издание не было осуществлено, но сохранилась издательская верстка первого тома (ЦМАМЛС, ф. 70, ед. хр. 20), который, помимо научных статей, включал в себя развернутую «Автобиографию» Каган-Шабшай (1939), а также некрологи и воспоминания о нем.
- [22] Реакция инициированного декарбонилирования диацилатов ртути; Н.А. Майер и член-корреспондент НАН Беларуси Ю.А. Ольдекоп (1918-1992) были учениками академика АН СССР Г.А. Разуваева (1895-1989), основателя Института металлоорганической химии (в настоящее время Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН).
- [23] Дмитрий Андреевич Гудков (1918-1992) — замечательный математик, решивший знаменитую задачу о кривых степени 6 из первой части 16-ой проблемы Гильберта. Отметим также его совершенно нетривиальное исследование нижегородского периода биографии Н.И. Лобачевского [22]. О жизни и деятельности Д.А. Гудкова см. [29] – [31].
- [24] Иван Романович Брайцев (1870-1947) — инициатор создания (1931 г.) и первый декан (до 1939 г.) физико-математического факультета Нижегородского университета, с 1942 г. до конца жизни — зав. кафедрой теории функций, созданной по его инициативе. Был также профессором Горьковского пединститута. И.Р. Брайцеву посвящена книга [32].
- [25] Александр Григорьевич Сигалов (1913-1969) — выдающийся математик, решил 20-ю проблему Гильберта. Об А.Г. Сигалове см. статью [33].
- [26] Борис Николаевич Верещагин (1918-2008) студентом участвовал в работе семинара А.А. Андропова по качественной теории дифференциальных уравнений, защитил дипломную работу на тему "Некоторые случаи рождения циклов для квадратичного уравнения". Однако обстоятельства его жизни сложились так, что он оставил математику и стал крупным дипломатом-китаистом. Опубликовал книгу воспоминаний [34].
- [27] Михаил Адольфович Миллер (1924-2004) — известный физик-теоретик, профессор и заведующий кафедрой электродинамики радиофизического факультета Нижегородского университета.
- [28] Хранится в ЦАНО, ф.377, оп.8а, д.44, л.46.
- [29] В цитируемом документе здесь описка — написано «преподавателем».
- [30] ЦАНО, ф.377, д.53. Цитируется по [36].
- [31] Авраам Яковлевич Левин (род. в 1922 г.) в 1951 г. окончил с отличием исторический факультет Горьковского университета. Заведовал кафедрой психологии Нижегородского университета. С 1999 г. живёт в США.
- [32] Виталий Анатольевич Зверев (род. в 1924 г.) — известный советский и российский физик, член-корреспондент РАН (*примечание автора*).
- [33] А.Я. Левин жил на улице Октябрьской, пересекающей улицу Алексеевскую (*примечание автора*).
- [34] Мне представляется, что эта мысль А.Г. Майера находит подтверждение в недавних исследованиях — см., например, [38], [39] (*примечание автора*).
- [35] Алексей Дмитриевич Некрасов (1874-1960) — советский зоолог, эмбриолог и историк биологии. С 1928 г. заведовал кафедрой зоологии Нижегородского университета (*примечание автора*).
- [36] Владимир Иванович Плотников (1922-1988) — профессор ННГУ, известный специалист по вариационному исчислению и оптимальному управлению.
- [37] Александр Васильевич Зевеке (1923-2013) — доктор биологических наук, основатель нижегородской школы нейрокибернетики.

[38] Наум Яковлевич Пратусевич (1930 г.р.) — специалист по тонкоплёночным резисторам, в 1963-1983 гг. главный инженер нижегородского завода «Орбита».

[39] Улица им. Я.М. Свердлова, сейчас ей возвращено историческое название Большая Покровская (*примечание автора*).

[40] Евгений Михайлович Воронцов (1899-1971), с 1 января по 22 апреля 1946 г. — и.о. ректора ГГУ, с 1947 г. заведовал кафедрой зоологии Нижегородского университета (*примечание автора*).

[41] Андрей Николаевич Мельниченко (1904-1998), биолог, ректор ГГУ с апреля 1946 г. по август 1952 г. (*примечание автора*).

[42] Сейчас кинотеатр «Орлёнок» (*примечание автора*).

[43] Марика Рёкк (1913-2004) — немецкая киноактриса венгерского происхождения (*примечание автора*).

[44] Габриэль Симонович (Семёнович) Горелик (1906-1956) — физик, автор знаменитого учебника «Колебания и волны», за «идеологические ошибки» в котором в 1952 г. подвергся травле. О жизни и деятельности Г.С. Горелика см. книгу [40] (*примечание автора*).

[45] *Например, воскрешение Иисуса Христа и какая-нибудь из теорем Ферма... или (пример В.И. Гапонова) — через сколько целований участники состязания «связывались», скажем, с У. Черчиллем. (Выигрывает тот, кто набирает меньше поцелуев. Помню, В.И. нашёл путь через Папу Римского и победил! А другой участник двигался через целование церковных икон и проиграл!)*

[46] Павел Эммануилович Сыркин (род. в 1922 г.) — профессор Нижегородского государственного технического университета, создатель семейства V-образных автомобильных двигателей.

[47] Интересно, что А.А. Андронов прочитал лекцию по астрономии, экстренно заменив отсутствовавшего лектора-астронома.

[48] Леонид Павлович Радзишевский (1904 — ?) — профессор, первый заведующий кафедрой высшей алгебры ГГУ, созданной в 1938 г.

[49] С.С. Четвериков (1880-1959) — выдающийся советский генетик.

[50] Кроме этого, в архиве Д.А. Гудкова я обнаружил написанный А.Г. Майером в 1948 году неоконченный текст «Александр Михайлович Ляпунов» (6 машинописных страниц).

[51] Из текста стенограммы очевидно, что она не профессиональна как с точки зрения стенографирования, так и с точки зрения понимания стенографистом содержания.

[52] Может быть, в те годы для понимания лекции студентами 6-го курса достаточно было указать только название объекта или теоремы?

[53] При поиске Е.В. Губиной материалов для её статьи об А.А. Андронове [42].

[54] Ольга Борисовна Лепешинская (1871-1963) — советский биолог, академик АМН СССР. Автор лженаучной теории о «неклеточном живом веществе», удостоенная за неё Сталинской премии первой степени.

[55] Александр Данилович Александров (1912-1999) — выдающийся геометр, академик АН СССР, в 1952-1964 гг. — ректор Ленинградского университета. Автор ряда статей по философии математики, написанных с позиций марксистско-ленинской идеологии. Указанную статью (и сам журнал за этот год) обнаружить не удалось, возможно, приведённая ссылка ошибочна.

[56] Контрверза (от лат. *controversia*) — спор, полемика, дискуссия по спорному вопросу.

[57] ГОПАНО (Государственный общественно-политический архив Нижегородской области), ф. 377, оп. 8, д. 360. Цитируется по [46], с.259.

[58] Сейчас газета называется «Нижегородский университет».

- [59] Пьер Морис Мари Дюгем (Дюэм) (1861-1916) — французский физик, математик, философ и историк науки, упоминался В.И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме» как приверженец махизма. Дюгем одним из первых развивал представления о духовном подъёме в европейской культуре во время, предшествующее эпохе Возрождения.
- [60] Иероним Георг Цейтен (1839-1920) — датский математик и историк математики, на русский язык переведены его книги [48] и [49].
- [61] Эрик Темпл Белл (1883-1960) — американский математик шотландского происхождения, на русский язык переведена его книга [51].
- [62] Бонавентура Кавальери (1598-1647) — итальянский математик, автор «метода неделимых».
- [63] В этой части стенограммы почти всюду напечатано без звания и без инициалов «Майер», а «проф.» приписано чернилами позже, чему найдётся явное объяснение в дальнейшем тексте стенограммы — см. ниже ссылку на лист 61).
- [64] Здесь имеется в виду четвёртый этап развития математики по Майеру, см. выше (*примечание автора*).
- [65] По-видимому, имеется в виду, что А.Г. Майер не посещал занятия городского философского семинара, которым руководил Котов (*примечание автора*).
- [66] Замечу, что в отличие от многих других участников заседания, Д.А. Гудков слушал весь курс Майера, поскольку ему был интересен предмет, а не появлялся случайным образом на одну-две лекции для сбора компромата.
- [67] Д.А. Гудков, получив диплом с отличием об окончании университета 21 июня 1941 года, сразу попал на ускоренные артиллерийские курсы и затем прошёл всю войну, участвовал во взятии Берлина. В университет вернулся в 1948 году. Поэтому в 1951 году в свои 32 года он был аспирантом и не являлся членом совета факультета.
- [68] Отвечая после этого выступлению на вопрос об угрозах А.Г. Майер сказал, что «в стенограмме эти угрозы несколько смягчены» и справедливо указал (л. 66) на слова Котова о разрубании Гордиева узла (см. выше ссылку на л. 2 стенограммы).
- [69] Котов извиняться не стал, пояснив, что «брякать» означает «сказать не подумав» (л. 23).
- [70] Зиновий Григорьевич Пинскер (1904-1986) — профессор, известный физик, основоположник структурной электрографии.
- [71] Алексей Фёдорович Леонтьев (1917-1987) — член-корреспондент АН СССР (1970), специалист по теории функций комплексной переменной.
- [72] Вероятно, стенографистка не поняла это слово — в стенограмме вместо него стоит многоточие.
- [73] Напомню, что эта диссертация содержит положительное решение 20-й проблемы Гильберта.
- [74] Григорий Владимирович Аронович (1907-1975) — доктор технических наук, профессор, инициатор создания кафедры прикладной математики и её первый заведующий (1964-1968), известный специалист в области аэро- и гидродинамики.
- [75] Юрий Исаакович Неймарк (1920-2011) — доктор технических наук, профессор, один из организаторов первого в СССР факультета Вычислительной математики и кибернетики в ГГУ.
- [76] Показательно прозвище, данное ему студентами, о котором мне сообщил А.Я. Левин: «нибенимениволенский».
- [77] Здесь и ниже в этой цитате в инициалах ошибка (*примечание автора*).
- [78] Напомню, что Л.Д. Ландау классифицировал физиков-теоретиков по уровням, градуированным логарифмической шкалой, но не упорядочивал физиков внутри каждого уровня — см., например, [54].

[79] «Дело Горелика» освещено в разных источниках — см., например [35], [41], [46], [48], [56].

[80] Габриэля Семёновича Горелика (*примечание автора*).

[81] Цитата с сайта Одесского национального морского университета — так сейчас называется бывший Одесский институт инженеров морского флота.

[82] При этом неаккуратно заявил: «А для нас что такое Эвклид? Ведь это же создатель идеи доказательства» (л. 16), на что А.Г. Майер среагировал: «Оставлю в стороне, как факт личной биографии проф. Шапиро, утверждение его, что Эвклид является «создателем идеи доказательства». Надеюсь, что это является просто незамеченной ошибкой стенографистки» (л. 62).

[83] Так, резким критиком Евклида был серьёзный исследователь «Начал» Пётр Рамус (Пьер де ла Раме, 1515–1572), зверски убитый во время событий «Варфоломеевской ночи» (см., например, [57]).

[84] Надежда Ивановна Привалова (1900-1987) — нижегородский историк и архивист-палеограф, сестра известного математика члена-корреспондента АН СССР И.И. Привалова.



Юрий Чизмаджев

ВО СНЕ И НАЯВУ

Скоро два года, как от нас ушел Вова Кирсанов, горячо любимый близкими и друзьями человек, светлый, добрый, щедро одаренный от Природы многими талантами. Время течет необратимо, но горечь утраты не утихает и скрашивается только памятью о годах, прожитых вместе. Сплошь и рядом, вечерами, рука так и тянется к телефону и хочется набрать номер, который помню уже десятки лет, чтобы услышать Вовкин голос: «Юра, куда ты пропал, надо бы свидеться!». Да, надо бы, но теперь разве что во сне, а наяву остается отвести душу, имитируя беседу с тобой и вспоминая эпизоды из нашей жизни.

Итак, Вова, если я не ошибаюсь, мы с тобой подружились в зимой 1964 года в Бакуриани, в лагере «Буревестник», где вся наша компания обитала в крохотных холодных комнатках, но зато рядом с подъемником на Кохту. Там были ты с Олей, Галя Гурвич, Натан, Сталь^[1] с Ниной и мы с Катей. Как-то в ненастный день мы все набились в вашу с Олей комнатку, чтобы согреться и убить время. И тут ты начал читать стихи — Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Самойлов, Кирсанов — только на память — все вокруг преобразилось! Ты читал стихи так, как будто сам их написал, и делал это лучше, чем сами авторы. Ты следовал музыке стиха, как делают поэты, без акцента на смысл текста, иначе, чем исполняют актеры. Ты замечательно читал стихи своего отца, после чего я понял их прелесть. То же относится к Рейну, которого я оценил только с твоей подачи. Ты и сам сочинял прекрасные стихи, но нам их практически не читал. Сейчас, когда для этой книги Оля сделала подборку лучших твоих стихотворений, и я их прочел, мне стало понятно, что ты рассматривал многие из них как сугубо личные. Невольно вспомнились знаменитые строки: «Не я пишу стихи, они как повесть пишут меня...».

Погода улучшилась, мы стали кататься на лыжах, но, благодаря тебе, с поэзией мы не расставались. Ты помнишь, наверное, как мы однажды спустились на лыжах в Цагвери, где уже была весна. События там развивались по Мандельштаму:

*В самом маленьком духане
ты обманщика найдешь,
если спросишь Телиани,
поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.*

А дальше еще лучше:

Человек бывает старым, а барашек молодым.

Мне тогда было 33 года, а тебе 27!

После Бакуриани мы часто виделись и в нашем с Катей доме — «Изображу ли дом угрюмый, он Курского направо от...», — и у вас с Олей. Справляли вместе дни рождения, отмечали разные праздники. Ты украшал их смешными стихотворными поздравлениями и замечательными рисунками.

До сих пор помню твой «Роман со слезой», где были такие строки:

*С гор грузинских сметая
льда предательский наст,
наша юность былая*

*уносилась от нас,
от годов, от свиданий,
от катков, от кино...
Это было недавно,
Это было давно...*



Дружеский шарж на Ю. Чизмаджева.
Рисунок В. Кирсанова

Наступило лето, и выяснилось, что мы с тобой одержимы общей страстью — теннисом. Ты в это время работал во ВНИИТе, там был нормированный рабочий день, а я целыми днями пропадал на кортах, что нашло отражение в следующих стихах:

*На солнечном корте в июле,
когда наступает жара—
знакомые тени мелькнули—
там Юра играет с утра.
Его состраданье не тронет,
когда не умыт и не брит,
увиджусь я с ним на перроне
метро по пути во ВНИИТ.*

К счастью, мы встречались не только на перроне, иногда ты заезжал ко мне на обратном пути из ВНИИТа. Моя мама, которая тебя обожала, вкусно кормила нас, но с укоризной смотрела на бугылку вина, не реагируя на строки из Самойлова — «Не мешай мне пить вино, в нем таится вдохновенье...». «Какое вдохновенье, Вова, когда на письменном столе несколько дней лежит без движения недописанная статья, а Юра все время играет в теннис!» — так говорила моя мама. Каждая встреча с тобой была большим праздником для моей дочери Нины — она очень любила дядю Вову. Когда Нина со своей семьей осела в Америке, она просила тебя погостить у неё, если представится случай. Увы...

Постепенно у нас сложился круг друзей, в который входили ты с Олей, Гарики [2], Юра Плесков [3] с Машей, Лёша Кришталик с Лорой, Юра Мартынов с Нелой, Сталь Баканов с Ниной. Мы часто встречались, в переменном составе проводили отпуска, путешествовали.

В 1959 мы с Катей открыли для себя Коктебель, ездили туда почти каждый год, а иногда и весной, и в конце лета — несмотря на то, что «ну а в Москве лежит эрдель и тоже хочет в Коктебель, на море, на море, на море!» Останавливались почти всегда у одной и той же хозяйки по имени Тася.



Коктебельский залив. Рисунок В. Кирсанова

И вот, в августе 1968 года мы оказались в Коктебеле большой компанией, речь о которой уже шла выше. Мы дивно проводили время: море, бухты, Кара-Даг, теннис, вино из чайника, вечерние разговоры. Обедками нас кормила Тася, а я, в белых брюках, играл роль официанта, а ты, Вова, меня хвалил и говорил, что я эlegantен, как рояль. Мне было очень лестно, т.к. я всегда утверждал, что у тебя абсолютный вкус. Об уровне комфорта в Тасинем «пансионе» ты, высказался с римской прямотой:

*Это было недавно,
это было давно...
Опрокинувши шкалик,
вижу, как наяву,
еще толстый Кришталик
в коктебельском хлеву.*

Если кто-то не знает нашего любимого Лёшу Кришгалика, приведу сочиненный Катей «Архитектурный сонет», который ты в свое время одобрил:

*Люблю твой штиль, высокий, гисторический,
Коринфский, Ионический, Дорический,
Узорных слов витую канитель:
Антаблемент, фронтоны, капитель...
Всегда во всем, мой друг, бываешь прав,
Ах, чтоб тебя бордюрой в Архитрав!*

В конце августа вся наша райская жизнь кончилась — в Прагу вошли советские танки. Теперь все вечера мы слушали «Свободу» и вскоре вернулись в Москву.

Еще пара картинок из нашего прошлого. Мы плывем на байдарках по Игналине, с тобой, Олей и с детьми. На одной из стоянок мы отправляем вашу Катю и нашу Нину на хутор за молоком. Опасаясь, как бы они не заблудились, я решил их сопровождать, прячась в кустах. Дети справились с задачей, благополучно вернулись, а я их немного опередил. Когда их спросили, как прошло путешествие, Катя сказала что все было ОК, но какой-то дурак недалеко от нас все время прыгал по кустам. Мы все дико хохотали, а дети не могли понять, что тут смешного.

Вспоминается типичный день рождения у нас дома. Вы с Олей, как всегда, приходите с хорошим опозданием. Для тебя, кроме обычных лобю и сациви, Катя

ставит чашку с острым перцем. Ты начинаешь точить ножи, которые как всегда тупые и смотришь вокруг, что бы тут починить. После завершения трапезы ты идешь в гостиную, берешь из шкафа какой-нибудь томик стихов и устраиваешься на диване. А мы все просим тебя — Вова, ну почитай нам что-нибудь! После чего следует, например, такое послание Кате:

*Люблю я её за сациви,
Люблю я её за вино,
За хамство люблю, за цивилизованное давно!*

Или другое:

*Все же Катя — необычна,
от других людей отлична
и умом своим и станом,
и отсутствием изъяна ...
Дарвин тут воскликнул, плача:
Что же делать, вот задача!
Наконец, лишившись сил,
Понял: предок — крокодил!*

Иллюстрацией к этому тексту может служить исполненный тобой наш с Катей «семейный портрет» после моего возвращения из Индии. Кроме предка-крокодила ты нашел и других, которые роднили тебя с Катей:

*И шепчет мне на ухо муза
в усмешке свой ротик скривив,
что родственность профсоюза
основа для этой любви.
Хоть корни давно позабыты,
но все же — в истоке годов —
мы пасынки той же элиты
красавиц, уродов, жидов.*

С Катей тебя сближало еще одно свойство — вы оба очень любили собак. Они отвечали тебе полной взаимностью. Я знаю это по нашим эрделям, а о твоих собачонках и говорить нечего. Однажды, когда мы с Катей были в отъезде, заболел наш Санчо. Моя мама догадалась позвонить тебе, и ты его, в конечном счете, выхоронил. В другой раз, когда ты был в командировке, заболел ваш Сенди. Мне позвонила Оля, я приехал на машине, мы отвезли его в ветлечебницу, и к твоему возвращению он был здоров. Вспоминая об этих случаях, я думаю о том, что если бы мы также заботились о здоровье своих близких, все могло бы сложиться по-другому.

Разговаривая с тобой, Вова, я вспоминал, как мы дурачились, пировали, радовались жизни. За кадром, естественно, осталась работа, как личное дело каждого, но общим для всех было отношение к событиям, происходившим в стране. Мы радовались оттепели 60-х, читали самиздат, приветствовали перестройку и демократическую революцию 1991 года, на которую возлагали большие надежды. Помню эйфорию, которая охватила нас, когда была сброшена статуя Дзержинского на Лубянке. Мы ходили на митинги и демонстрации, благо тогда не было ОМОНа, вооруженного резиновыми дубинками. Слушали речи А.Д. Сахарова, а вскоре, увы, стояли в бесконечной очереди пришедших проститься с ним. К сожалению, демократическое движение захлебнулось, страну нашей мечты построить не удалось.



Чизмаджевский пёс Джим.
Рисунок В. Кирсанова

Было бы смешно рассказывать тебе о том, насколько велик твой вклад в историю естествознания. Обо всем этом замечательно сказано в воспоминаниях твоих друзей и коллег по ИИЕТу, а также в *In memoriam* из *Archives Internationales D'Histoire des Sciences*, vol. 58, 2008. Живо представляю себе, какими веселыми стишками ты бы откликнулся на все эти тексты, если бы смог их прочесть!

Знаешь, Вова, дружба с тобой была важнейшей составляющей моей жизни. Кроме духовной стороны дела была ещё одна: в моём окружении ты был тем человеком, на которого я мог всегда положиться. Скрасить эту утрату невозможно, остается только хранить память о тебе. В хорошо знакомом тебе доме — «он Курского направо от...» — висят твои рисунки, в том числе акварельный портрет эрделя по имени Джим, под стеклом книжного шкафа стоят оттиски твоих статей, которые ты мне дарил, а в столе хранятся твои стишата, посвященные нам грешным. Скоро там же появится и эта книга. Таким образом, ты всегда с нами, и спасибо тебе за все!

Примечания

[1] БАКАНОВ Сталь Павлович. Доктор физико-математических наук, профессор. Ведущий научный сотрудник Института физической химии РАН.

[2] Антонина и Генрих Николаевич Герасимовы.

[3] ПЛЕСКОВ Юрий Викторович. Доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук.



Александр Кунин
ОБМАНЧИВАЯ ТКАНЬ
РЕАЛЬНОСТИ
Владимир Набоков и наука

(предыдущие статьи на эту тему см. — в №№ 56, 57, 58)

Невыразимая тайна. То, что может быть сказано — может быть сказано ясно. О всем прочем следует хранить молчание ^[1]. Принимал ли Набоков эту знаменитую максиму Людвиг Витгенштейна? Во всем, что касается науки, пожалуй, что да. Как бы ни оценивались его мнения о современных научных теориях, в одном его трудно упрекнуть — в недостаточной ясности сказанного. И в соответствии со второй частью максимы, он соблюдал разумную осторожность, приближаясь к границам, за которыми человеческий язык теряет свою силу. Благосклонность Природы позволяет разгадывать многие её тайны, но в глубине сознания, в сцеплениях органической жизни, в превратностях пространства и времени всегда остаются запретные зоны, куда не дано проникнуть ни физике, ни психологии. И лишь в особых и редких случаях поэзия может оказаться там, где «погусторонность приотворилась в темноте» ^[2].

Однако, именно из этой области, по уверению самого близкого Набокову человека — его жены Веры — получена благодатная тайна, которая «...давала ему невозмутимую жизнерадостность и ясность даже при самых тяжелых переживаниях и делала его совершенно неуязвимым для всяких самых глупых или злостных нападок» ^[3].

Но о том же писал и сам Набоков:

*«...И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
сонных мыслей и умыслов сводня,
не затронула самого тайного.
Я удивительно счастлив сегодня.
Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.
Оттого так смешна мне пустая мечта
о читателе, теле и славе ...».*^[4]

Набоков хранил молчание и о времени, когда тайное знание стало ему доступным (либо было осознано). Но если некая тайна столь решительно влияет на весь жизненный строй её хранителя, плоды такого влияния должны обнаружиться немедленно и ясно.

И. Гессен писал о юном Набокове-студенте: «Больше всего пленяла ненасытная беспечная жизнерадостность, часто и охотно прорывавшаяся таким бурным смехом, таким беспримесно чистым и звонким, таким детски непосредственным, добродушно благостным, — что нельзя было не поверить ему...» ^[5]

Тяжелые лишения эмиграции, постоянная необходимость поиска средств для поддержания скудного, почти нищенского существования, нисколько не убавили его способности радоваться, его живых и разнообразных интересов. «...Будем по-язычески, по-божески наслаждаться нашим временем...» писал он в таком месте и в такое время, которое очень мало подходило для радостного восприятия — в инфляционном Берлине 1926 года^[6].

Продуктивность писателя в эти его молодые, «европейские» годы поразительна. Именно тогда написаны все русские романы и повести (числом 10), 2 сборника поэзии, рассказы, переводы английской и французской поэзии и прозы. Более чем скромный бюджет пополнялся уроками французского и английского, бокса и тенниса. И женщины отнюдь не были обойдены вниманием.

Неистощимую работоспособность Набоков сохранял всю свою долгую жизнь. В зрелые, «американские» годы он делил свое время между многочасовым лабораторным исследованием бабочек и литературным творчеством. Его настроение было «безоблачным и полным ощущения силы», а для сна хватало четырех-пяти часов.^[7] Лучшим отдыхом всегда оставалась ловля бабочек, которой он отдавался «с огромной радостью, хоть и в поте лица», наслаждаясь американской природой «с радостным сердцебиением».^[8]

И все же многие, знавшие Набокова, заметили с годами неприятную перемену. Живой, общительный, эмоциональный, говорящий быстро и с увлечением, он казался теперь холодным, отстраненным, высокомерным, недоступным. Эта перемена, как полагали, связана с дурным влиянием его славы, с широкой, приправленной скандальным оттенком (после выхода «Лолиты»), известностью. Но более пронзительная оценка подозревает любимую им мистификацию, сценическое действие, создание образа, который столь полно замещал реального Набокова, что последний становился почти совершенно невидимым^[9]. Образ оживлялся любопытными откровениями, которые должны были сообщать ему правдоподобие, а нередко и позволяли занять удобную позицию. Так, Набоков утверждал, что совершенно не способен вести свободную беседу, поскольку наделен мышлением гения, но речью ребенка^[10]. Как следствие, почти все интервью зрелого писателя — инсценировки с заранее подготовленными вопросами и ответами.

Природные свойства человеческой личности мало подвержены влиянию обстоятельств, хотя и могут быть скрыты сознательно выбранным поведением. Близкие люди не видели в Набокове никаких перемен, ничего от созданного слухами высокомерного сноба, холодного и необщительного. «Это был веселый, радушный, отзывчивый, очень разговорчивый, приятный с людьми человек», вспоминала его сестра Елена.

С ней соглашался и сын Набокова Дмитрий: «человек он был исключительно теплый, симпатичный, веселый»^[11]

Итак, тайна Владимира Набокова обладала чудесным и благотворным действием: она давала ему неизменно высокий жизненный тонус с приподнятым, радостным настроением, поразительную работоспособность, стойкий оптимизм, способность наслаждаться всеми радостями жизни. Ничего не зная о потусторонних тайнах, психиатры прежних времен замечали, однако, счастливых обладателей этих качеств. Их называли разными именами. У Эмиля Крепелина это «солнечные» натуры («*Sonnennaturen*»), у Эрнста Кречмера — гипоманиакальный темперамент, у Карла Леонгарда — гипертимные личности и гипертимный темперамент. Самым подходящим обозначением мне кажется именно **гипертимный темперамент** (*hyper + thymos* — сверх + настроение).

Темпераменты, будучи здоровыми человеческими типами, не являются предметами врачебной заботы, хотя и представляют некоторый научный интерес. У гипертимных и вовсе нет причины жаловаться на своё психическое благополучие. Потому-то и достоверных сведений о них совсем немного.

Из современных работ любопытна попытка исследовать темпераменты с помощью опросника из 110 пунктов. Люди гипертимного темперамента выделялись среди других наибольшим числом баллов по следующим пунктам: 1. Веселый, оптимистичный. 2. Любящий развлечения. 3. Общительный, дружелюбный. 4. Игривый, шутливый. 5. Уверенный в себе, хвастливый. 6. Красноречивый, изобретательный. 7. Активный, деятельный, неутомимый. 8. Склонный к риску. 9. Удовлетворяющийся коротким сном [12].

Дополнительными чертами гипертимиков могут быть: выбор профессии не связанной с иерархией и подчинением, склонность к риску и нарушению принятых границ, вербальная агрессивность. Пристрастие к работе некоторых гипертимиков может доходить до obsessions. Nagor S. Akiskal, Kareen Akiskal сообщают о 12 гипертимных трудогилах, которые обратились в клинику сна. Они обходились 4-5 часами ночного сна, но были обеспокоены своей «нервной энергией» и трудностью засыпания [13]. Это, кажется, единственная причина, связанная с самой гипертимией, которая может побудить к поиску врачебной помощи.

Зыбкость границ. Гипертимный темперамент проявляется столь ярко и определенно, что, казалось бы, не должно быть особых проблем с его диагностикой. Она облегчается еще и тем, что гипертимики вполне сознают свои душевные качества и охотно рассказывают о них. Проф. R. Friedman писал о 2-х своих подопечных, одна из которых всегда была полна энергии и неутомима, спала не более 5-6 часов и признавалась, что всю жизнь была счастлива без всякой причины — «это просто моя натура, я думаю». Вторая испытывала некоторое смущение из-за того, что постоянно была веселой и счастливой и тем, как ей казалось, явно отличалась от окружающих. [14] Все это вполне соответствует окровениям Набокова. «В жизни и вообще по складу души я прямо неприлично оптимистичен и жизнерадостен» — писал он Г.П. Струве [15].

Приведенных данных, как кажется, вполне достаточно для предположения, что Владимир Набоков наслаждался всеми качествами гипертимика. Но ограничиться этим определением можно лишь при отсутствии признаков других состояний. Скажем, если приподнятое настроение прерывалось периодами депрессии, то следует подумать о циклотимии. Признавая всю шаткость диагностических суждений без личного обследования, позволительно все же исключить сколько-нибудь явные, достигающие клинического уровня депрессии. Нет их ни в мемуарах самого Набокова, ни в фундаментальной биографии, написанной Брайаном Бойдом. Сложнее обстоит дело с фазами противоположного свойства, когда подъем настроения и работоспособности может достигать степени, переходящей некую условную границу и тогда он получает наименование гипомании. Брайан Бойд отмечал, что особый «прилив сил» и «великолепное самочувствие» бывали у Набокова в летние месяцы его американской жизни [16]. Но и эти состояния, если судить по совокупности данных, никогда не достигали клинического уровня.

Диагностического разъяснения требуют и некоторые окровения Набокова, связанные с болезненными состояниями. Он, надо признать, не только живо интересовался, но и был неплохо осведомлен о патологии различного рода, как физиче-

ской, так и душевной. Ею обильно снабжены многие герои его романов и рассказов. О своих собственных недугах он сообщал не только безвсякого смущения, но даже и с некоторым удовольствием: «Объективно говоря, в жизни не встречал более ясного, более одинокого, более гармоничного безумства, чем мое» [17]. К последнему относились, среди прочего, галлюцинации. Так, после разрыва со Светланой Зиверт, он «видел» её в различных местах, в том числе и у себя дома [18].

В интервью Джеймсу Моссмену подробно описаны галлюцинации, регулярно возникающие при засыпании: наплыв ярких изменчивых картин в разнообразных формах и сочетаниях, которые не столько удручали, сколько развлекали Набокова. В этот же короткий период между бодрствованием и сном могли появляться «голоса», напоминающие обрывки телефонных разговоров. «Описание этого загадочного феномена можно найти в историях болезни, собранных психиатрами, но ни одного вразумительного объяснения я пока не прочитал. Фрейдисты, не вмешивайтесь, будьте любезны!» [19], предупреждал Набоков. Этот феномен — давно известное и вовсе не редкое явление, именуемое *гипнагогическими галлюцинациями*. Встречаются они при некоторых заболеваниях, но гораздо чаще — у вполне здоровых во всем остальном людей. Психоаналитикам действительно не стоит беспокоиться, а вот современные электрофизиологические исследования сна могут оказаться полезными.

Два эпизода из жизни Набокова кажутся странными и плохо совместимыми с гипертимной природой его личности. Первый относится к 1943 г., когда он, прочитав отчеты и изучив фотографии Тегеранской конференции, обнаружил «гениальный ход со стороны Советов»: в заседаниях участвовал не сам Сталин, а один из его многочисленных двойников. Возможно даже, что это был не живой человек, а наряженная во френч кукла, движениями которой ловко руководил переводчик (В.Н. Павлов — А. К). — «истинный маг и чародей» [20].

Другой и тоже довольно странный случай связан с романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Набоков решил, что лицемерные нападки советской прессы на роман и коллективная травля её автора устроены «для того чтобы тиражи зарубежных изданий постоянно росли, а выручку прикарманить и тратить на пропаганду, которую советские власти вели за рубежом» [21]. Подозрительность, а тем более паранояльное толкование событий, чужды людям гипертимного склада. Возможно, что в первом случае Набоков увидел любопытный сюжет для рассказа и немедленно дал волю своему воображению. О намерении написать виртуозную выдумку Советов он упоминает в том же письме Уилсону. В эпизоде с романом Пастернака (который он искренне считал весьма посредственным) проглядывает обида на несправедливость, «когда затравленного и загнанного в тупик писателя американская пресса превратила в икону, когда его «Живаго» стал состязаться в рейтинге бестселлеров с моей «Лолитой». (там же).

Оба эпизода «паранояльности» оставались изолированными, не получили никакого развития и не влияли на поведение, так что можно удовлетвориться изложенным выше объяснением их происхождения. Галлюцинации, о которых столь охотно рассказывал Набоков, либо вовсе не являются таковыми (в случае со Светланой Зиверт), либо не имеют серьезной диагностической ценности (гипнагогические галлюцинации). Не требуют диагностических выводов и «бредовые» особенности мышления, о которых Набоков рассказывал Джоржу Фейферу: «Я мыслю не словами, а образами переливчатых цветов, тающих очертаний — тип мышления, который психиатры в старой России называли «холодным бредом» [22]. Дело тут, ско-

рее всего, не в анонимных психиатрах, которые якобы отличали бред «горячий» от бреда «холодного», но в желании Набокова добавить своему публичному образу таинственные черты психической уникальности. Вполне достоверным, однако, кажется описание «удивительного недуга, *anxietas tibiarius*, — болезненного беспокойства, нестерпимого нарастания мышечного чувства, когда приходится то и дело переменять положение своих конечностей» [23]

Это страдание (неврологического происхождения) известно также под его английским именем *restless legs syndrome* и русским — *синдром беспокойных ног*. Усиливаясь перед засыпанием, оно довольно часто становится причиной бессонницы.

Набоков нередко сетовал на неприятности, связанные со сном. В детстве ему мешал страх темноты, в зрелые годы — гипнагогические видения и синдром беспокойных ног. Трудности засыпания гипертимных трудолюбивых были знакомы и Набокову. Если он " выдерживал по нитке" из собственной жизни для создания своих героев, то не случайно Ван Вину из «Ады» не давал уснуть поток мыслей, который продолжал его дневные обдумывания. Вану приходилось прибегать к снотворным, так же как и Набокову.

Все эти недуги никоим образом не влияли на настроение Набокова. На пятом десятке жизни он удивлял «сверхъестественной» жизнерадостностью [24]

Его молодая помощница в Музее сравнительной зоологии «запомнила его остроумие, шутки, каламбуры, бурное восхищение всем необычным, громкий искренний смех и взрывы веселья, от которых глаза его наполнялись слезами». (там же гл.4, пар 3).

Психология и психиатрия меньше всего могут гордиться точностью определений. Это вдвойне справедливо, когда определения полагаются лишь на литературные источники. После такого признания и при учете всех приведенных выше данных, не будет, как кажется, слишком самонадеянным подтвердить сделанное предположение о *гипертимном темпераменте* Набокова. Возможно, что в некоторые периоды пик его настроения достигал высоты редкой даже и при таком темпераменте.

Гипертимный темперамент примыкает к широкому кругу состояний, называемых в психиатрии биполярными, аффективными, маниакально-депрессивными и располагается в здоровой части этого спектра. Современная статья Richard A. Friedman озаглавлена весьма любопытно: *Born to Be Happy, Through a Twist of Human Hard Wire* (Рожденные быть счастливыми, благодаря особой мозговой структуре?) [25] Friedman полагал, что для гипертимиков могут быть верными некоторые связи, установленные для других состояний этого (аффективного) спектра. Давно замечено, что у выдающихся личностей, в особенности писателей, художников, композиторов, довольно часто обнаруживаются биполярные состояния — периоды гипомании и (или) депрессии. Составлены длинные списки знаменитостей, страдавших этими перепадами настроения. Один из них можно найти в интересной работе В.П. Эфроимсона. [26]

То, что предполагалось в отношении литературных знаменитостей, подтверждается более точными современными исследованиями. N. Andreasen сравнила частоту психических расстройств в 30 семьях успешных писателей (*creative writers*) и 30 семьях контроля. У самих писателей и их родственников первой степени частота аффективных биполярных состояний была достоверно выше, чем в контрольных семьях. [27] Когда группу писателей и артистов попросили описать их самые продуктивные творческие периоды, получилась картина, напоминающая гипертимные состояния [28].

Психологическое исследование биполярных пациентов в периоды повышенного настроения обнаруживает ускорение мышления, стремление к рифмованию, использование аллитераций — в 10 раз чаще, своеобразных (идиосинкратических) выражений — в 3 раза чаще, чем в контроле. Задание на поиск синонимов они выполняют гораздо быстрее, чем люди в обычном состоянии. Похоже, что интенсивность и качество мысли получают некоторую прибавку. Такой когнитивный стиль отличается богатством ассоциаций и их нестандартностью. Все это справедливо для самой легкой части биполярного спектра, тогда как на другом конце ускорение мышления может доходить до бессвязности^[29].

Любопытные перемены происходят и с памятью. В гипоманиакальных состояниях воспоминания облегчаются и становятся обильными, но совершенно определенно проявляется их избирательность. Последнее связано с самим механизмом запоминания: при формировании памяти сохраняются не только события, но также и настроение, сопровождающее эти события (*mood-congruent memory*). При воспоминании преимущество получают события, которые сопровождалось тем же настроением, что и настроение вспоминающего (*mood-dependence memory*). Т.о. люди в повышенном настроении легко и в деталях вспоминают радостные события прошлого.

Гипертимный темперамент разделяет с гипоманией все её главные свойства. Он, быть может, не достигает интенсивности последней и, кроме того, является пожизненным даром, но приведенные выше данные могут быть полезными для последующих суждений.

Удивительную «способность держать при себе прошлое» Владимир Набоков считал врожденной своей чертой. «Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки — уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и ...т.д.»^[30]

Для такого рода способности принято медицинское обозначение — *гипермнезия*, которая не является, впрочем, непременным свидетельством патологии. Гипертимный темперамент достаточно объясняет эту черту, как и само содержание воспоминаний. Прошлое, в особенности период детства, окрашено тем же радостным чувством, которое испытывал Набоков, возвращая его в своей биографии.

Психиатры прежних времен, не обремененные необходимостью строгих наукообразных построений, в полной мере проявляли свои литературные таланты при описании душевных состояний, в том числе повышенного и подавленного настроения. Но касательно первого, ничто не может сравниться с живостью, богатством и полнотой картины в замечательных рассказах Владимира Набокова «Весна в Фиальте», «Письмо в Россию», «Благодать». Светлое, радостное чувство, наслаждение всеми гранями жизни противопоставлено мрачным, печальным обстоятельствам и трагическим нелепостям. «Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего!»^[31]

В прекрасном рассказе «Набор» сам автор выходит из укрытия и присоединяется к герою. «Я желал, чтобы, несмотря на старость, на бедность, на опухоль в животе, Василий Иванович разделял бы страшную силу моего блаженства, соучастием искупая его беззаконность; так, чтобы оно перестало быть ощущением никому не известным, редчайшим видом сумасшествия, чудовищной радугой во всю душу... и через это приобрело бы житейские права, которых иначе мое дикое, душевное счастье лишено совершенно».^[32]

Повышенное настроение побуждает гипертимиков к поиску различного рода развлечений, к шуткам и розыгрышам. Набоковские шутки были, надо признать, далеко не всегда безобидны. Мальчишеские проделки, поддразнивание и насмешки превратились в зрелые годы в саркастические характеристики, меткие и безжалостные, которые он легко раздавал в лекциях, письмах и многочисленных интервью.

Тут следует учесть еще один постоянный спутник повышенного настроения — высокую оценку всех своих качеств и возможностей. Она может быть шутливой и забавной, как в интервью Роберто Кантини, которому 73-летний Набоков сообщил, каким он видит себя: «Высокий, красивый, всегда молодой, очень ловкий, с изумрудными глазами сказочного сокола»^[33]. Но завышенная самооценка нередко проявлялась и в иной форме — в нападках на научные теории из таких областей знания, в которых он никоим образом не мог считаться профессионалом. Однако же, неверно и шутливое утверждение Джона Апдайка: «...набоковское опровержение Фрейда и Эйнштейна выглядит как потуги весьма впечатляюще разряженного колдуна описать работу двигателя внутреннего сгорания в терминах высшей силы...»^[34]. Известный писатель не заметил, к сожалению, тонкость, остроумие, а порою и пронизательность набоковских оценок.

В списке качеств гипертимного темперамента значится и *вербальная агрессивность* (лат. *verbalis* — «словесный»). При этом случается, что в увлечении атаками «проглядывается», по выражению известного психиатра П.Б. Ганнушкина граница принятого и дозволенного^[35]. И тогда насмешливая критика научных теорий сопровождается нападками на их авторов, не только резкими, даже издевательскими, но и очевидно несправедливыми. Какой бы суровой оценки ни заслуживал психоанализ, его основатель Зигмунд Фрейд не был все же шарлатаном и, тем более, мошенником. Биометрия сама по себе может быть и не предназначена для раскрытия глубоких тайн жизни, но из этого не следует, что её выбирают как научную профессию исключительно бездарности. Физики действительно участвовали в изготовлении атомных бомб («подхалтуривали», по выражению Набокова), но значит ли это, что они — «ужасные мещане», и головы у них неудачной формы — их называют «яйцеголовыми», тогда как хорошая голова должна быть круглой?^[36]

Но и такого рода нападки Владимира Набокова на современные науки и ученых, даже и в самых крайних, гротескных и выходящих за границы приличия проявлениях — это все-таки бунт домашний, бунт "своего", который хоть и покинул лабораторию, но сохранил к ней привязанность. Нет тут и следа холодно-враждебного отношения двух других великих писателей — Толстого и Достоевского. И только лишь кровная привязанность могла позволить талантливому писателю так передать ощущение радостного наслаждения наукой, как это удавалось Набокову.

В итоге:

Похоже, что великая тайна Набокова — не мистическое откровение «потусторонности», но счастливая физиология мозговых структур. А уж какая конкретно — hardware профессора Фридмана или software биохимической регуляции — это действительно остается тайной, хотя и не мистической.

На пути к литературным вершинам Набоков не отрывал взгляда от завораживающего пейзажа науки, но то, что он видел было окрашено изменчивыми, причудливыми красками. Эволюция живого представлялась ему увлекательной игрой *поэтического дизайнера*. В превратностях *пространства и времени* он угадывал их

таинственные сущности, в соответствии с которыми пространство отдано во власть науки, тогда как время принадлежит поэзии. Он не мог примириться с покорностью суровым и неизменным законам, которые наука познает с помощью "линеек и весов" и отказывался признать математические выкладки, ставящие предел скорости света и заставляющие "путешествующие часы" замедлять ход.

Многоликая ткань реальности представлялась Набокову загадочной и обманчивой, но вовсе не злонамеренной: она всегда готова открыться тому, кто способен понять её увлекательные загадки, хотя и держит завесу над самыми таинственными глубинами.

Примечания

- [1] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. с нем. Добронравова и Лахути Д.; Общ. ред. и предисл. Асмуса В. Ф. — М.: Наука, 1958 (2009), с. 133.
- [2] Стихотворение Вадима из романа "Look at the Harlequins!" http://www2.e-reading.bz/chapter.php/40695/410/Nabokov_-_Stihi.html
- [3] Вера Набокова. Предисловие к сборнику: В. Набоков. Стихи (1979). В.В. Набоков: pro et contra. Т.1, Санкт-Петербург. Русский Христианский гуманитарный Институт, 1997, 342-343.
- [4] Слава. Из: Набоков Владимир. Стихи. http://www.e-reading.me/chapter.php/40695/240/Nabokov_-_Stihi.html
- [5] И. Гессен. «Годы изгнания: Жизненный отчет» В.В. Набоков: pro et contra. Т.1, Санкт-Петербург. Русский Христианский гуманитарный Институт, 1997, с. 172-173.
- [6] Владимир Набоков. On Generalities. Гоголь. Человек и вещи. Публикация и примечания Александра Долинина. <http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/4/>
- [7] Владимир Набоков: pro et contra, т.1." Русский Христианский гуманитарный Институт, 1999. "Предисловие к роману «Bend Sinister»" Пер. с англ. Сергея Ильина. с. 69.
- [8] Из переписки Владимира Набокова и Эдмонда Уилсона. 24 июля 2947 г. <http://lib.rus.ec/b/227867/read>
- [9] Стаси Шлифф. Вера Набокова крупным планом. Сокр. пер. с англ. Павла и Беллы Езерских. Журнал «Вестник» Номер 20(357) 29 сентября 2004.
- [10] Набоков о Набокове и прочем. Интервью Джорджу Фейферу. <http://proxu.flibusta.net/b/162221/read>
- [11] Игорь Золотусский. Путешествие к Набокову. Из дневника одной телевизионной поездки «Новый мир», 1996, №12 http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/12/zolotus.html
- [12] Akiskal HS, Akiskal KK, Naykal RF, Manning JS, Connor PD. TEMPS-A: progress towards validation of a self-rated clinical version of the Temperament Evaluation of the Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire. J Affect Disord. 2005 Mar;85(1-2):3-16.
- [13] American Psychiatric Press Review of Psychiatry, Volume 11. Edited by Tasman A, Riba MB. Washington, DC, American Psychiatric Press, 1992.
- [14] Richard A. Friedman. Born to Be Happy, Through a Twist of Human Hard Wire http://www.bio_psychiatry.com/happiness/hyperthymia.html
- [15] «Звезда», № 11, 2003. Публ. Е. Б. Белодубровский <http://lib.rus.ec/b/286149/read>
- [16] Брайан Бойд. Владимир Набоков: американские годы (пер. Сергей Борисович Ильин, Майя Бирдвуд-Хеджер, Татьяна Изотова, Александра Викторовна Глебовская) Гл. 3 пар 3 <http://proxu.flibusta.net/b/218545/read>

- [17] Интервью Марте Даффи и Р.З. Шеппарду. Перевод Оксаны Кириченко. Набоков о Набокове и прочем. Интервью. <http://proxu.flibusta.net/b/162221/read>
- [18] Письмо Владимира Набокова к Светлане Зиверт. Публикация Е. Белодубровского. «Звезда» 2002, №9.
- [19] Набоков о Набокове и прочем. Интервью. <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [20] Письмо Эдмонду Уилсону 10 декабря 1943. Из переписки Владимира Набокова и Эдмонда Уилсона. <http://lib.rus.ec/b/227867/read>
- [21] Интервью «покладистому анониму». Набоков о Набокове и прочем. Интервью. <http://proxu.flibusta.net/b/162221/read>
- [22] Интервью Джорджу Фейферу. Набоков о Набокове и прочем. Интервью. <http://proxu.flibusta.net/b/162221/read>
- [23] Владимир Набоков. Память, говори (пер. С. Ильин). Гл. 13, пар.4 http://royallib.ru/read/nabokov_vladimir/pamyat_govori_per_s_ilin.html#0
- [24] Брайан Бойд. Владимир Набоков: американские годы (пер. С.Б. Ильин, М. Бирдвуд-Хеджер, Т. Изотова, А.В. Глебовская) Гл. 3 пар 3 <http://proxu.flibusta.net/b/218545/read>
- [25] Richard A. Friedman M.D. New York Times 30 December 2002 <http://www.biopsychiatry.com/happiness/hyperthymia.html>
- [26] В.П. Эфроимсон. Предпосылки гениальности. Гл. 5. «Человек». 1997 № 2-6, 1998 № 1
- [27] Andreasen NC. Creativity and mental illness: prevalence rates in writers and their first-degree relatives. *Am J Psychiatry*. 1987 Oct;144(10):1288-92.
- [28] Janka Z. Artistic creativity and bipolar mood disorder. *Journal Orv Hetil*. 2004 Aug 15; 145(33): 1709-18. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15462476/?i=3&from=3288437/related>.
- [29] K. Jamison. Manic-Depressive Illness and Creativity. *Scientific American*. Feb. 1995, p. 66
- [30] Владимир Набоков. Другие берега. Гл. 3Пар. 8 <http://proxu.flibusta.net/b/298461/read>
- [31] Владимир Набоков. «Весна в Фиальте». <http://lib.ru/NAVOKOW/rassk16.txt>
- [32] Владимир Набоков. «Набор». <http://www.lib.ru/NAVOKOW/fial07.txt>
- [33] Набоков о Набокове и прочем. Интервью. Перевод Е.В. Лозинской. <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [34] John Updike. Van Loves Ada, Ada Loves Van // *New Yorker*. 1969. August 2. P. 67 (перевод Оксаны Кириченко). В сб. Классик без ретуши, 2000г. «Научная библиотека». Ред. Николай Мельников. <http://coollib.com/b/132697/read#r>
- [35] П.Б. Ганнушкин. Избранные труды. М., «Медицина», 1964. с. 131.
- [36] Интервью Альфреду Аппелю Перевод Михаила Мейлаха и Марка Дадяна Сентябрь 1966 Набоков о Набокове и прочем. <http://lib.rus.ec/b/162221>



Евгений Шраговиц

НОВАЯ ФИЗИКА КАК ИСТОЧНИК ОБРАЗОВ В ЦИКЛЕ МАНДЕЛЬШТАМА «ВОСЬМИСТИШИЯ»

Познание есть творчество

Н. Бердяев. Опыт философии одиночества и общения

Цикл О.Э. Мандельштама «Восьмистишия»¹ до сих пор представляет собой одну из главных загадок мандельштамоведения. Судя по воспоминаниям Н.Я. Мандельштам², Осип Эмильевич не оставил почти никаких относящихся к нему пояснений. Только раз он вскользь обронил, что это «стихи о познании». К. Тарановский, рассуждая о природе творчества Мандельштама, заметил: «Не только литература, но и архитектура, живопись и музыка, а также философия, история, даже естественные науки были источником его вдохновения»³. Он же высказал соображение о том, что «исследование всех Мандельштамовских литературных и культурных источников становится очень важной предпосылкой для более глубокого понимания и более глубокой оценки его поэзии»⁴. Пожалуй, обе приведенные здесь мысли как нельзя более приложимы по отношению к «Восьмистишиям», о которых писали, помимо Тарановского, многие ведущие филологи России и Зарубежья, такие как М. Гаспаров⁵ и Ю. Левинб. В некоторых исследованиях разрабатывалась тема влияния на творчество Мандельштама трудов французского философа Анри Бергсона. Бергсон еще до Эйнштейна выдвинул гипотезу о динамической природе времени (по отношению к человеку) и отрицал причинно-следственный детерминизм в работе сознания. Бергсон вел свои изыскания в области философии науки (первые научные труды были посвящены философии математики, впоследствии же к ним прибавились работы по философии физики, биологии и эволюционизма); также он уделял внимание социальной философии, и получил Нобелевскую премию по литературе. На Мандельштама, посещавшего в студенческие годы лекции Бергсона в Сорбонне, выводы философа, судя по всему, произвели огромное впечатление. По свидетельству близкого друга Мандельштама, известного поэта Г. Иванова, делившего с ним петербургское жилье, «свои стихи и Бергсона он помнил наизусть»⁷. Тесный «сплав» поэзии Возрождения, современной науки и философии в «Восьмистишиях» Мандельштама, явленный через сложную, богатую образность, поставившую в тупик многих, мы и попытаемся осветить в этом анализе, сосредоточив внимание на том, что пока осталось за рамками литературоведения. «Восьмистишия» были написаны в конце 1933 года, то есть более чем через 25 лет после появления фундаментальной работы Бергсона «Творческая эволюция» (1907). Можно сказать, что за эти 25 лет произошла «научная революция» в физике, космологии и других естественнонаучных дисциплинах. Отзвуки ее можно найти

в культуре; отразилась она и на стихах Манделъштама. Образы, которые родились как опосредованный результат перемен в научном видении мира, и будут предметом нашего исследования. Прежде чем перейти к деталям, мы перечислим дисциплины, атрибуты и положения которых послужили «нитями» для «ткани» произведенный поэта. С одной стороны, для «Восьмистиший» очень значимы были физика, представленная новыми для времен Манделъштама областями — квантовой механикой и теорией относительности, — а также математика, космология и естественные науки: геология, биология, и теория эволюции. С другой — философия науки, социальная философия, классическая философия с ее интересом к теории времени и пространства. Кроме того, нельзя забывать о русской поэтической традиции и истории мировой культуры, присутствующих в любом тексте, и особенно отметить влияние творений Данте, которые он изучал в период написания Восьмистиший. Степень осведомленности Манделъштама в перечисленных нами областях пусть и вызывает удивление, но не заставляет в себе сомневаться: Манделъштам в своих черновиках «Разговора о Данте», написанного одновременно с «Восьмистишиями», составил целый список законов физики, упомянутых в «Божественной комедии». Сам Осип Эмильевич активно интересовался новшествами в науках и философии. В своем труде о Данте он засвидетельствовал «ослепительный взрыв современной физики» и сетовал на то, что не услышал его отголосков в творчестве большинства современных поэтов: «Как быть с нашей поэзией, позорно отстающей от науки?»⁸. О стихах самого Манделъштама такое сказать никак нельзя. Широта его интересов дает о себе знать, например, в следующем высказывании: «Дант может быть понят лишь при помощи теории квант»⁹. Кстати, мы должны отметить, что влияние Данте прослеживается в разных аспектах «Восьмистиший», начиная с уровня образов (в тексте Манделъштама они иногда напрямую заимствуются из «Божественной комедии») и кончая смысловым (внимание к устройству Вселенной). Приведем пример. В «Рае» Данте сам себя назвал «геометром»:

*«Как геометр, напрягий все старанья,
Чтобы измерить круг, схватить умом
Искомого не может основанья,
Таков был я при новом диве том»¹⁰...*

А вот начало 9-го стихотворения в «Восьмистишиях»:

*Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр...*

Возможно, именно «Божественная комедия» вдохновила Манделъштама на обращение к математике и физике при создании «Восьмистиший». Вернемся к их «научному» аспекту.

Некоторые из дисциплин, которые мы назвали, фигурировали в связи с «Восьмистишиями» Манделъштама в работах исследователей. Однако сквозной интерпретации самого загадочного десятого стихотворения, насколько мы знаем, еще никто не приводил; мы попытаемся это сделать в нашей статье. Мы будем рассматривать «Восьмистишия» в контексте упомянутых нами наук; чтобы описать их состояние во времена Манделъштама, потребовался бы отдельный том, мы же ограничимся информацией, породившей некоторые образы и смыслы в этом цикле.

Фундаментальные перемены в науке, происшедшие в XX веке, войдут в историю человечества наравне с мировыми войнами и громадными социальными потрясе-

ниями, которые имели место в этот период. Квантовая механика и теория относительности лежали в основе этой научной революции. Квантовая механика, в свою очередь, базируется на принципе неопределенности Гейзенберга, из которого следует, что невозможно точно определить состояние окружающего мира во всех его деталях, не говоря уже о том, чтобы предсказать его. То есть принцип неопределенности означает разрыв с детерминистическим взглядом на Вселенную, преобладавшим со времён Ньютона. Теория относительности, предложенная Эйнштейном, объединила понятия пространства и времени, отдельно анализируемые в классической механике, в континуум пространство — время и включила в рассмотрение неинерциальные системы и гравитацию. Рождение теории относительности, которое можно назвать крупнейшим событием в истории физики, не только привело к невиданному прежде ускорению технического прогресса; оно перевернуло взгляды человечества на мироздание и изменило аксиоматику многих наук, включая философию, и не могло не повлиять на искусство. Формирование общей теории относительности, предложенной Эйнштейном, не было завершено к моменту написания «Восьмистиший» Мандельштама (1933-1935). Не закончено оно и сегодня (2014): некоторые фундаментальные проблемы остаются неразрешенными на сегодняшний день: например, вопросы о природе гравитации или о темном веществе, составляющем большую часть массы Вселенной; отсутствует общая теория частиц и многое другое.

Новые научные теории потребовали философского осмысления. В какой-то мере оно присутствовало в трудах Бергсона. У Мандельштама наибольший интерес вызывали два направления в работах Бергсона: проблема причинно-следственных связей между явлениями и отношения между временем и пространством. При этом нельзя сказать, что в сочинениях Бергсона вопрос о причинно-следственных связях стоит на первом месте: в историю философии он вошел как автор теории времени.¹¹ Если Кант в «Критике чистого разума» утверждал, что пространство и время являются априорными формами организации чувственного опыта, то Бергсон полагал, что в основе чувственного опыта лежит время. При этом он различал «научное» время, которое является формой пространства и измеряется техническими средствами, и «чистое» время — время сознания, которое существует как поток изменяющегося опыта и характеризуется его качеством и длительностью¹². Согласно Бергсону, причинная связь явлений сознания не является детерминистической, так же как квантовая механика. В его теории эволюция органического мира происходит благодаря «жизненному порыву».

В 1930 году известный русский биохимик В.И. Вернадский опубликовал в журнале Французской Академии Наук статью под названием «Изучение явлений жизни и новая физика», в которой присоединился к Бергсону и ввёл для деления новый термин «биологическое время-пространство», распространив тем самым свойство внутреннего импульса к изменению на всю биосферу¹³. Фундаментальность представления о времени как о свойстве биосферы невозможно переоценить, поскольку оно приводит к новому пониманию космоса. Эта статья Вернадского появилась на русском языке в 1931 году и, возможно, о ней Мандельштам узнал от своего близкого друга биолога-теоретика Бориса Сергеевича Кузина. Кроме того, выяснилось, что теория относительности и теория времени Бергсона вовсе не взаимоисключающие, а дополняют друг друга.

За последние годы взгляды Бергсона на отношения между пространством и временем нашли отражение как в традиционных дисциплинах, так и в новой науке синергетике, занимающейся сложными самоорганизующимися системами. Вы-

воды Бергсона будут для нас актуальны при обсуждении тех текстов из «Восьмистиший», которые дают читателю отсылку к сфере точных наук.

Теперь мы приведем некоторые сведения из квантовой механики, прямо относящиеся к теме статьи. В 1926 году было впервые опубликовано волновое уравнение австрийского физика Шрёдингера, описывающее динамику частиц во времени. Это уравнение можно назвать квантовым эквивалентом уравнений Эйлера-Лагранжа и Гамильтона в классической механике. Решение уравнения Шрёдингера представляет собой волновую функцию, которая полностью определяет состояние частицы в любой момент времени. Согласно вероятностной интерпретации Борна, за которую он получил Нобелевскую премию, волновая функция ψ в каждой точке x представляют собой амплитуду вероятности пребывания частицы в данной точке в определённый момент времени, представленную комплексным числом (т.е. оно содержит мнимую часть). Квадрат модуля этого комплексного числа представляет собой вероятность или плотность вероятности. Поскольку значения, которые принимает нормализованная волновая функция ψ в каждой точке x , образуют амплитуду вероятности, то $|\psi(x)|^2$ даёт плотность вероятности в точке x . После простых преобразований, связанных с нормализацией (когда имеешь дело с вероятностями, их сумма не должна превосходить единицы)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$$

получается следующая формула для вычисления вероятности состояния через решение волнового уравнения:

$$\rho_t(\mathbf{x}) = |\psi(\mathbf{x}, t)|^2 = \left| \frac{\psi_0(\mathbf{x}, t)}{k} \right|^2$$

$\rho(\mathbf{x})$ есть всегда функция плотности вероятности для всех t . Это ключ к пониманию важности этой интерпретации, потому что для данного начального $\psi(\mathbf{x}, 0)$ уравнение полностью определяет последующую волновую функцию и даёт вероятности положения частицы для любого момента времени. При этом такой расчёт не предсказывает истинного положения частицы в каждом отдельном эксперименте, т. е. частица может оказаться в любой точке пространства, где вероятность не равна нулю.

Мы приносим извинения нашим читателям за то, что в этой статье используются некоторые формулы из квантовой механики. Мы вынуждены были воспользоваться математическим языком, непривычным в филологической статье, только потому, что, по нашему предположению, именно эти или родственные им формулы описаны в «Восьмистишиях» Мандельштама. Здесь мы подходим к обсуждению образного ряда в Восьмистишиях и собираемся показать, что многие образы в этих стихах представляют собой «экфразы», то есть словесные описания графики математических символов, используемые в 10-м и других стихотворении цикла. В своём разборе истории «Грифельной оды» М. Гаспаров¹⁴ отметил, что в ней Мандельштам использовал приём «метафоризации метафор», а в данном случае мы можем говорить о метафоризации символов, что представляет собой ещё более высокий уровень сложности, принципиально исключающий возможность единственной интерпретации и позволяющий расширение поля ассоциаций. Естественно поинтересоваться, были ли в кругу близких знакомых Мандельштама математики, работающие в области теории относительности? Можно найти ответ на этот вопрос

в «Четвёртой прозе»: текст начинается с упоминания имени крупного математика того времени¹⁵. Это Венямин Федорович Каган, автор трудов по дифференциальной геометрии и заведующий кафедрой дифференциальной геометрии в Московском университете, который вел первый в СССР курс по теории относительности. Его студентами были будущие академики и лауреаты Нобелевских премий по физике: Тамм и другие. В той же «Четвёртой прозе», в самом начале, Мандельштам пишет: «...деятельность Вениамина Фёдоровича покоилась на основе бесконечно-малых»¹⁶. Мы ещё вернёмся к «бесконечно-малым» при обсуждении стихов.

Влияние «революции», происшедшей в физике, на культуру изучается давно и многими, и, несомненно, анализ произведений искусства в этом ключе будет продолжаться. Наша же задача сводится к рассмотрению одного лишь сочинения — «Восьмистиший» Мандельштама — в связи с открытиями, о которых мы говорили. Образность «Восьмистиший» в контексте конкретных положений науки и философии исследовали немногие. Ближе всего к такой постановке вопроса приблизился Ю. Левин в анализе одного стихотворения из «Восьмистиший» — «В игольчатых чумных бокалах...»¹⁷: он отметил наличие «философского», «космологического» и «математического» слоя в этом стихотворении и даже упомянул, что «скрытым материалом стихотворения являются квантово-механические и релятивистские идеи»¹⁸. Но дальше этой констатации в выделении физико-математических и философских корней стихотворения он не пошел, а вывод выглядел так: «рациональное осмысление этого текста возможно лишь на уровне отдельных слов и словосочетаний»¹⁹. При этом он счел, что «логические и реальные связи между двестишиями очень слабы». Мы не можем согласиться с этим мнением.

Наша цель — показать, какие именно квантово-механические и математические образы были использованы Мандельштамом в «Восьмистишиях», и продемонстрировать связи между этими образами как в пределах прокомментированного Ю. Левиным 10-го стихотворения, так и в других стихах цикла, и выход за рамки одного текста позволяет сделать более обоснованные выводы по поводу намерений автора и выяснить, что именно объединило между собой отдельные восьмистишия. Последовательность стихов в цикле была выбрана публикаторами, а не автором. Н.Я. Мандельштам в книге «Воспоминания» предложила свои комментарии к «Восьмистишиям». По ее словам, она бы отвела «ключевое — последнее место» стихотворению о «наваждении причин»²⁰. Мы также считаем, что десятое восьмистишие — наиболее значимое в этом цикле, и именно его мы будем анализировать наиболее детально.

Рассмотрение мы начнём с двух центральных стихотворений «В игольчатых чумных бокалах...» и «И я выхожу из пространства...», представленных в цикле под номерами 10 и 11 соответственно. Тексты этих стихов мы приведем полностью:

10

*В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наваждение причин,
Касаемся крючками малых,
Как легкая смерть, величин.*

*И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит —
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.*

11

*И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рвупостоянство
И самосогласье причин.*

*И твой, бесконечность учебник
Читаю один, без людей –
Безлиственный дикий лечебник, –
Задачник огромных корней.*

По нашему мнению, в первых четырех строках каждого из этих восьмистиший образность навеяна дискуссией о причинности в квантовой физике. Наш «маршрут» по тексту определяется последовательностью образов в стихотворении «В игольчатых чумных бокалах...» и близким к нему по образности стихотворении «И я выхожу из пространства». По завершении обсуждения образов в этих двух стихотворениях мы рассмотрим родственные образы в других стихах цикла.

Вспомним первые две строчки из 10-го восьмистишия:

*В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин...*

Формула, приведённая выше для вычисления вероятности появления частицы в определённой точке в данный момент времени, с виду походит на бокал; он образован иглами математического символа модуля, а его содержимым является мнимая величина, обозначенная словами «наважденье причин», чем Мандельштам подчеркнул ее иллюзорность и призрачность, отказывая, таким образом, в определенности факторам, которые привели к результату. Формула отрицает детерминистическую причинно-следственную связь между поведением частицы и внешними силами, которые на нее действуют. Для нас с этой точки зрения также важно начало 11-го стихотворения:

*И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рвупостоянство
И самосогласье причин.*

В первых двух строках автор говорит о неправомерности использования категории пространства при оценке причинно-следственных отношений, поскольку соседство в пространстве не является доказательством причинности. В третьей и четвертой строке он отказывается признать детерминизм в отношениях между объектами. Частица в микромире может при равных начальных условиях повторенного эксперимента оказаться в разных точках пространства. Отсюда: «И мнимое рву постоянство/ И самосогласье причин».

В 10 стихотворении говорилось о «наваждении причин» — как мы предполагаем, за этим словосочетанием скрывается решение волнового уравнения, представленное мнимыми числами. (В 11-м же прямо употребляется математический термин «мнимый»). Мы выяснили, почему «наважденье причин» в 10 стихотворении подаются в «игольчатых бокалах». Остаётся понять, зачем поэт назвал их «чумными». Очевидно, так он дал нам знать, что наши заблуждения о причинности не просто ложны (наваждение), но заразные и смертельно опасны, как чума. Можно

также напомнить, что в известном стихотворении «Новелино», датированном 1932 годом, есть слова: «...пересиливали срам/ и чумную заразу». При этом в период «Восьмистиший» Мандельштам написал сатиру на Сталина: «Мы живём под собою не чуя страны», что грозило поэту гибелью, и в 10 стихотворении угадывается преследовавшее его ощущение ужаса от окружавшего его мира лжи и даже, может быть, страх смерти. Как раз на словосочетание «легкая смерть», также, как на образ «крючьев» в 10 стихотворении мы и хотим сейчас обратить внимание читателя.

Так как по тематике стихотворение соприкасается со сферой точных наук, мы можем позволить себе догадку, что «крючья» представляют собой метафорическое описание математического символа, который часто используется как в квантовой физике, так и в космогонии. Этот символ — определенный интеграл и его верхний и нижний пределы. Тут можно отметить, что понятие интеграла было хорошо известно Мандельштаму и он, например, упоминал интеграл в «Разговоре о Данте», написанном примерно в то же время, что «Восьмистишия». Действительно, символ интеграла похож на крючок, а «подвешенные» на него верхний и нижний пределы напоминают бирюльки, особенно когда они представляют бесконечность, обозначаемую в математике как ∞ , или колечко нуля 0. (Пример использования определенного интеграла — приведенная выше формула). В тексте об интегральном исчислении говорится не только метафорически. Строчки «касаемся крючьями малых, как легкая смерть, величин» появились потому, что оно оперирует бесконечно малыми величинами. Определенные интегралы присутствуют во многих формулах в квантовой механике и космогонии, а в качестве верхнего и нижнего предела часто служит символ, больше всего напоминающий бирюльки и представляющий положительную и отрицательную бесконечности ∞ , о которых говорит Мандельштам в 11-м стихотворении: «И твой, бесконечность, учебник/ Читаю один без людей». Весьма вероятно, что имеется в виду конкретный учебник, скорее всего пособие по физике, который был перед глазами автора во время написания текста²¹. «Легкая смерть», как мы уже говорили, связана с опасностью отравиться или заразиться, употребив сомнительный напиток: «наваждение причин». Определение «легкая» — антоним к слову «мучительная»; смерть без мучений — это еще самое «безобидное», что может произойти со вступившим на скользкий путь причинности, так сказать, «нижний предел», «подвешенный» на крючок интеграла.

*И там, где сцепились бирюльки,
Ребёнок молчанье хранит —
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.*

Образ как сцепившихся бирюлек, так и люльки естественно возникает при взгляде на формулу, в которой два знака определённых интегралов с пределами, обозначенными символами бесконечности, расположены близко к друг другу. Выражение между двумя символами интегралов действительно кажется помещённым в люльку. При этом этот зрительный образ совершенно не связан с физической основой проблемы, а только с её математической записью, как в этом фрагменте:

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy \right]^{1/2}$$

По поводу происхождения образа ребенка в этих стихах можно сослаться на Гераклита, цитата из которого приведена в статье Левина: «Вечность — дитя, играю-

щее в кости, — царство ребёнка»²², и на черновики «Разговора о Данте», где есть следующая запись «Ребёнок у Данга — дитя (“il fanciullo”)». Младенчество как философское понятие с необычайной конструктивной мощностью»²³. Интересно также отметить, что этот образ употребил Эйнштейн в своём знаменитом письме, написанном позже, чем стихотворение Мандельштама. «Мы находимся в положении дитя, вступающего в огромную библиотеку, заполненную книгами на многих языках. Ребенок знает, кто-то должен был написать эти книги. Он не знает, как это сделать. Он не понимает язык, на котором они написаны. Ребенок неясно подозревает загадочный порядок в расположении этих книг, не осознавая, что это такое». В стихотворении, по нашему мнению, есть только видимость смыслового разрыва между первым и вторым четверостишием, заставившая Левина усомниться в целостности этого текста. Ребенок — это человечество, пытающееся изучить мир и знающее так мало; это «мы» из начала стихотворения. Две последние строки стихотворения требуют отдельного обсуждения. Обратим внимание на пунктуацию, в частности на тире между 6-й и 7-й строкой восьмистишия. Оно призвано создать отношения параллелизма между «ребенком, хранящим молчание» и «спящей Вселенной». Параллелизм основан на том, что Вселенная находится в положении младенца — она помещена в люльку. Это, по нашему мнению, имеет принципиальное значение для понимания стихотворения, к чему мы вернемся позже. Относительно последних двух строк можно сказать, что, поскольку Вселенная — это пространственная категория, а вечность — временная, речь идет об отношениях пространства и времени. Ю. Левин по поводу этих строк замечает: «Последние две строки проникнуты релятивистскими представлениями: тут можно увидеть намёки на относительность пространства (*большая вселенная в люлке*) и времени (*у маленькой вечности*) и даже на взаимную соотнесённость пространства — времени.»²⁴, а в сноске Ю. Левин приводит сведения из специальной теории относительности о трёхмерной «гиперповерхности», вложенной в четырёхмерный пространственно-временной континуум. Однако, отметив «относительность пространства» и «соотнесённость пространства-времени» Левин не обратил внимания на характер этой соотнесённости у Мандельштама, то есть не объяснил, почему «маленькая» вечность управляет «большой» Вселенной и какое это имеет отношение к ребёнку. На первый взгляд, «маленькая вечность» — оксюморон. Если это так, то зачем он был употреблен Мандельштамом? Как заметил К. Тарановский, «Мандельштам ничего не писал *просто так*»²⁵. Наука избегает таких определений, как «маленькая»; к тому же оно парадоксально, если рассмотреть его в контексте трудов Бергсона, который считал невозможным применение пространственных категорий в отношении времени. Но сочетание перестает быть оксюморном, если вспомнить о «ребенке» из шестой и седьмой строчки и соотнести определение с его возрастом, то есть понимать характеристику «маленькая» как «юная». Таким образом, и Вселенная, и вечность, то есть пространство и время — объект познания — наделяются атрибутами детства, и тем самым как бы «очеловечиваются», обретают черты того, кто над ними размышляет — «ребенка» в смысле уровня познания. Здесь уместно вспомнить А. Бергсона и его теорию времени — пространства. Бергсон различал «научное» время и время «сознания», время разумного существа, доминирующее над пространством, а не просто выступающее дополнительной, четвертой его координатой (что мы наблюдаем в релятивистских представлениях). У Мандельштама в стихотворении «вечность» «качает» люльку Вселенной — то есть время в философии человеческого существования главенствует над пространством. И хотя стихотворение Мандельштама по смыслу ближе к теории Бергсона, чем к пониманию релятивистов, тем не менее, мы не можем сказать, что оно сводится к иллюстрации бергсоновской

теории. Стихотворение — не трактат по космологии, даже если автор заимствует образы из науки. В конечном счете в произведении искусства речь всегда идет о человеке и его соприкосновениях с окружающим его социальным, культурным и физическим миром. При этом наука не отрицается пишущим, а приветствуется как инструмент познания. Для Бергсона, а вслед за ним Мандельштама, ощущаемое время было основой познания, а пространство его продуктом, что и отразилось в 10-м восьмистишии. Бергсон по поводу главенства времени написал так: «Если ... мы не выйдем за пределы пространства, пространства, которое прикрывает время и очень удобно представляет его нашим чувствам: мы не дойдём таким образом до времени самого по себе»²⁶. Вспомним строчку из 11 восьмистишия Мандельштама: «И я выхожу из пространства...»

Резюмируем наши наблюдения относительно связей между образами в стихотворении. В первых строках говорится о том, что философствующее человечество, от лица которого написан текст, пьет из бокалов, образованных формулами для вычисления вероятности разных последствий для одной и той же причины, при этом внутри «бокалов» находятся мнимые числа, названные поэтом «наваждением причин». Чтобы получить эти числа, используются определенные интегралы, имеющие форму крючьев с «подвешенными» сверху и снизу пределами. Интегрирование базируется на применении бесконечно малых величин. Это тоже отражено в стихотворении. Верхние и нижние пределы, которые поэт назвал «бирюльками», «сцепляются», когда интегралы расположены близко друг от друга. Все вместе образует нечто похожее на колыбель, или «люльку». Введенный поэтом образ ребенка, с одной стороны, указывает на уровень знания человечества о себе и окружающем мире, а с другой — позволяет «вручить» людям время и пространство, об отношениях между которыми говорится в последних двух строчках. Ощущение родственности между субъектом и объектом познания возникает потому, что тому и другому Мандельштам присваивает статус дитяти. Таким образом, прослежена сквозная семантическая связь между первым и вторым четверостишием, а также внутри каждого из них.

Вернемся к 11-му восьмистишию, которое по смыслу близко 10-му. Оно завершается так:

*И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.*

Мы процитировали эти строки потому, что, на наш взгляд, в них тоже есть описание математических символов, которые в приведенных нами формулах походят на безлиственные растения (интегралы определённые и неопределённые; знаки суммы; знак модуля; скобки: дугообразные, квадратные и волнистые; корни и т. д.). «Огромные» корни, о которых говорит Мандельштам — это, скорее всего, квадратные корни для вычисления расстояния между точками в Евклидовом пространстве. Формулы для представления координат точек в одной системе координат через их координаты в другой системе очень громоздки.

Тема пространства затронута и в некоторых других стихах этого цикла. Например, в восьмистишии под номером 5:

*Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон.
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон,*

*И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог,
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.*

Породы «юродствуют», то есть демонстрируют неожиданное поведение, и в нашем воображении возникает ученый, ищущий в их причудах проявление творческого импульса развития в геологическом, а может быть, и в космическом масштабе. Правда, Бергсон изначально связывал этот импульс со свойствами человеческого разума. Но к моменту написания «Восьмистиший» академик Вернадский²⁷ уже задавался вопросом, может ли закон, выявленный Бергсоном, распространяться на сферы, не касающиеся человека. Формулировки «дорога, согнутая в рог» и «внутренний избыток пространства» похожи на описание случаев проявления имманентно присутствующего импульса жизни, ведущего к возникновению новых форм и изменению геометрии пространства.

Положения квантовой механики отразились еще в 2 стихотворениях цикла, под номерами 1 и 2. Чтобы подкрепить наше наблюдение, процитируем заметку из записных книжек Мандельштама, сделанную при работе над произведением «Литературный стиль Дарвина» в 1932 году: «Энергия доказательства разряжается квантами, пачками. Накопление и отдача: вдох и выдох, приливы и отливы»²⁸. А вот текст 1-го стихотворения из «Восьмистиший»:

*Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох –*

*И дугами парусных гонок
Открытые формы чертя,
Играет пространство спросонок –
Не знавшее люльки дитя.*

Соотнеся стихотворение с приведенной выше цитатой, мы можем заключить, что в нем Мандельштам говорит о квантованном характере творческого процесса, не обязательно состоящего из равномерно чередующихся «приливов» и «отливов», названных в этом восьмистишии «задыханиями» и «вздохами». В этом процессе может быть и неравномерность в чередованиях. Догадка, которая сначала была зафиксирована в виде заметки, явила себя в форме стихотворения.

В этом стихотворении, так же как и в 10-м, фигурируют «пространство», «дитя» и «люлька». «Пространство» в этом стихотворении возникает на наших глазах, порожденное поэтической мыслью, и ему еще только предстоит полностью «пробудиться» и «узнать люльку». Эта ширь открыта для воображения сочинителя, как море для парусных яхт. Таким образом, можно сказать, что 1-е стихотворение описывает динамику процесса творчества и его результат, а 10-е — только результат.

Второе стихотворение начинается, как и первое, но тема творчества получает иное развитие: если в первом стихотворении поэт сосредоточен на характере открытия, то во втором он фиксирует свои собственные ощущения в момент его совершения, подчёркивая непредсказуемые для него самого развития²⁹:

*И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг –*

*И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.*

В этой статье мы проследили на примере конкретного цикла стихов, каким образом достижения физики преломились призмой поэтического видения автора. Естественно предположить, что информация из физики и космологии, проявленная в «Восьмистишиях», нашла себе место и в более поздних сочинениях. В стихотворении «Наушнички, наушники мои!»³⁰, датированном апрелем 1935 года, есть строки:

*И вы, часов кремлёвские бои, –
Язык пространства, сжатого до точки...*

Здесь речь идёт о связи пространства и времени, которое измеряют кремлёвские часы. Эта связь является предметом теории относительности.

Приведем также отрывок из «Стихов о неизвестном солдате», датированных февралём 1937 года (часть 3):

*Сквозь эфир десятичноозначенный
Свет размотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей³¹.*

Здесь речь идёт о том, что скорость света 300 000 км/сек. постулирована теорией относительности как предел скорости в природе. А в 7-м стихотворении того же цикла поэт пишет:

*Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звёзды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом!³²*

Здесь говорится об изменениях в спектре звёзд, в зависимости от направления движения по отношению к обозревателю. Мандельштам ошибся в направлении смещения спектра в заданных им условиях: спектр звезд смещается в сторону красного, когда звезды удаляются от наблюдателя, а не приближаются к нему. Несмотря на это, очевидно, что Мандельштам знал об изменении в спектре звёзд в зависимости от направления движения.

Примечания

¹ Мандельштам О. Собрание сочинений: в 3 т. / под редакцией Б. Струве и Б. Филиппова

² Мандельштам Н.Я. Третья книга: воспоминания. М.: Аграф, 2006. С. 318.

³ Тарановский К. Очерки о поэзии Мандельштама /Тарановский К. О поэзии и поэтике. М.: Языки русской культуры, 2000.С. 16

⁴ Там же. С. 16

⁵ Гаспаров М.Л. «Восьмистишия» Мандельштама// Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама (Москва, 28-29 декабря 1998 г.) М., 2001. С. 47-54.

⁶ Левин Ю.И. «В игольчатых чумных бокалах...»/ Избранные труды. Поэтика. Семиотика. — М.: «Языки русской культуры», 1998. — С. 28-35.

- ⁷ Иванов Г. Петербургские зимы. СПб.: Азбука, 2000. С. 115.
- ⁸ Мандельштам О. Разговор о Данте. Первая редакция// Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 2. С. 445
- ⁹ Мандельштам О. Черновые наброски к «Разговору о Данте»// Мандельштам О. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 157
- ¹⁰ Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. XXXIII/ пер. М. Лозинского. М.: Наука, 1968. С. 133-136
- ¹¹ Бергсон А. Творческая эволюция. М.: Канон-пресс: Кучково поле. 1998.
- ¹² Бергсон Анри. Длительность и одновременность. По поводу теории А. Эйнштейна. Пг., 1923.
- ¹³ Vernadsky V.I. L'étude de la vie et la nouvelle physique. / Revue général Sciences pure et appliquées. 1930. Vol. 41. № 24. P. 695-712. По-русски опубликовано при жизни автора в 1931 и в 1940 гг. Современное издание в кн.: Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. М.: Наука, 1980. С. 246-277.
- ¹⁴ Гаспаров М «Грифельная ода» Мандельштама: история текста и история смысла// Philologica . 1995. Т. 2. С. 154.
- ¹⁵ Мандельштам О. Четвёртая проза// Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 2. С. 345.
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ Левин Ю. «В игольчатых чумных бокалах...» // Левин Ю. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: 1998. С. 28-35.
- ¹⁸ Там же. С. 32.
- ¹⁹ Там же. С. 29.
- ²⁰ Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 318.
- ²¹ Такой книгой могла быть книга *Дирак П.А.М. Основы квантовой механики* (М.-Л.: Гостехиздат, 1932)
- ²² Левин Ю. « В игольчатых чумных бокалах...». С. 32.
- ²³ Мандельштам О. Разговор о Данте. Первая редакция// Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 2. С. 415
- ²⁴ Левин Ю. Там же. С. 32
- ²⁵ Тарановский К. Там же. С. 18.
- ²⁶ Бергсон А. Длительность и одновременность. С. 6
- ²⁷ Аксаков Г. К истории понятий дления и относительности // Вопросы философии. 2006. № 2. С. 107-117
- ²⁸ Мандельштам О.С Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3 Очерки, письма. С. 176
- ²⁹ Мандельштам О. Т. 1 Стихотворения. Восьмистишия. С. 198-202
- ³⁰ Мандельштам О. Собрание сочинений. Т. 3 Очерки, письма. С. 183
- ³¹ Мандельштам О. Собрание сочинений, т. 1 С. 245
- ³² Мандельштам О. Собрание сочинений т. 1 С. 248

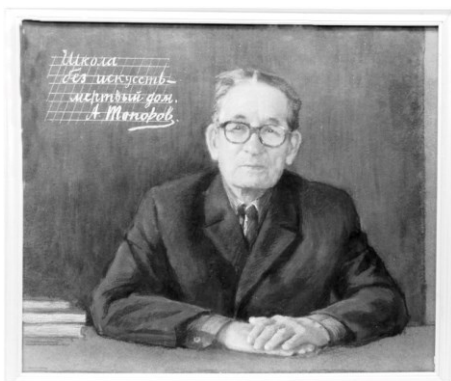


Игорь Топоров

ПАСТЕРНАКА ОНИ ЧИТАЛИ

К юбилеям Б.Л. Пастернака и книги А.М. Топорова «Крестьяне о писателях»

В жизни даже самых великих деятелей искусства были, есть и будут тайные и явные их недоброжелатели. Классический пример тому — история Моцарта и Сальери, описанная А.С. Пушкиным. Антагонистами были М.В. Ломоносов и А.П. Сумароков, И.С. Тургенев и И.Н. Гончаров... Мягко говоря, недолюбливали друг друга В.В. Маяковский и С.А. Есенин.



А.М. Топоров, худ. А.М. Махервак
Николаевский краеведческий музей

Л.Н. Толстой однажды в Гаспре, прощаясь с А.П. Чеховым, прошептал ему на ухо:

— А всё-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы — еще хуже.

О Жорж Занд он же говорил так:

— Отвратительная женщина! Я не понимаю ее успеха.

Естественно, еще больше примеров неприятия творчества выдающихся писателей, композиторов или художников можно было найти в среде рядовых любителей искусства.

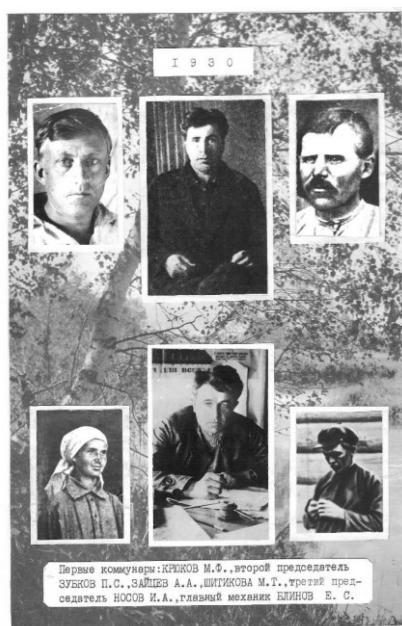
Скажем, немало критических слов о М.М. Зощенко, С.А. Есенине, М.М. Пришвине и др. высказали в 20-е годы минувшего века критики-крестьяне из знаменитой алтайской коммуны «Майское утро».



Топоров Г. Триптих "Майское утро", ч.1



Топоров Г. Триптих "Майское утро", ч.2



Топоров Г. Триптих "Майское утро", ч.3

Речь идет об уникальной книге «Крестьяне о писателях», увидевшей свет в московском Госиздате 85 лет тому назад — в 1930 году. Учитель Адриан Топоров в упомянутой выше коммуне, что находилась близ Барнаула, с 1920 по 1932 годы ежедневно проводил с малограмотными и неграмотными вовсе крестьянами чтение мировой и отечественной художественной литературы. Каким-то чудом он сумел убедить неразговорчивых в обыденной жизни сибирских кержаков высказаться по каждому из произведений.



Крестьяне о писателях, 1930

А диапазон услышанного коммунарами в мастерском художественном исполнении А.М. Топорова был поразительным. Это сотни книг: от «Орлеанской девы» Шиллера и пьес Гамсуна — до Зощенко и Демьяна Бедного, от античных поэтов — до Блока и Пастернака, от Толстого и Достоевского — до Зазубрина и Серафимовича...

Атмосферу тех чтиков прекрасно иллюстрируют слова самого Адриана Митрофановича: *«Как сейчас помню, читал я со сцены Пушкина, видел замерший зал, ощущал сотни воткнутых в меня глаз, и от этого в душе было сияние и лёгкий взлёт»*.^[1]

Крестьянская критика была честной и непредвзятой. Даже Л.Н. Толстого не пощадили после прочтения «Хозяина и работника». Каждому произведению одного и того же автора коммунары воздавали должное по заслугам. За «Растратчиков» В.П. Катаев получил от них высшую похвалу, а за «Бездельника Эдуарда» — крепкую ругань. Не понравился как-то коммуне писатель М.М. Пришвин. Ему вынесли суровый приговор. Когда крестьянам указали, что сам Максим Горький хвалит этого автора, они ответили: *«Ну, нуцай ему Пришвин нравится. А вот нам сам Горький нравится, а Пришвин — нет»*.^[2]

Под ураганный огонь коммунарской критики попал и будущий лауреат Нобелевской премии по литературе (1958) Б.Л. Пастернак за отрывок из его романа в стихах «Спекторский». [3] Было это в далеком 1928 году.

А.М. Топоров отмечал, что чтение текста в коммунарской аудитории шло с большими потугами: *«Публика много раз останавливала меня и просила перечитать «крутые места». Но повторения ничего не уясняли, и коммунары, смеясь и чертыхаясь, слушали чтение дальше. Смех и ругань пылали грубой злобой. Добродушной иронии, которой коммунары уснащают оценки безобидных поэтических благоглупостей, в речах о „Спекторском“ не слышалось».* [4]

Крестьяне дружно отнесли Пастернака к тем современным писателям, которые отшибают читателей, доставляют им не удовольствие, а муку, не облегчают, а затрудняют овладение текстом.

— Ничо нет понятного. Ничо к толку не произведено. Весь стих как стриженная курица — страшная! Не писать бы ему такие.

— Тут и написано-то всего кол да перетька.

— Отдельно слова понятны, а вместе — нет.

— Слова русские, понятные, но в них нет материала.

— Как-то на днях я челнок бабам сделал. Плохой вышел! Но люди догадались, что это челнок. А про этакой стих ничо не догадаешься.

Коммунары, наряду с такими произведениями, как «Плодородие» Вс. Иванова, «Материалы к роману» Б. Пильняка, «Рысь» И. Сельвинского, отнесли «Спекторского» в разряд вещей, написанных поспешно:

— Писатель одно слово скажет понятное, а другое долго ждешь. Слова, как мухи, над ухом летят: ж-ж-ж!..., а ни одно к душе не льнет.

— Хоть бы одно слово меня к себе помануло!

— Ветром из головы выдуло все, что слышал.

Роман, как и некоторые творения В. Хлебникова, А. Белого и др., внушил им тревожные вопросы:

— На что и кому эти стихи?

— Неужели новейшие авторы так оторвались от масс, что разучились говорить с ними по-людски?

— Али уж теперь свыше просят от писателей непонятное?

Не глянулось им и скачкообразное, слишком динамичное изложение романа:

— Так-то ребяташки делают. Сложут басенку: «скручен, связан, по хате скачет» — нескладно у них получается, а им хорошо... Не стих это, а наметка. Да вся путанная! Длинный стих. Плохие стихи повсегда длинные... Сборный стих.

— Много насобирано! Сумасшедшая буря какая-то.

— Как клубок ниток напутал — и ладно!

— Связанных слов нисколько нетути. Добрый человек скажет одно слово, потом завяжет его, еще скажет, опять свяжет. Передние, средние и задние — все завяжет в одно. А в этом стиху слова, как сквозь решето, сыпятся и разделяются друг от дружки.

Словесными выкрутасами были признаны коммунарами отдельные пассажи из романа, наподобие таких:

Их возгласы увозят на возах,
Их обступают с гулом колокольни,
Завязывают заревом глаза
И оставляют корчиться на колях.

Не произвел роман впечатления и на самого Адриана Топорова, который был довольно тонким знатоком поэзии: *«К моему стыду, я сам "Спекторского" не осилил и не смог бы вкратце передать его содержание. Несколько раз перед читкой и после читки "Спекторского" коммунарам я читал его целой фаланге сибирских поэтов, педагогов, агрономов, врачей и просто интеллигентных людей. Одни из них отказывались его слушать и понимать, другие, из любви к ребусам, разгадывали его, как "Апокалипсис", и в конце концов сознавались в непреодолимости пастернаковского сооружения»*.^[5]

Крестьяне были еще более категоричны в своих выводах:

— Хоть бы одно слово меня к себе помануло!

— Ветром из головы выдуло все, что слышал.

— По многим дорогам автор шел, никуда не пришел.

— Ни то ни се.

— Ни в какие ворота стих не лезет.

— Вот плетень, так плетень! Сплетена небылица в лицах и в грязных тряпичах!

— На что и кому эти стихи? Это издевательства над народом!

— Лучше бы он написал какую-нибудь песню!

А два слушателя — Д.С. Шигиков и И.И. Тубольцев (по словам А.М. Топорова) — *«от злости на стихи оревом ревели! Они поносили "Спекторского" и несколько недель после читки его»*.^[6]

Вывод коммунаров был зол, суров и единодушен: *«Стихи "на мотив" "Спекторского" есть особый вид казнокрадства, которое нужно немедленно уничтожить. Чепуха!»*^[7]

* * *

Автор настоящей публикации в силу своей недостаточной квалификации и ряда других причин не ставил задачей доскональный литературоведческий разбор «Спекторского» или соответствующей главы «Крестьян».

Искренне надеюсь также, что почитатели творчества великого поэта не сочтут ее литературным хулиганством. Ведь так было... А историю, как известно, не перепишешь.

«Низовая критика художественной литературы — не закон. На обязательность она не претендует», — так считал и сам Адриан Топоров.^[8]

Но ведь и без учета читательского восприятия художественного произведения в различных социальных группах это самое произведение не может быть оценено достаточно полно. И, возможно, теперь кому-то более понятными станут слова В.В. Маяковского о романе: *«Спекторский ("?. Пятистопным ямбом писать... За что боролись?..")*^[9]

Добавим, что после публикации полного текста произведения в 1931 году в ГИХЛе проводилось чтение Б.Л. Пастернаком своего романа с его последующим обсуждением. За небольшим исключением слушатели сходились во мнении о художественной несостоятельности вещи, композиционной слабости и отсутствии сюжетной связи. Да и сама та публикация оказалась возможной только после вмешательства влиятельных друзей писателя. Упоминание об этом содержится у А.Ю. Сергеевой-Клячис во вступительном слове к одной из современных публикаций романа «Спекторский».^[10]

Там же содержится ссылка на высказывания самого Пастернака о своем детстве. Однажды он написал Осипу Мандельштаму: *«Сейчас, правив ремингтонный список Спекторского, дал себе слово не видеть правды. Он скучен и водянист, но я буду сдерживаться, сколько будет возможности, а то вещи конец, а я ее хочу написать»*.^[1]



А.М. Топоров в молодые годы

Еще более резким был поэт, отправляя рукопись романа в Ленгиз: *«Я знаю, что это — неудача, но не знаю, мыслимо ли ее опубликованье?»*^[2]

С тех пор прошли многие годы. Давно на небесах и Борис Пастернак, и Адриан Топоров, и «белинские в лаптях», как назвал когда-то коммунаров-кригиков один из московских журналистов.^[3] Творчество поэта уже много лет не нуждается в чьем-либо заступничестве. Его произведения издаются по всему миру, их изучают в школах и ВУЗах, на этом материале написано множество восторженных научных и литературоведческих трудов.

Однако остается священным право каждого человека высказать свое искреннее мнение о том или ином явлении жизни или искусства. Лишь бы это не вело к столь необратимым и тяжелым последствиям, как это случалось, скажем, в годы сталинизма.

Посему пусть живут в веках не только стихи и проза одного из величайших литераторов современности, но и уникальный культурологический опыт Адриана Топорова, аналога которому в мире нет и по сегодняшний день.

Примечания

[1] Топоров А.М. Я — учитель. — М. : Детская литература, 1980. — С. 151.

[2] Топоров А.М. Крестьяне о писателях. М. : Госиздат, 1930. — С. 10.

[3] Пастернак Б.Л. Спекторский. [Поэма] // Красная новь, 1928. — № 1. — С.121-124.

- [4] Топоров А.М. Крестьяне о писателях. М. : Госиздат, 1930. — С. 269.
- [5] Топоров А.М. Крестьяне о писателях. М. : Госиздат, 1930. — С. 269.
- [6] Топоров А.М. Крестьяне о писателях. М. : Госиздат, 1930. — С. 269.
- [7] Топоров А.М. Крестьяне о писателях. М. : Госиздат, 1930. — С. 269.
- [8] Топоров А.М. Крестьяне о писателях. М. : Госиздат, 1930. — С. 281.
- [9] Гинзбург Л. О старом и новом: Статьи и очерки. — Л., 1982. — С. 355.
- [10] «Спекторский» Бориса Пастернака: Замысел и реализация / Б.Л. Пастернак; Сост., вступ. ст. и коммент. А.Ю. Сергеевой-Клятис. — М. : Совпадение. — 2007.
- [11] Письмо от мая 1925 г. // ПСС. — Т. 7. — С. 559.
- [12] Письмо П.Н. Медведеву от 6 ноября 1929 г. /ПСС. — т. 8. — С 355.
- [13] Аграновский А.Д. // Известия ЦИК, 07.11.1928. — № 260.



Ефим Курганов

ТЮТЧЕВ И АНТИЧНЫЙ СПОСОБ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

1

Античная культура во многом сохранилась в отрывках. Полные, исчерпывающие тексты, конечно, есть, но в целом мы представляем античность именно по цитатам. Цитата в некоторых отношениях оказывается эквивалентной тексту, называется способом заменить его. Цитата аккумулирует в себе глубинные свойства текста, и она вполне способна представлять его в мире.

Казалось бы, такая мозаичность является вынужденной. Но дело тут не только в том, что слишком многое не сохранилось полностью, но и в самом типе античной культуры, в ее АНТОЛОГИЧНОСТИ. Вот, например, раскрываем книгу *О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов* Диогена Лаэртского и обнаруживаем, что она фактически представляет собой сборник цитат, отрывков, кусочков, строящийся из отдельных, не всегда законченных фраз.

Книга Диогена Лаэртского вобрала в себя фрагменты десятков, если не сотен разножанровых текстов — от эпиграмм до разговоров. Автор не раз подчеркивает, что целый ряд — и весьма значительный — источников сохранился лишь в извлечениях, от иных остались лишь названия (он их старательно перечисляет, ибо это тоже важно). А некоторые источники, даже если они и сохранились, в полном своем виде оказываются не нужны — достаточно упоминания или некой стержневой цитаты, замещающей текст.

В русской культуре аналогичным образом отрывочен Тютчев, как будто и он является осколком каких-то архаических времен. Стихи его приходилось буквально вылавливать из Леты, ибо автор их очень мало берег, но, кроме того, они по самой структуре своей были отрывочны.

Разговоры Тютчева пользовались бешеным успехом, были гораздо более известны, чем стихи, но при жизни его не записывались (уцелели случайно сохранившиеся фразы), но интересно, что и они по природе своей были отрывочны, концентрируясь в основном на очень малом пространстве и будучи подобны ярким огненным вспышкам.

Это просто совпадение? Кажется, нет. Тютчев очень близок античному типу культуры. Мне даже кажется, что он вполне принадлежит этому типу культуры, во всяком случае может быть наиболее полно понят именно исходя из его критериев. Мозаичность Тютчева органична и принципиальна, и она требует объяснения. Конечно, вполне резонно тут улавливание каких-то ближних рядов и ассоциаций, но мне наиболее перспективными представляются как раз дальние ряды, ибо именно они были для Тютчева особенно значимы, ощущаясь им как СВОИ, наиболее близкие и родные.

Ф.И. Тютчев был величайшим импровизатором. Недаром в лирике он так любил малую форму, фрагмент, отрывок, который представлял особую возможность дать в поэтическом тексте кристаллизацию порыва, неуловимых, быстро сменяющихся друг друга порывов души.

Показательно и то, что живые, по-разговорному как-то особенно выразительные стихотворные шутки Ф.И. Тютчева непосредственно выросли из экспромтов. Очень близко стоящие к ним эпиграммы, благодаря своей летучести, сиюминутности, мгновенности, содержат в себе яркую концентрацию политических симпатий поэта в их наиболее непосредственных, заостренно-резких, изысканно-блестательных проявлениях.

Поразительно, но и политические статьи Тютчева по сути дела являются импровизациями. Э.Ф. Тютчева, вторая жена поэта, вспоминала:

Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, набросав нечто вроде перечня своих идей, он затем развивает их, диктуя мне. Я не устаю удивляться точности его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, — кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни задержки, ни колебания, ни единой запинки — это поток, который течет легко и свободно^[1].

Однако с наибольшей полнотой и глубиной дар импровизатора проявился в тютчевских остротах и афоризмах. И, кстати, в них — то он и выразил прежде всего свою философию истории.

СЛОВА Тютчева — это целое явление в жизни аристократического Петербурга середины прошлого столетия. Они вызывали восторг и удивление, но в обществе относились к ним в целом не очень-то серьезно и, может быть, поэтому так и не удосужились записать. Д.В. Григорович вспоминал:

... Постоянным посетителем этих вечеров был известный поэт Ф.И. Тютчев, прославившийся также едкостью своего остроумия. Можно было бы составить целый том из того, что сказано было Тютчевым, и том этот мог бы с успехом занять место между известных остроумцев прошлого столетия Шамфора и Ривароля. Но мы вообще мало дорожим своим добром, ничего почти не собираем и не приберегаем, и часто у нас зря пропадает то, что служит богатым вкладом в иностранной литературе^[2].

П.А. Вяземский, находясь под впечатлением от смерти поэта, помня его беседы, полные ума и прелести, буквально заклинал издателя Русского архива П.И. Баргенева заняться сбором Тютчевяны:

Бедный Тютчев! Кажется, ему ли умирать? Он пользовался и наслаждался жизнью и в высшей степени данным от Провидения человеку даром слова. Он не заменен в нашем обществе. Когда бы не бояться изысканности, то можно сказать о нем, что если он и не Златоуст, то был жемчужноуст. Какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как бы бесознательно спадавших с языка его! Надо составить по нем Тютчевяну, прелестную, свежую, живую, современную антологию. Малейшее событие, при нем совершившееся, каждое лицо, мелькнувшее перед ним, иллюстрированы и отчеканены его ярким и метким словом⁵.

Увы, никто так и не внял призыву Вяземского. Правда, впоследствии Ф.И. и Н.И. Тютчевы, а также Е.И. Пигарева (внуки поэта) приступили к сбору материалов. И вот в 1922 г. в Москве в издательстве Костры выходит Тютчевиана. В основу этой брошюры как раз и легла работа, проделанная внуками поэта. Однако следует помнить, что в это издание прежде всего были включены остроты Тютчева, его изысканные, пикантные каламбуры. Тютчевские же мысли, дающие постижение судьбы России, ее прошлого и будущего, максимы, глубокие, мощные, резкие, полные клокочущей ярости, во многом остались за пределами книги.

ГЛАВНЫЙ, ПОДЛИННЫЙ Тютчев еще должен быть открыт.

2

Обратясь к тютчевским письмам, я попытался выделить целый блок микро-текстов, в совокупности своей достаточно рельефно представляющих многолетнюю и необыкновенно плодотворную работу Тютчева в жанре МЫСЛЕЙ.

Остро, нервно, тонко, чутко реагируя на политические события, как общезначимые, так и локальные, но по-своему очень показательные, Тютчев подчеркивал, выделял, обнажал парадоксальность, невероятность, абсурдность некоторых жизненных ситуаций, личных и общественных. В результате его афоризмы, случалось, прорастали определенной внутренней сюжетностью, обрастали дополнительными характеристиками, начинали вписываться в некую ситуацию, обнаруживая явную связь с жанром анекдота, подобно тому, как через анекдот (т.е. апофегму, хрию, которые представляли собой развернутую гному — афоризм) прежде всего реализовывалось учение Сократа или, скажем, Диогена:

Главное событие этой недели — это пребывание вел. герцогини Веймарской в Елагином дворце. Решив, что близость ее присутствия налагает на меня известные обязанности, я просил о представлении ей через Одоевского, назначенного состоять при ее особе, в качестве самого сведущего в литературе и умственно-развитого из камергеров его величества государя императора. Третьего дня вечером эта добрейшая вел. герцогиня приняла нас в числе человек тридцати, со свойственным ей приветливым достоинством и во всей невинности ее глухоты. Конечно, она со мной говорила о Мальтице, которого она очень ценит... Но из всех представлявшихся лучше всех мог поддерживать с ней <разговор> генерал Сакен, почти такой же глухой, как она⁶.

Этот микротекст, конечно, не обладает сюжетом в полном смысле слова. Но зато совершенно очевидно следующее: острая, пронзительная тютчевская мысль обыгрывает ситуацию, эстетически организует ее, структурирует. В результате рядовой, обычный случай вырастает в событие, психологически захватывающее и пикантное. Без игры тютчевской мысли в приведенном фрагменте, собственно, не на чем особенно задержать взгляд, заострить внимание. Но даже и тогда, когда в фокусе оказывались события исторически масштабные, именно тютчевская мысль задавала динамику, движение и, наконец, оформляла, структурировала происшествие, делая его философски и эстетически значимым.

Развертывая афоризм, сентенцию в анекдот, Тютчев создавал своего рода голограмму, давал яркое, образное воплощение интуитивно нащупанной им той или иной закономерности.

Тютчев, можно сказать, был необыкновенно мощным локатором. Он воспринимал, улавливал и отражал все, с чем приходилось ему соприкасаться. Удивительное свойство поэта к отражению и претворению потока жизни в сверкающий, неиссякаемый поток глубоких, парадоксально-острых мыслей очень точно было подмечено И.С. Гагариным:

Тютчев, каким я его знал, был подобен призме, которая воспринимает все лучи, ничего не говорящие нашему оку, и возвращает их украшенными всеми цветами радуги⁷.

Чутко реагируя на различнейшие события, даже самые как будто незначительные, мелкие, Тютчев, помимо афоризмов, порой разраставшихся в целые микроновеллы, работал и в жанре стихотворного афоризма, который рождался мгновенно, непроизвольно. Само событие как бы высекало из нервной, необыкновенно легко возбудимой и одновременно глубоко ироничной природы поэта пылающую искру.

Тютчевские афоризмы, как прозаические, так и стихотворные, как сжатые, предельно сконцентрированные, так и развернутые, — это проявление подлинно свободной личности, не боящейся раскрыться, не страшась быть честным, трезвым консерватором, что всегда особенно опасно. Общественное мнение за это подвергает ostracism, если не духовному линчеванию, а власть решительно отказывается принимать здоровый консерватизм, ведь для нее всякая самостоятельная мысль, даже вполне верноподданная, есть уже нарушение порядка, беззаконие.

Власть, признающая лишь автоматический монархизм, отвергла Тютчева как политического мыслителя, ибо он творчески свободно выработал свой консерватизм и тем нарушил систему — русский человек и тем паче русский мыслитель не мог быть свободен от навязываемых ему идеологических нормативов, и он не имел права их свободно принимать.

Тютчев как политический мыслитель мешая и левым и правым, не вписываясь в их стереотипы, и, можно сказать, был заживо погребен, сознательно забыт в этом своем качестве. Главная причина одна — он был личностью, ускользавшей от любой формы давления. Именно невытравливаемое клеймо свободы, как черта, казавшаяся явно нерусской, помешало принять Тютчева как мыслителя и в правительственной среде и в лагере революционных демократов.

Тютчев казался ДРУГИМ, у него была какая-то непонятная закваска. Он был не ясен, не отчетлив, рельеф его природы казался каким-то непривычным. Его вольно избранный консерватизм пугал, воспринимаясь как явная аномалия.

Что же все-таки такое феномен ТЮТЧЕВА-МЫСЛИТЕЛЯ?

3

Люди, близко знавшие Тютчева или хотя бы часто слышавшие его, считали, что он был не только поэтом-мыслителем, но и мыслителем как таковым, мыслителем по призванию, по волеизъявлению Богов. Им казалось только, что этим уникальным своим даром Тютчев не сумел как следует распорядиться, что дар этот так и остался нереализованным; вот какие выразительные свидетельства оставили на этот счет его сын и вторая жена — Ф.Ф. Тютчев и Э.Ф. Тютчева:

... если поэтическое наследие, оставленное Ф.<едором> И.<вановичем> невелико, то еще меньше осязательных, реальных последствий его общественной деятельности. Ф.<едор> И.<ванович>, в сущности го-

воя, разменялся на мелочи и всю свою гениальность, все свои богатые дарования растратил в разговорах. В разговорах, правда, чрезвычайно умных...^[3];

... если даже ему и присущ дар политика и литератора, то нет на свете человека, который был менее, чем он, пригоден к тому, чтобы воспользоваться этим даром. Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким бы то ни было правилам ни с чем не сравнимы^[4].

Неужели так и исчез бесследно Тютчев-мыслитель? Действительно, разменялся на мелочи? Был поглощен, растворен в блистательном и неутомимом светском говоруне?

Если полагать, что мыслитель — это великий затворник, в кабинетной тиши с неизбывным упорством кующий свои необъятные труды, то тогда, в самом деле, в Тютчеве темперамент подлинно светского человека загубил дар философа, тогда, в самом деле, был прав баварский публицист Карл Пфедфель, писавший:

... Так говорил этот человек, рожденный для размышлений, для кабинетного труда, чья жизнь по странному капризу судьбы в течение почти пятидесяти лет протекала в гостиных. Родись и живи он во Франции, он, без сомнения, оставил бы после себя монументальные труды, которые увековечили бы его память. Родившись и живя в России, имея перед собой в качестве единственной аудитории общество, отличающееся скорее любопытством, нежели образованностью, он бросал на ветер светской беседы сокровища остроумия и мудрости, которые забывались, не успевая распространиться^[5].

Но ведь феномен мыслителя можно понимать и иначе. Вообще критерии XIX столетия нельзя считать единственно возможными и абсолютными. Почему Тютчеву должна была быть родственна именно модель хронологически наиболее близкая — именно модель Канта, а не Сократа, отказавшегося писать, но бывшего при этом великим мыслителем?! В самом деле, почему? Очевидно ведь, что древние греки были Тютчеву ближе современников-немцев. Вообще, Тютчев был непосредственно связан с античным способом философствования.

А что, собственно, такое античный способ философствования? Об этом, кажется, не очень принято и писать и думать — главный интерес, как правило, вызывают идеи, а не то, как и почему они возникли и утвердились; форма, как содержательный фактор, тут не очень-то учитывается. Но забывать об оболочке не следует, ведь она во многом определяет, что и как происходит внутри, постоянно подпитывая содержание. Поэтому сейчас будем обращать внимание на детали и мелочи, памятуя об их принципиальном характере.

Диоген Лаэртский в своде биографических данных о Сократе отметил:

Поняв, что философия физическая нам безразлична, он стал рассуждать о нравственной философии по рынкам и мастерским, исследуя, по его словам, *'Что у тебя худого и доброго в доме случилось?'*¹

Приходится констатировать факт совершенно очевидный, но это приходится делать для того, чтобы его выделить, понять его семиотическую значимость: Сократ свою этическую философию, свою теорию и практику нравов строил и осуществлял в мастерских и на рынках. Он гнушался словом записанным, книжным трудом, и это было принципиально (вспомним тютчевское: **Мысль изреченная есть ложь**).

Поиск мудрости — процесс живой и органичный, прикрепление к бумаге его искажает и деформирует, изменяет самую его природу. Поэтому именно рынок, базарная площадь — средоточие античной жизни — и стал тем главным пространством, где реализовывалась философия Сократа. Он и свою семейную жизнь вынес на рынок, превратив ее в цепь аргументов и положений своей этической философии:

Однажды среди рынка она (Ксанטיפпа — Е.К.) стала рвать на нем плащ; друзья советовали ему защищаться кулаками, но он ответил: “Зачем? чтобы мы дупили друг друга, а вы покрикивали: “Так ее, Сократ! так его, Ксанטיפпа!”?” Он говорил, что сварливая жена для него — то же, что норовистые кони для наездников: “Как они, одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и я на Ксанטיפпе учусь обхождению с другими людьми”¹⁶.

И вот что еще крайне важно. Философия Сократа, разворачиваемая на рынке и дома, все равно что на рынке, полная крику, побоев, потасовок, отвернувшаяся от всего учено-книжного, уже в античном мире была осознана как высшая мудрость:

... За такие и иные подобные слова и поступки удостоился он похвалы от пифии, которая на вопрос Херефонта ответила знаменитым свидетельством: Сократ превыше всех своею мудростью¹⁷.

В Сократе был канонизирован античный, но прежде всего именно эллинский способ философствования через разговор как его высшую форму, но разговор это был весьма специфический. Сократ нападает, провоцирует собеседников, возбуждает, электризует толпу, заставляет **ОСТАНОВИТЬСЯ И ОГЛЯНУТЬСЯ**, буквально в лоб сталкивая человека с проблемой жизни, с наиреальнейшей жизнью как философской проблемой. Можно даже сказать, что Сократ своими рассказами, афоризмами, вопросами окунает человека в самопознание, в глобальные вопросы человеческого бытия как реальные, насущнейшие, необходимые, неизбежные.

4

Ненависть к письменному закреплению мыслей и к ученокнижному философствованию была органическим свойством тютчевской природы: бедняга задыхается от всего, что ему хотелось бы высказать; другой постарался бы избавиться от избытка мучающих его мыслей статьями в разные газеты, но он так ленив и до такой степени утратил привычку (если она только у него когда-нибудь была) к систематической работе, что ни на что не годен, кроме обсуждения вслух вопросов, которые было бы, вероятно, полезнее довести до всеобщего сведения, излагая и анализируя их письменно¹⁴.

Отнюдь не оспаривая это ценнейшее свидетельство Э.Ф. Тютчевой, позволю себе заметить только вот что. Мне кажется, дело тут не в лени, а в тютчевском чувстве мыслительного процесса как процесса глубоко органического, в острейшем личном философско-эстетическом недоверии к слову письменно зафиксированному, как искусственному и потому несоответствующему, нарушающему органическую природу творчества. Не это ли имел в виду А.С. Хомяков, когда говорил, что у Тютчева **натура античная?**!

В самом деле, Тютчев был естественно сложившимся мыслителем сократовского типа. Но тут еще следует помнить следующее. Сократ открывает эру рационализма в античном мире, разрушает наивную цельность первых философов. Он считает, что все имеет смысл и этот смысл может быть постигнут, что людей можно научить правильно жить, для этого следует открыть и впахнуть в их умы знание законов подлинного человеческого бытия.

Тютчев, при всем том, что он является мыслителем сократовского типа, вместе с тем древнее, в нем шевелится до- сократовский Хаос. В этом смысле абсолютно прав был Андрей Белый, когда назвал однажды Тютчева **архаическим эллином** [8]. Однако сократовское и досократовское в Тютчеве не произвольно перемешано, а достаточно точно распределено.

В принципе практически вся поэзия Тютчева космологична. Основные природные стихии бытия в ней присутствуют живыми, как бы дометафорическими. Поэтому именно тютчевскую поэзию, главным образом, и характеризует перво-данная архаика.

Собственно философские тексты Тютчева (опять-таки в принципе) открыто не космологичны, сосредоточены на проблемах человеческого общества, представляя собой своего рода философию политического поведения. Тут просто нельзя не вспомнить о Сократе, отказавшемся от космологического подхода во имя построения науки совершенной жизни. Ксенофонт оставил на этот счет следующее замечательное свидетельство:

Да, он не рассуждал на темы о природе всего, как рассуждают по большей части другие; не касался вопроса о том, как устроен так называемый философами “комос” и по каким непреложным законам происходит каждое небесное явление. Напротив, он даже указывал на глупость тех, кто занимается подобными проблемами... Кто изучает дела человеческие, надеется сделать то, чему научится, как себе, так и другим, кому захочет: думают ли исследователи божеских дел, что они, познав, по каким законам происходят небесные явления, сделают, когда захотят, ветер, дождь, времена года и тому подобное, что им понадобится, или же они ни на что подобное и не надеются, а им кажется достаточным только познать, как совершается каждое явление такого рода. Вот как он говорил о людях, занимающихся этими вопросами, а сам всегда вел беседы о делах человеческих: он исследовал, что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безобразно, что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и что неблагоразумие, что храбрость и что трусость, что государство и что государственный муж, что власть над людьми и что человек, способный властвовать над людьми, и так далее¹⁶.

Конечно, то, что я намечаю сейчас в предельно сжатой форме, — это схема. Конечно, реально все было гораздо сложнее и путаннее. Но тем не менее собственно философские тексты Тютчева (реконструкцию их смотри в приложении) открывают именно мыслителя сократовского типа, мыслителя, в разговорах своих создавшего через беспощадное интуитивно-аналитическое расчленение привычек и негласных правил современного общества своего рода практическую теорию нравов, введение в искусство жить, введение в построение некоего гармонического национального универсума.

Главный пафос деятельности Сократа заключался в том, что, помимо законов, управляющих вселенной, есть и законы социально-общественного бытия. Насколько можно теперь понять, он их не открывал с систематической последовательностью, а лишь убеждал, кричал, доказывал, что они должны быть открыты.

Своими разговорами показывал, что пока эти законы не познаны, жизнь общества случайна, хаотична и бессмысленна, пока они не познаны, она во многом растрачивается крайне произвольно, вхолостую.

Особенно Сократ акцентировал внимание на том, что государственный деятель, не владеющий законами социального бытия, может принести только вред, как правило, непоправимый. В частности реконструированный Ксенофонтом и, видимо, значительно им при этом сглаженный диалог *Разговор с Главконом о необходимости соответствующего образования для государственного деятеля* завершается следующим образом:

Главкон, как бы желая прославиться (Главкон, младший брат Платона, собиравшийся стать главным афинским оратором, который на заседаниях Совета пятисот и Народном собрании выступал как опекун и представитель народа — Е.К.), не прийти тебе к противоположному результату! Разве ты не видишь, как опасно говорить или делать, чего не знаешь? Подумай обо всех известных тебе лицах такого сорта, которые, как всякому видно, говорят и делают, чего не знают: как, по-твоему, за это похвалят или заслуживают или порицания, уважения или презрения? Подумай также и о тех, которые знают, что говорят и что делают, и, я убежден, ты найдешь, что во всех специальностях люди, пользующиеся славой и уважением, принадлежат к числу самых сведущих, а люди с другой репутацией и презираемые — к числу самых невежественных. Так, если хочешь пользоваться славой и уважением у нас в городе, старайся добиться как можно лучшего знания в избранной тобою сфере деятельности...^[9]

Собственно, Тютчев говорил о том же, только он уже не декларировал, а делал, т.е. именно открывал законы, незнание которых обнаруживало не только правительство, но и двор, и общество, и имевший огромное влияние журнально-литературный мир. Открывал в бешенстве, в праведном гневе, ибо это незнание роковым образом сказывалось на судьбе России, на ее

Интересно, что если Карл Пфеффель в официальном письме развивал взгляд на Тютчева как на нереализовавшегося великого мыслителя, то в частной переписке с Э.Ф. Тютчевой он обронил такое высказывание:

Мне хотелось бы, чтобы муж ваш продолжил свои литературные труды... Можно было бы сказать много интересного о современном политическом положении. Убедите Тютчева нарушить свое молчание и снова подняться на треножник. Он обладает даром пророчества (Тютчев Ф.И. Кн. 2. С. 248-249).

Собственно, тут не сказано ничего такого, что отрицало бы прежде приведенную характеристику Тютчева, сделанную Пфеффелем. Баварский публицист ждал от Тютчева продолжения и завершения его политических трактатов. А вот тон в письме к Э.Ф. Тютчевой иной. Пфеффель сравнил Тютчева с пифией, вещающей на треножнике, и это отнюдь не случайная параллель. Тютчев именно вещал,

пророчествовал, но только не в достаточно тенденциозных и схематичных своих статьях, а в разговорах, неизменно державшихся на уровне высочайшего искусства.

То, чего Карл Пфедфель коснулся мимоходом, но чрезвычайно точно в нескольких словах, А.Ф. Тютчева в письме к сестре Дарье развернула в целый портрет Тютчева как оракула, пифии, пророка, как природного духа:

... Я нашла его чрезвычайно взвинченным, в полном отчаянии от того, что делается в политическом мире, и проклинающим все мироздание. Никогда не видела я человека столь непостижимо нервного; проведя с ним несколько часов, я чувствую сильнейшую потребность в чем-нибудь успокаивающем душу. Теперь, когда я сужу о нем на расстоянии, находясь в иной обстановке, нежели та, в которой живет он, своеобразие его еще более меня поражает. Он представляется мне одним из тех недоступных нашему пониманию изначальных духов, что исполнены разума, проницательности и огня, однако лишены души, хотя и с материей не имеют ничего общего. Он совершенно вне всяких законов и общепринятых правил! Он поражает воображение, но есть в нем что-то жуткое, тревожное (Тютчев Ф.И. Кн. 2. С. 264-265.)

А.Ф. Тютчева, не навешивая ярлыков и не делая никаких эффектных сопоставлений, тонко фиксирует экстатическое начало тютчевских вещаний и подчеркивает, что Тютчев фактически принадлежал *иной цивилизации*. Она не уточняет — какой, но ведь давно уже стало очевидно, что Тютчев — “архаический эллин”, что подлинной его родиной была земля Диониса.

Устные импровизации Тютчева создавали своего рода экстаз мысли. Пророчествуя и обвиняя, он, казалось, превращался в фурию, в Немезиду, он неистовствовал, находясь в совершенно особом измерении, которое очень мало совпадает с привычными нормами культурного сознания XIX столетия. Поэтому слова Пфедфеля, что Тютчев должен подняться на треножник, были в высшей степени уместны и целесообразны.

Раз в месяц в Дельфах в храме Аполлона пифия садилась на треножник. К ней стекались из разных мест с неотложными вопросами — она отвечала несвязными криками, которые жрецы перекладывали в благозвучные стихи. Храм Аполлона в Дельфах был воздвигнут у горной расселины, из которой поднимались дурманящие пары. Тот, кто начинал дышать ими, начинал бесноваться.

Замечательная история. Беснование оракула священно, оно санкционировано природой. Пифия как бы наполняется природным духом и потому она абсолютно необходима обществу, оборвавшему или хотя бы приглушившему связи с естественным, с космосом.

И еще одну историю хочется напомнить — историю появления треножника в храме Аполлона.

Рыбакам с острова Кос попался в невод золотой треножник. Оракул велел отдать треножник мудрейшему. Фалес отказался (“Я не самый мудрый”), но, обойдя шестерку мудрецов, треножник опять вернулся к нему. Тогда Фалес посвятил его Аполлону и отослал в Дельфы. Пифия стала вещать с треножника.

Как видим, экстатическое состояние служит поиску мудрости, угадыванию судеб. Подлинная мудрость рождается в священном экстазе. Такова “мораль” легенды, очень точно раскрывающей обещанное представление о работе мыслителя, о том, что опьянение, экстаз, пир и деятельность ума, духа напрямую связаны друг с другом, не могут друг без друга.

Тютчев был оракул в прямом смысле этого слова. Только свой треножник он дерзко устанавливал не в храме, а великосветских петербургских гостиных. Пророчества Тютчева рождались в мощном экстатическом порыве, казалось, так мало гармонизировавшем с аристократической этикетностью. Из этих пророчеств родилась тютчевская философия, основной единицей измерения которой является фрагмент, очень часто укладывающийся в одну-две фразы. Тютчевские фрагменты — это пылающие искры. Они не только летят и светятся, но еще и обжигают, даже сейчас.

Средневековые победило Возрождение. Формы официального диспута, фе-тиши Степени, Диплома, Диссертации, Конференции полностью подавили свободное, естественное, органичное разгадывание тайн бытия. Отныне это можно было делать лишь в заранее регламентированном порядке.

Симпозион превратился в симпозиум. Пир духа и тела в науку быть скучным и непонятным.

Мыслитель отделился от художника (в этом смысле в Тютчеве мы видим восстановление первоначальной гармонии). Теперь уже об учителе, об ищущем мудрости, знания нельзя сказать, дабы не оскорбить его и его высокое дело, нечто подобное тому, что некогда сказал Тимон о Сократе:

*Всей чарователь Эллады, искуснейший в доводах тонких,
С полуаттической солью всех риториков переищувившии.*

(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях, и изречениях знаменитых философов. С. 99).

Дело ведь даже не в том, что Сократ позволял себе обильно и густо шутить, а в том, что через остроту (гному), анекдот (хрию), парадокс, определенный жест он выражал, реализовывал свою систему. Без шуток нет феномена Сократа. Ныне мэтр может позволить себе бросить шутку где-то в кулуарах, или даже вставить ее в свой доклад, но лишь для того, чтобы по контрасту оттенить самую позу мэтра.

Философы стали университетскими профессорами. Понятие УЧИТЕЛЬ превратилось в категорию откровенно формальную. Опыт Платоновской академии во Флоренции был перечеркнут, а с нею и античность как живая и полнокровная сила. Ее обнесли изгородью, нет, решеткой, и превратили в кладбище, ну ладно, в пантеон. С античностью решили покончить, превратив ее в памятник, в мемориал.

Однако процесс этот, при всей своей всеобщности, не мог стать абсолютно тотальным. Образовались спасительные для культуры щели. И как раз одной из таких щелей и явился феномен Тютчева, напомнившего о совершенно ином и достаточно перспективном способе философствования и о типе мыслителя, не облаченного в докторскую мангию, не вещающего с трибуны, не прихлопывающего читателей могильными плитами своих фолиантов, мыслителя, который просто не может не биться над разгадками тайн человеческого бытия.

Тютчев, никак не соединимый с традициями ложного академизма, открыл мир подлинного экстаза мысли, и не только в стихах, но и в блистательных своих разговорах, мир мысли, не знающей рамок, преград, условных требований. Тютчев оставил такое выразительнейшее признание:

Ах, писание — страшное зло, оно как бы второе грехопадение бедного разума, как бы удвоение материи... Чувствую, что, если бы я дал себе волю, я мог бы написать вам очень большое письмо для того только, чтобы доказать вам недостаточность, бесполезность, нелепость писем... Боже мой, да как же можно писать? Взгляните, вот подле меня свободный стул, вот сигары, вот чай... Приходите, садитесь и станем беседовать, да, станем беседовать... (Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 506)

Писание — по Тютчеву — замораживает мысль, лишает ее природной страстности, замедляет естественно взятый темп. Вообще Страсть и Мысль это и были главные божества Тютчева, определившие всю его судьбу. Он был всегда и весь без остатка отдан Страсти и Мысли, и потому с точки норм и критериев XIX столетия представлялся явлением незаконным и даже безнравственным.

Тютчев был язычник. Об этом писали, не могли не писать, но больше все-таки в фигуральном смысле. Но он был язычник со всеми вытекающими отсюда последствиями, и мыслитель он был именно языческий, будучи незадетым той стандартизацией и унификацией, которая была проделана над всей духовно-интеллектуальной сферой человеческого бытия.

Он не то чтобы боялся, а брезговал писать, презирал бумагу и не доверял ей так же, как и кафедре, видя в них неуклюжих посредников, которые вводят мысль в некие рамки, насылают на нее своего рода столбняк. Ему казалось, что при этом теряется что-то главное. Порождение мыслей, — считал Тютчев, — процесс естественный, не нуждающийся ни в каких добавочных операциях, не нуждающийся в посредниках. Во всяком случае так было у близких тютчевскому духу древних греков — еще у Сократа, устраивавшего блистательные словесные, точнее умственные буйства на рынке и вообще где угодно. Платоновские диалоги были блистательнейшей, но все-таки уже имитацией философского разговора как абсолютно естественного и органичного, такого же органичного, как обмен репликами о погоде.

Дальше — хуже. При переходе от язычества к христианству главной формой философского общения стал диспут, имевший своим атрибутом кафедру. Рождающиеся мысли теперь не могли просто появляться на свет естественным путем — им стали требоваться разрешения, санкции.

Для *античной природы* Тютчева это было совершенно неприемлемо. Кафедра же, включенная в средние века в центр культурного пространства, являлась для него символом формального, регламентированного философствования. Он предпочитал треножник, стоящий в храме Аполлона. А там, где был Тютчев, всегда находился и храм Аполлона. Там, где был Тютчев, всегда возникала совершенно особая, уникальная атмосфера. Атмосфера мысли, охваченной экстазом. Атмосфера оргий мысли.

Тютчев был тончайший, нежнейший инструмент, колеблемый, треплемый ветром времени, и он этот ветер ощущал физически, с исключительной остротой. И в ответ издавал неповторимые звуки: он вещал, он священнодействовал. Он как бы раскачивался на своем треножнике, весь отдаваясь Страсти и Мысли и, видимо, не принимая в расчет публики, светской черни, которая только стояла да дивилась этому невероятному явлению природы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Как всегда в эпоху всемирных бедствий, огромный общий интерес удивительно сближает людей. Это то же чувство, что испытывают пассажиры того же корабля — и к тому же гибнущего корабля... Правда, что для нас, русских, это чувство единения уменьшается уверенностью в том, что мы обладаем спасательной лодкой большего размера, чем тонущий корабль

(Старина и новизна. Пг., 1917. Кн. 22. С. 2)

Положительно, все прекрасные изобретения цивилизации существуют у нас только в виде пародии

(Там же, с. 258).

Бывают случаи, когда предпочитаешь говорить стенам, чем молчать
(Старина и новизна. Пг., 1916. Кн. 21 С. 197).

Вообще правительст.<венный> взгляд на бесцензурную печать далеко еще не установится. Можно сказать, что это КОСОЙ ВЗГЛЯД
(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 396).

Если то, что мы делаем, ненароком окажется историей, то уж, конечно, помимо нашей воли. И, однако, это — история, только делается она тем же способом, каким на фабрике ткуются гобелены, и рабочий видит лишь изнанку ткани, над которой он трудится
(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. М., 1980. С. 242).

Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело
(Тютчевiana. М., 1922. С. 25).

Надо сознаться, что граф Блудов образец христианина: никто так, как он, не следует заповеди о забвении обид ...нанесенных им самим
(Тютчевiana, с. 25-26).

Уж он-то из тех, кто любит почести и домогается их для себя сам, никому этого не передоверяя
(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 472).

Если уместно говорить о вещах совершенно неведомых, я бы сказал в общих чертах, что умственное движение, происходящее сейчас в России, напоминает в некоторых отношениях (принимая в расчет огромное различие во времени и ситуации) попытку в пользу католицизма, предпринятую иезуитами...

Какие еще ужасные пинки будет вынуждено дать нам божественное Провидение, чтобы заставить приподняться общество, опустившееся до того уровня подлости, когда даже некоторые из лучших его представителей совершенно естественно оказываются подлецами
(Ф.И. Тютчев. Кн. 1. С. 364).

Что же означает это всеобщее скудоумие, ведь оно не могло бы наступить, если бы не стерлись определенные нравственные понятия. Что здесь причина и что следствие? Или, быть может, следует признать, что все происходит от присущей нам как племени обыкновенной отсталости? Но в этом случае нельзя было бы без глубокой грусти думать о самом ближайшем будущем, ибо пришлось бы признать, что место, занимаемое нами в мире, совершенно случайно, что оно никак не оправдано, что мы его не заслуживаем и что Высшая Справедливость, расставляющая факты и события по их назначению, не замедлит поставить нас на подобающее нам место. Одним словом, пришлось бы признать, что справедливый в отношении нас оказывается, таким образом, зарубежное мнение. Может быть, подсознательным ощущением этого и объясняется всеобщая низость
(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 364).

Слова ни к чему, нам нужны побои — и это не уйдет от нас
(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 372).

Судя о Наполеоне — все и почти всегда слишком идеализируют. — В нем привыкли видеть осуществление какого-то чистейшего, безусловного мошенничества. — Он конечно мошенник, но подбитый утопистом, как и следует представителю революционного начала. И эта-то примесь дает ему такую огромную силу над современностью
(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 416).

Я ненавижу себя за то, что создан таким, так же как ненавижу других за то, что они созданы иначе

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 491).

Человек так странно создан, что не может не испытывать тягостного ощущения при виде того, как глупость, облеченная властью, подавляет разум

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 499).

А поток жизни все течет и течет, унося с собой без разбора все, что нас заботит, тревожит или успокаивает, все наши надежды и наши страхи, сегодняшние печали и завтрашний праздник, событие недели и <судьбы> многих дней. От этого могло бы помутиться в голове, если бы и мы не неслись <в том же потоке>

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 561).

В этой стране люди решительно легкомысленны, да к тому же еще глупы и невежественны

(Тютчев Ф.И. Кн. 2. С. 299).

Так редко случается встретить ум, с тобою согласный, существо, которое говорит с тобой на одном языке, которое разделяет твои убеждения и твои опасения. А все то, что происходит и еще произойдет с приходом новых поколений? Кажется, будто тебя перенесли в чужую страну — и не только чужую, но положительно враждебную. И какое счастье встретить в этой стране соотечественника, друга, единомышленника!

(Тютчев Ф.И. Кн. 2. С. 331).

Борьба у нас ни к чему не ведет и ничего никому не уясняет

(Тютчев Ф.И. Кн. 2. С. 401).

То, что Москва приблизилась к Петербургу на 15 часов езды, является не только любопытным и интересным фактом, но может по справедливости считаться важным политическим событием. Это достойное завершение и в то же время необходимое исправление дела Петра Великого... Что до меня, я далеко не разделяю того блаженного доверия, которое питают в наши дни ко всем этим чисто материальным способам, чтобы добиться единства и осуществить согласие и единодушие в политических обществах. Все эти способы ничтожны там, где не достает духовного единства, и часто даже они действуют противно смыслу своего естественного назначения. Доказательством может служить то, что происходит сейчас на Западе. По мере того, как расстояния сокращаются, умы все более и более расходятся. И раз люди охвачены этим непримиримым духом раздора и борьбы — уничтожение пространства никоим образом не является услугой делу общего мира, ибо ставит их лицом к лицу друг с другом. Это все равно, что чесать раздраженное место для того, чтобы успокоить раздражение

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 133).

Здесь, — в салонах, разумеется, — беспечность, равнодушие и косность умов феноменальны. Можно сказать, что эти люди так же способны судить о событиях, готовящихся потрясти мир, как мухи на борту трехпалубного корабля могут судить об его качке

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 145).

Я, право, не знаю, стояло ли когда-нибудь во главе какого бы то ни было общества что-либо столь же посредственное в отношении души, характера и ума, как то, что стоит во главе нашего. Все, что я замечаю, все, что я слышу вокруг себя, внушает мне как бы предчувствие невероятной подлости, которая пока еще назревает и, чтобы осмелеть, ждет новых осложнений, но которая в данный момент не преминет разразиться открыто

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 190).

Я примиряюсь с нашим вынужденным бездействием в данную минуту, ибо их действительное бессилие составляет нашу действительную гарантию против гибельных последствий их недомыслия. Это — люди, которые сели бы не в тот вагон, но, по счастью, опоздали на поезд

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 204).

Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на них, просто тошно, но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 230).

Весна — единственная революция на этом свете, достойная быть принятой все-рьез, единственная, которая по крайней мере всегда имеет успех

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 235).

Человек, старея, делается своей собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми: когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 253).

Перечитывая свою записку, которая и сейчас еще полна злободневности, я убедился, что самое бесполезное в этом мире — это иметь на своей стороне разум, через 30 лет все, несомненно, будут думать об этих вопросах то же, что я думаю сейчас, но тем временем зло будет сделано — и, вероятно, зло непоправимое

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 260).

Для людей, действующих без самосознательности, нет и не может быть разумной оценки, и вернейший способ для превратного понимания их действий — это стремление их осмыслить. В этот промах невольно впадаешь, смотря на них издали

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 319).

Бывают минуты, когда я задыхаюсь от своей бессильной прозорливости, подобно заживо погребенному, который приходит в себя

(Старина и новизна. Кн. XIX. С. 129-130).

В московском обществе сейчас наблюдается отсутствие интересов, то же самое можно сказать в данный момент и о Петербурге. Но не обстоятельства тому причиной. Это отсутствие интересов целиком заключено в самих людях. Не к чему обольщаться. Современное русское общество — одно из самых бесцветных, самых заурядных в умственном и нравственном отношении среди тех, что когда-либо появлялись на мировой арене, а заурядности не свойственно чем-либо живо интересоваться. Там, где нет стремлений, даже зло мельчает

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 377).

Это война негодяев с кретинами

(Тютчев Ф.И. Кн. 2. С. 478).

Когда император разговаривает с умным человеком, у него вид ревматика, стоящего на сквозном ветру

(Феоктистов Е.М. Воспоминания:
За кулисами политики и литературы. Л., 1929. С. 348).

Не хотят понять, что как бы ни старалось правительство, какие бы чувства, хоть самые добродетельные, самые великодушные и самые бескорыстные оно ни испытывало, но если оно перестает быть представителем и воплощением национальных интересов страны, если оно осуществляет лишь политику личного тщеславия, — то оно никогда не

заслужит за рубежом ни благодарности, ни даже уважения... Им будут пользоваться в своих выгодах, и над ним по праву будут смеяться

(Тютчев Ф.И. Соч. в двух т. Т. 2. С. 214).

Христос воскрес — это хорошо. Но это не причина, чтобы нам себя изводить

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 456).

Робкие проявления либерализма, которые позволило себе наше правительство, привели только к тому, что усилили зуд административного произвола

Лучшее доказательство, в какой мы лжи постоянно живем, это то чувство какого-то испуга при виде нашей собственной действительности, проявляющейся нам каждый раз как какое-то привидение

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 272).

<Сановники Николая I, оставшиеся у власти при Александре II, напоминают> волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших еще некоторое время после их погребения в могиле

(Тютчевiana, с. 40)

Между христианской кротостью и неистовой злобой нет середины

(Тютчев Ф.И. Кн. 2. С. 657).

Что до меня, я отнюдь не поклонник этой страны (Китай — Е.К.): мне постоянно кажется, что где-то я уже видел нечто подобное

(Тютчев Ф.И. Кн. 2. С. 309).

Под общество подведена мина, и вот на этой, уже заряженной, мине разыгрывается видимость торжествующего в своей цивилизации и обнимающегося, в мире и братстве, человечества

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 300).

Теперь, если мы взглянем на себя, т.е. на Россию, что мы видим?.. Сознание своего единственного исторического значения ею совершенно утрачено, по крайней мере в так называемой образованной, правительственной России. Живет ли оно еще в народе, одному Богу известно. — В чем же это историческое значение? А именно в том, что России, как единственной представительнице самостоятельной всего племени, предназначено было воссоздать эту самостоятельность для всего племени. Этот исторический закон России был ее жизненным условием, вне коего нет и для ней самой исторической жизни. — Все это, сознаю, очевидно до пошлости, но вот что не пошло: для правительственной России сознание этого закона, несмотря на свою очевидность, — более не существует. Она уже не орган, а просто НАРОСТ. Теперь это омертвление распространится на всю массу или, неминуемо, должно вызвать из глубины ее последнюю, отчаянную реакцию народной и племенной жизни, не для России одной, но для всего племени; т.е. оживут ли кости сии?.. Господи, ты знаешь!..

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 422).

Я не замечаю, чтобы сообщение очень ускорилося после окончания железнодорожной сети. Это одно из тысячи доказательств несостоятельности всех усовершенствований, на которые наталкиваешься в нашей милой стране

(Старина и новизна. Кн. 22. С. 241-242).

Здесь самое выдающееся и преобладающее над всем событие — это отвратительная погода. Что за страна, Боже мой, что за страна! И не достойны ли презрения те, кто в ней остается

(Старина и новизна. Кн. 19. С. 250).

Что такое торжество и царствование Луи-Наполеона Бонапарта? А этот припадок буйного сумасшествия, овладевший английским обществом от верхних слоев и до нижних? Это согласие; это единение в бешенстве? А затем не менее поразительное единодушие во лжи? Это принесение в жертву не только лучших инстинктов природы человеческой, но даже самых низменных и эгоистических инстинктов самосохранения и материального благосостояния, какой-то страсти уничтожения и разрушения? Отдельный человек, который поступал бы так, как это делают теперь правительства и целые общества, был бы, конечно, заподозрен в сумасшествии и взят под опеку...

Не менее удивительна эта страна, если и не охваченная умоисступлением подобно другим, то обессиленная господствующей в ней посредственностью

(Старина и новизна. Кн. 19. С. 229-230).

Мы жалости достойны. Мы все еще находимся на той ступени животного развития, когда сознание собственной личности еще не проявляется

(Старина и новизна. Кн. 21. С. 219).

Люди в их вынужденном и роковом пристрастии всегда будут судить без справедливости и без понимания

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 454).

Как все, что кажется таким значительным в мыслях, будь то ожидание, или позже воспоминание, — занимает мало места в действительности

(Старина и новизна. Кн. 21. С. 213).

Нужно нас поддерживать и одновременно подталкивать

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 289).

Мы постоянно должны помнить, что бессмыслица во взглядах не может не привести на практике к результатам, которые явно выглядят как преднамеренная измена

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 279).

Иногда полезно дать общественному мнению возможность развиваться самостоятельно, стихийно и не слишком подталкивать его к выводам; мягко оказываемое давление вызывает меньше сопротивления

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 292).

Повторя одно и то же, можно, к сожалению, сильно навредить делу. Предоставим же событиям развиваться, они сами внесут во все ясность, — и это свершится гораздо раньше, чем зло окажется непоправимым. Сейчас, когда так необходимо действовать убеждением, самое опасное было бы вопреки здравому смыслу вызывать возбуждение

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 292).

На расстоянии появляется склонность все систематизировать, будь то люди или явления, но нигде подобный подход не бывает столь обманчив, как у нас, особенно в сферах официальных, где и воззрений-то слишком мало для того, чтобы заниматься систематизацией чего бы то ни было. Эгих людей вообще не следует переоценивать

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 304-305).

В ту самую минуту, когда Россия стоит перед необходимостью собрать все свои силы — свои нравственные силы в особенности, — дабы противостоять окружающим ее опасностям, коалиции, готовой образоваться под воздействием враждебных влияний, — в эту самую минуту как нарочно деморализуют общественное мнение, национальное сознание страны... Отче, отпусти им, не ведают бо что творят... Я понимаю, когда дают

хлороформ кому-нибудь, кого предстоит подвергнуть операции, но хлороформировать человека, который с минуты на минуту может быть призван к борьбе... это ведь не значит оказывать ему дружескую услугу

(Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 326).

Примечания

[1]-Тютчев Ф.И. //Литературное наследство. Т. 97. Кн.2. М., 1989. С. 241.

[2] Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 113.

[3]-Тютчев Ф.Ф. Федор Иванович Тютчев // Современники о Тютчеве. Тула, 1984. С. 39.

[4]-Тютчев Ф.И. Кн. 1. С. 241.

[5] Ф.И. Тютчев. Литературное наследство. Кн.2. Т. 97. С. 37.

[6]-Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, с. 104.

[7]-Там же.

[8] Эпоха. М., 1918. С. 187.

[9] Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, с. 91.



Борис Тененбаум

МУССОЛИНИ

Главы из новой книги

(Продолжение. Начало в №9-10/2013 и сл.)

ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ...

I

15-го июля 1944-го года дуче специальным поездом отправился в Германию. Он взял с собой старшего сына, Вигторию, и маршала Грациани. Путешествие шло негладко — один раз поезду пришлось остановиться прямо в поле. Пассажиры оставили вагоны и попрятались по канавам.

Высоко в небе над ними, двигаясь на север, к Альпам, плыла армада американских "Летающих Крепостей" — поэтому, согласно инструкциям по гражданской обороне, весьдвигающийся транспорт должен был останавливаться.

Тяжелые бомбардировщики, конечно, поезда не бомбили — они целились в объекты покрупнее — но вот истребители их эскорта могли атаковать даже отдельные грузовики, так что лучше было не искушать судьбу.

Муссолини ехал в Германию не просто так.

После вторжения союзников в Нормандии итальянский фронт сильно понизился в значении и для Рейха, и для его противников — что дуче надеялся использовать для обретения большей самостоятельности. В Германии как раз заканчивалось формирование новых итальянских дивизий — возможно, их появление на фронте придаст ему больше веса в глазах фюрера?

Ну, и Муссолини "проинспектировал" свои войска.

Он, конечно, произнес речь. В ней говорилось, что *"... для нас, фашистов, открыта только одна дорога — дорога чести — и она ведет нас вперед ..."*. Все четыре дивизии — Лигторио, "Италия", "Монте Роза" и "Сан Марко" — встретили вождя аплодисментами и приветственными кликами.

Его это очень подбодрило.

Все было как прежде, и можно было забыть на какое-то время и унижения, и остановку поезда, и необходимость прятаться в придорожной канаве.

И поезд дуче не задержался в Баварии, а двинулся дальше, на восток. Его ждали в ставке фюрера в Восточной Пруссии, куда поезд и шел. Пунктом его назначения была существовавшая только в воображении железнодорожная станция *"Гёрлитуц" — ("Goerlitz")*[1] — маленький полустанок неподалеку от Вольфшанце, где Муссолини должны были ожидать встречающие его лица.

Но тут поезд опять встал, на этот раз без всякой видимой причины.

И стоял он довольно долго. А когда наконец двинулся вперед, то пошел очень медленно. А потом был отдан приказ — все окна всех купе, вне зависимости от ранга пассажиров, должны были быть закрыты специальными шторами, не пропускающими света.

Эсэсовский персонал выглядел очень встревоженным.

Наконец поезд остановился. На часах было 4:00 дня, дата прибытия — 20-ого июля 1944-го года — а на перроне стояли не только Риббентроп, Борман, и Гиммлер — но и сам фюрер.

"Дуче, — сказал он, — я оказался жертвой покушения".

II

Бомба, заложенная в Вольфшанце Клаусом фон Штауффенбергом, взорвалась в 12:40 дня, и Гитлер в живых остался только чудом. Если бы совещание проходило в бункере, как обычно, то никто из присутствующих не уцелел бы, всех убило бы взрывной волной.

Но в силу случайности в этот раз все было устроено в легоньком сооружении, и не под землей, а на поверхности — и в результате дощаные стены и крыша разлетелись во все стороны, и энергия взрыва в основном ушла в окружающее пространство.

Да еще и портфель Штауффенберга, в котором лежала бомба, в последнюю минуту передвинули, и фюрер оказался защищен дубовой перегородкой — частью массивного стола, предназначенного для конференций. В результате Гитлер остался жив, отделившись порванной ушной перепонкой и незначительными ранениями.

Но, конечно, он был потрясен.

Потрясен был и Муссолини. Ему показали то, что осталось от взорванного сооружения — а осталось от него немного. Спасение Гитлера выглядело невозможным — но оно случилось. Казалось, что какая-то тайная сила сберегла фюрера, его мистическая вера в свое таинственное предназначение оправдалась еще раз.

"То, что случилось сегодня, — сказал Гитлер, — пророчит будущее. Наше великое дело восторжествует ..."

И Муссолини ответил ему, что после того, что он увидел своими глазами, он уверен в победе, великое дело фашизма НЕ потерпит поражения — это невозможно.

И может быть, он даже когда-то верил в это — по крайней мере, верил какое-то время. Но вера его очень скоро сильно поколебалась. Вплоть до 20-го июля 1944-го года руководство Рейха в его глазах представляло собой гранитную стену — и вот сейчас стена пошла трещинами.

Риббентроп и Геринг кричали друг на друга, совершенно не стесняясь присутствием итальянской делегации. Гросс-адмирал Карл Дёниц, не обращая ни к кому лично, обвинил Люфтваффе в некомпетентности. Гитлер вдруг сорвался в истерику и закричал, что сгноит жен и детей заговорщиков в концлагерях.

А потом вдруг обернулся к дуче, и сказал ему, что его вера в их дружбу нерушима.

И без всяких споров согласился передать в распоряжение Муссолини две из четырех новых итальянских дивизий — если его друг думает, что они принесут ему пользу в Италии, пусть он их забирает.

Поезд Муссолини отбыл в 7:00 вечера все того же знаменательного дня, 20-го июля 1944-го. Фюрер провожал его лично — и на прощание шепотом предупредил посла Рейха в Италии о *"... необходимости соблюдать осторожность ..."*.

Об осторожности думал и Муссолини.

Раз уж изменники завелись даже в Германии — чего же он должен ожидать дома, среди своих бывших соратников? По пути следования поезда к нему поступали сведения о новом продвижении союзников, теперь уже в Тоскане.

Следовало беспокоиться за Флоренцию.

III

То, что Флоренция пала уже 11-го августа 1944-го, никого особо не удивило. Но вот то, что немедленно после вхождения во Флоренцию союзных войск мэром города стал социалист, в окружении Муссолини рассматривали как знак еще более тревожный, чем даже потерю территории.

Готская Линия[2] пока еще держалась — но надо было думать о будущем.

И, судя по всему, получалось, что подполье очень активизировалось, и что забастовки или даже восстания могут последовать очень быстро. Особенно ненадежно в этом смысле выглядели Турин и Милан.

На совещании Муссолини с Алессандро Паволини, секретарем новой фашистской партии, было решено устроить "Альпийский Редут" — как последнее убежище. Была надежда продержаться там какое-то время, по крайней мере, до весны 1945, а пока следовало сокрушить партизан, расплывшихся повсюду. У Паволини были для этого определенные возможности. Ему — по крайней мере, теоретически — подчинялись "черные бригады".

Противопартизанское наступление имело некоторый успех.

Из-за переноса центра сражения на Западном Фронте во Францию, союзное командование утратило интерес к поддержке партизанского движения, да и столкновения английских войск с партизанами в совершенно другом месте — в Греции — тоже добавили английскому командованию скептицизма в отношении поддержки кишачего коммунистами подполья. Парашютные сбросы оружия партизанам резко сократились.

Все это в сумме принесло определенные плоды — и в декабре 1944-го Муссолини смог выступить в Милане с речью, в которой были ноты оптимизма:

"...Товарищи, идея фашизма не может быть разрушена! Наша вера в победу абсолютна. Миллионы итальянцев с 1922 и по 1939 жили во время, которое можно назвать Эпосом Отечества! Эти итальянцы все еще существуют, и их вера крепка, как никогда, и они готовы сплотить свои ряды, и возобновить свой марш и отвоевать то, что было потеряно! ..."

Он поговорил еще и об Англии, которая уже побита, потому что русские войска стоят на Висле, и про героических греческих партизан, отважно сражающихся с англичанами, и про новое чудо-оружие Рейха, которое вот-вот вступит в строй и сразу поменяет все, и о великих победах Японии на Тихом Океане[3].

Толпа, как положено, рукоплескала.

Муссолини мог надеяться, что ему удастся пережить эту зиму. К тому же был проведен удачный пропагандистский ход, направленный против подполья — распространили памфлет с описанием августовского восстания в Варшаве. Устроенная там немцами бойня была показана во всех деталях, и с фотографиями руин, заваленных телами убитых.

Смысл публикации сводился к тому, что вот что бывает с людьми, возлагавшими свои надежды на Лондон, Москву и Вашингтон ... Надо сказать, выгля-

дело это убедительно. Ну, а на следующий день после блестящей речи дуче от 16-го декабря 1944-го года пришло сообщение из Берлина.

Германские войска начали наступление на Западном Фронте, в Арденнах.

IV

В первый день нового, 1945-го года в Милане случилось экстраординарное происшествие — во все крупные кинотеатры города одновременно — в 7:00 часов, как раз к началу первого вечернего сеанса, ворвались люди в масках, наставили на публику дула автоматов, и призвали присоединиться к Сопротивлению.

Через несколько дней то же самое случилось в Театре Гольдони в Венеции.

В зале сидели чины и итальянской, и германской полиции — и никто из них не осмелился и шевельнуться. Потому что, если исходить из общих соображений — они знали, что обстановка на фронтах очень не радовала, немецкое наступление провалилось, да и русские уже вели бои на собственной территории Германии.

А если смотреть на то, что происходит “... *здесь и сейчас* ...”, то было понятно, что пристрелить их могут в любую минуту, и даже непонятно — почему этого, собственно, не делают?

Вот как раз этот момент — почему не стреляют — дуче понимал очень хорошо.

Подполью совершенно не нужна была бойня в театрах — вся акция была прекрасно продуманным пропагандистским шагом, яркой демонстрацией бессилия режима. Муссолини попытался придумать что-нибудь в ответ — и додумался только до того, чтобы торжественно отметить седьмую годовщину смерти Габриэле Д’Аннунцио.

Ну, эффекта не получилось.

Конечно, можно было собрать местную чернорубашечную милицию, прозвезсти перед ней нечто пламенное о “... *Великом Команданте, имя которого не умрет до тех пор, пока в сердце Средиземноморья существует полуостров, называемый Италия* ...” — но риторика слушателей как-то уже не захватывала.

Жажда спасения была единственным предметом, соединявшим публику и оратора.

Бенито Муссолини считал Гитлера “... *мистиком, вставшим во главе великого народа* ...”. Слово “мистик” предполагало сопряженную с фанатизмом веру в нечто сверхъестественное, и готовность сражаться до конца, и пожертвовать в этой борьбе жизнью — но Муссолини-то был не мистиком, а очень земным человеком, никаким фанатизмом не опьяненным. И он был вполне в состоянии трезво поглядеть на вещи, и знал, конечно, что конец подходит неотвратимо.

Но все-таки дуче хотел жить — и надеялся выкрутиться.

Тут даже наметился некий конкретный канал — генерал СС Карл Вольф.

О таинственных делах генерала Муссолини мог только догадываться — тот изо всех сил пытался договориться с союзниками о приемлемых условиях сдачи. Но кое-что дуче знал, потому что хотя переговоры велись через Швейцарию, а в качестве “... *поручителя в доброй воле генерала Вольфа* ...” выступал кардинал Ильдефонсо Шустер, архиепископ Миланский, и это через него Вольф по просьбе союзников освободил из тюрьмы нужного им человека.

В общем, Муссолини поговорил с архиепископом, тот посоветовал ему поговорить с генералом Вольфом — и в итоге они действительно встретились и поговорили.

Ничего конкретного Карл Вольф своему собеседнику не сказал, и никакими связями не поделился — но заметил, что для торга надо иметь что-то, что можно

продать. У дуче нет ни вооруженных сил, ни собственной территории — но если нажать на "... социализацию режима ...", то союзники, может быть, и примут отказ от такой политики как плату[4].

Уж социальная республика в северной Италии им будет решительно ни к чему?

V

Воистину — утопающий хватается и за соломинку. Вроде бы совершенно очевидно дикую идею построения социализма в Республике Сало действительно попытались осуществить — в конце января 1945 года создали специальное Министерство Труда, посредством которого начали "... передачу предприятий под рабочий контроль ...".

Отклик получился хуже некуда — из 29 229 рабочих и служащих заводов FIAT в Турине на выборах в совет проголосовало 274 человека — меньше 1% от общего числа "избирателей"[5].

7-го марта 1945-го года Муссолини произнес яркую речь. Слушали его офицеры "черных бригад", и — согласно газетным отчетам, нашли ее совершенно прекрасной. Дуче и сам был доволен — все 400 человек, что были в аудитории выразили полную готовность: "... защищать долину реки По до последней капли крови, шаг за шагом, и дом за домом ...".

Как раз в этот день, 7-го марта 1945-го года, англо-американские войска под командованием Эйзенхауэра перешли Рейн, а русские продвинули свои позиции так, что их теперь отделяло от Берлина не больше 100 километров.

Партизанская война в северной Италии усилилась — по оценкам ведомства Карла Вольфа, в отрядах, формируемых самыми разными партиями — от коммунистической и до народно-католической — числилось уже около 200 тысяч человек.

И их было бы вдвое больше, если бы не нехватка оружия.

В общем, меньше чем через неделю после своей "блестящей речи" о героическом сопротивлении Муссолини приехал в Милан, и его сын вручил там кардиналу Шустеру документ под названием:

"Предложения Главы Государства о Начале Переговоров".

Содержание этого документа, надо сказать, было поистине поразительным. Сначала едва ли не буква в букву повторялся тот бред, который наличествовал в речи от 7-го марта — всякие там лозунги насчет обороны долины реки По до последней капли крови и готовности сражаться за каждый дом и за каждый камень — а потом шло предложение о немедленной сдаче с одним-единственным условием: капитуляция будет сделана только перед войсками союзников.

Англо-американские войска не встретят со стороны фашистов ни малейшего сопротивления — но они должны пообещать не пустить в северную Италию ни королевские войска, ни карабинеров, ни — пуще всего — никаких партизан, будь они хоть коммунисты, хоть католики.

И еще дуче хотел знать, что же уготовано членам его правительства, и людям, занимавшим важные посты в Социальной Республике, и даже перечислял возможные альтернативы:

"... Арест? Ссылка? Концентрационный лагерь? ...".

В списке было одно упущение, которое прямо-таки бросалось в глаза своим отсутствием:

"Смертная казнь".

VI

Никакого ответа от союзников Муссолини не дождался, но примерно через три недели после его "предложения", 9-го апреля 1945-го года, в Италии началось их новое наступление — а сопровождалось оно общей забастовкой на железных дорогах по всей долине реки По, которую фашисты как бы собирались защищать. Забастовка была поддержана всеми партиями, и было заявлено:

"... места работы становятся центрами национального восстания ..."

11-го апреля 1945-го американские войска вышли на Эльбу, еще через два дня стало известно, что пала Вена, 16-го апреля за ней последовал Нюрнберг, нацистская столица Рейха — в общем, надеяться было уже не на что.

Муссолини оставил свою резиденцию и срочно уехал в Милан.

21-го апреля союзные войска вошли в Болонью, 25-го — перешли реку По. В этот же день объединенный комитет всех партий итальянского Сопrotивления принял декрет, в который входила так называемая 5-я статья:

"... члены фашистского правительства и иерархи фашистской партии, виновные в разрушении свободы, создании тиранического режима, приведшего страну к катастрофе, должны быть наказаны смертью, или, в не столь серьезных случаях, каторжными работами ..."

Что интересно, так это то, что в этот же день комитет согласился на встречу с Муссолини в резиденции архиепископа Миланского.

И встреча действительно состоялась.

Дуче было предложено безоговорочно сдаться, без всяких гарантий даже в отношении его личной безопасности — и он, тем не менее, не отверг предложения сразу же, а сказал, что ему нужно подумать.

Он подумал — и решил, что нужно бежать.

25-го апреля 1945-го года колонна, состоявшая из десятка автомобилей, двинулась из Милана на север, по направлению к Альпам. Примерно через час они добрались до префектуры Комо — там был устроен лагерь фашистской милиции.

Предположительно, к префектуре должен был подойти и Паволини во главе 5 000 вооруженных людей — но он так и не появился. Муссолини ждал его до 3:00 утра следующего дня и отправился дальше, успев только черкнуть жене короткое письмо:

"Моя дорогая Ракеле,

Наступает последняя полоса моей жизни, последняя страница моей книги. Может быть, мы больше уже не свидимся. Я прошу у тебя прощения за все огорчения, которые причинил тебе, сам того не желая.

Как ты знаешь, мы намереваемся двигаться к Вальтеллину."

Письмо подписано красным карандашом и датировано — 25-ое апреля 1945, XXIII год фашистской эры.

Тут нужны некоторые комментарии.

Вальтеллина (ит. Valtellina, нем. Veltlin) — долина в Италии, на самом севере страны. По ней можно было попасть из габсбургских владений в Италии и в габсбургские владения в Германии, и во время Тридцатилетней Войны, при кардинале Ришелье, за этот путь жестоко сражались. Сражения того века уже давно отшумели — но и сейчас Вальтеллина могла послужить путем в пределы Рейха.

По-видимому, туда Муссолини и направлялся, в сторону швейцарской границы.

VII

Автомашины, однако, не доехали до нее, а остановились в деревеньке Грандола. Почему — неизвестно. Может быть, Муссолини все-таки надеялся на встречу с Паволини и его отрядом — отсутствие вооруженного охранения дуче очень тревожило.

Как бы то ни было — кортеж остановился.

А пока суть да дело, две машины все-таки отправились к границе, до нее уже было рукой подать. Где-то через час один из уехавших вернулся — и не на машине, а бегом. Как оказалось, итальянская пограничная стража на пропускном пункте поменяла стороны и арестовала пытавшихся переехать границу фашистов — они не смогли добраться даже до патрульной линии швейцарских пограничников.

Что оставалось делать?

Вплоть до Грандолы за Муссолини его ближние держались, как за спасательный круг. К его каравану, например, прибилась роскошная машина марки "Альфа-Ромео", в которой ехали Кларетта Петаччи, ее брат, Марчелло Петаччи, да еще и его подруга с двумя детьми.

И чуть ли не вместе с ними прибыл наконец и Алессандро Паволини — вот только приехал он один, не только без своего пятитысячного отряда, но даже и без охраны. Вооруженные силы Социальной Республики Италии свелись к одному броневику и паре дюжин членов фашистской милиции.

Остальные "солдаты дуче" разбежались, с ним оставались только иерархи.

Луч надежды блеснул рано утром 27-го апреля — на дороге показался целый конвой из 28 немецких грузовиков, нагруженных солдатами вермахта. Они тоже двигались к границе, безразлично к какой — германской или швейцарской — лишь бы уйги подальше. Но эти беглецы не были толпой мародеров, а оставались военной частью.

Их грузовики оцетинились пулеметами, в случае необходимости солдаты были готовы драться.

Конвоем командовал капитан Люфтваффе — и итальянцы кинулись к нему, как к спасителю. Он оказался добродушным человеком, и позволил было кортежу Муссолини следовать за собой, но ехать им пришлось недолго. Около местечка под названием Донго колонну остановил блок-пост, дорога была перекрыта партизанами.

Капитан начал переговоры.

Ну, ему было сказано, что "... у бойцов 52-й Гарибальдийской Бригады ..." нет претензий ни к нему, ни к солдатам, находящимся под его командой — они могут следовать в своих грузовиках и дальше. Вреда им не причинят. Но итальянские машины конвоя останутся в Италии, и все итальянцы должны сдать.

И что партизаны на всякий случай проверят документы и у немцев — а то мало ли что?

Капитан сказал, что ему нужно "... подумать и посоветоваться со своими офицерами ...", и вернулся к конвою. С блок-поста было видно, что говорит капитан вовсе не с офицерами, а с группой мужчин, одетых в штатское.

Тем временем к партизанам подошел крестьянин из другой придорожной деревеньки, и сообщил, что с конвоем следуют какие-то важные министры Республики Сало. И добавил, что сведения у него самые точные — двое, пару часов назад отбившиеся от конвоя, уже сдались, и одного из них зовут Бомбаччи.

А между тем завершил свое совещание и капитан — он повернулся в сторону блок-поста, и сказал, что условия принимаются. Немецкие грузовики медленно тронулись с места.

Итальянские машины остались на дороге.

VIII

Из трудной ситуации можно попробовать выбраться или силой, или дипломатией, и первой попробовали дипломатию. Броневик сдвинулся с места, и когда он подошел к блок-посту, из люка высунулся человек, и закричал, что просит не мешать ему выполнить его долг патриота. Он и его товарищи собираются “... *защищать Триест от югославов* ...” — так к чему же перекрывать им дорогу?

Красноречивого оратора звали Франческо Мариа Барраку, и Муссолини после установления нового режима в Республике Сало назначил его секретарем президентского совета как раз за красноречие.

Трудно сказать, какой заряд риторики смог бы помочь ему в данном случае, но начало он выбрал неудачное. Как-никак — Триест был расположен на Адриатике, более или менее на пути из Венеции на северо-восток — а блок-пост стоял в предгорьях Альп, чуть ли не самой границе с Швейцарией, и дорога шла не на северо-восток, а на северо-запад.

Дипломатия не помогла, и тогда попробовали силу.

Броневик пошел на прорыв, почти немедленно получил под колеса противотанковую гранату и завалился на бок. Оттуда посыпались оглушенные люди, которых немедленно перехватили. Одному, правда, удалось уйти — он сумел откатиться в канаву, незамеченным отползти в сторону и уж дальше пуститься бежать — это был Алессандро Паволини. За ним отрядили погоню ...

Остальные сдались без сопротивления.

Их обыскали, переписали имена — но Муссолини не нашли. Тем временем в деревне обыскивали немецкие грузовики. У каждого солдата проверяли документы, но еще до конца полной проверки одному из партизан почудилось, что он видел в крытом кузове одной из машин дуче, одетого в немецкую шинель.

Партизан проявил себя дисциплинированным бойцом-гарибальдистом — сам он в грузовик не полез, а пошел и доложил о своих подозрения комиссару бригады. Тот пошел поглядеть — и действительно обнаружил, что в самом темном углу, у самой кабины, в кузове свернулся какой-то человек, в шинели с поднятым воротником и в надвинутой на брови каске.

Его вытащили на свет, сняли каску — и действительно, это оказался Бенито Муссолини. Он пребывал в полном ступоре, не мог ни ходить, ни даже стоять, так что в мэрию деревеньки Донго его буквально приволокли.

Мэр сказал, что бояться нечего, вреда ему не причинят.

Тут в первый раз после поимки дуче обнаружил признаки жизни. Он ответил, что уверен в этом, потому что знает, что жители Донго отличаются щедростью.

Тем временем в мэрию загнали и иерархов партии, взятых из оставленных на дороге автомашин. Муссолини обменялся с ними несколькими словами — его, по-видимому, к этому времени страх немного отпустил. Дуче было объявлено, что он находится под арестом, и тоже самое сказали и иерархам. Ближе к вечеру привели и Паволини. Он был ранен, еле держался на ногах — но, увидев Муссолини, вскинул руку в римском салюте.

Арестованных так и держали в здании мэрии — у партизан шло совещание.

IX

Ни к какому определенному решению они так и не пришли. Муссолини все твердил, что во всем виноваты немцы, и что у него есть при себе документальные доказательства на этот счет — но документы партизанам показались неинтересными. Куда больше их заинтересовали английские фунги, найденные в том же мешке, что и бумаги, и сертификаты швейцарских банков на очень приличную сумму.

В общем, после наступления темноты арестованных начали увозить из Донго, чтобы где-нибудь перепрятать. Считалось, что держать их в том же месте, где они были пойманы, недостаточно надежно с точки зрения безопасности.

К арестованным присоединили и Марчелло Петаччи — он уверял, что его нельзя задерживать, потому что он консул Испании в Милане — и его сестру, Кларетту. Муссолини сказали об этом, он попросил передать его подруге привет — и ей по ее настойчивой просьбе позволили присоединиться к дуче.

Теперь их содержали вместе.

Тем временем вести о захвате дуче достигли Милана. Партизаны, захватившие его, принадлежали к крайне левому крылу подполья, их командование было сплошь коммунистическим. И ему было известно, что в Милан уже прибыл штабной офицер американской армии для розысков как Муссолини, так и членов верховного руководства фашистской партии Италии.

Капитан Даддарю — как звали офицера — свободно говорил по-итальянски, имел при себе и конвой, и неограниченные полномочия, и уже успел связаться с маршалом Родольфо Грациани, который был просто счастлив сдать его в плен.

Поэтому было решено, что "... судьбу Муссолини должны решить сами итальянцы ..." — и в Донго из Милана был срочно направлен некий "полковник Валерио".

Кто это такой, в точности неизвестно и по сей день.

Вообще-то считается, что это был Вальтер Аудизио. Родители в силу каких-то причин нарекли своего сына Вальтером, на немецкий манер. В школе он хорошо учился, а свою взрослую жизнь начинал шляпником на фабрике Борсалино. В силу прекрасных способностей Аудизио очень быстро выбился в бухгалтеры — но в 1934 его деятельности на этом поприще пришел конец.

OVRA обнаружила, что Вальтер Аудизио — член антифашистской подпольной группы. По заведенному обычаю, его не посадили в тюрьму, а сослали на 5 лет — и из ссылки он вышел вроде бы исправившимся. Во всяком случае, работал в местных органах гражданской администрации, и под подозрением больше не состоял.

Однако вскоре после свержения Муссолини в июле 1943 он начал организацию подпольных групп, вступил в компартию Италии, и к январю 1945 считался в Милане довольно значительной фигурой, где был известен как "полковник Валерио". Все это известно довольно достоверно — но именно на псевдониме достоверность и кончается. Потому что "полковником Валерио" одно время назывался и Луиджи Лонго, один из виднейших коммунистов Италии и, как командир "гарibaldiйских бригад", прямой начальник Вальтера Аудизио.

И он отдал ему приказ — немедленно выехать в Донго и "... решить вопрос ...".

И есть версия, согласно которой Луиджи Лонго не ограничился тем, что дал приказ на решение вопроса, а поехал в Донго сам, чтобы уж быть уверенным до конца, что все сделано как надо.

Ну, а дальше "полковник Валерио" — кем бы они ни был — действовал быстро.

Он выехали из Милана рано утром 28-го апреля 1945-го года, еще затемно. С ним был надежный конвой из 15-и хорошо вооруженных и не раз проверенных людей.

Он приехал в Донго, выяснил в штабе бригады гарibaldiйцев место, где держали Муссолини, и не слушая никаких возражений, поехал прямо туда. Дуче и Кларетта Петаччи жили в обычном крестьянском доме — под охраной, конечно, но содержали их хорошо, дали поесть и отдохнуть, и не разлучали, ночь с 27-го на 28-ое апреля 1945-го они провели вместе.

"Полковник Валерио" подъехал к их дому, сказал Муссолини, что "... *приехал его освободить ...*", посадил в машину и его, и Кларетту, отвез на некоторое расстояние, остановился, и сказал, что "... *комедия окончена ...*". Муссолини прислонили к стене, и под истерические крики Клары Петаччи "полковник" убил его автоматной очередью. Второй очередью он убил и ее. После этого у трупов оставили двух часовых, а машина повернула в Донго.

Надо было торопиться — по плану следовало прикончить и всех остальных.

**

Примечания:

1. Кодовые названия мест или объектов не имели ничего общего с географией. Скажем, "Челябинск-40" был вовсе не Челябинском, а поезд фюрера под названием "Америка" вовсе не относился к США.
2. Готская Линия — оборонительный рубеж немецких войск в Северной Италии во Второй мировой войне (условное наименование, данное союзниками, немецкое — "Зелёная линия"). Проходила по юго-западным скатам Апеннин до побережья Адриатического моря. 15-я группа армий союзников, пытавшаяся прорвать этот рубеж, была там задержана с августа 1944 и до весны 1945.
3. Речь была произнесена 16-го декабря 1944-го года. Источник: Mussolini's Italy, by Max Gallo, page 410-411.
4. Mussolini's Italy, by Max Gallo, page 414.
5. Цифры взяты отсюда: Mussolini's Italy, by Max Gallo, page 41



Лев Бердников

ДРЕСС-КОД И САМОВЛАСТЬЕ

В известном кинофильме “Тот самый Мюнхгаузен” (автор сценария Г. Горин, режиссер М. Захаров) перед нами предстает герцог (его играет актер Л. Броневой), довольно легкомысленный в делах государства, но озабоченный, прежде всего, одеждой подданных. “Как вы думаете, где мы будем делать талию? — вопрошает этот титулованный модельер. — Два ряда выточек слева, половина справа. Я не разрешу опускать талию на бедра. В конце концов, мы — центр Европы... Рукав вшивной... Лацканы широкие”. Справедливости ради, отметим, что гипертрофированное внимание к костюму — это не просто карикатурная черта незадачливого правителя, возжелавшего разодеть по своему хотению послушное ему население. В российской истории, по крайней мере, три монарха — Петр Великий, Павел I и Николай I, стремившиеся регламентировать все стороны жизни страны, строго предписали подданным, как надлежит им выглядеть и в какое платье облачаться. Эти венценосцы присвоили себе право вводить, разрешать или запрещать ту или иную моду, одежду, прическу. Дресс-коды первых двух монархов охватывали все просвещенное население империи, причем, по словам историка Александра Каменского, “в повышенном внимании к регламентации внешнего вида у Петра стояло стремление к европеизации, то есть к изменению, новации, в то время как у Павла — к унификации, единообразию”. Реформы, осуществленные в этой сфере императором Николаем I, коснулись и иудеев, оказавшимся под российским скипетром после трех разделов Речи Посполитой, и, по разумению сего самодержца, остро нуждались в “коренном преобразовании”. Но обо всем по порядку.

27 августа 1698 года молодой царь Петр Алексеевич, вернувшись из чужих краев, немало шокировал Двор, преобразившись в цирюльника, безжалостно кромсавшего стародавние боярские бороды. А затем последовал и высочайший указ, согласно которому бриться надлежало всем, кроме крестьян и духовенства. В случае же, если кто расстаться с бородой не пожелает, можно было откупиться, но пошлина требовалась весьма немалая: для дворян она составляла 60 рублей, а для купцов — 100 рублей, для прочих же посадских людей — 30 рублей в год. Облагалась побором при въезде в город и крестьянская борода — она составляла 2 деньги. У городских застав дежурили специально отряженные соглядатаи и бойко резали у прохожих бороды, а в случае сопротивления беспощадно вырывали их с корнем. Вскоре, по образному выражению великого Гоголя, “Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили”.

Петр ведал, что творил, ибо понимал, что русский человек держится за бороду обеими руками, как будто она приросла у него к сердцу. В течение многих веков народ видел в бороде признак достоинства мужчины, мерило православия, а также символ собственного церковного превосходства над “латинами”, “лыоторами” и прочими басурманами. О том, что бороду носили Иисус Христос и святые апостолы, говорил в своих евангельских беседах преподобный Иоанн Златоуст. На ее необходимости настаивал византийский богослов Никита Скифит в сочинении “О пострижении брады”. И в постановлениях Стоглавого собора 1551 года ясно сказано: “Творящий брадобритие ненавидим от Бога, создавший нас по образу Сво-

ему. Аще кто бороду бреет и преставится тако — не достоин над ним пети, ни просфоры, ни свечи по нем в церковь приносить, с неверными да причтется”. Председатель Стоглавого Собора митрополит Макарий называл бритые бороды не только “делом латинской ереси”, но и серьезным грехом.

В древнерусской церкви брадобритие считалось хулой на Всевышнего, создавшего совершенного мужчину с бородой; бреющийся объявлялся кошунником, поскольку тем самым выражал недовольство внешним обликом, который дал ему Творец; он желал “поправить” Бога, что было, конечно же, и недопустимо, и преступно. В “Соборном изложении” прадеда Петра I патриарха Филарета, в книге “Большой требник”, находим проклятие брадобритию как “псовидному безобразию”. Считалось также, что безбородость способствует содомскому греху. Весьма воинственно высказался по сему поводу последний (дореволюционный) русский патриарх Адриан (1627-1700). Вспоминая о тех “счастливых” временах (XVI-XVII вв.), когда за бритые бороды, не только отлучали от церкви, но и подвергали битью кнутом или ссылкой в отдаленные монастыри, Адриан в “Окружном послании ко всем православным о небритии бороды и усов” приравнивал брадобритников к котам и шелудивым псам.

Но Петр Великий революционно и деспотически порвал с многовековой традицией, стремясь сделать россиян “сходственными на другие европейские народы”. Борода-то и стала знаменем в борьбе двух сторон — реформаторов во главе с царем и сторонников старорусской партии. Монарх стремился перевоспитать общество, внушить ему новую концепцию государственной власти. И брадобритие, как и другие культурные реалии эпохи, было существенным элементом государственной политики. Царь, как отметил культуролог Виктор Живов, “требовал от своих подданных преодолеть себя, демонстративно отступить от обычаев отцов и дедов и принять европейские установления как обряды новой веры”.



Ножницы великого реформатора безжалостно расправились и с традиционным долгополым и широкорукавным платьем. Появляться в обществе в таком виде теперь не только запрещалось, но также каралось штрафом, и ретивые целовальники резали стародавнюю одежду с тем же рвением, что и бороды. Вскоре все россияне (опять-таки кроме крестьян и духовенства) щеголяли по примеру царя-ба-

тюшки в коротких кафтанах европейского покроя. Между тем, в глазах благочестивых староверов замена русского платья приобретала зловещий смысл, поскольку именно в таком одеянии на иконах изображали бесов (говорили, что Петр “нарядил людей бесами”), а кроме того, оно олицетворяло собой и откровенное прелюбодеяние. Но император стоял на своем, ибо, наряд сей, по словам историка XVIII века князя Михаила Щербатова, “отнимал разницу между россиянами и чужестранцами” и даже чисто внешне, превращал москвитя в полноценного “гражданина Европы”. Таким образом, “чужое платье” (как называл его Петр) знаменовало собой выход на историческую авансцену России “политичного кавалера”, то есть “окультуренного человека”, не только внешне, но и внутренне обработанного по западноевропейским стандартам цивилизованного гражданина.

Понятно, что реформы в области одежды были неразрывно связаны с подготовкой более масштабных преобразований, с преодолением ксенофобии и пережитков старины. Очень точно уловил их смысл поэт Александр Сумароков. “В перемене одеяния... не было Петру Великому не малейшая нужды, — заметил он, — ежели бы старинное платье не покрывало старинного упрямства... Сия есть первая ересь просвещающемуся веку от суеверов налагаемая”. Суевериями Сумароков называет хранителей религиозных и национальных культурных традиций, противившихся петровским новациям. А таковых было немало, и с ними авторитарный царь особо не церемонился. Секретарь прусского посольства в России Йоханн Фоккеродт говорил о защитниках старины, что те “лучше положат голову под топор, чем лишатся своих бород”. Известны случаи (об этом рассказывает инженер на русской службе Джон Перри), когда люди бережно хранили уже отрезанные бороды с тем, чтобы их положили им в гроб, а они предьявили бы их на том свете святому Николаю.

Своеобразной формой протеста против нововведений стал так называемый “самоизвет”, к коему, как к последнему средству прибегали отчаявшиеся ревнители древлего благочестия. Так, в 1704 году нижегородец Андрей Иванов прокричал: “Слово и дело!”, а на допросе показал: “Государево дело за мной такое: пришел я извещать государю, что он разрушает веру христианскую, велит бороду брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть”. Судьба Иванова трагична — он погиб под пытками. И случай этот далеко не единичный. В том же году в Москве на смотре служилых людей Петр приказал нещадно бить батогами дворянина Наумова за то, что тот не обрил бороды и усов. А жители Астрахани жаловались на строптивного воеводу Тимофея Ржевского: “Бороды резали у нас с мясом и русское платье по базарам, и по улицам, и по церквам обрезывали, ... и по слободам учинился от того многой плач”. Стихийные протесты астраханцев переросли в настоящее восстание, которое в 1705 году вынужден был огнем и мечом подавлять фельдмаршал Борис Шереметев. Характерно, что одному из бунтовщиков, Якову Носову, сначала обрили и только потом уже отрубили голову — чтобы другим неповадно было! Вот каким лютым способом насаждался петровский дресс-код.

Примечательно, что традиционное русское платье и накладные бороды допускались Петром I только в качестве маскарадных: так обряжали гостей на потешных свадьбах и оргиях Всешутейшего, Всеспянейшего и Сумасброднейшего собора. Уместно в этой связи вспомнить, что после поражения под Нарвой император *с горя* облачается в крестьянский костюм, казня тем самым себя, и при этом плачет навзрыд. Интересно, что позднее в царской России гимназистов и студентов наказывали, надевая на них крестьянскую, то есть русскую национальную одежду. Так, с легкой руки великого реформатора борода и русское платье были вытеснены из общего обихода.

Своеобразная попытка реабилитировать русскую народную одежду была предпринята Екатериной II (на ее известном портрете 1773 года, гравированном В. Дикинсоном, она изображена в народном кокошнике). И эта ее “русскость” знаменовала собой нечто большее, чем просто наряд. Она была одушевлена высоким патриотическим чувством. Очень точно сказал об этом мемуарист Федор Головкин: “Явная любовь Екатерины к народным костюмам и обычаям вовсе не была причудой с ее стороны; в ее уме жил план снова “обнародить народ” и поднять русских в их собственных глазах”. Однако мода на народный костюм в ту эпоху не привилась даже в узком придворном кругу, не говоря уже о распространении более широком. Ведь Семирамида Севера, позволявшая иногда фамильярно титуловать ее “Твое величество”, никакого специального дресс-кода одежды (разве только для придворных церемониалов) подданным не предписывала. С неугодными модами она боролась методами ненавязчивыми и оригинальными — орудием веселой пародии. Распорядилась, например, нарядить петербургских будочников в кричащие, абсолютно безвкусные узорчатые фраки парижских петиметров, предварительно всучив им в руки предрезкие лорнетты — чтобы русские щеголи увидели и устыдились!

Реанимировать русскую народную одежду в XIX веке тщились русские славнофилы: они не брили бороды, демонстративно носили стародавнее народное платье. Шаг этот был по тем временам достаточно смелым и решительным и воспринимался как вызов современным порядкам. Вот как злословила на счет одного из столпов этого литературно-философского течения язвительная графиня Евдокия Ростопчина: “Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечесанный, невытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блудителя веры, православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом, — любящего Россию лишь времен Юрия и Игоря, как человек, который из вящей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него пренебрегал бы и ненавидел бы отца, мать, братьев, жену, детей и проч.” Известно, что историка Михаила Хмырова и фольклориста Павла Якушкина вызывали в Канцелярию обер-полицмейстера Петербурга за “неподобающее” ношение русского народного костюма. В конце XIX века русская знать переодевала в сарафаны кормилец и нянюшек, однако широкого распространения такая стародавняя амуниция не получила...

По воцарении Павла I все в стране изменилось решительным образом менее чем за сутки: одежда, прически, походка, выражение лиц людей. Прежде всего, императором были категорически запрещены детали костюма, даже в отдаленной степени напоминавшие моды Французской революции и Директории (красные колпаки, панталоны, жилеты, фраки причудливого фасона, куртки, едва доходящие до пояса, круглые шляпы и высокие цилиндры, высокие сапоги с цветными отверстиями, башмаки со шнуровкой вместо пряжек). В этом монарх видел тлетворный и крайне опасный для России дух якобинства. Подверглись гонениям офицерские шубы и муфты, толстые мужские галстуки, дамские сюртуки синего цвета с кроеным воротником и белой юбкой, разноцветные ленты через плечо, а также прически — тулей (взбитый хохол на голове), бакенбарды, широкие букли и т.д.

Наказание для слушников Павловского дресс-кода было весьма суровым. “Достаточно было императору где-нибудь на улице заприметить жилет, — вспоминает Дарья Ливен, — тотчас его злосчастный обладатель попадал на гауптвахту”.

Нередки были случаи, когда новоявленных “якобинцев” лишали чинов и ссылали в Сибирь. Бдительные полицейские бесцеремонно срывали круглые шляпы, а всякий, кто противился, был бит по голове, а затем препровождался в кутузку. Вину виновному полагалось 100 палок за такое “преступление”. Из-за этой злополучной шляпы в декабре 1796 года из России был выслан именитый дипломат, поверенный в делах Сардинии. Рвали в клочья такую “неуказную” одежду, как фраки, куртки, жилеты и т.д. И никакие объяснения в расчет не принимались.

Зато предписывалось носить однобортные кафтаны со стоячим воротником, треугольные шляпы, камзолы, короткое нижнее платье, напудренные волосы, связанные в косу или сетку, бриджи или чулки, ботфорты, то есть формы прусского костюма. Именно из Пруссии Павел заимствует преувеличенный интерес к муштре, военному строю, регламентации, форме и даже таким ее элементам, как размер косицы и даже ее направление по шву.



Любые мелочи в одежде были для педантичного Павла делом государственной важности. Реформы коснулись цвета кокарды на шапке, окраски плюмажа, высоты сапог, пуговиц на гетрах и т.д. Государь не уставал изощряться в изобретении мельчайших деталей костюма подданных, и подчас для того, чтобы выслужиться, достаточно было явиться на вахтпарад с теми новшествами в форме, которые он ввел днем раньше. И это толковалось не иначе, как служебное рвение, усердие, достойное ордена и производства в следующий чин.

Были, однако, смельчаки, не побоявшиеся вынести дресс-коду Павла “модный приговор”. Вот известный остроумец, дворянин Алексей Копьев заказал форму, вроде бы по уставу: и ботфорты, и перчатки с раструбами, и прусская офицерская коса, но все это неимоверных размеров — в преувеличенном, карикатурном виде. И в таком-то шутовском наряде посмел намозолить глаза императору. Тот, понятное дело, вскипел и сперва посадил нахала под арест на сутки, а потом повелел сослать его с глаз долой — в заштатный полк, в Финляндию.

А князь Александр Порюс-Визанпурский учудил кое-что похлеще. Он явился на смотр в большом напудренном парике, нахлобучил треугольную шляпу, припомнил свои длинные, черные усы и лихо закрутил их вверх на прусский манер. Выглядел князь уморительно: толстые телеса неестественно сжимал узкий мундир; резко выдавался живот, хотя и был подтянут широким поясом, на самом поясе болталась длиннющая шпага; форменные перчатки доходили до самого локтя; тощие же ноги тонули в широченных ботфортах. Камуфляж довершала увесистая тамбур-мажорская палка. И при этом сей аника-воин еще тужился быстро вышагивать, ну точно как замуштрованный солдат Фридриха-Вильгельма I.

— Хотели, чтоб я был пруссаком, — громко сказал он, — ну вот!

Дерзкая шутка не сильно понравилась Павлу. Он заточил насмешника в крепость, а затем предал военному суду. И только благодаря тому, что князь очень натурально косил под помешанного, он избежал ссылки и тюрьмы.

В истории одежды Павловские времена называют периодом безвременья. По существу этот монарх бросил вызов мужской и женской элегантности. От поклонения моде всех удерживали исключительно полицейскими мерами. Именно поэтому на следующий же день после убийства Павла, 11 марта 1801 года, можно было петь отходную и по его дресс-коду. В столицах, как по мановению волшебной палочки, появились прежде опальные круглые шляпы, фраки, жилеты и панталоны — запрещенные Павлом наряды снова властно внедрились в русский дворянский быт....

Если регламентации внешнего вида подданных, предписанные Петром I и Павлом I, касались преимущественно собственного народа, то Николай I ничтоже сумняшея распространил их на иудеев, поправ тем самым их религиозные и национальные традиции. Этим “жестоковыйным инородцам” он предписал свой собственный дресс-код, иными словами, ворвался со своим уставом в чужой монастырь (впрочем, ему мнилось, что это евреи живут по своему уставу в чужом монастыре). На этом стоит остановиться подробнее.



Надо сказать, что первоначально запрещим иудеям (жить в империи им не разрешалось) предписывалось под страхом сурового наказания носить как раз их “обыкновенную” национальную одежду. Согласно кодексу “Права, по которым судится Малороссийский народ...” (Глухов, 1743), “ежели жид или другой какой иноверный приехал в здешний край, в необыкновенном себе платье ходить будет, такова, призвав в суд, о том допросить и буди явится, но просто или за неимением обыкновенного своего платье такое носит, то ему приказать такового необыкновенного платья впредь не носить под штрафом денежным или под наказанием ареста”. Власти сильно подозревали, что еврей, облачившись в несвойственное ему платье, делает это “для какого злоумышления, а особливо для шпионства”. Впрочем, вид их произволил на россиян самое забавное впечатление.

“Странное их черное и по борту испещренное одеяние, смешные их скуфейки, и весь образ их имели в себе столь много странного и необыкновенного, что мы не могли довольно на них насмотреться”, — живописал мемуарист Андрей Болотов. При этом одежда сынов Израиля была социально маркирована: “Евреи богатого круга носили в будни дорогие шерстяные ткани, а по субботам и праздникам шёлковые кафтаны до пят с широким шёлковым кушаком и высокие остроконечные собольи шапки; люди с более скромными средствами довольствовались в будни одеждой из домикотона, а праздничное платье делалось из дешёвой шерстяной материи (так наз. “риделя”); бедные евреи одевались летом в полосатые (серые с синими полосками) нанковые кафтаны, а зимой в серое толстое сукно”.

Однако уже в царствование Александра I, когда под российским скипетром оказались свыше миллиона сынов Израиля, были предприняты робкие попытки ограничить ношение национальной одежды с оговоркой, что “нужно придерживаться правила совершенствовать евреев путями тихими, основанными на их личной пользе”. В польское и немецкое платье обязали облачаться ученикам гимназий и Академии художеств, а также членам магистратов. Но существенно, что даже вне черты оседлости иудеям позволялось носить ветхозаветные бороды, а, учитывая то, что бородачи в европейской одежде “были бы предметом смеха”, ст. 9 и 28 “Положения о евреях” (1804) рекомендовали им носить русское платье. Понятно, что правила эти коснулись тогда лишь горстки российских евреев, ибо действовали они только во внутренних губерниях империи.

Николаевский же дресс-код был всеобщим и тотальным. В 1844 году грянуло Положение о коробочном сборе, разъясняющее, что *всем и каждому* “будет решительно запрещено употребление нынешней еврейской одежды”. Таковая облагалась внушительными налогами, в зависимости от общественного положения ослушника (скажем, в Одессе купец первой гильдии платил 40 рублей в год, второй гильдии — 20 рублей, а третьей — 4 рубля; в Подольской губернии и того больше, соответственно — 250, 150, 100 рублей). За ношение ермолки взимался особый сбор в размере 5 рублей.

Год за годом правила все ужесточались, и в 1852 году явилась обязательная к исполнению инструкция: “1) всякое различие в еврейской одежде с коренным населением должно быть уничтожено; 2) ношение пейсиков строго воспрещается; 3) употребление талесов, тфиллинов и ермолок дозволить только при богомолении в синагогах и молитвенных домах; 4) предписать, чтобы раввины имели одинаковое платье с коренными жителями; 5) обязать раввинов подписками, чтобы они отнюдь не допускали брития головы еврейками, а с евреек, нарушивших это запрещение, взыскивать штраф”. Далее николаевские кувшинные рыла не поскупились составить скрупулезный перечень “воспрещенной для евреев одежды”, где означили “шелковые, прюнелевые и тому подобные длинные капоты, пояса, шапки меховые или так называемые крымки, и другие без козырьков, исключительно еврейского покроя, короткие панталоны и башмаки... и т.п. Строго-настрога воспретили “носить еврейкам на голове обыкновенно употребляемые ими накладки под цвет волос из лент атласа, гаруса и т.п.”. А дабы удостовериться, не бреют ли часом дочери Израиля голову, распорядились чинить сему проверку в местном управлении, в присутствии мужа или ближайшего родственника-мужчины.

Скоро стало очевидно, что многие евреи ни в какую не желали носить костюмы христиан. Как горькую необходимость, жестокое надругательство над их наружностью восприняли иудеи “айзерас гамахус”, сиречь царский указ, обрезать свои “святые пейсы”, снять меховые шапки — штраймеле и нарядиться в кургузое



немецкое платье. “Особенно стеснительными, — говорится в одном правительственном документе, — кажутся правила раввинам и другим духовным лицам, поскольку они, в глазах массы, являются хранителями духовных традиций и освященных временем обычаев евреев”. Были даже случаи побега за границу — только бы избежать столь унижительное переодевание! Некоторые изощрялись и надевали на кафтан старозаконную деле — длинный плащ с маленьким стоячим воротником и рукавами, чуть не до самой земли. А вместо запрещенных пейсов контрабандным образом отпускали некое их подобие, так сказать, полупейсы. Выходя на улицу, такие полупейсы зачесывали виском на уши (чтобы блонстителю порядка не целялись!), а дома или в синагоге выпускали из височного плена на надлежащее по иудейскому Закону место. И полицейские чины, даже если что и примечали, благодаря щедрым подачкам гвиров (евреев-богачей), смотрели на такие “невинные” нарушения снисходительно: раз пейсы за висками, они — вроде как уже и не пейсы — и начальство уважено, и Моисеева заповедь соблюдена.

Русский писатель Николай Лесков признавал, что эти николаевские реформы вызвали большие затруднения для иудеев и дали полицейским чиновникам повод к новым поборам. Характеризуя значение этих реформ, он саркастически заметил, что “драчливая рука офицера или чиновника” научилась “только ловчее хвататься” за еврейские пейсы. А Владимир Короленко в рассказе “Братья Мендель” напоминает о “драконовских мерах прежнего начальства, резавшего пейсы и полы длинных кафтанов”, о “полицейских облавах” и о том, что еврейское общество старым проверенным способом (путем взяток и подношений) иногда все же умасливало недреманных стражей благочиния. Русский историк XIX века Михаил Песковский в книге “Роковое недоразумение: Еврейский вопрос, его мировая история и естественный путь развития” (Спб., 1891) заключил, что “изгнание этих внешних признаков еврейской отчужденности” следовало осуществлять “не такими суровыми мерами, ... озлоблявшими [иудеев], и заставляя их все более и более уходить в себя, замыкаться в своей среде. Несомненно, что эту печать обособленности и отверженности несравненно удобнее было бы снять более мягкими мерами”.

То, что Песковский именует “обособленностью”, на языке культуры можно выразить словами “национальное своеобразие”. Сохранение специфически еврейского облика, отличного от других народов, заповедано Торой, причем ношение пейсов установлено самим Моисеем: “Не остригай висков на голове твоей кругом и не уничтожай боков бороды твоей” (Левит: Гл.19. Ст.27). Принцип хукос-а-гоим (не следовать обычаям иноверцев) провозглашается и в Галахе. “Дома ты ведаешь свое имя, а за пределами дома — свой костюм” — указывает Талмуд (Шабб. 145В.). Набожные иудеи придавали одежде магическое свойство и символическое значение. Например, короткие панталоны заправляли в чулки, чтобы те (упаси Бог!) не достигали земли, ибо это считалось соприкосновением со скверной. По этой же причине нельзя было дотрагиваться до туфель, потому их носили без шнурков и пражек. Возбранялось носить платье из материи, тканной шерстяными и шелковыми нитками вместе. Как объясняли это толкователи Торы, “жертвоприношения Каина и Авеля состояли первого — из льняных стеблей, а последнего — из овцы, и от этого произошло первое смертоубийство в истории мира, то дабы не напоминать этого, надо стараться никогда не сближать эти два предмета, лен и шерсть, бывшими свидетелями смертного происшествия, тем более носить на себе платья из этой ткани”. Подпоясывались шелковым шнурком, который по идее должен был отделять вышнее и духовное от суетного, что ниже пояса; и пейсы знаменовали собой духов-

ную чистоту. При кажущемся единообразии внешнего облика иудеев разных стран, знающие люди по цвету чулок, материалу халата, формы штраймеле и т.д. могли безошибочно распознать происхождение, социальный статус, принадлежность еврея к определенной религиозной группе и даже его семейное положение.

Историк Юлия Кричевская говорит о черных кафтанах, чулках, больших шляпах и ермолках евреев как о “законсервированной норме”, которую им удавалось сохранять “за счет крайней закрытости общин и отсутствия интереса к каким-либо иным нормам, кроме строгого соблюдения своих”. И, правда, еще во времена варваров известны случаи, когда иудеи готовы были даже лишиться жизни, только бы надевать ненавистную хламиду язычника.

Однако, веками находясь в рассеянии, евреи не могли не соприкоснуться с коренным населением галута, что не могло не отразиться и на их одежде. Когда знакомись с письменными материалами еврейских религиозных общин Европы XV-XVIII веков, не оставляет ощущение, что правила ношения платья одушевлены, прежде всего, “скромностью и смирением перед лицом Всевышнего”. Вместе с тем, они вызваны вполне объяснимым желанием не возбуждать у иноверцев ревнивые чувства. Вот Еврейская Комиссия, созданная в 1416 году в городе Форли (Италия), предписывает носить исключительно черную одежду; не позволяет выставлять меха напоказ, а велит их прятать с внутренней стороны; а шаголяты в плащах из шелка и вельвета строго возбраняет. Синод Кастильских евреев Вальядолида (Испания) 1432 года объявляет аморальным рядиться в броское платье разноцветных попугайных тонов (ну как не вспомнить здесь слова героя известного романа Лиона Фейхтвангера “Зачем еврею попугай?”). Мужчинам не разрешается носить на руке более одного кольца, а женщинам — надевать украшения из жемчуга, бриллиантов и некоторых других драгоценностей. В решениях, принятых Литовским Ваадом 1628 года, указывалось: “Постановлено, чтобы не дарить ни одному жениху, будь он бедный или богатый, ни обручальных рубашек, ни платка (фатшеле), ни полотняной шапки... Ни одна израильская душа, ни мужчина, ни женщина не должны носить бархатной одежды... Отныне и впредь запрещается из адамашка и атласа делать верхнее платье всякому... Нельзя в рубашках делать прошивки шире двух пальцев, а те, которые уже имеют таковые, отнюдь не должны их одевать... Тот, кто нарушит одну из вышеозначенных статей, подвергается большому штрафу”. Община города Метца (Франция) в 1690 году запрещает одежду из парчи и тафты; порицает модные стрижки и высокие парики; туфли же приемлет только черного или белого цвета; и строго-настрого предупреждает, чтобы еврейскую одежду никогда не шили христиане, дабы не завидовали. А в постановлениях Еврейской общины Франкфурга-на-Майне 1715 года устанавливается строго определенная цена и на само платье, и на материал, из коего оно шьется, и превышать ее строго-настрого запрещалось.

Как это ни парадоксально, но сохранению неповторимого национального облика иудея в странах рассеяния немало благоприятствовали антисемитизм и дискриминационное анти-еврейское законодательство. С незапамятных времен европейские правители стремились отгородить евреев от остального населения, запирать в тесных гетто и превратить в париев, чья отверженность должна сразу бросаться в глаза. Согласно решению IV Латеранского Собора 1215 года, евреям предписали нашивать на платье особую метку в виде круга. А в 1266 году Вселенский Собор в Бреслау (Польша) обязал их носить специальные шляпы и красный нагрудный знак. Сохранились польские средневековые полотна, где иудеи изображены в характерных шляпах. На одной из миниатюр XIII века они предстают с бородами

и одеты в характерные жакеты и плащи, и это в то время, когда платье местной шляхты состояло их кафтана и меховой шапки. Однако позже евреи Польши, да и всей Восточной Европы восприняли эту шляхетскую одежду.

Пиотрковский парламент 1538 года, дабы подчеркнуть отщепенство сынов Израиля, обязал их носить особые береты. А параграф 12 Литовского статута 1566 года гласил: “Да не смеют евреи ходить в дорогих платьях с золотыми цепями, а жены их в золоте и серебре. Да не осмелятся носить евреи серебра на саблях и палашах. Одежда их, однако, пусть будет заметна для всякого. Пусть носят они желтые шляпы и шапки, а жены их повойники из желтого полотна*, чтоб каждый мог отличить христианина от еврея”. Сегрегация иудеев, закрепленная в их платье, продолжалась вплоть до XIX века. Американский исследователь Роберт Бонфил заметил, что скромное одеяние евреев, отражавшее их низкий социальный статус в обществе, сами иудеи вовсе не считали унижительным (как это мнилось их гонителям). Внешнюю скромность, умеренность они воспринимали как добродетель, как знак собственного превосходства над окружающими в моральном и религиозном отношении. По словам известного историка костюма Джеймса Лэйвера, “иудеям пытались навязать особую одежду как метку презрения, однако для них она стала знаком чести и достоинства”.

Как же воспринимали русские писатели внешний облик евреев, каким настиг его дресс-код Николая I? Литератора Степана Джунковского “жиды весьма удивляют своими нарядами, почти не переменившимися в продолжении 2000 лет. Старики ходят в огромных шляпах, а женщины — в чалмах”. Но более всего озадачивали пейсы, коим тщились найти какое-либо разумное применение. В “Сказках о кладах” (1830) Ореста Сомова протагонист Ицка Хопылевич лукаво “напускает их на лицо (может быть, для того, чтобы на лице его не могли прочесть его мысли”. В “Последнем Новике” (1833) Ивана Лажечникова “сердобольный жид пейсиками своими утирал слезы”. Точно так же поступает герой Василия Нарезного Товий, которому враг пейсы срезал, а тот “тщательно подобрал свои пейсы, валявшиеся в грязи, и ими утирал слезы”. Вообще, малоросс Нарезный знал еврейский быт не понаслышке и впервые у нас поведал об обожествлении стародавних пейсов сынами Израиля. “Уверяю тебя честно и клянусь неприкосновенностию пейсов”, — божится еврей из повести “Бурсак” (1824); “Клянусь бороною и пейсами покойного отца моего!” — вторит ему другой из повести “Два Ивана, или Страсть к тяжбам” (1825).

Если говорить об экипировке российских евреев, то она состояла из кафтана, шубы с откидным меховым воротом и меховой шапки для мужчин; юбки, китайки, кацавейки, шелковой шубки на меху, чепца, повойника для женщин. Такое платье восходило к польскому, причем времен еще XVI века, что дало основание некоторым недоброхотам утверждать, будто евреи присвоили себе чужой наряд и сделали его своей национальной одеждой. Однако еврейские историки костюма говорят о его самобытности. Они возводят такой наряд к облачению своих древних пращуров, занесенному сначала в Вавилон, а оттуда через Персию к арабам и туркам; польская же шляхта подражала моде турецкого Двора, которая-то и была изначально заимствована у евреев.

В XVIII веке в многочисленных либеральных проектах реформы быта евреев часто обсуждается вопрос и о ликвидации их внешнего “особнячества”. Во многих странах Европы распахнулись ворота гетто, и иудеи, живущие теперь бок о бок с коренным населением, иногда добровольно рядились в платье христиан.

Появились и первые узаконения, призванные унифицировать одежду подданных и сблизить тем самым все населявшие страну народы. Император Австро-Венгрии Иосиф II, ярый сторонник германизации, в своем патенте от 7 мая 1789 года настаивает на смене евреями традиционного костюма, после чего предоставляет им равные права. И король польский Станислав-Август призывает иудеев брить бороды и одеваться “по-кавалерски”, дабы они и по внешнему виду выглядели, как поляки, хоть и Моисеева закона. Он значительно расширил права иудеев, запретил повышать налагаемые на них городские повинности и даже разрешил держать в доме христианскую прислугу и т.д.

В пользу переодевания евреев высказываются идеологи Гаскалы (Еврейского просвещения) с характерным для них космополитизмом и небрежением к национальным традициям. “Как один из важных пунктов, — говорится в “Еврейской энциклопедии” (Т. IV, Стб.196), — маскилим [просветители — Л.Б.] указывали на введение европейского платья. Они... были убеждены, что внешнее благообразие евреев и замена старозаветного костюма европейским явится важным фактором для более успешного воздействия на евреев”. Особенно настойчивым в требовании упразднить еврейское платье был известный германский маскил Давид Фридендер.

Не отставали от него и русские ревнители еврейской аккультурации. Вдохновленные примерами тех государств, где ассимиляция евреев привела к расширению их гражданских свобод, они наивно думали, что и Российская империя вслед просвещенной Европе пойдет именно по такому пути. Писатель Мордехай Гинцбург (1795-1846) считал замену еврейской традиционной одежды на русскую панацеей от всех национальных бед. Ему вторил и Вениамин Мандельштам (+1886), также считавший, что “отличие в одежде от других народов” — одна из главных причин “печального состояния” российских иудеев в то время. А автор сочинения “Мысли израильянина” (Вильно, 1846) Абрам Соломонов (1778-1844), также возжелавший преобразить своих “жестоковых” соплеменников, тщился доказать, что их платье вкупе с пейзажами и ермолками — это якобы “древняя польская мода”, которую они лишь по какому-то досадному недомыслию считают своей. При этом Соломонов апеллирует к Талмуду, где, по его словам, евреям не предписывается “никакой одежды, кроме бурнуса”. “Поляки же, — развивает он далее свою мысль, — сами беспрерывно меняя покрой платьев, никогда не позволяли жидам подражать себе в модах и принуждали их для оскорбительного отличия отверженного племени оставаться при первом костюме и переименовали его в жидовский”.

Характерно, что те же самые резоны в пользу замены еврейского платья на новое, европейское, приводили и николаевские чиновники (не исключено, что такую аргументацию им и подбросили маскилы). Власти настойчиво разъясняли, что таковая одежда была привнесена иудеям извне и начисто лишена национальной специфики. В записке, представленной 11 января 1841 года в учрежденный правительством Комитет для определения мер коренного преобразования евреев России, говорилось: “Не имея ничего общего с религиозными учреждениями [евреев], одежда сия есть древняя польская, которую поляки, изменив во время разных политических переворотов, сохранили евреям для отличия их от господствовавшего народа. Сие вредное отличие в одежде полагает резкую черту между коренными жителями и евреями и, так сказать, отталкивает их, как народ презренный, от всякого сообщения с христианами”. Из сего можно заключить, что российское правительство, выступая против “вредного отличия в одежде”, стремится развеять заскоружные представления об иудеях как о “народе презренном”. А, покончив с этим

“вредным отличием”, иудеи обретут те же права, что и “господствующий народ”, или по крайней мере социальный их статус повысится.

Здесь уместно вспомнить необычайно мягкое отношение к евреям Наполеона Бонапарта. Как-то в одном городе он заметил среди восторженно встречавшей его толпы людей в желтых головных уборах, в желтых нарукавниках и с шестиконечными звездами на груди. Ему объяснили, что это опознавательные знаки евреев, кои те обязаны носить вне стен гетто. Наполеон немедленно распорядился и нарукавники снять, и желтые шапки заменить обыкновенными, и ворота гетто открыть. Он объявил, что отныне иудеи вправе жить там, где им хочется, — словом, сделал их полноправными подданными Франции. “Я желаю, чтобы к евреям относились, как к братьям, как если бы все мы являлись частью иудаизма”, — провозгласил он. Наполеоном был восстановлен Синедрон — верховный орган еврейского духовного законодательства, упраздненный римскими завоевателями Иудеи в 73 году новой эры.

В России не произошло ничего похожего. Царствование Николая I ознаменовано для евреев ограничениями в передвижении, изгнаниями из городов, тяжким податным бременем, непомерными рекрутскими наборами, печальной памяти Велижском деле и “Мстиславском буйстве” по обвинению в ритуальном убийстве и т.д. В ту эпоху было издано около 600 (!) законодательных актов о евреях. Вот что говорит историк: “В первой половине XIX века правительство пожелало уничтожить положение, превратившее евреев в касту. По тогдашнему обыкновению, думали изменить это положение только распоряжениями. Приказали снять традиционные лапсердаки и ермолки. Евреи сняли. Приказали обрезать пейсы. Евреи обрезами. По существу ничего не изменилось”. Более того, после переодевания сынов Израиля правовое их положение не только не было облегчено, но даже ухудшилось. Достаточно сказать, что именно в тот момент, когда были осуществлены правительственные меры по приобщению евреев к общей культуре, последовало секретное высочайшее повеление о запрете их приема на государственную службу (хотя это разрешалось действовавшим законодательством).

А что случилось с одеждой иудеев дальше? Автор “Владычного суда”, “Жидовской кувырколлегии” и “Ракушанского меламеда”, знаток еврейского быта Николай Лесков в 1883 году свидетельствовал: “Широкополые шляпы с опушкой и ермолки держались очень долго и по местам не совсем еще выветрились; длиннополые охабни нашли компромисс в длинных сюртуках по щиколотку, а лапсердаки и циццы уступили не настояниям полиции, а “австрийской моде”. Венский более изощренный вкус в это время очень кстати изобрел “аккуратенькую лапсарду”, которую любой франт может носить, не опуская их наружу, при еврейском платье. Удобная мода эта перешла к нам через Броды сначала в Дубну, потом в Ровно и наконец разлилась повсеместно, благодаря большому сочувствию всех еврейских щеголей, давно наскучивших хохлатыми циццами и лапсердаками. Но старшее поколение ветхозаветных так и доносили свои лохмотья до износа... Те же евреи, которые пытались промышлять... в великоросских губерниях, сами попрыгали свои лапсердаки. Они также охотно стригли пейсы (стригались по адесску!) и носили такие сюртуки, какие по сей день носит русское степенное купечество. То есть, вращаясь среди русских, самине хотели отличаться от них ни видом, ни одеждою, которую в черте оседлости с них приходилось снимать почти насильно”. Однако, по словам Лескова, и в русском платье распознать иудея труда не составляло: “И теперь у еврея особенный нос, свой угол глаз, и по-своему на нем сидит его длиннополый сюртук”.

Между тем, евреи-ассимиляторы всячески восхваляли дресс-код Николая I, объявляя его благом для единоверцев. Историк и публицист Моисей Берлин в “Очерке этнографии еврейского народонаселения в России” (1861) охарактеризовал дореформенную одежду как “довольно странную”, лишенную “малейшего вкуса” и “крайне безобразившую” еврейских женщин. Теперь же молодые иудеи “приняли повеления начальства с восторгом... и стали даже стараться перешеголять местных жителей-[христиан]”, правда, старшее поколение иногда нововведениям противится. “Государь, — говорил ему в тон одесский городской раввин Симон Швабахер, — видел их исключительное положение в обществе и отнял у них отличавшие их принадлежности — прически и костюмы, для того, чтобы они меньше выдавались из массы. Близорукость тогдашнего поколения видела в относившихся к этому указам — несчастье. Но ножницы, обрезавшие им пейсы совершенно, а кафтан наполовину, проникли в тело... и теперь, судя по всей совокупности последствий, едва ли можно не признать, что этим путем были пробуждены дремавшие силы евреев и подготовлены к лучшему будущему”.

А русско-еврейский писатель Лев Леванда (1835-1888) в публицистическом сочинении “Переполюх в Н-ской общине” (1875) аттестовал противников переодевания ханжами, одержимыми “тупоумием и мракобесием”. Он втолковывал соплеменникам: “Поймите же, что этим указом Государь Император хочет поднять вас в ваших собственных глазах и в глазах прочего населения империи”. “[Платье] не дело религии, — взывал он далее к “фанатизированной толпе”, — Бог смотрит на сердце и совесть, а не на одежду”. И полицейские репрессии писателя нисколько не смущали. Чуть ли не сочувствием, хотя и с некоторой долей иронии, пишет он о том, как “на всех улицах, на известных дистанциях, расставлены были десятские, вооруженные ножницами, имевшие назначение стричь пейсы и подрезывать длинные балахоны. На помощь десятским прикомандированы были солдаты пожарной команды... Глядя на серьезные лица нижних полицейских чинов, можно было думать, что последние расставлены для какой-нибудь серьезной цели — отражения неприятеля или чего-то в этом роде”. Завершает очерк вполне благостная картина: “Не прошло и двух месяцев, как евреи уже помирились с новым костюмом и стали находить его практичным и приличным. Что же касается женщины, то они просто без ума были от нового фасона своих платьев... Старый фасон возбуждал в них смех и отвращение. Они от него отплевывались”.

А в художественном очерке “Пейсы моего меламеда” (1870) Леванда покусился на обожествляемые старозаконниками дореформенные “святые пейсы”. Расставание с ними воспринимается местечковым меламедом как настоящая трагедия, ибо без них он — ничто, пшик, зеро. “Это было все равно, что вообразить себе человека без головы, пейсы меламедствовали, на пейсах держался весь хедерный порядок, только пейсам удалось победить гордое сердце вдовствующей Ривки”. Пейсы, подобно Носу гоголевского майора Ковалева, становятся одушевленными и приобретают самодовлеющий характер. “Они были длиннее любой девичьей косы, темнее вороного крыла и курчавее бараньей шерсти... Казалось, что вся личность моего меламеда ушла в его пейсы; казалось, что природа, созидая его, истратила все свои творческие силы для образования одних пейсов; потом, спохватившись, что забыла о нем самом, она из обрезков взяла и на скорую руку сшила нечто похожее на манекен, и таким образом выпустила на свет пейсы с подставкою из человеческой фигуры... Задавшись мыслью — создать не человека с пейсами, а пейсы с человеком, она выполнила сию задачу мастерски”. Писатель рисует оригинальный “образ двух черных, как

смола, змей, впившихся в виски нашего тирана”. Лишившись пейсов, “развенчанный меламед” не только являет свое полное духовное банкротство, но и претерпевает всяческие злоключения — по требованию полиции, его, как бродягу, выдворяют из местечка. Покидая родные пенаты, “по привычке он ежеминутно поднимал руку, чтобы погладить свои пейсы, но не находя их, он опускал ее, часто вздыхая”. Заметим, однако, что в действительности пейсы держались у евреев Российской империи достаточно долго. Известно, что во время посещения Польши в 1870 году император Александр II, завидев пейсатых хасидов, потребовал строжайшего и неукоснительного исполнения запретительных законов своего родителя. . .

А что русская борода? Писатель Виктор Никитин вспоминал об одном шумевшем уголовном деле, побудившем начальство отказаться от обязательного брадобрития в армии. Один солдат-раскольник за отказ бриться был многократно наказан дисциплинарным полевым судом, но всё продолжал упорствовать и дерзко оскорбил начальство. В дело вмешалась высшая военная администрация во главе с великим князем Николаем Николаевичем. Ослушника приговорили к ссылке на каторжные работы, однако именно после сего, с 1874 года в регулярных войсках стало дозволенным носить бороду (гренадерам-гвардейцам с 1881 года), а затем такое разрешение получили и служащие чиновники. . .

Прошли века. Нынче прежнюю одежду восточно-европейского типа носят лишь ортодоксальные ашкеназские евреи Иерусалима, Амстердама, Нью-Йорка и некоторых других городов. Пейсы и парики (для женщин) носят, как правило, религиозные иудеи. А вот такая характерная особенность еврейской одежды, как скромность, прошла через столетия и сохранилась до наших дней. Показательно, что главный раввин России Берл Лазар высказался недавно в пользу общественного соглашения о скромности в одежде, как для мужчин, так и для женщин (подчеркнув при этом, что речь может идти только о добровольном убеждении). Слова нынешнего духовного лидера русского еврейства освящены исторической традицией. Но и в наши дни основные требования Галахи относительно одежды иногда соблюдаются и в Израиле и в странах диаспоры. Немалое число еврейских женщин отказывается от ношения брюк, дабы не уподобляться мужчинам (аналогичный запрет в отношении женской одежды существует и для мужчин). Отвергают они и открытое платье, обнажающее колени и локти. Впрочем, как и встарь, каждая община по своему регламентирует и длину юбок и рукавов, и плотность ткани, цвет одежды и толщину колготок и чулок (которые во многих общинах считаются обязательными в любую погоду, включая сорокоградусные израильские хамсины), и т.д.** Приходится, однако, признать, что одежда абсолютного большинства современных евреев ничем не отличается от одеяния окружающих.

Точно так же как русское платье, вытесненное Петром Великим из общего употребления, в наши дни воспринимается как фольклорное, но никак не обиходное и повседневное, хотя рубаху типа косоворотки с воротником-стойкой (как правило, черного цвета) можно иногда заметить на сходках почвенников и “патриотов”. Классическая же косоворотка, под кушак, отыскивается разве что в лавке старообрядческой церкви. Культуролог Сергей Строев сетует, что правителям России “одеть что-то русское, национальное пока слабо” и поминает добром Никиту Хрущева с его рубашкой-вышиванкой (прозванной в народе “антисемиткой”). Он призывает привнести в современный костюм и сделать модными характерные элементы русской национальной одежды. И надо сказать, в советское время модельеры подчас эксплуатировали народные мотивы, правда, с уклоном в этнографич-

ность. Достаточно назвать блистательную Надежду Ламанову или Вячеслава Зайцева, который в 60-е годы реабилитировал среди прочего ивановские ситцы. А в нулевые их коллега Денис Симачев представил давно забытую толстовку и павлопосадские платки. Следует, однако, заметить, что народный убор все же не получил в современной России полные права гражданства, разделив тем самым судьбу не принятого массами старого еврейского костюма.

Казалось бы, дресс-коды Петра Великого и Николая I восторжествовали (с поправкой на бороды, которые вопреки запретам вошли в обиход). Но означает ли это, что жесткий самовластный диктат в сфере моды и наружности человека оправдан? Следует ли брать за образец, скажем, маоистский Китай, где в ходе Культурной революции 1966-1976 годов и мужчины, и женщины под страхом жестокой расправы все как один переоделись в одинаковую бесполоую синюю одежду со значком с ликом “великого кормчего” в петлице? Гонения на мусульманский хиджаб и паранджу в “просвещенной” Европе, а именно в Бельгии и Франции, тоже не сильно впечатляют. Да и положение, при котором женщинам без головного платка возбраняется появляться на улице, а одетых “неподобающим образом” забивают камнями или обстреливают из пейнбольных ружей, тоже не вызывает одобрения.

Важно осознать, что никакая цель не оправдывается негодными средствами. Диктат, насилие, репрессии — плохие помощники делу, которое можно решить доброй волей и без принуждения. Тем более, что ныне, в эпоху глобализации, в сфере костюма и моды происходит вполне органичный процесс нивелирования и стирания национальных границ. Потому сегодня, когда высокий церковный иерарх призывает власть употребить, отменив богопротивные шорты и мини-юбки и введя общероссийский дресс-код, перед глазами вдруг возникает держиморда былых времен с остро заточенной бритвой наперевес.

Примечания

* Примечательно, что платье и нашивки желтого цвета, традиционно ассоциирующиеся в Европе с еврейством (достаточно вспомнить желтые звезды с надписью “Jude” на одежде узников гитлеровских концлагерей), в странах Азии обрели иной культурный смысл. В императорском Китае, к примеру, желтый цвет считался цветом высокого правителя. Только монарх и члены его семьи имели право носить желтую одежду и ездить в желтых паланкинах. Почти все предметы, которыми пользовался богдыхан, были желтого цвета. Последний маньчжурский император Пу И писал в своих мемуарах: “Каждый раз при воспоминаниях о детстве перед глазами всплывает сплошной желтый туман: глазурованная черепица на крыше — желтая, паланкин — желтый, подстилки на стульях — желтые, подкладки на одежде и шапки, кушак, посуда, ватные чехлы для кастрюль, обертки для них, занавески, стекла — все желтого цвета”.

** Следует отметить, что в некоторых ультра-ортодоксальных анклавах Израиля борьба за скромность одежды доводится до абсурда и принимает подчас клинические формы. В Иерусалиме и Бейт-Шемеше существуют сектантки, которые носят паранджу и черные перчатки до локтей, чтобы прикрыть каждый миллиметр тела, а некоторые из них используют вместо перчаток носки, чтобы нельзя было увидеть даже отдельных пальцев.



Марк Шехтман

УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 21, КВ. 36

В советские годы улица носила имя Кирова. Теперь ей, как и многим другим, вернули дореволюционное название — Мясницкая. Низкий, темный и, с первого взгляда, незаметный въезд во двор располагался напротив Главпочтамта и рядом с построенным в стиле китайской пагоды магазином "Часоуправление". Если войти в этот лишенный зелени и залитый асфальтом двор, откроется бесформенное — то ли ангар, то ли заводской цех — грязно-белое здание, в котором когда-то размещалась кузница русского художественного авангарда — знаменитый ВХУТЕМАС. Слева от него построенные в начале 20-го века два девятиэтажных дома из красного кирпича. В то время такие дома называли "доходными" и предназначались они для избранных, обладающей средствами публики — адвокатов, артистов, художников. Известный русский художник Абрам Ефимович Архипов занимал здесь до революции целый этаж. Сам Николай П наносил художнику августейшие визиты, и по этому случаю лестничные пролеты устилали красным ковром — царь, говорят, не любил лифт и предпочитал подниматься пешком. Абрам Ефимович Архипов — чистокровный русский, но по странному совпадению его именем названа улица, на которой стоит Московская хоральная синагога.

Построенные в стиле "русский модерн" дома эти могли бы украсить одну из московских улиц, но почему-то стояли во дворе. Раньше строили по-другому: высота комнат достигала 4-х метров. Балконы только на последнем, девятом этаже. Единственный с фасада балкон выдавался далеко вперед. Стенки сварные, решетчатые, с крупными ячейками, тонкие перила. Трудно привыкнуть к пустоте под ногами: сквозь подошвы ботинок чувствовалось насколько тонка ржавая стальная плита с ромбовидной насечкой. Выйдешь покурить, глянешь вниз — и в животе похолодеет.



Роберт Фальк Портрет Александры Вениаминовны Азарх-Грановской

В одной из таких квартир с балконом и жили сестры Раиса Идельсон и Александра Грановская-Азарх. Дочери витебского врача Вениамина Идельсона, они получили хорошее образование, свободно владели основными европейскими язы-

ками, подолгу жили за границей — в Париже, Берлине, прекрасно знали Ю. Пэна, М. Шагала, всю блестящую плеяду витебской школы, многих представителей художественной и литературной элиты Франции и Германии.

Родные сестры не были похожи. Красавица Александра Вениаминовна — блондинка скандинавского типа, унаследовала внешность отца.

Раиса Вениаминовна — брюнетка, с густыми черными бровями, была похожа на мать — немецкую еврейку. В поздние свои годы она чем-то напоминала режиссера Ю. Любимова.

Первый брак Раисы с художником Робертом Фальком распался. Однако разведенные супруги сумели на всю жизнь сохранить дружеские отношения.



Роберт Фальк Портрет Раисы Вениаминовны Идельсон

Отношения эти продолжались и с вдовой Фалька — Анжелиной Васильев-ной Щекин-Кротовой.

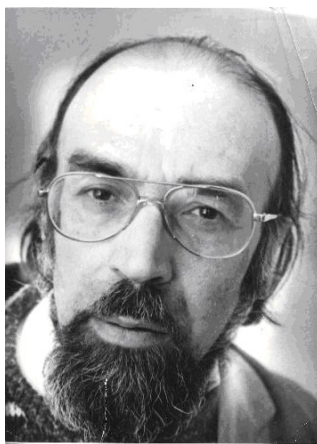


Роберт Фальк Портрет Ангилины Васильевны Щекин-Кротовой

Новым мужем Раисы стал другой художник — Александр Лабас.



Александр Аркадьевич Лабас



Юлий Александрович Лабас

Брак с ним тоже окончился разводом, правда, на этот раз, кроме дружеских отношений, остался сын — Юлий Лабас. Он был известным ученым-биологом, последние годы жил в Москве.

Раиса Вениаминовна всю жизнь проработала во Всесоюзном доме народного творчества, консультируя студентов, присылавших на отзыв свои работы со всех концов СССР, вплоть до Байкала и Камчатки. Начала она там работать еще в годы, когда директором была вдова Ленина — Крупская. Рецензии Раиса подписывала фамилией Идельсон, и некоторые заочники, считая своего консультанта мужчиной, приглашали приехать поохотиться в тайгу.

Александра Вениаминовна была замужем за создателем ГОСЕТа режиссером Грановским. Театр возник сразу после октябрьского переворота, за несколько лет до того, как театр "Габима" навсегда оставил СССР (а если точнее — вообще Европу).

Попал я в дом сестер благодаря отцу, который после начала репрессий на Украине уехал в Москву. Здесь Мануил Шехтман долго бедствовал, скитался без жилья. Со временем нашлась стабильная работа — оформление павильонов на ВДНХ. Пригласил его московский художник Александр Лабас. Нескоро, но все-таки признали отца в Москве, приняли в МОСХ. Лабас ввел Мануила в дом, где в свое время бывали Маяковский, Брики. Там отец познакомился с Михаэлом, Зускиным, Фальком, Натаном Алтманом, Осмеркиным, другими артистами и художниками.

В 1937 году мы с мамой приехали в Москву повидаться с отцом после трехлетней разлуки. Тогда впервые и посетили дом напротив Почтамта. Помню улицу Кирова, забитую одинаковыми, черными, с резинговым верхом "фордиками". Блестя мокрыми крышами, они, словно гигантская черная змея, медленно ползла к Чистым прудам, где уже открыли станцию метро "Кировская". Гордость столицы — метрополитен имени Кагановича только начинал прокладывать путь в светлое будущее. Тогда каждый день на первой странице, не помню уж точно, "Правды" или "Известий" жирным шрифтом

сообщалось, сколько за прошедшие сутки выпустили грузовых и легковых автомобилей, сколько тонн угля выдали "на-гора" шахтеры, сколько чугуна и стали выплавили сталевары, сколько зерновых (но уже не тонн, а пудов — так получалось куда эффективнее: в шестьдесят два раза больше!) убрали и сдали государству хлебобобы. Еще добавить в этих триумфальных сводках, сколько за сутки арестовано, выслано, замучено, расстреляно граждан — и получилась бы полная картина происходившего на одной шестой части земного шара. Но тогда я, девятилетний мальчишка, мало что понимал и с восторгом читал эти победные репортажи. Помню, 7-го ноября мы с отцом пошли на демонстрацию. На Красной Площади он посадил меня на плечи, и я увидел Сталина. В серой солдатской шинели и фуражке, вождь поднял руку, приветствуя ликующих демонстрантов. А о первом посещении квартиры 36 в памяти почти ничего не осталось, запомнился только маленький мальчик Юлик, с которым я пытался играть.

Снова я приехал в Москву в июне 41-го, за неделю до начала войны. Фордиков уже не было, их сменили М-1 ("эмки"), над столицей летал черный пепел сожженных документов, и тревожное ожидание неизбежной катастрофы ощущалось еще сильнее, чем в оставленном мною Киеве.

Не буду повторять уже опубликованное в различных источниках. Расскажу только то, что лично слышал и видел в этом необыкновенном доме, хотя не ручаюсь за абсолютную достоверность. Дело в том, что со временем версии обрастали новыми подробностями, а иногда менялись до неузнаваемости. Да и моя память несколько ослабела.

На стенах много картин. Среди них — удивительный, праздничный портрет работы Юдея Пэна: Рае лет 16.



Юдель Пен. Портрет шестнадцатилетней Раисы Вениаминовны Идельсон

Она в зеленом платье, на коленях уютно устроилась кошка. Рая чуть исподлобья глядит прямо в глаза, и невозможно оторваться от ее взгляда. Еще портрет,

но уже работы Фалька. Здесь Раиса постарше. Она лежит, вытянувшись на диване. На другом портрете изображена в профиль Александра Вениаминовна. И его же знаменитый "Автопортрет в красной феске".



Роберт Рафаилович Фальк. Автопортрет в красной феске

По вечерам у сестер собирались гости. Хозяйки не ограничивались кругом лиц своего возраста, и здесь молодежь чувствовала себя свободно. Сестры умели слушать — этим искусством владеет далеко не каждый. И всегда как-то само собой получалось, что гости показывали что-либо, читали, пели или просто рассказывали. Но Александра Вениаминовна умела не только слушать — у нее были необыкновенная память, феноменальное воображение, и эти свойства компенсировали вынужденную неподвижность. Еще до появления телевидения она впитывала рассказы гостей о фильмах, спектаклях, выставках и могла пересказать содержание с такими нюансами, что в личном ее присутствии никто не сомневался. Трудно было поверить, что эта женщина годами не выходила из дома.

У сестер встречались незнакомые раньше люди и возникали теплые, прочные отношения, которые, бывало, заканчивались браком. Здесь сделал предложение мой одноклассник Ной Генин. Брак этот, правда, распался, дети и первая жена Ноя давно живут в Израиле, а сам он с новой женой выбрал Германию.

Сестер навещал земляк из Витебска врач Григорий Иссерсон. До революции он учился на медицинском факультете Юрьевского университета в эстонском городе Дерпт (ныне Пярну). Университет типично немецкий, совсем как во Фрайбурге или Гейдельберге, и "процентной нормы" в нем не было. Студенты-корпоранты носили цветные шапочки и дрались на дуэлях, зарабатывая необходимые для успешной карьеры шрамы на лице. После корпоративных попок они отправлялись в парк, где на гранитном постаменте сидел бронзовый основатель университета, и складывали пустые бутылки на его коленях. Эта традиция сохранилась и в советское время: в 1971-м году я специально отправился в университетский парк и увидел, что кроме бутылок, здесь ничего не изменилось. Основатель университета сидел в том же кресле под теми же липами, но уже с другими бутылками на коленях.

Попав первый раз в анатомический театр, Гриня с непривычки почувствовал слабость, которая усилилась еще больше при виде студента в цветной шапочке. Тот спокойно жевал бутерброд с ветчиной, запивая его пивом из бутылки. Рядом лежал вскрытый труп. "Ты новенький? — спросил студент и протянул Грине бутылку. — Я вижу, ты испугался. Глотни, и все пройдет. Здесь бояться нечего: спокойнее, чем ваша анатомичка, в университете места не найти". Студента звали Эрих, и скоро он подружился с Гриней, или, как теперь его стали называть на немецкий лад, Грегором. В корпорацию Гриня не стремился — происхождение не то, однако в студенческих попойках участвовал регулярно, проявил себя как достойный борец с крепкими напитками и получил закалку на всю жизнь.

Прошел год. Давно исчез одолевавший в анатомическом театре страх. Теперь рядом с препарированным трупом Гриня сам спокойно запивал пивом бутерброд, посмеиваясь над новичками. И однажды случилось неожиданное. Труп уже издали показался Грине знакомым. Это был Эрих. Вернувшись сильно пьяным после очередной попойки, он заснул, лежа на спине, и, как выяснилось после вскрытия, захлебнулся рвотной массой. — С тех пор прошло 40 лет, — закончил Гриня, — но после выпивки (здесь он сделал паузу) *я всегда сплю на животе.*

История, в принципе, грустная, и Гриня рассказывал ее без тени улыбки, но так, что все начинали хохотать с первого же слова и особенно в конце. Как это ему удавалось. — не пойму. Чужим шуткам он смеялся вместе со всеми, но ни разу — когда рассказывал сам. Говорил Гриня с довольно сильным немецким акцентом, доставшимся ему в Юрьевском университете в дополнение к диплому врача. Акцент делал рассказы еще смешнее.

Однажды мой отец на плечах заволок его, мертвецки пьяного, к сестрам на девятый этаж (лифт не работал), после чего Гриня стал называть отца Христом-спасителем.

Помню молодого художника Бориса Козлова. Его картина "Распятый Христос" долго висела у сестер. Борис привел к сестрам учителя русского языка Владимира Лейбзона. Хобби последнего — анкеты. Он собрал, перевел и отпечатал сотни различных анкет. Но главную анкету составил сам, вручал каждому, кто впервые входил к нему в дом, и уже заполненную хранил в специальной папке — эра компьютеров тогда еще не наступила. В анкете около ста вполне безобидных вопросов, но при заполнении возникла тревожная мысль: "Для КГБ такая папка подробнейших характеристик сотен людей — прекрасный подарок, просто находка". Одну из переведенных с английского анкет Лейбзон подарил мне. Впоследствии на ее основе мы построили робот, безошибочно определяющий психологический тип человека.

Вместе с Лейбзоном Борис Козлов привел молодого поэта Владимира Смирнова. Стихи его и сейчас помню. **"Не каркай, ворона, не каркай! Мне рано еще умирать! Я завтра уйду с санитаркой в зеленую рощу гулять. Забуду палату большую и двери немазаной визг. Забуду, что в гипсе лежу я, как временный обелиск..."** И еще: **"У стационарного буфета, где пьют перцовку под боржом, канадский бобрник и бабетта стоят и мокнут под дождем"**. Помню, как оба они артистично читали в лицах пародийную версию "Отелло", где каждое четверостишие заканчивалось, как теперь бы сказали, "неполиткорректной" фразой: **"Но вмиг прохо-**

дят убежденья в момент, когда тебя е...ут!". Собравшиеся стонали — смеяться уже не было сил. Еще одна шутка Смирнова: **"Ах, у Веры, ах, у Инбер, что за глазки, что за лоб! Все смотрел бы, все смотрел бы, все смотрел бы на нее б!"**

Сестер посещали разные люди, иногда совершенно фантастические личности. Однажды пришел полунциий старик, известный в Москве благодаря необычному хобби: он собирал всего лишь... офорты Рембрандта! Никому не позволяя прикоснуться к пожелтевшим листам, он осторожно доставал из папки свои сокровища и демонстрировал ошеломленным зрителям.

Частовстречался с Вадимом Щегловым. Школьный товарищ Юлия, он стал диссидентом, приобщился к религии и состоял в "Лиге защиты верующих". Вадим — удивительный человек: честный, смелый, прямой, щедрый, всегда готовый прийти на помощь. Хотя бы четверть верующих была такой! Его часто таскали в КГБ и, в конце концов, вынудили эмигрировать. Он жил в районе Бостона где, к сожалению, недавно умер. Его милая жена Зарина — художник-иконописец.

Свои рассказы читал начинающий тогда писатель Мамлеев. Рассказы до такой степени сюрреалистические, что запомнить содержание было невозможно. Единственное, что осталось в памяти — кто-то кого-то все время "имел". "Имели" даже чью-то отрезанную голову, или, может быть, эта голова сама кого-то "имела". Сестры внимательно слушали. Я любил наблюдать за ними во время таких чтений, и в тот раз от меня не ускользнула дымка иронии в глазах Александры Вениаминовны. Мамлеев тоже эмигрировал, но после распада СССР вернулся в Москву — видно, не преуспел.

Не раз сестры Айзенберг пели на идиш, английском, русском. Сейчас они в Израиле. В первый свой визит к сестрам что-то спели дуэтом моя будущая жена и двоюродная сестра.

Бывала у сестер и автор детских книжек Рахиль Баумволь. Она уехала в Израиль одной из первых. В Израиле Баумволь перевела на русский роман нобелевского лауреата Ицхака Башевиса-Зингера "Раб".

Иногда гости приносили магнитофон, чтобы послушать новые записи музыки, выступления поэтов, первые песни только появившихся бардов. В такие вечера собиралось особенно много народа, преимущественно молодежь, и опоздавшие стояли в коридоре — в комнате все не помещались. Не удивительно, что иногда после таких прослушиваний исчезали книги. Сестры относились к этому философски.

Как-то пришли студенты, совсем мальчики. После хрущевских разоблачений Сталина они взяли рюкзаки и отправились в путешествие по "гулаговским" местам на Кольский полуостров, нашли и сфотографировали покинутые лагеря, заброшенные кладбища с безымянными могилами. Но однажды эти ребята натолкнулись на длинную колонну настоящих, живых "зеков". Охрана была уже не та, что в сталинские времена. Заклинание "Шаг влево, шаг вправо считаются побегом" вышло из употребления, и с "зеками" теперь можно было на ходу поговорить. "Почему вы все еще здесь?" — спросили студенты у кого-то в колонне. "А мы по смертно реабилитированные", — угрюмо ответил один из марширующих.

Не раз встречал у сестер бескомпромиссного диссидента и, я бы сказал, пламенного обличителя — Анатолия Якобсона. Судьба его в Израиле, к сожалению, сложилась трагически, о чем в своих воспоминаниях подробнее написал Юлий Лабас. Сын Якобсона — один из активистов крайне левой партии "Мерец". Вряд ли Анатолий мечтал об этом, собираясь в Израиль.

Приходили молодые, начинающие актрисы. Я не театрал, закулисные интриги, сплетни и профессиональные оценки спектаклей меня не очень интересовали, но узнал о театральной жизни многое другое. Прежде всего, в девушках поражала самоотверженная, порой даже фанатичная преданность сцене. При совершенно низкой зарплате (театральные уборщицы получали больше начинающих актеров) приходилось делать такой, например, выбор: купить пару чулок, помаду, духи — актриса должна выглядеть пристойно — или же заплатить за такси, чтобы до спектакля успеть записаться в телестудии и не опоздать в театр. Гонорар на телевидении был примерно равен стоимости проезда на такси из центра в Останкино. Во время гастролей актеры жили впроголодь. Приходилось ловить голубей. Их приманивали, насыпая на подоконник хлебные крошки, и потом варили на электроплитке в гостиничном номере. Правда, охоту на голубей поручали сильному полу. В провинциальных театрах на генеральных репетициях всегда присутствовала партийная комиссия. Кроме идеологической цензуры, горкомовские культуртрегеры выполняли не менее важную высокоморальную миссию: проверяли длину юбок и глубину декольте актрис. Их требования неукоснительно выполнялись: юбки удлиняли, а вырезы в платьях, наоборот, укорачивали или вообще закрывали. Нелегкой была жизнь молодых актрис. Даже прическу они не могли сменить без личного разрешения режиссера.

В годы раннего "застоя" в Москве организовали театрально-концертную группу на языке идиш. Но не так легко было отыскать молодых артистов и особенно актрис, владеющих этим языком. Вот почему большинство в ансамбле составляли русские. Они заучивали тексты ролей и песен на незнакомом языке и выступали довольно успешно. Но недолго продержался ансамбль: трудно было найти не только актеров — владеющая языком идиш немногочисленная аудитория редела с каждым годом, концерты шли в полупустых залах и перестали окупаться. Александра Вениаминовна работала с участниками труппы.

Не раз встречал там молчаливую, замкнутую Веру Ивановну Прохорову. Славянская ее внешность полностью соответствовала фамилии. Не знаю, чем привлек Прохорову Еврейский театр. Она занималась в студии у Михоэлса, считала ее своим вторым домом и после ликвидации театра была арестована. Сейчас мало кто помнит, что до революции семье миллионеров Прохоровых принадлежала широко известная текстильная фабрика "Прохоровская мануфактура" (в советские годы "Трехгорная", или просто "Трехгорка"). Александра Вениаминовна очень тепло отнеслась к наследнице знаменитых русских капиталистов.

Из артистов ГОСЕТа помню Гертнера и его красивую жену Ригу. После разгона театра он не остался без работы. Оказалось, что прежняя его профессия портного всегда была востребованной — Гертнер сшил моей маме модное пальто.

Не избежал репрессий преданный коммунист, парторг театра Беленький. Сидел он, правда, недолго и был освобожден сразу после смерти Сталина. Но театр вновь не открыли, и пришлось ему переквалифицироваться в писатели: вместе с другим евреем по фамилии Крывелев он сочинял брошюры, разоблачающие реакционную суть религии предков.

Неоднократно публиковавшийся рассказ о встречах Александры Вениаминовны с Маяковским и его пророчестве я тоже лично слышал. Однажды поэт сказал отказавшейся с ним встретиться Грановской: "В следующий раз вам придется разговаривать с моим памятником!" Сбылось это пророчество.

У сестер я впервые услышал имена Бриков, Эфронов, Гумилева. Они оживали в рассказах сестер и как будто присутствовали в небольшой комнате на девятом этаже.

Из рассказов Александры Вениаминовы помню, что частым гостем был убийца германского посла, знаменитый эсер (а позже большевик) Яков Блюмкин. Только в последние годы российские СМИ заговорили об этой таинственной личности. Оказалось, что в поисках Шамбалы Блюмкин (зادолго до нацистов) организовал экспедицию в Тибет. Он успел побывать и в находившейся под Британским мандатом Палестине. Секретные службы молодого советского государства с самого начала интересовались Ближним Востоком. В Палестину Блюмкин отправился по заданию ЧК (или ГПУ — не знаю, как называли тогда организацию на Лубянке) под видом местечкового религиозного еврея — с бородой, пейсами и в соответствующей одежде. Он оказался на одном корабле с высокопоставленным британским чиновником. Чиновник этот отправлялся в Палестину надолго и взял с собой семью. В один из дней его дочь, заигравшись, упала за борт. Импульсивный Блюмкин забыл о своей секретной миссии, сбросил черный лапсердак, меховую шапку — "штраймл", прыгнул в воду и спас девочку. Публика на палубе была потрясена храбростью ни на что, по их представлению, не способного хасида. Не знаю точно, чем закончилась миссия Блюмкина, но из других источников известно, что для официального прикрытия он стал владельцем букинистического магазина в Тель-Авиве, где торговал свитками Торы и такими редкими еврейскими книгами, как сочинения знаменитых раввинов и комментаторов Пятникнижия, а также всем тем, что теперь называют иудаикой. "Товар" для его магазина поставляла все та же ЧК. Экспедиции чекистов конфисковывали еврейские раритеты в синагогах маленьких украинских городов Вольны и Подолии и отправляли их в Палестину.

Запомнился и другой рассказ о бурной жизни Блюмкина. Он участвовал в подавлении конфликта на КВЖД — Китайско-восточной железной дороге. В одном из боев красноармейцы захватили группу китайских повстанцев — хунгузов (их еще называли белокитайцами) и, как тогда было принято, собрались немедленно расстрелять пленных. Азиатское равнодушие китайцев к смертному приговору привело Блюмкина в негодование и, чтобы другим неповадно было, он приказал их повесить. Но привыкшие расстреливать красноармейцы отказались выполнить приказ. "Расстрелять — это мигом, а вешать не станем: мы солдаты, а не палачи" (какая высокая мораль!), — заявили они. Блюмкин, однако, настаивал, и тогда выяснилось, что для казни придется пригласить платного профессионального палача из Харбина. В дискуссию вмешался предводитель пленных. "Харбин далеко, — сказал он, — и палачу надо много платить. Зачем зря тратить деньги? Купите нам веревки, мыло, водку, угощение, и мы сами все сделаем". Пораженный Блюмкин согласился, пленные получили, что требовали, поднялись на чердак похожего на барак здания и заперлись. Красноармейцы с командиром остались внизу, прислушиваясь к происходящему. С чердака доносились шаги, какая-то возня. Китайцы спокойно разговаривали, смеялись, потом послышалось пение. Пели они все вместе, и продолжался этот концерт обреченных ночь напролет. Пение постепенно затихало, ослабевал хор, уже под утро можно было разобрать, что поют всего трое, потом двое, один... Умолк последний певец, наступила тишина, но не сразу решился Блюмкин подняться на чердак. Дверь была теперь открыта. Хунгузы все, как один — их было двенадцать — висели на потолочной балке под сводом двускатной крыши. "Как ласточки", — сказал в заключение Блюмкин", — добавила Александра Вениаминовна.

Ближневосточная миссия Блюмкина оказалась последней. Он сам подписал себе приговор: возвращаясь в Россию через Стамбул, заехал на Принцевы острова,

тайно встретился с находившимся в изгнании своим кумиром — Троцким, и об этом стало известно Лубянке. Агенты НКВД арестовали Блюмкина, когда он выходил из квартиры 36 на девятом этаже. Понимая, что связи с Троцким раскрыты, Блюмкин оставил в квартире чемодан. В тот последний раз дверь ему открыла Раиса Вениаминовна (Александра была в Париже). Тогда там жили еще две студентки: Роза Рабинович и сестра наркома связи Казимира Розенгольца (в конце тридцатых расстрелян как троцкист). Вид у легендарного террориста был затравленный. "Только бы остаться в живых. Хоть кошкой, хоть собакой — лишь бы остаться в живых", — сказал Блюмкин, прощаясь, как оказалось, навсегда. Через некоторое время в дверь позвонили. Вошли двое. "Где чемодан?" — вот все, что они спросили. Спорить с ними не имело смысла. Что было в чемодане, никто толком не знает — архивы Лубянки закрыты и теперь. Одну из версий о содержимом чемодана и последующих событиях можно найти в воспоминаниях Юлия Лабаса. Самое странное в этой истории, что сестер оставили в покое, даже не допросили. Только лет через двадцать в КГБ что-то вспомнили, и следователь провел формальный допрос.

В доме соблюдался настоящий культ Ильи Эренбурга, которого сестры хорошо знали. Никакой критики в его адрес не допускалось. Я не был к Эренбургу особенно расположен, сумбурные романы воспринимал как совершенно бессмысленный набор слов и признавал его только как поэта, скорее даже переводчика. Но когда получил у сестер и прочел его единственную захватывающую книгу "Хулио Хуренито", на какое-то время изменил отношение к автору. И сейчас помню этот томик, опубликованный в 1922 году берлинским издательством "Геликон".

Двоюродная сестра Александры Вениаминовны — ведущая актриса Киевского театра русской драмы Опалова. Веселая, общительная и остроумная Евгения Эммануиловна несколько раз посетила нас в Киеве. В семидесятых годах, в очередной разгар антисионистской истерии газета "Вечерний Киев" опубликовала открытое письмо группы творческих работников-евреев: к стандартным обвинениям сионистов они добавили еще одно, до которого раньше никто не додумался. Оказывается, сионисты виноваты и в трагедии Бабьего Яра. Среди прочих была подпись Опаловой. После этого знакомство наше заглохло.

Однажды — было это весной 1953, вскоре после смерти Сталина и освобождения врачей — мы с Юликом о чем-то беседовали в его комнате. Он тогда взялся за изучение немецкого языка, и стены от пола до потолка были увешаны листами с написанными крупным шрифтом немецкими глаголами и выражениями. Помню, мне такой метод казался тогда недоступным. Но Юлик свободно ориентировался в непомерно длинных словах, в глаголах с отделяемой приставкой, прочих премудростях языка, который я ненавидел со школьной скамьи. Постучавшись, вошел Фальк. Среди этого хаоса он сразу разглядел приколотый кнопками рисунок, который я подарил Юлику: пират в короткой, рваной тельняшке скрестил волосатые, в шрамах и татуировках ручки над торчащим наружу голым животом, посреди которого красовался пуп. На глазу, как и положено уважающему себя пирату, черная повязка, на голове красная косынка, за поясом кинжалы и пистолеты. "Кто это нарисовал?" —

спросил Роберт Рафаилович. "Марк", — указал на меня Юлик. Фальк снова взглянул на рисунок, потом на меня, подумал и пригласил на воскресный просмотр своих картин. Помню мастерскую Фалька в заставленной мольбертами и холстами мансарде. На балке под потолком золотистая связка вяленой рыбы. После смерти Фалька на просмотры картин нас с женой приглашала его вдова Ангелина Васильевна Щекин-Кротова. Обстановка в мансарде оставалась такой же, как и при жизни Фалька. Даже вяленые рыбы висели на той же балке. Из окна открывался вид на обнесенную забором захламленную строительную площадку, где раньше стоял храм Христа-спасителя. В 30-х годах храм взорвали и снесли, освобождая место для самого высокого здания в мире — Дворца Советов. Проект поручили архитектору Иофану. Закончилась сталинская затея тем, что через несколько лет после смерти вождя здесь открыли одну из главных достопримечательностей столицы — плавательный бассейн "Москва". Сейчас храм построили во второй раз.

Я берегу несколько писем и воспоминания о Фальке, которые Ангелина Васильевна прислала моей маме в Израиль в начале 80-х.

Выполненный Фальком карандашный портрет Коллегаева хранится в семье Ольги Гениной в Иерусалиме. (Ю. Лабас посвятил Коллегаеву отдельную главу в своей книге.)

В один из приездов в Москву мне посчастливилось познакомиться с Натаном Альтманом. В тот вечер мы с Александрой Вениаминовной были одни. В дверь позвонили, и я пошел открывать. На пороге стоял элегантно одетый, худошавый человек с чемоданом в руке. Это и был Натан Альтман. Александра Вениаминовна представила меня, и было приятно узнать, что он помнил моего отца. В чемодане Альтман принес проектор и слайды своих картин. Он сам выбрал место для демонстрации, придвинул стол (мне не позволил!), погасил свет, и мы увидели, наверное, около сотни слайдов. Я был знаком с творчеством Альтмана (его выставку в зале Союза художников на Кузнецком посетил незадолго до этой встречи), но многое из того, что увидел в тот вечер, стало для меня открытием. Альтман умер через год.

Несколько раз я заставал у сестер художника Фонвизина. Говорили, что он прямой потомок автора "Недоросля". Фонвизин жил в своем замкнутом мире нежнейших, изысканных акварелей, и происходившее вокруг его абсолютно не интересовало. Так было и в марте 1953-го. Радио Фонвизин не слушал, газеты не покупал, телевидение еще не появилось, и узнал он о смерти Сталина с опозданием в несколько дней. Утром выглянул в окно и очень удивился, увидев толпы куда-то спешивших людей. Шествие продолжалось весь день: москвичи шли в Колонный зал проститься с вождем, многие сотни были затоптаны, погибли в давке. Только вечером Фонвизин узнал от соседей, в чем дело. Мне он запомнился молчаливым, погруженным в себя.

В 1974 году в Третьяковской галерее неожиданно извлекли из запасников картины Марка Шагала, и это вызвало в столице ажиотаж. На открытие выставки прилетел из Парижа сам автор. Шагал провел в Москве несколько дней и посетил Александру Вениаминовну.

Художника Осмеркина мне повидать не пришлось — он умер в 1952 году, но встречал у сестер его жену и очень красивую дочь Таню.

Не раз видел собравшихся вместе разведенных супругов Раисы Вениаминовны: Фальк с женой, Александр Лабас. Последний обычно приходил сам — его жену, эмигрантку из Германии, сестры недолюбливали и часто пародировали ее

сильный немецкий акцент. В моем понимании развод — результат взаимной, испепеляющей ненависти, и странно было видеть этих дружески беседующих бывших супругов. Более того — после смерти Фалька Ангелина Васильевна, продавая его картины, обязательно отдавала часть денег Раисе. Насколько я знаю, продажи случались редко, и сам процесс был довольно сложным. Потенциального покупателя представляли Ангелине Васильевне — она должна была сначала узнать, что это за человек, и показывала картину, только если тот соответствовал ее критериям. Сoglасившись расстаться с картиной, она лично выбирала для нее место в новом доме, а затем время от времени наведывалась туда проверить, как та висит.

Я знал, что Раиса Вениаминовна художница, не зря же она занималась у Фалька во ВХУТЕМАСе. Но картин ее ни разу не видел. Иногда я приносил свои рисунки. "Почему ты не работаешь маслом?" — каждый раз удивлялись сестры. "Давай, я поставлю тебе натюрморт. Попробуй — уверена, что получится", — сказала однажды Раиса Вениаминовна. Из-за шкафа достали мольберт, нашлись краски, кисти, небольшой холст. Я в растерянности глядел на кувшин, засохший лимон и вялую морковку, которые мне предстояло увековечить. Прорисовав углем контуры, я взялся за кисть. Наверное, ничего более отвратительного Раиса в жизни не видела, но, скрыв разочарование, сказала: "Ты должен продолжать". Мне было стыдно за свою бездарность, и я ругал себя последними словами за то, что забыл мудрую поговорку: "Не умеешь — не берись!". Больше натюрморты Раиса мне не ставила и к этому разговору мы не возвращались. Прошло четверть века. Уже в Израиле я решился, наконец, продолжить и, к своему удивлению, обнаружил, что Раиса Вениаминовна была права: на холсте проявилось нечто, не вызывающее стыда.

Александра Вениаминовна курила. От нее я узнал, что в Европе нет папирос — только сигареты. А в России как раз сигареты только начали появляться, и ей приходилось курить папиросы. Позже, когда сигареты прочно закрепились, она предпочитала болгарские, без фильтра. "Главное в сигарете — привкус табака, а не бумаги", — говорила она. Я храню ее фотографии. На одной Александра Вениаминовна с "Беломором" во рту. Мундштук папиросы лихо передавлен, совсем как у волка в "Ну, погоди!". Русская папироса — не для красивых женщин!

В этой квартире все было удивительным. Одно время там жила короткошерстная серая, как крыса, кошка. Настолько тощая, что непонятно, откуда у нее силы передвигаться. Так, вероятно, выглядели кошачьи мумии в древнем Египте. Ходила она с трудом, пошатываясь от истощения. Но к еде не притрагивалась, даже сервелат равнодушно обнюхивала и отворачивалась. За счет чего существовала эта ходячая мумия — знала только она сама. Но была у нее одна страсть: табак — правда, сухой, не в тлеющей папиросе. Стоило кому-то вынуть из пачки папиросу — кошка вскакивала к нему на колени, вдыхая табачный аромат, томно прижимала глаза, склонив голову, начинала тереться лбом о руку с папиросой, и по ее высохшему телу волнами пробегали сладострастные судороги.

Александра Вениаминовна хорошо разбиралась и в крепких напитках. Помню день ее рождения, когда, хлебнув лишнего, гости один за другим сходили

с дистанции, и только она невозмутимо сидела с бокалом в одной руке и дымящейся сигаретой — в другой, продолжая понемногу отпивать коньяк.

К восьмидесятилетию Александры Вениаминовны я послал ей из Киева зарифмованную фототелеграмму, которая заканчивалась так: "Желаю с Вами сесть за столик. Целую. Старый алкоголик". Девушка на почте внимательно прочла текст и вернула мне бланк: "Я такую телеграмму отправлять не буду. — Почему? — Здесь неприличное слово! — Какое? — Алкоголик!", — помедлив, словно боясь обжечься неприличным этим словом, ответила она. Против такого высочайшего взлета коммунистической нравственности я ничего не мог поделать, и телеграмма осталась бы неотправленной, но помогла заведующая почтовым отделением. Скрыв улыбку, она с трудом убедила ретивую девушку, что ничего крамольного в послании нет.

Не рассчитывая на публикацию, Раиса Вениаминовна писала стихи, как теперь говорят, "в стол". Она ни разу не читала их гостям. Иногда позволяла мне прочесть кое-что самому. Несколько ее стихотворений я храню.

"Самиздат" попадал к сестрам регулярно. После кастрированного варианта в журнале "Москва" я, не отрываясь, проглотил отпечатанный на машинке полный текст "Мастера и Маргариты", для чего пришлось остаться на ночь в комнате Юлика. Читал много других материалов, а кое-что мне позволяли взять на несколько дней домой. Примерно в середине шестидесятых у сестер появился альбом с надписью на тигульном листе "Портреты русских писателей". Там были разного качества, от любительских до профессиональных, фотографии Солженицына, Булгакова, Пастернака, Войновича, Галича, Белинкова, Аксенова. И других — тех, кто печатался в "Новом мире", просто в "самиздате" или в "тамиздате" — за рубежом. Многих из них я увидел впервые. Кто-то раздобыл и вставил в альбом даже фотографии только что осужденных Синявского и Даниэля.

Из рассказов Александры Вениаминовны о гастролях в Германии и Франции помню некоторые эпизоды. Она не раз называла многие города Европы, где ей пришлось побывать, особенно не любила Берлин и часто подчеркивала, что нелюбовь эта возникла задолго до появления Гитлера на политической сцене. Меня же, никогда не бывшего за границей, поначалу это удивляло. Но однажды почувствовал, что понимаю ее отношение к германской столице.

Хотя новые имена ничего мне не говорили, я знал, что еще не раз прочту о них в книгах, увижу на выставках, а, если повезет, услышу, а то и встречу здесь их обладателей... Как-то вечером прозвучало знакомое с детства имя. Сначала я не понял о ком идет речь — вместо привычного Георг Александра Вениаминовна называла его Жорж, но, вслушавшись, догадался — любимый художник отца (да и мой) Георг Гросс. Я знал художника по изданному в 1931 году сборнику "Лицо господствующего класса" и часами листал рассыпающиеся пожелтевшие страницы. Едкие карикатуры Гросса, пропитанные отвращением и ненавистью к высокомерной прусской военщине и нажившимся на астрономической инфляции дельцам Веймарской республики запомнились на всю жизнь. Но кроме этих репродукций, я ничего не знал о художнике и часто с тревогой думал: "Что стало с ним в гитлеровской Германии?". И вот теперь успокоился:

накануне прихода нацистов к власти он успел эмигрировать в Америку. "А почему же не в СССР? Где еще ему оказали бы такую поддержку?", — наивно спросил кто-то. Да и я был удивлен выбором Гросса. Александра Вениаминовна думала иначе. "Дело в том, что Гросс, как многие из немецкой левой интеллигенции тех лет, вступил в КПГ, в СССР побывать уже успел, был глубоко разочарован увиденным, понял, что разница между национал-социалистами и коммунистами не так уж велика и вскоре вышел из партии. Вот почему он выбрал Америку", — заключила тогда Александра Вениаминовна. Она еще долго рассказывала об эксцентричных выходках Гросса, драках, пьяных дебошах, скандалах на выставках. Образ художника, приобретая все большую реальность, поднимался над сюрреалистическим кошмаром немецкой столицы, и с каждой подробностью росла моя симпатия к нему.

Уже поднял голову фашизм, над страной неслись истерические заклинания фюрера, маршировали коричневые батальоны штурмовиков, но гастролям ГОСЕТа в Германии никто не мешал, спектакли шли с аншлагом, пресса была дружественной. Александра Вениаминовна обратила внимание на сверкающую лысину импозантного господина, который не пропускал ни одного спектакля, всегда сидел в первом ряду, и восторженно аплодировал артистам. На одном из приемов ей представили этого поклонника Еврейского театра. Им оказался генеральный директор всех театров Германии с удивительной для такой службы фамилией — Соломон!

Помню рассказы Александры Вениаминовны о предвыборной обстановке в Германии 1933 года. Даже теперь, через много лет, ее слова материализуются, и перед глазами возникает украшенный свастиками Берлин. Черные пауки свастик настолько заполонили стены, витрины, окна, что от них начинает рябить в глазах. Мокрый асфальт, тяжелое черное небо. Слышатся гудки автомобилей, шуршание шин. Монументальные шпандеры в высоких блестящих шлемах возвышаются на перекрестках. Молчаливые прохожие на тротуарах куда-то спешат, но останавливаются возле тяжелых корзин с "Гитлерпуппе". Куклы изображают Гитлера, их раскупают мгновенно. Мальчишки продают и другие куклы: "Геринг" и "Геббельспуппе", но на них спрос значительно ниже. Задерживаются прохожие и под фонарями, где замерли почтенные пожилые господа в одинаковых фуражках, с толстыми оловянными кружками в руках. На кружках и на околышах фуражек колючими готическими буквами: "Пожертвования на выселение евреев из Германии". С такими же кружками носятся стайки гораздо более активных мальчишек-вымогателей, от которых очень трудно отвязаться.

Александра Вениаминовна рассказывала о предвыборном собрании в берлинском Дворце спорта, на котором ей пришлось побывать. Дворец заполнили артисты, писатели, ученые, журналисты, художники — элита немецкой столицы, а среди них и те, кто аплодировал на спектаклях ГОСЕТа. Первым выступил Гитлер. Извиваясь в конвульсиях и брызгая слюной, он привел зал в неистовство, и странно было видеть здесь лес поднятых в нацистском приветствии рук и слышать громовое "Хайль!" После фюрера выступил секретарь КПГ Эрнст Тельман. Он говорил под свист, крики и стук дубинок штурмовиков, и по реакции зала сразу стало ясно, что шансы на выборах у коммунистов нулевые.

* * *

В Париже Александра Вениаминовна успешно показала себя как режиссер. Она поставила спектакль советского писателя и драматурга Всеволода Иванова "Бронепоезд 14-69". Об этом достаточно подробно пишет в своей книге В.Д. Дувакин (А.В. Азарх-Грановская. Беседы с Дувакиным. Воспоминания. Москва, 2001).

Александра Вениаминовна рассказывала о парижском концерте Вертинского. К русским артистам в Париже привыкли. Здесь видели Нижинского, Фокина, Шалапина, Рахманинова, Стравинского, Глазунова, многих других. Поначалу тепло приняли и Вертинского. Чем-то он напоминал стареющего Пьеро, и воспринимали артиста с иронией. В первом же концерте с каждым романсом, с каждой его фразой в зале усиливалось недоумение. "Что он хочет, этот русский? — пожимая плечами, спрашивали друг друга парижане. — О чем он так заунывно поет? Почему, словно женщина, заламывает руки и плачет?" К недоумению добавилась жалость — вот единственное, чего Вертинский добился и только потому не был ошвистан экспансивной парижской публикой.

У входа в одну из парижских гостиниц собралась большая толпа. "Мы ждем Шарло", — ответил кто-то на вопрос Грановской. Загадочным "Шарло" оказался Чарли Чаплин. Высокий, стройный, веселый и, скорее, светлый шатен, чем брюнет из фильмов, он совершенно не походил на созданный им карикатурный и, как теперь мне кажется, малопривлекательный образ.

В Марселе кто-то из друзей предложил Александре Вениаминовне посетить портовый публичный дом. Она согласилась и смело отправилась навстречу ночным приключениям. Но, чтобы не привлекать внимания постоянной клиентуры, пришла в элегантном мужском костюме, при галстук бабочкой и спрятав волосы под шляпой. Они сели за столик, заказали аперитив и стали рассматривать публику. Наблюдать за посетителями было гораздо интереснее, чем за персоналом. Бандерша-хозяйка, конечно, сразу разоблачила маскировку Грановской, но виду не подала и назойливо предлагала разнообразные — на любой вкус и возраст — услуги своего заведения.

Вскоре после возвращения из Европы Александра Вениаминовна потеряла ногу. Незадолго перед отъездом она была в ночном ресторане. Индус в чалме из голубого шелка долго не сводил с нее глаз. Через некоторое время он поднялся из-за стола и обратился к спутнику Грановской: "Вы разрешите мне погадать даме?" Получив разрешение, сел на свободный стул, взял ее руку и, пристально глядевшись в лицо, произнес: "Вы вернетесь в свою страну, но останетесь инвалидом". Через год мрачное это пророчество сбылось в точности. Александра Вениаминовна вернулась в Москву одна, Александр Грановский остался в Европе и вскоре умер от какой-то редкой, завезенной из тропиков болезни. В Москве, спускаясь с трамвая, Грановская оступилась, и нога попала под колесо. Нogu можно было спасти, если бы не мухи, тучами носившиеся в больнице. Дошло до того, что друзья специально дежурили у ее кровати, отгоняя мух. Но слишком поздно начались эти дежурства — гангрену предотвратить не удалось и ногу пришлось отнять. Потом, на протяжении всей долгой своей жизни Александра Вениаминовна ежегодно проходила унижительную процедуру переосвидетельствования — чтобы случайно не упатить зря мизерное инвалидное пособие, социальные службы проверяли, не выросла ли новая нога! Вот уж, действительно, рекорд бюрократической тупости! Его бы в книгу Гиннеса!

В 70-х готовилась покинуть Союз и наша семья. Москва, которую я так любил когда-то и по которой не один год тосковал в Киеве, становилась все более чуждой, холодной, далекой. В последние годы бывал я в Москве часто и обязательно посещал дом на Кировской. Райсы Вениаминовны уже не было в живых,

Юлий жил в Ленинграде, а летом пропадал в экспедициях на Белом море, многие друзья покинули СССР, другие ушли в мир иной — "иных уж нет, а те далеке". С каждым разом я замечал, как постепенно пустел этот маленький московский салон, нередко мы с Александрой Вениаминовной оставались одни.

Заканчивая эти отрывочные воспоминания, хочу вернуться к отцу. В конце июля 41-го он отправил меня на Урал и до ухода на фронт оставался в Москве. С группой художников занимался маскировкой важных объектов столицы. Этот процесс был почему-то железно засекречен вплоть до начала 21-го века. Неужели все еще опасались налетов "Luftwaffe"? В результате объекты (Большой театр, Кремль, вокзалы, вся улица Горького) стали неизвестными с воздуха даже для хорошо знавших столицу немецких летчиков (с целью ознакомления с топографией Москвы компания "Lufthansa" методично производила аэрофотосъемки и вплоть до начала войны в каждом полете меняла экипажи пассажирских рейсов). В своей книге Юлий Лабас детально описывает обстановку во время налетов "Luftwaffe". Мне хотелось бы добавить один эпизод. Во многих московских квартирах дверной звонок был соединен с лампочкой, которая загоралась при нажатии кнопки. В некоторых домах лампочки эти освещали лестничные клетки, где светомаскировки не было. Бывало, что во время налета люди звонили в дверь, пытались проверить, не остался ли в квартире кто-то из близких. Заметив с улицы вспышки света, патрули немедленно арестовывали звонивших. Их принимали за диверсантов, подающих сигнал немцам бомбардировщикам, и в ряде случаев расстреливали в ту же ночь.

Ю. Лабас вспоминает, как в один из августовских налетов он и Мануил Шехтман не спустились в убежище и остались в квартире. С девятого этажа далеко видно, и они вместе наблюдали за огненной феерией прожекторов, разрывов и разноцветных пунктиров трассирующих пулеметных очередей, за всем, что творилось в московском небе на фоне разгорающегося зарева. Это было последнее, дошедшее до меня упоминание об отце. Вскоре он ушел на фронт и уже не вернулся.

Одни ушли в ополчение и погибли, другие (в Москве было немало и таких) ждали немцев. Взрослые, вероятно, могли бы вспомнить и больше, но вот, что рассказывает восьмилетний тогда Юлий:

"...к нам пришел ...художник Александр Осмеркин.

— Рая, неужели вы с сестрой и Юликом задумали бежать? Доверились сталинской пропаганде? Я с радостью жду немцев. Очистил квартиру от красной скверны. Все их почетные грамоты, портреты, книжонки — вышвырнул вон. Повесил иконостас, зажег лампаду, молюсь за избавление от коммунистов.

— Ты с ума сошел! У тебя жена — еврейка, двое детей от нее!

— Ну и что? Оденет и поносит какое-то время эту их желтую звезду. Зато, подумай — откроется граница в Европу! В Париж!...

Расстались, не прощаясь. А после войны Осмеркин, как ни в чем не бывало, продолжал посещать наш дом. И мы к нему заходили. Никаких икон, впрочем, я не видел...".

Еще цигата из воспоминаний Ю. Лабаса. Действие происходит в поезде с эвакуированными московскими художниками: "**...В купе к Фаворскому подходит партийный деятель МОСХа (Московский союз советских художников) Кристи:**

— Владимир Андреевич, дорогуща! Куда ж это Вы собрались? Истинно русский человек, беспартийный, и немцы, несомненно, Вас знают как художника.

— Вот именно русский и беспартийный, в отличие от тебя. В японскую и германскую офицером командовал батареей, сейчас воевать, к прискорбию, непри-

годен. На старшего сына похоронку получил. Младший пойдет добровольцем. Чего еще тебе, блядь, от меня надо?"

Были в столице художники и похлеще Осмеркина. Они не ограничились тем, что очистили квартиры от книг корифеев марксизма, портретов вождей, партийных документов, но вместо иконостасов заготовили в своих мастерских портреты Гитлера. К 16-му октября, когда началось паническое бегство из столицы, на них еще не просохла краска. Об этом пишет художник Алексей Смирнов в "Заговоре недорезанных": **"И вот в разгар летнего наступления немцев на Москву Курилко собрал заседание кафедры только из дворян, предварительно заперев рисовальный класс на ключ, и обратился к ним с речью: "Господа, скоро немецкая армия войдет в Москву, дни большевизма сочтены. Нам надо обратиться к канцлеру Гитлеру — он ведь тоже художник — с обращением, что мы, русская интеллигенция, готовы создать художественную организацию, подобие академии, которая бы обслуживала немецкую армию. К нам присоединятся многие. Надо также составить списки заядлых коммунистов, чекистов и евреев. Красная Армия скоро повернет оружие против большевиков, и мы должны стать прогерманской страной". От такой речи, как рассказывал мне папаша, все испуганно замолчали, и за всех выступил профессор Грониц, сказавший: "Да, все мы боимся коммунистов и евреев и не пускаем их в свой коллектив как потенциальных доносчиков НКВД. Но ваши идеи, Михаил Иванович, довольно неожиданны для нас, и мы должны их тщательно обдумать". На этом все подавленно разошлись, испуганные происшествием. Никто к Курилко после этого разговора не подошел, и он о своей речи больше не вспоминал. Никто, конечно, не донес, и все сделали вид, что ничего не произошло. Папаша рассказал мне об этой истории, когда я уже вырос и Курилко давным-давно умер (а жил он очень долго)".** Еще цитата из воспоминаний Смирнова: **«Федьку Богородского, бывшего морячка, хвалившегося, что он в революции белых офицеров расстреливал пачками, а перед приходом немцев объяснявшего всем, что и пальцем никого не трогал и все про себя врал. Все знали, что Богородский написал большой портрет Гитлера и ждал прихода немцев. Портрет он, конечно, сжег, но осенью сорок первого успел показать его многим".** У Богородского вообще интересная биография. Он успел повоевать в гражданскую войну, был матросом, летчиком, чекистом, комиссаром отряда моряков, затем выступал в цирке и на эстраде, окончил ВХУТЕМАС. В 1945 получил Сталинскую премию за картину "Слава павшим героям". (А пришли бы немцы — премию за портрет фюрера — художник он был хороший!). И в последующие годы Богородский успевал везде: Заслуженный деятель искусств, член-корреспондент Академии художеств, профессор живописи во ВГИКе. Мемуары Смирнова вызвали в определенных кругах негодование и гневные опровержения, но, поскольку их продолжают печатать в России и за рубежом, решил сослаться на них и я. Не только художники ждали немцев. Старые москвичи помнят очереди, выстроившиеся в середине октября 41-го у женских парикмахерских — готовясь к встрече с победителями, дамы (ну, прямо, как в Париже!) приводили в порядок свои прически. Есть еще немало примеров. Но это уже другая история.

Я старше Юлия на пять лет, и, хотя в детские и юношеские годы такая разница в возрасте огромна, она никак не влияла на дружеские наши отношения — мы общались как равные. Он ли был старше своих лет, я ли моложе — не знаю.

После окончания МВТУ, я уехал в Киев, но мы не теряли связь и переписывались. Иногда я вкладывал в письма рисунки, а однажды Юлий прислал мне несколько в высшей степени откровенных эротических сценок, вырезанных из бумаги маникюрными ножницами. Эти филигранные произведения походили на тончайшее бельгийское кружево и напоминали иллюстрации к "Камасутре". Персонажи были в костюмах "галантного" 18-го века. К сожалению, перед отъездом пришлось, не помню уже кому, их подарить — на таможене такие вещи могли привести к неприятностям. А однажды (еще в сталинские времена) я послал ему в письме известную частушку, которая начиналась словами: "Шумит, как улей, родной завод..." В силу понятных причин дальнейший текст я приводить не буду. Никогда не стоит читать чужие письма: случайно увидев забытое письмо, сестры, а потом и моя мама долго не могли прийти в себя от ужаса.

В переписке нашей бывали перерывы, порой по несколько лет, тем не менее, мы всегда узнавали друг о друге — я от мамы, жившей в Москве и часто навещавшей сестер, Юлий, в свою очередь, — от них.

Последняя встреча в Союзе была на Беломорской биологической станции (мы называли ее БиБиСи) в 1967 году, сразу после победоносной Шестидневной войны. Предварительно списавшись, мы после плавания по пятидесятикилометровому Ковдозеру направились на мыс Каргеш. Нас было трое: мой друг Виктор Радужкий (ныне живет в Иерусалиме), Элла — моя жена и я. На станции Чупа сошли с поезда и, окруженные пьяными бабами, на заблеванном катере "Навага" прибыли на мыс. Там я увидел совершенно другого Юлия — уже "не мальчика, но мужа". Вероятно, повлияли коллектив и сама обстановка. Народ здесь оказался очень приятный. Для меня, например, было непривычно увидеть столько по-настоящему хороших парней, собравшихся в одном месте. За несколько дней мы успели подружиться.

Прошло больше тридцати лет. Следующая и на этот раз действительно последняя наша встреча состоялась в Израиле весной 1998 года. Осмотрели Беер-Шеву, поехали по дорогам Негева, посетили новый город Арад. И снова я удивлялся замеченной еще в Москве способности Юлика знакомиться. Легкость общения была у него поразительной. Он мог заговорить с девушкой в вагоне метро, и она охотно отвечала. Я тоже раз попробовал, но был высокомерно отвергнут. Он спокойно начинал разговор в магазине, на улице, в парке. Общаюсь с совершенно незнакомыми людьми, Юлий умудрялся узнавать и запомнить массу различных сведений.

Три дня мы провели вместе и успели вспомнить о многом. Вспомнили бы и больше, но мешало последнее, "послеперестроечное" увлечение Юлия политикой. В начале каждого часа он просил включить передачу новостей на каком-нибудь из пяти российских телеканалов, чтобы узнать назначен ли Лебедь красноярским губернатором. "Да брось это! — говорил я. — Вернешься в Москву — узнаешь! Ты же в новой стране, не чужой тебе. Сейчас твое время на вес золота. Жаль тратить даже на сон! Забудь об остальном, смотри, узнавай — ведь это, может быть, твоя последняя с ней встреча!"

Я напомнил Юлию, как он повел меня однажды по старому, настоящему, еще не превратившемуся в толкучку Арбату. День был теплый и солнечный. Веселый говор и цоканье каблучков-шпилек слышались вокруг. Громоздкие троллейбусы проносились мимо. Мы шли по левой стороне к Смоленской площади, оглябая прохожих,

оглядывались на девушек, останавливались возле витрин. У военной прокуратуры пригормозил зеленый фургон с зарешеченными окошками. Открылись задние дверцы, два солдата спрыгнули на асфальт, за ними — третий, гимнастерка без пояса, нет фуражки. Он растерянно поднял голову и задержался, глядя на безоблачное небо, но конвоиры быстро провели арестанта по ступенькам, и дверь за ними закрылась, словно никого и не было. Мы посмотрели друг на друга и вздохнули. В чем он провинился, этот молодой, почти мальчик, солдат? Что ожидало его?

Прошли еще квартал и свернули на улицу Веснина. "Смотри!" — сказал Юлий. Я поднял глаза и среди свежей весенней зелени увидел большой бело-голубой флаг со звездой Давида. Легкий ветерок слабо колыхал его на здании посольства Израиля. Мы остановились, и нас охватило никогда раньше не испытываемое чувство причастности. "Вот зачем я позвал тебя на Арбат", — сказал Юлий. Возвращались мы просветленные, будто произошло необыкновенное, забываемое событие. Сейчас, когда я напомнил об этой прогулке, в его глазах вспыхнул огонек. Но ненадолго — приближалось время последних известий. Призывы мои не действовали — Юлий не смог освободиться от иллюзии участия в большой российской политике и был полностью погружен в события тех дней. Он встречался с одиозным лидером Жириновским, примкнул даже к такой, на мой взгляд, мертворожденной, монархической организации, как НТС. Как жаль, что он не избавился от этой химеры до последних дней своей жизни.

Позже я читал его высказывания, освещавшие актуальные проблемы будущего России. Талантливо, остро, злободневно, но кому это нужно? Что останется? Кто вспомнит?

Простились мы, понимая, что навсегда. Обещали писать друг другу, но, погружившись в каждодневную рутину, откладывали выполнение своих обещаний. "Впереди еще так много времени", — думал каждый из нас. Так бы оно и осталось, но вышло иначе. Прошло еще почти десятилетие, и однажды жена сказала: "Почему бы тебе не написать все, что помнишь о сестрах, о маленьком салоне на Кировской? Время бежит быстро, кто вспомнит здесь о них, если ты ничего не оставишь?"

Я не стал возражать. Строчки сами ложились на экран компьютера, но прежде, чем закончить, решил связаться с Юлием. В чудеса не верю, но чем объяснить, что и он в это время заканчивал книгу своих воспоминаний! Так начался самый плодотворный, но, к сожалению, и самый короткий период нашего общения. Мы делились воспоминаниями, обменивались статьями, рассказами. Редактировали, как умели, тексты, помогая друг другу не отклоняться от исторической (и бытовой) канвы и — главное — сохранить дух времени. Продолжалось наше общение меньше года — смерть Юлия прервала его. Утешает лишь то, что издать и увидеть свою книгу он все-таки успел. И эта книга (а не политика) останется навсегда. В море его всеохватывающих воспоминаний, мои — только маленькая капля.

Сохранилась деревянная скульптура работы моего отца — "Голова партизана". В том же августе 1941, перед уходом в московское ополчение отец подарил ее Грановской. Я подолгу смотрел на "Голову", когда бывал у сестер.

Сейчас она передо мной здесь, в Беер-Шеве. В 1980, незадолго до смерти, Александра Вениаминовна отдала ее мне. "Жизнь моя на исходе, — сказала она, прощаясь. — Я хочу, чтобы ты увез это в Израиль".



Мануил Иосифович Шехтман
«Голова партизана»

...Я не смог проводить Александру Вениаминовну в последний путь — она умерла через полгода после нашего отъезда. Ей было 88 лет.

Иногда я спрашиваю себя: как сложилась бы судьба Александры Вениаминовны — осталась она во Франции, в любимом Париже? Бегство за океан, где человеку такого уровня удалось бы успешно найти себя, или же Зимний велодром, лагерь в парижском предместье Дранси и затем Освенцим? И не могу ответить. Хотя знаю немало трагических поворотов судьбы у тех, кто вернулся в СССР. За примерами далеко ходить не надо — такое случилось и в нашей семье.

Юлий Лабас включил первый вариант этих воспоминаний в свою книгу "Когда я был большой" (издательство "Новый хронограф", Москва, 2008) и вскоре после ее опубликования внезапно скончался в мае 2008. Он прожил 75 лет, один месяц и один день. Я дополнил эти страницы, когда Юлия уже не было.

А улица, на которой стоит дом из красного кирпича, для меня так и осталась Кировской. Язык не поворачивается назвать ее Мясницкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пророческое стихотворение Раисы Идельсон

*В дни жуткие осенних похорон
Туман теней крадетсЯ из оврагов,
И, как обрывки черных флагов,
Кружатся стаи вешие ворон.*

*И смерти весть летит со всех сторон:
Ее косы я вижу взлеты,
В сырых, тоской отравленных ночах,
В людских чертах, погашенных
заботой,
И облетающих листах,
Покрытых ржавой позолотой.
И знаю я, что нет весне
В истлевший мир возврата:
Все то, что здесь цело когда-то,
Застынет в непробудном сне!
Весна, весна предстала мне
В огне знамен других победней.
"Была для вас она последней",
Вещают нам вороны в вышине.*

Петроград, октябрь 1917.



Лев Харитон

ЮРА и ТИРЦА

Юра мне понравился сразу. Не фамилией, конечно. Трахман!

Бывают же такие фамилии у евреев! Если не видеть и не знать человека, то можно подумать, что он, по меньшей мере, сексуальный маньяк, а то и сексуальный гигант.

Но в Юре не было ничего такого. Скромный, неприметный, невысокого роста, худенький. И главное, очень такой услужливый, и что еще важнее, очень тебе симпатизирующий, желающий тебе от всей души помочь.

А помощь, честно говоря, мне была очень нужна. Ведь это был мой первый месяц в Израиле. Никого я там не знал, приехал один, и не на кого и не на что было особенно рассчитывать.

И вот повстречал Юру Трахмана. И хотя это было уже так давно, но я помню его. Тех, кто добр к тебе, не забываешь. А плохое — а оно бывает всегда и везде, — надо стараться выбросить из памяти и из сердца.

Встретил Юру я буквально на третий день после приезда в Тель-Авив. Дело было вечером, делать было нечего, как говорится в старом стишке. Пришел я в шахматный клуб недалеко от улицы Ибн Гвироль (почему-то сразу понравилось, как звучит название этой улицы). Народу там было немного. Видно было, что одни старожилы, в основном, пожилые люди, уже давно знающие друг друга, наверное, дружащие семьями. В Израиле это принято, все-таки страна маленькая, все на виду. Не то, что в Европе или в Америке, где каждый живет сам по себе. И встречаясь с кем-то раз, никогда не знает, встретится ли он снова с этим человеком.

Когда я вошел в комнату клуба, то все, до этого, очевидно, погруженные в свои партии, подняли головы. Новенький! Такое здесь, наверное, бывало не часто. Кто-то спросил меня о чем-то на иврите. Я не понял и растерялся. Подумал, что со мной поздоровались. И сказал «шалом», — не многое из того, что я знал на иврите, который учил в Москве по самоучителю, где все ивритские слова были написаны в русской транскрипции, а не ивритскими буквами. Все почему-то засмеялись. Я подумал, что я что-то не так произнес. Вечная черта прибывающих из России: они стесняются своего произношения, независимо от того, говорят ли с ними на иврите или на английском. Не надо этого стесняться и тушеваться. Лучше знать побольше слов. И дружить с грамматикой. А произношение придет, оно, вообще, не проблема.

Спросивший меня засмеялся и показал на часы. Оказывается, он спросил меня «который час?». Очевидно, понял, что я новый репатриант и нужно проверить, как я понимаю и говорю на иврите.

Среди игравших я сразу заметил одного молодого человека, который только наблюдал за партиями, и я показал на пустой столик, и он сел за него, чтобы сыграть со мной партию. Это-то и был Юра Трахман.

Мы начали играть, и мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что игрок он неважный. Более того, я чувствовал по тому, как он сидел за шахматами, как он передвигал фигуры, что он вообще мало волнуется о результате партии. Хотя он все время смотрел на доску и сначала не разговаривал, я ощутил, что

время от времени он смотрит на меня, словно хочет изучить, что я за человек, откуда прибыл, и что занесло меня в шахматный клуб.

Я же, глядя на Юру, отметил про себя то, что он отнюдь не процветающий израильтянин. Тех пары дней, что я провел в Тель-Авиве, мне вполне хватило, чтобы научиться распознавать, кто в этой стране богат, кто живет от зарплаты к зарплате, то есть, работает в поте лица своего и тех, кто беден и уже ни на что не надеется.

— Сдаюсь, — произнес по-русски мой противник и смешал шахматы.

— Вы говорите по-русски? — удивился я.

— А что удивительного? — переспросил он меня. — У нас здесь трудно встретить того, кто не говорит по-русски.

Он улыбнулся. Улыбка у него была совершенно очаровательной. Такая легкая улыбка, без притворства, какая-то стеснительная улыбка, и в ней было что-то привлекательное и очень доброе.

— Давно приехали? — спросил он меня.

— Да, вот уже три дня в Тель-Авиве...

— Три дня? — переспросил он. — И уже пришли играть в шахматы? Наверное, вы из Москвы. Я таких, как вы, очень чувствую. Узнаю сразу, что из Москвы или из Ленинграда. А остальные деревня какая-то. Вроде меня, из Черновцов.

Мне его замечание показалось самоуничижительным, хотя я тоже сразу понял, что он, конечно же, не из российских столиц.

Он сообщил мне свое имя и фамилию. Представился и я. Когда он услышал мое имя, то сразу удивился:

— Так это вы перевели книгу Фишера? У нас ее каждый шахматист знает. Ну тот, разумеется, кто из России. Теперь вам не надо здесь в Израиле скромничать. Уверен, что вы хорошо устроитесь и как шахматист, и как переводчик. Только будьте поглубже и понахальнее. Ведь наши израильтяне такие хушпанам, что закроют кого угодно...

— А что такое хушпанам, Юра?

— Наглые, значит, нахалы невероятные.

Мы встали из-за шахматного столика. Был приятный вечер, какие бывают в Тель-Авиве в конце сентября.

— Давайте пройдемтесь в какое-нибудь кафе. Посидим там, выпьем кофе, — предложил Юра.

Мне было неудобно. Ведь у меня в кармане практически не было денег. Вернее, было шекелей пятьдесят, которые мне дали по приезде в аэропорту, и я старался их не тратить, и даже не помню, на что я ел. Кажется, пару раз купил себе йогурт и побывал в гостях на второй день у моих московских приятелей, которые уже 15 лет жили в Тель-Авиве.

— Я угощаю, — сказал Юра. — Вижу, вы не при деньгах. Обычная история. Зовут всех приехать в Израиль, а на первое время никаких денег не дают. Вы, наверное, один приехали, без семьи?

Я кивнул головой.

— Вот, вот, таким, как вы, особенно тяжело. Ничего, не расстраивайтесь. Пройдет это время, и все устроится.

Я был тронут его вниманием. Таких людей мало. Все норовят сказать, куда ты сунулся, сидел бы лучше дома в своей стране. А Юра излучал оптимизм и сочувствие.

Я, правда, поинтересовался, как он догадался, что я приехал без семьи.

— Да это же совсем просто. Ну какая жена отпустит своего мужа играть в шахматы, когда вы только что с самолета?

Неплохой психолог, этот Трахман, — подумал я.

Мы прошли буквально двадцать шагов и зашли в кафе. Устроились за столиком в углу, хотя мест было много.

— Что-то народу немного? — спросил я Юра.

— Да еще рановато. Потом народ подойдет, а рядом здесь, прямо на улице, будут распевать песни под гитару, разные еврейские и новые израильские песни. Это одна из прелестей Израиля. У вас так в Москве было?

Я не понял — Юра смеялся или просто никогда не был в Москве? Я решил как-то отшутиться.

— Знаешь Юра, в Москве поют совсем другие песни. Да и сейчас им не до песен.

Это был 89-й год, и кто помнит то время, тот знает, что в Москве тогда крутились такие дела и уже были вблизи такие перемены, когда никто не заходил в кафе и песен не пел.

— Лев, хорошо, что мы перешли на ты. Так легче разговаривать. Хотя честно, я моложе тебя. Да и вообще, кто я и кто ты? Тебя все знают и ты старше меня... — произнес Юра.

— Ладно, Юра, не говори ерунду, но на ты меня вполне устраивает, — согласился я.

Подошла официантка, девушка лет девятнадцати. Симпатичная. С зазывными черными глазами. Я уже за пару дней в Израиле оценил красоту израильских девушек. Настоящих израильтянок, сабр, как здесь называют местных. Далеких их предков когда-то давным-давно изгнали из Испании, потом поколения их выросли в Северной Африке — Марокко, Тунисе, Алжире или в Египте, Турции, Болгарии, Ираке, а потом их бабушки и дедушки, и мамы с папами переехали в Израиль, и здесь они родились — юные сефардочки. С их чудными глазками и фигурками они выглядели намного более страстными, чем наши бледные ашкеназийские красавицы. Юра бросил оценивающий взгляд на официанточку. Мужчина в нем, — подумал я, — полыхает, но эта красавица, возможно, ему не по карману. Хотя Юра и угощал меня, но я как-то сразу понял, что человек он не первого достатка. Ну а мне-то о таких девушках, мне, бедному пришельцу из России, вообще думать пока было заказано.

Юра заказал салат и кофе с пирожными. Для меня это было королевским угощением. В животе у меня свербило от голода.

— Юра, — сказал я, пока мы уплетали салат, — отныне я твой должник. Только не знаю, когда расплачусь. А вообще мне обещали сначала пособие. Пока я не устроюсь на работу...

— Маленький пустячок, — засмеялся Юра, — работа! Ты ее найди...

— Юра, как тебя понять? То ты мне говоришь, что я легко найду работу, то начинаешь сомневаться... Не пойму я тебя...

— Да ни в чем я, Лев, не сомневаюсь. Возраст у тебя еще хороший. Язык английский ты знаешь хорошо. В Израиле это важно. Наверняка отыщешь работу. Да и она сама тебя отыщет. Но здесь никогда не знаешь, сколько ты на этой работе проработаешь. Потом опять начнешь искать. Опять найдешь. В общем, надо быть готовым, что всё в Израиле очень неустойчиво. Но будь хуцпани, будь бойчее, умей работать, как говорят, локтями. Выигрывает сильнейший. Слушай, давай выпьем, а?

Он подозвал официантку. Долго смотрел в меню, выбирая вино. По-моему, он хотел, чтобы официантка простояла около нас подольше, чтобы он мог иногда, отрываясь от меню, бросать взгляд на всю географию ее прекрасной фигуры.

— Как насчет киндзмараули, Лев? Где-то я читал, что это было любимое вино Сталина. Ты слышал об этом?

— Что ж Сталина так Сталина, но пить мы все-таки будем не за него, а за нашу встречу, наше знакомство!..

Ужин продолжился под вино. Юра, это я чувствовал, проникся ко мне какой-то особой симпатией. Казалось, он выбрался за скучный круг его повседневной жизни, с этими заходами в шахматный клуб на улице Ибн Гвириля, одними и теми же стариками, которых он видел за шахматными столиками, этим однообразием, и ему захотелось рассказать мне о себе...

История его была историей трудной жизни, историей неустроенности и материальной, и душевной. Юра приехал в Израиль с матерью и старшей сестрой. Юрин отец умер, когда Юре было 12 лет. В 1973 году, когда Трахманы уехали в Израиль, Юре было 15 лет. Из Москвы и Ленинграда приезжали тогда немногие. Ехали из советских провинций — в частности, из Черновцов, где родился Юра. Матери его было тогда около пятидесяти. У нее была сильная астма, которая у нее началась еще в Черновцах. Приступы, ужасные приступы удушья мучили ее. Врачи прописали ей гормональные препараты, и они, казалось, начали помогать. Дочь доставала их, стоили они огромные деньги, но надо было спасти мать.

Но беда в том, что мать стала очень быстро полнеть, а гормональные препараты, спасая от удуший, влияли на костную систему организма. Матери было все труднее ходить. Врачи диагностировали новую болячку — артрит, быстро прогрессирующий артрит.

В то время, в начале 70-х, многие евреи начали уезжать в Израиль — большой эмиграции в США еще не было. Да и вообще, в Америке у Трахманов никого не было, а в Израиле жил двоюродный брат мамы, жил в Кфар-Сабе, под Тель-Авивом. Приглашал приехать. Говорил, что в Израиле хорошие врачи, хорошая медицина. Писал даже, что поначалу они смогут общаться на идише, а иврит выучат позднее. В Черновцах, надо сказать, многие евреи хорошо владели идишем — не то, что ассимилированные евреи в больших советских городах.

Старшая сестра Юры, Галина, взяла дело отъезда в свои руки. Мать была очень больна, а Юра еще был совсем мальчишка. У Гали была хорошая инженерная профессия, и она о работе не волновалась. Да и кроме того, ей уже пора была встретить достойного жениха — хотелось организовать свою семейную жизнь.

Сборы и отъезд не заняли много времени. Позднее, в конце 70-х и в эпоху "отказа" до 86-88 годов, особенно из Москвы и Ленинграда, люди уезжали долго, а Трахманам повезло — они уехали быстро.

В аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве их ждал дядя Шимон. Он отвез их на машине в свой дом в Кфар-Сабе. И первый месяц мама и Юра с Галей прожили у дяди. Дом был просторный, и все вроде бы было хорошо. Но у дяди Шимона была своя семья, трое детей, все еще школьного возраста, и было какое-то неудобство в этой жизни. Так часто бывает: вроде бы хорошо со своими родственниками, но лишь первое время. А потом хочется какой-то своей независимости. Через месяц дядя Шимон и Галя стали искать какое-то жилье, и отыскали его в Гиватаиме, на улице Кацнельсона. В Израиле многие улицы называются именами тех русских евреев, которые в начале прошлого века внесли вклад в победу сионизма на древней

земле — Жаботинский, Арлозоров, Соколов, Бен-Гурион, Бен-Иегуда, Трампельдорф... У Трахманов началась новая жизнь. Правда, дом был старый, но двухкомнатная квартира их вполне устраивала. Галя была с мамой в одной комнате, а Юра — в другой. Вообще, Гиватаим — прелестный город, совсем рядом с Тель-Авивом. Уютный, зеленый город, оживленный, но не утомляющий. Потом я довольно часто там бывал.

Постепенно привыкали к новой жизни, но болезнь матери прогрессировала. Израильские медики прописали матери новые лекарства, которые не были противопоказаны друг другу — но болезни еще до приезда сделали свое дело: у женщины постоянно происходили переломы, она падала, кости, суставы никуда не годились. Приходилось делать операции — так что одна нога стала короче другой, и ходить было трудно. Порой боли бывали нестерпимы.

Галя не смогла устроиться на работу в Тель-Авиве, но потом, прочтя какое-то объявление в рекламной газете, отправилась в Хайфу, и там ей предложили должность в одной строительной компании. Перед ней стал выбор: либо продолжать искать работу в Тель-Авиве, либо уехать в Хайфу. Она, не колеблясь, согласилась остаться в Хайфе. Хотя на душе скребли кошки, ведь надо было оставлять маму. К тому же в Хайфе она была занята, как говорится, под завязку. Чтобы работать в той должности, которую ей предложили, надо было параллельно с работой проходить какой-то курс учебы. Стажировку. И Галя полностью посвятила себя работе. Окончательную точку в том, что она останется в Хайфе и уже не будет возвращаться в Тель-Авив, поставило то обстоятельство, что примерно через год после устройства на работе в Хайфе, Галя встретила человека, с которым у нее начался серьезный роман, и они поженились.

В такой ситуации трудные времена наступили для Юры. Сначала он, когда они приехали, пошел в школу. В Черновцах он окончил семь классов, но по приезде в Тель-Авив он вынужден был повторить седьмой класс, — ведь надо было углубленно изучать иврит, чтобы успевать по всем предметам. Но дело было не в том, что он как бы потерял год. Все упиралось в то, что он практически не мог ходить в школу. Надо было все время находиться рядом с мамой. И готовить еду дома, и ходить в магазины, и убирать в квартиру. Юра бросил школу. А потом стал устраиваться на какие-то случайные работы. Спасало то, что деньги им подбрасывала Галя — муж не укорял ее, понимал полностью, сам зарабатывал хорошие деньги, работая инспектором в городском порту. У них появились один за другим два сына, чудесные мальчики. Когда они подросли, то оба увлеклись шахматами, и Юра изредка приезжал к сестре, чтобы позаниматься с племянниками шахматами. Сам он когда-то ходил в дом пионеров в Черновцах.

Но все время он проводил с мамой. Тщательно вел хозяйство. Мамино пособие по инвалидности и Галиной помощи хватало только на то, чтобы выжить, но никак не на удовольствия...

— Слушай, Лев, а на что ты живешь, и вообще где ты живешь?

Я внимательно слушал рассказ Юры о его жизни, а теперь он опять переключил все внимание на разговор обо мне.

— Пока жду первое пособие, а поселили меня в Бейт-Милман...

— А, знаю, знаю. Это самый известный центр абсорбции в Тель-Авиве. На рэхов Рабиндранат Тагор.

— Да, да, Юра, на улице Тагора. А откуда ты знаешь этот центр?

— Знаю, потому что уже несколько лет он принимает репатриантов, олим хадашим, новых репатриантов со всего света.

Мы вышли из кафе и шли к остановке автобуса.

— Не хочется с тобой прощаться, Лев. Разрешаешь проводить тебя до твоего жилья?

— Что за вопрос! Конечно!

Как раз подошел автобус, и мы поехали в сторону Рамат-Авива. Так назывался район, где находилось мое общежитие.

И двух часов не прошло, как я познакомился с Юрой Трахманом, а ощущение было такое, что мы были знакомы с давних пор. И не удивительно было то, что, когда мы вышли из автобуса на остановке Бейт-Милмана, я пригласил Юру зайти ко мне в общежитие. Юра согласился, и мы поднялись на лифте на шестой этаж.

— Да, так я и представлял, — сказал Юра, — типичная обсага. Но неплохо, Лев. Это ведь на первое время, чтобы перекантоваться. Я, вообще, не представляю уже, как можно переехать в другую страну, да еще одному. Ведь когда мама и сестра перевезли меня из Черновцов в Тель-Авив, я был мальчишкой. Но ты просто герой.

Мне было приятно слышать такую похвалу. Нужна всегда поддержка. Особенно когда один. И я чувствовал, что Юра говорит искренне. А чего ему, собственно, было лить мне или вселять напрасные надежды?

— А потом, — продолжал он, — ты все равно переедешь отсюда. Найдешь работу, появишься и жилье. Будет чем платить, и еще на жизнь будет оставаться. Другое дело, знаешь, не ясно, останешься ли ты в стране. Это, понимаешь, одна из проблем Израиля — трудно представить, сколько людей, лучших умов, уехали из Израиля за последние годы. Это постоянная военная обстановка, да еще маленькие зарплаты. Образованные люди, лучшие из них, уезжают кто куда — в Америку, конечно, бывает, в Австралию или Англию, а некоторые даже в Германию...

— В Германию? Вот куда бы никогда не поехал!

— Ты не прав, Лев. Германия, немцы изменились. А в тебе говорят прежние оценки и ощущения.

Мне трудно было согласиться с Юрой. Но мы только что познакомились, и меньше всего хотелось заниматься спорами. А он опять мастерски перевел разговор на другую тему.

— Ты знаешь, Лев, если ты не против, я бы хотел взять над тобой шефство. Ты ничего здесь в стране не знаешь. Ни в самом Тель-Авиве. Нигде. Если не возражаешь, могу повозить тебя по ближайшим городам. Все увидишь — Хайфу, Натанию, конечно, Иерусалим... Может, тебе со мной неинтересно, я не очень образованный человек, даже школу не кончил. И ты, уверен, знаешь столько, сколько мне и не снилось...

— Юра, как я могу отказаться от твоего предложения? Хоть сейчас поеду с тобой куда угодно!

— Слушай Лев, а где твои книги, шахматные книги, например? Я ожидал, что вокруг тебя только книги...

— Пока в дороге, Юра. Идут багажом. Собственно, весь багаж — только книги. И шахматные есть. Прибудут — возьмешь. Если хочешь, почитать.

— О это здорово!

Мы пожали друг другу руки, и договорились, что скоро встретимся опять.

Я давно придерживаюсь декартовского принципа: **чему суждено случиться, то должно случиться**. Пожив потом, после Израиля, много лет в Париже,

я понял, что великий математик и философ Рене де Карт был прав в своем рациональном подходе к жизни. Французы так и говорят — *approche cartesienne*, декартовский подход. А чего волноваться? Мы лишь совершаем наши поступки, а остальное — Воля Высших Сил.

Через два дня была суббота. Шабат! В Израиле это особый день. И приехавшему из другой страны, где практически все дни недели одинаковы, трудно не столько понять, сколько принять шабат. И хотя Израиль, вопреки расхожему мнению, не такая уж религиозная страна — число религиозных людей составляет, во всяком случае еще по недавней статистике, около десяти процентов от населения страны, — но шабат соблюдают почти все — и правительство, и прочие смертные.

К вечеру пятницы, когда наступает шабат, жизнь страны и людей полностью замирает. И так продолжается до субботнего вечера, до мацай шабата — выхода из шабата. Для меня первые недели моей жизни в Израиле привыкнуть к такой отрешенности от жизни, такой тишины было очень трудно. Знакомых у меня еще не было. Телефона у меня в общежитии не было. Нельзя было сесть на автобус, чтобы поехать в центр города. Да и что там, в центре, делать, если все закрыто? Осталось только сидеть у себя в комнате, или выйти на улицу и делать круги в районе общежития.

И вот в эту первую мою неделю, в мой первый шабат, как только он закончился, где-то в семь часов вечера в моей комнате раздался звонок. На стене комнаты висела телефонная трубка. Это был не телефон (я эту трубку сначала вообще не заметил), а селектор, который, как выяснилось, связывал меня с первым этажом, где находилась комната приема прибывающих в общежитие (на иврите такая комната называется «кабала»). Я услышал голос Юры:

— Лев, шалом! Я здесь внизу и жду тебя, если не занят. Хочу поехать с тобой в Рамат-Ашарон, там сегодня блиц-турнир в девять вечера. И ты можешь сыграть. Будет твой первый турнир в Израиле! Торопись, я жду тебя, пока спустишься, я закажу такси. Туда все-таки ехать минут сорок.

Я быстренько оделся. И спустился с моего шестого этажа. До сих пор помню номер моей комнаты — 610. Юра сидел на диване в вестибюле. Вокруг было полно таких диванов, и на них сидели в основном мамы и бабушки, а рядом с ними играли их дети и внуки. Все это были репатрианты из разных стран — Аргентины, Румынии, Франции, США, и, конечно, из СССР. Женщины эти перемывали косточки всем проходившим или заходившим в общежитие. Уверен, что они говорили и обо мне с Юрой. Минут через пять или семь подкатило такси. Мы выбежали на улицу, вскочили в такси, Юра дал водителю адрес, и мы поехали. Пока мы ехали, я всматривался в улицы, в городские огни. Никогда я не видел, что так могут быть ярко освещены улицы. Вспоминал, как в советских фильмах порой показывались улицы европейских, особенно американских, городов, как они ослепляли своим ярким, многоцветным освещением и рекламой. И вот именно в Израиле, и в первую неделю я увидел всю эту, как мы раньше говорили, иллюминацию собственными глазами.

— Что, нравится, Лев? Никогда, наверное, такого не видел, а?

Юра словно угадывал мои чувства, то, о чем я думаю. В отношениях между людьми это очень важно. Даже не говоря со знакомым, ловить ход его мыслей.

— Юра, ты знаешь, в СССР везде всегда можно было прочесть — уходя, гасите свет!

Юра засмеялся:

— Хорошо, что хоть не свечи!

— Да, там гасить умели, а здесь освещают.

Когда мы вошли в здание клуба, где должен был играть турнир, то там уже собрались местные шахматисты. Юра подошел со мной к какому-то человеку и представил меня. Это был организатор турнира и одновременно он судил турнир. О чем он говорил с Юрой, я понять не мог из-за незнания иврита. Но что я понял, так это то, что Юра хотел внести взнос за мое участие в турнире. Я совсем растерялся. Не хватало того, что Юра сводил меня в кафе и привез на такси. Так теперь он хотел платить организатору свои деньги, чтобы я развлекался, играя в шахматы.

Я стал возражать, но Юра был неумолим:

— Лев, выиграешь турнир или займешь призовое место и отдашь мне долг. Для тебя это будет стимулом, чтобы играть возможно лучше!

Ничего себе доброта этого молодого человека! И как он верит в меня! Я просто не имел право подводить его с его уверенностью в моей шахматной силе.

Пока турнир не начался, некоторые пришедшие шахматисты, начали играть между собой дружеские блиц-партии. Я наблюдал за их игрой и понял, что турнир не будет для меня легкой прогулкой. Дай Бог, чтобы совсем не провалиться — не то, что выиграть какой-то денежный приз.

Тем не менее, когда турнир начался, я сумел сосредоточиться и играл весьма успешно. Выигрывал, делал ничьи. Но потом проиграл две партии подряд. И только спохватившись на финише, я сумел занять третье место. Помню, мне вручили пятьсот шекелей. В ту пору это было примерно 250 долларов. Для меня — хорошая сумма. И я хотел отдать эти деньги Юре. Но тот стал в такую позицию, что сдвинуть его было невозможно.

— Ладно, пойдем, Юра покушаем где-нибудь. Веди меня. Я ужасно проголодался, да и ты, наверное, кушать хочешь.

Было уже поздно, наверное, полночь. Но в Израиле жизнь ночью бьет ключом — в том числе, и ресторанный. Где-то рядом с клубом, когда мы вышли на улицу, я увидел группу молодежи — парней и девушек, они о чем-то громко разговаривали. Понять я, конечно ничего не мог. Юра заметил это и поспешил утешить меня.

— Ничего, Лев, скоро пойдешь в ульпан, там быстро выучишь иврит. Язык-то, на самом деле, не такой трудный, да и вообще, ты языковой человек. Это сразу видно.

Почему он сразу решил, что у меня способности к языкам я, ей-богу, понять не мог!

Вдруг молодые вокруг нас замолчали, а один парень взял гитару и начал петь. Что он пел я помню и сегодня — знаменитую песню «Тумбалалайка», которая почему-то у меня, да и не только у меня, ассоциируется с известной песней и стихами Галича. Говорят, под эту песню уничтожали в концлагерях евреев. Заставляли их петь, раздевали и толкали в рвы, расстреливая и забрасывая землей. А парень этот пел совсем не так, как было всегда принято, с какой-то грустью. У него она звучала достаточно весело, даже бравадно. И я подумал, что вот выросло новое поколение, и они не знают ужасов того, через что прошли евреи, их совсем еще близкие по времени предки. Живут себе и ничего, живут действительно в своей — своей! — стране и не закомплексованы, как мы, олимпы, репатрианты, приехавшие с ворохом комплексов и сомнений.

— Я тут знаю одно местечко, Лев, где мы можем хорошо посидеть. Хотя уже поздно, но в общежитие у вас всегда пускают, как я понял. Так что, не вол-

нуйся. В крайнем случае, если что, то у меня переночуешь. Вообще, если где задержался, всегда можешь переночевать у меня.

Скоро мы вошли в тот ресторан, о котором, по-видимому, говорил Юра. Я сел за столик и стал изучать меню. Все было довольно дорого, а я решил, хоть разобьюсь, но сегодня платить буду я. Юра же оставил меня за столом одного. А сам пошел к какому-то человеку, который, как я понял, был распорядителем ресторана. Они о чем-то разговаривали, и у Юры был такой вид, как бывает у человека, когда он хочет скрыть какой-то секрет.

Поели мы в этом ресторане много и отменно. Я с ужасом думал, сколько будет стоить такой обильный ужин. В кармане у меня лежали 500 призовых шекелей, и я уже думал, что придется почти все их потратить, чтобы заплатить за ужин. К моему удивлению, когда официант принес счет, то он был просто смехотворно мал и никак не соответствовал тому прейскуранту, который был обозначен в меню. И тут меня осенило! Я понял, о чем так заговорщически разговаривал Юра, когда мы пришли в ресторан. Он понял, что меня не заставить отказаться от мысли заплатить и, очевидно, Юра уговорил метрдотеля сократить, и причем значительно, наш счет. Возможно, он хотел дополнительно заплатить сам, или просто ему скопили счет. Я ничего не сказал Юре. Когда мы вышли из ресторана, то я оценил про себя его жест. И понял, что я нашел хорошего друга.

Постепенно я привыкал к жизни в новой для меня стране, к новому городу. Не могу сказать, чтобы сначала я был очень занят. Но все, так или иначе, устраивалось. Вскоре я начал получать пособие для оле хадаша — нового репатрианта. Сейчас я уже не помню, сколько примерно шекелей. Наверное, около трехсот. Можно было как-то экономно жить, учитывая то, что за комнату в общежитии мне не надо было платить. То есть, я мог более или менее нормально питаться и платить за проезд от моего общежития на улице Тагора до центра Тель-Авива, улиц Дизенгоф и Ибн Гвириоль на автобусе. Надо было ехать минут пятнадцать, и уже сама поездка по приветливому, всегда солнечному и зеленому Тель-Авиву доставляла мне несравнимое удовольствие. На одной из остановок в самом центре я выходил из автобуса и продолжал свой неторопливый променад. Заходил в какие-то магазины, чтобы посмотреть сувениры или книги. На этих центральных улицах было немало книжных магазинов, и я наслаждался тем, что мог увидеть такое обилие книг на английском, новых книг известных авторов. Бывало, видел и книги на русском языке — обычно в букинистических магазинах — книг тех авторов, которые долгие годы были запрещены в СССР. Иногда попадались и шахматные книги, обычно на английском. Но конечно, все это было мне не по карману. Если бы я их покупал, то ничего не оставалось бы на еду.

Обычно венцом моих прогулок была набережная Тель-Авива около ласкового моря с зеленовато-голубой водой. На набережной, как ее называют на иврите "тайелет", было много отелей, построенных в Тель-Авиве в 80-е годы, после того как утвердилась окончательно военная мощь страны, отразившей атаки антиизраильских сил. Я любовался этими высотными зданиями, этими отелями, "Хилтон", "Шератон", "Рамада", "Дан Панорама"... Я заходил в вестибюли этих поистине дворцов и не чувствовал той дрожи, которые испытывали советские люди, которые хотели тайком, незаметно заглянуть в новые московские отели, построенные в предолимпийские годы и после в Москве, из-за боязни не входившими в такие здания, которые были заполнены агентами КГБ, всегда выискивавшими врагов советской власти. Никто не спрашивал меня и не останавливал, когда я входил в какой-нибудь тель-авивский

отель и прогуливался по вестибюлю или присаживался в кресло, чтобы полюбоваться внутренней красотой его убранства, да и просто почувствовать себя свободным человеком! Я понимал, что нахожусь в свободной стране. Часто я оставался почти на весь день в центре города. Что-то перекусывал, пил кофе, заходил в шахматный клуб, играл в шахматы, и у меня появились какие-то знакомые из израильских шахматистов. А вечером, опять же на автобусе, возвращался домой.

Но надо было что-то делать, а не только прогуливаться по прекрасным тель-авивским улицам, площадям и бульварам. Надо было работать, что-то зарабатывать и, конечно же, учить язык. Ульпан, — школа, в которой репатрианты изучают иврит, находился прямо в общежитии. Я ходил туда каждое утро и каждый день изучал иврит вместе с другими людьми, приехавшими из разных стран. У меня уже был какой-то запас слов, которые я выучил еще в Москве, занимаясь по самоучителю. Я знал, довольно легко запомнил, некоторые наиболее ходовые выражения, которые есть в каждом языке, в иврите. И это облегчало мне первые дни жизни в Израиле. Выучил я их по самоучителю. Такие, как "ма кара?" (что случилось?), "кама ээ оле?" (сколько это стоит?), "ма нишма?" (как дела?) и пр. Но одно дело — запомнить их, а другое — научиться читать, освоить грамматику и многое другое. И это всегда кропотливая работа. И не только непосредственно на самом уроке, но и при подготовке к нему дома. Парадоксально, но мне мешало то, что мой английский помогал мне в Израиле повсюду, и подсознательно я ленился осваивать иврит. И правда, зачем учить иврит, когда все вокруг понимают тебя по-английски, и ты понимаешь всех? Честно говоря, я ходил на занятия в утренние часы без всякого энтузиазма.

Что касается работы, то тут мне повезло. Как-то, изучая объявления в русскоязычной газете, я прочел, что какой-то фирме требовался переводчик с английским и русским. Я позвонил, и мне ответил мужской голос, сказавший, что мне позвонят через некоторое время. Я не поверил в чудо — так быстро найти работу! Об этом я даже не мечтал. Прошло недели три, и я уже почти разуверился в том, что мне позвонят. Но мне позвонили, и тот же голос, видимо хозяина, сказал мне, чтобы я приехал через пару дней в Бер-Шевудля интервью. В Бер-Шеве я никогда не был. Добираться туда надо было на двух автобусах. Один вез меня от моего общежития до "таханы мерказит" — центральной автобусной станции в Тель-Авиве, и там мне надо было пересаживаться на автобус, который вез меня в Бер-Шеву, древнейший город на территории Израиля, на юге страны. Ехать надо было примерно полтора часа. Почти весь путь лежал через пустыню Негев. Не песок, — по моим представлениям, пустыни всегда должны были быть песчаными, — а сплошные камни. Все, что осталось от когда-то мощной земной цивилизации. Глядя в окно автобуса, я думал о том, как тщетна наша жизнь, все наши честолюбия и устремления, все потом превращается в камни и в безлюдье. Но я любовался этим новым пейзажем за окном автобуса, почитывал газетку, русскую или на иврите, для начинающих, таких, как я. Помню ее название — "Шаар ле матхил" (Ворота для начинающих).

В этом утреннем автобусе я был, пожалуй, единственным штатским, а все были солдатами и солдатками, ехавшими на военную базу в Бер-Шеве для занятий военным делом. Я ехал и не думал ни о какой опасности. А ведь такой автобус был лакомой затравкой для арабских террористов. И бывали случаи, что в таких автобусах происходили диверсии. А я и не думал об опасности. Не потому что я смелый. Но как-то обо всем забываешь, когда постоянно живешь в стране. Теперь же я часто слышу от американских евреев, что они боятся ехать в Израиль, особенно боятся израильских автобусов. Верно, к опасности привыкаешь, когда живешь рядом с ней!

Когда я приехал в Бер-Шеву, то сразу же пошел в контору и познакомился с начальником, тем человеком, с которым я два раза говорил по телефону. Звали его Борис Нудельман. Было ему лет 56, и он руководил бюро «Транспресс», которое занималось переводом документов для Министерства образования и Министерства Абсорбции (учреждение, занимающееся обустройством новых репатриантов). Я, как объяснил мне Нудельман, должен был переводить резюме тех, кто прибывал из СССР, а именно людей с высшим, даже аспирантским, образованием. Переводить я должен был с русского на английский их, так сказать, послужные списки. Где они учились, какое образование получили, часто с полным перечнем их научных работ, публикаций и пр. Начальник положил мне довольно неплохое жалование, и на работу я должен был приезжать раз в неделю, привозя порцию данной мне работы, уже мной переведенной, и брать новые документы для перевода.

Нечего говорить, я был доволен. Не прошло и месяца, после моего приезда в Израиль, а у меня уже была и крыша над головой, и даже работа. Правда, из Нудельмана деньги приходилось просто "выбивать". Ведь приезжал я на работу только раз в неделю, чтобы отдать сделанный материал и взять новые документы для перевода. И каждый раз его не было на месте. Чаще всего мне говорили, что он дома и сейчас спит. Он страдал от гипертонии и предпочитал днем в самую жару не находиться в конторе. И каждый раз секретарша ему звонила и говорила, что приехал Харитон, и что хорошо бы ему сейчас заплатить. И после долгих разговоров, всей этой тяготыны я все же получал то, что в Израиле называется "клуш маскорет", а попросту, зарплату.

Времени для прогулок и безделья у меня стало меньше. Да это-то и было хорошо. Но все же я чувствовал себя как-то одиноко. Только иногда завязывались какие-то разговоры с теми, с кем познакомился в ульпане на занятиях, бывали изредка посиделки в каких-то кафе около общежития с этими людьми, воспоминания о том, кто откуда приехал — и ничего более. Особенно скучно мне было по шабатам — в субботу —, когда жизнь замирала, и я, не зная что делать, отправлялся гулять возле общежития по пустынным улицам. Правда, к вечеру, к "мацай шабату", выходу из субботы, жизнь заметно оживлялась. На улицах становилось шумно, в вестибюле общежития снова восседали кумушки, и жизнь возвращалась в обычное недельное русло.

Тут, правда, у меня появилась неожиданно еще одна работа. Директор общежития Вика, репатриантка из Вильнюса, уже жившая в Израиле лет пятнадцать, как-то пригласила меня в свой офис и предложила мне интересную работу. Она спросила меня, не хочу ли я по "мацай шабатам" ездить в Натанью или Хайфу, чтобы выступать перед американскими сионистами (слово "сионисты" пугало советских людей даже после приезда в Израиль — хорошо поработала советская пропаганда за многие годы!) с маленькими рассказами о себе, о советской жизни, о жизни евреев в СССР. Выступления должны были быть минут на сорок. А потом надо было отвечать на вопросы почтенной публики. Вика сказала, что мне будут платить 100 шекелей за такие практически еженедельные вечера. Она польстила мне, сказав, что уже присмотрелась к тем, кто живет в общежитии и видит, что я практически единственный из советских репатриантов, кто свободно говорит по-английски и может выполнять такую работу. Она добавила, что каждый раз меня будут привозить в назначенное место и потом привозить обратно в общежитие.

Эта новая работа оказалась для меня весьма приятной частью моего жгтя в Тель-Авиве. Почти каждый шабат, как только наступал "мацай", меня забирала

какая-нибудь "цубара" (главная автомарка в то время в Израиле) и обычно везла в Натанию, чудесный город на берегу Средиземного моря. Выступал я в шикарных пятизвездочных отелях, в каких-то конференц-залах, и на этих моих выступлениях бывало человек по сто.

Кто были эти люди, эти сионисты?

Дело в том, что в Израиль постоянно приезжали (не знаю, приезжают ли теперь) люди из Америки, из Франции, Англии, которые помогают постоянно и бесплатно (их так и называют волонтерами, то бишь добровольцами) работой в армии, в госпиталях и пр. Это евреи — главным образом, уже немолодые люди, но бывает и молодежь —, которые считают что всем детям Моисея, надо в конце концов соединиться на Земле Обетованной, и такой день, когда придет Машиах, то есть, Мессия, когда-то настанет, и что он уже не так далек. Вот перед ними я и выступал. Рассказывал о своей жизни, о моих родных и предках, рассказывал о своем, так сказать, еврейском опыте жизни в СССР, а потом меня засыпали вопросами, на которые я старался, как мог, ответить. Не лишне будет заметить, что потом нас всех вкусно и обильно угощали в ресторане отеля. А кормить и угощать израильтяне умеют. И за едой продолжались мои беседы с моими слушателями. И конечно, для меня это был совершенно новый опыт, и мне было безумно интересно. А потом меня привозила "цубара" в мои "пенаты", то бишь мое общежитие, и началась моя довольно монотонная, если не сказать убогая, жизнь. И я спускался с небес на Землю!

Наверное, из-за моей занятости встречи наши с Юрой стали реже. Все чаще и подолгу я оставался в своей общежитской комнате, чтобы корпеть над переводами. Нудельман давал мне много работы, надо было переводить кипы документов, делать надо было все очень точно, ибо от каждого слова и каждой строчки зависела жизнь людей, приезжавших из СССР в Израиль. Зависело их профессиональное будущее в новой стране. Компьютеров тогда еще не было — да если бы и были, то у меня никогда бы не хватило денег, чтобы купить себе это чудо! Не было у меня даже и пишущей машинки, и приходилось писать от руки, и когда я приезжал в Бер-Шеву с переведенным материалом, то секретарша Мириам, женщина из Аргентины, переселившаяся в Израиль давным-давно, восклицала на иврите "изфшар!" (невозможно!), жалуясь на то, что я не печатаю на машинке, и ей все это надо будет перепечатывать. Я же старался писать крупным почерком, ведь Нудельман платил мне постранично, и чем больше рукописных страниц я привозил ему, тем больше он мне платил. Правда, вскоре он понял мою "хитрость" и попросил меня, как он сказал, немного "ужаться".

Но не только моя занятость сделала наши встречи с Юрой более редкими. Его мама чувствовала себя все хуже и хуже, и даже сестра приезжала из Хайфы, беря отгулы на работе, чтобы помочь дома. Кроме того, Юра набрал всяких дежурств, ночных и дневных, чтобы что-то заработать на жизнь. Он "шомерил". Это слово теперь знает всякий русскоязычный в Израиле. "Шомер" это сторож, охранник. И израильтяне многие годы ежесекундно должны проявлять бдительность. Люди нанимаются на работу шомерами в гостиницах, магазинах, парках, конторах и пр., чтобы хоть как-то снизить опасность, исходящую от террористов. Вряд ли есть в мире иная страна, где опасность терактов так велика (при всем при том, что она, эта опасность, за последние годы так возросла повсюду). Да и вряд ли есть такое количество людей, как в Израиле, где эта работа охранником стала самой востребуемой. И хотя платят за нее мало, и она связана непосредственно с опасностью, многие идут на нее без раздумий

Нужно зарабатывать на жизнь! Идут на эту работу женщины и мужчины, девушки и юноши — фактически это вторая армия страны!

И все-таки я встречался с Юрой. Порой, когда он оказывался где-то недалеко от Рамат-Авива, где находился "Бейт-Милман", он заходил в общежитие и звонил мне снизу, и я обязательно спускался на первый этаж, и мы шли куда-нибудь погулять, иногда мы сидели в каком-нибудь кафе и болтали о жизни.

Юрина доброжелательность была такой же безграничной, как и его откровенность. Я люблю таких людей, потому что знаю, что только с ними устанавливается такой доверительный уровень общения, когда достигается полное взаимопонимание, настоящее проникновение и в духовный мир человека, и вообще в его жизнь. А все дурные чувства, такие, как зависть — самое страшное, вообще не возникают.

Как-то я поинтересовался, почему Юра не строит свою личную жизнь. Я уже и раньше обратил внимание на то, что женщины, а не только девушки, волновали Юру, и его взгляд провожал почти каждую женскую фигуру, появлявшуюся на его горизонте. Но я видел и то, что Юра совершенно одинок. Иногда думал я и о том, что Юра не только получает удовольствие от общения со мной, но хочет, чтобы я где-то на улице, на набережной, в кафе познакомился с какой-нибудь женщиной, и чтобы благодаря мне он смог завести с ней, более, так сказать, продолжительное знакомство. В нем жила какая-то особенная стеснительность.

Юра как-то сам признался мне, что он очень стесняется познакомиться с женщиной. Даже не столько стесняется познакомиться, сколько быть с ней. И дело даже не в том, что он боится ударить перед ней в грязь лицом как мужчина, а скорее потому, что израильские женщины, особенно тель-авивские, невероятные материалистки. И это касается не простых вещей вроде того, как подарить цветы или подвезти даму на такси. Нет, это должен быть высокий уровень жизни самого кавалера. Какая-то невероятно высокооплачиваемая работа, машина, а то и две-три, возможно Мерседес или BMW, выезды в Европу, Париж или Лондон, свой дом и даже вилла (квартира даже большая и хорошая часто женщины не устраивают).

— Ты же понимаешь, Лев, я этого всего дать ни одной женщине никак не могу и никогда не смогу.

— Да, трудновато, Юра. Но ты не теряйся. И на твоей улице будет праздник. Так нас в Москве когда-то учили говорить.

— Ошибаешься, Лев. Но самое главное то, что я всегда буду оставаться с матерью, и никогда никуда не уйду. Она — вся моя жизнь, и я все для нее.

Я с удивлением и восхищением смотрел на Юру. Вот настоящая чистота сердца! Это дается свыше, и этому невозможно научить! Я никак не мог ничего ему сказать, чтобы выразить то, что чувствовал, когда он произнес эти слова.

Первый месяц жизни в Израиле — если не считать чувство тоски и одиночества по шабатам, был наполнен для меня и массой новых впечатлений, и встречами с самыми разными людьми из разных стран. И все эти впечатления бурлили во мне и порой даже не давали заснуть быстро ночью. Люди из Румынии, Венгрии, Аргентины, Бразилии... Каждый человек со своей судьбой. Некоторым дорога в Израиль далась ох как нелегко! В ульпане, где я учился, я познакомился с двумя сирийскими евреями, молодыми людьми, Ицкахом и Моше. Они бежали из Сирии буквально под обстрелом пограничников, и их рассказ об этом побеге взволновал всех в нашем классе. А ведь каждому было что рассказать! Я, помнится, подумал тогда: такую страну, как Израиль, надо заслужить, и Обетованной ее в течение тысячелетий называют не зря!

Я приехал в Израиль, полный сионистских идей, и евреи, которые жили в Израиле, и тем более те, которые родились в стране, казались мне святыми людьми. Наивности во мне было хоть отбавляй, но постепенно она проходила. Помню, вскоре после того, как я устроился в общежитии, я решил отправиться на пляж Тель-Барух. Палило солнце и я шел по пустынной дороге к морю. Вдруг я увидел на обочине одинокую женщину, скорее даже молодую девушку. Она, видно, никуда не шла, и просто стояла, очевидно, даже никого не ожидая. Проходя близко от нее, я обратил внимание, что лицо ее было в садинах а ноги поцарапаны — было видно, что недавно перестала течь по ним кровь. Про себя я пожалел несчастное существо. Она повернула голову в мою сторону, но ничего не сказала. Наверное, нищая, подумал я. Но дать мне ей было нечего — в моих карманах не было даже мелочи.

Погуляв по пляжу несколько минут, я отправился назад в общежитие — жара была нестерпимой. Я полагал, что снова увижу эту девушку. Но ее уже не было. Видно, подумал я, надоело стоять на жаре, и никто не дает денег. Прийдя в мою комнату, я рассказал моему соседу Илье про то, как я видел на дороге несчастную девушку. Илья приехал в Израиль за год до меня. Ему было 25 лет, и он целый день лежал на кровати, читая русскоязычные газеты и абсолютно ничего не делая. “Лев, — сказал он, — да это же проститутка была! Вы что никогда в своей жизни проституток не видели?” Наверное, он впервые в жизни говорил с таким человеком, как я, прожившим в два раза больше, чем он, на этом свете, и ничего ровным счетом не понимающим. “Как, — воскликнул я, — разве в Израиле есть проститутки?!” Илья от смеха чуть не упал с кровати. Таковы были мои наивнейшие представления о стране, в которую я так давно мечтал приехать. Полнейшая идеализация!

Казалось, что встречаясь с Юрой, я все-таки узнаю что-то об интимной стороне его жизни. Должна же, говорил я себе, должна же быть у него какая-нибудь девушка, или хотя бы была таковая. Но сам я не люблю лезть в частную жизнь других людей, задавать какие-то глупые вопросы. Все это как-то неделикатно. И так бы я никогда ничего не знал о Юре, если бы, как это часто бывает, не помог случай.

Как-то мы сидели в каком-то кафе в центре Тель-Авива, и Юра вдруг сказал мне:

— Лев, почитал бы ты мне какие-нибудь стихи. Ты, я уверен, много попиши наизусть.

— Да, Юра, стихи я всегда любил. Совсем недавно, за пару дней до того, как я улетел в Израиль, мои родные и приятели организовали для меня прощальный вечер. Было полно народу, и потом кто-то из них попросил меня почитать стихи, и я, наверное, целый час читал им стихи Пастернака. Понятно, что я был взволнован. И друзья тоже переживали. Ведь уезжал я навсегда, и теперь никогда уже с ними я не увижусь...

— Лев, ты читал Пастернака? Я никогда его не читал, но слышал много о нем. Знаю, что писал он очень сложные стихи. Мне, наверное, не понять. Нет нужного образования. Если можешь, прочти мне что-нибудь другое. Мне очень хочется услышать, как ты читаешь стихи...

Юра так искренне просил меня почитать стихи, и отказать я ему не мог, но что же ему прочесть? — гадал я.

Вдруг я подумал об одном старинном стихотворении, которое я любил читать моим студентам, когда преподавал английский язык в Москве. Это стихотворение было написано знаменитым английским поэтом Уильямом Блейком и давно

стало классикой. Впоследствии оно неоднократно переводилось на русский язык. Чтобы не утомлять Юру, я решил прочесть четыре строки этого стихотворения на английском (Юра, как я уже заметил до этого, знал английский — правда, не слишком хорошо, как и многие израильтяне. Во всяком случае, думаю, Блейка ему было достаточно трудно понять), а потом прочел и перевод на русский.

*Whate'er is Born of Mortal birth
Must be consumed with the Earth,
To rise from Generation free:
Then what have I to do with thee?*
*Рожденный Матерью Земной
Навек смешается с Землей;
Став прахом, станет Персть равна —
Так что же мне в тебе, Жена?*

Я читал медленно — старался, чтобы до Юры лучше доходили эти великие и странные слова. А он сидел и, как зачарованный, слушал. Я только краем глаза наблюдал, как он слушал меня.

— А кто эта жена? — спросил он меня, когда я остановился.

— Жена? — переспросил я. — О, Юра, это такая древняя история! Да и была ли она, кто знает? Была такая женщина, вернее девушка, Тирца...

Тут Юра как-то встрепенулся и, кажется, вышел на секунду из своего очарованного состояния.

— Тирца? — произнес он куда-то в воздух, словно не спрашивая меня, а обращаясь к чему-то в себе, даже в своей памяти.

— Да, да, Юра, — Тирца. В библейской истории она была одной из пяти дочерей царя Салпаада. В этом стихотворении Блейка она символизирует нашу плоть, физическую сущность человека. Тирца противопоставляется как символ сущности духовной. Она отвергает любовь как нашу необходимость существования в мире.

— Как странно, — произнес Юра после того, как я остановился и стал ждать, что же он мне ответит. — Как странно Лев, — отвергать любовь. Неужели можно жить без любви? Ну ладно, не любишь женщину, живешь один. Но есть мать, сестра... Все равно любовь. Пусть не физическая, но тоже дорогая, может, еще более дорогая, твоя родня, без которой ты не можешь...

— Юра, — во мне заговорило любопытство. — А ты что, знаешь такое имя Тирца?

— Еще бы, Лев, мне его не знать! Я тебе не говорил, но у меня есть одна знакомая девушка, которую зовут Тирца...

Вот так да! А я-то думал, что Юра не знает близко ни одной девушки. А тут еще девушка с таким именем, которое мне так дорого по стихам Блейка! Мне было не так просто прийти в себя от сюрприза. Во-первых, я уже за почти месячное знакомство с Юрой, изучив его достаточно хорошо, не представлял, что у него может быть подруга, или, как говорят на иврите, “хавера”. Я припоминал то, как он мне говорил о том, что вряд ли он свяжет свою жизнь с какой-нибудь женщиной, и что, скорее всего, он никакой женщине никогда не понравится. И во-вторых, — еще больший для меня сюрприз! — его девушку звали таким именем — Тирца! Имя, которое, казалось мне, знал только я — да еще, быть может, только знатоки священных книг.

И хотя я был поражен неожиданным признанием Юры, я попросил его рассказать мне хотя бы немного о Тирце. Юра не только не возразил, — наоборот, он захотел мне рассказать о Тирце возможно больше.

— “Знаешь ли, Лев, — начал он. — о Тирце я могу говорить и говорить, но если сказать вкратце, я никогда не видел такой красивой девушки у нас в Израиле, хотя красотками страна может похвастать. Но и другое надо сказать. Жизнь ее, почти с самого начала была несчастливая, даже трагичная, хотя по своим душевным качествам, Тирца, конечно, необыкновенный человек. И если бы ее жизнь сложилась хорошо, то она была бы и прекрасной дочерью и сестрой и, уверен, женой.

Юра говорил очень складно, хотя было видно, что он волнуется. Но слова и фразы, которые он произносил, это было то, что он держал в себе долгое время, ни с кем не делись сокровением своего сердца, и я чувствовал, что мне выпало быть его первым слушателем. Он доверял только мне!

— Тирцу родители привезли из Йемена в середине 60-х. В Израиле довольно много евреев из Йемена, их называют “гиманим”. В то время была большая алия из Йемена, из Эфиопии, из стран Северной Африки. Тирца была совсем маленькой. Ей было два или три года. У нее был брат постарше. Родители ее были довольно молодые люди, но без всякого образования. Ты сейчас, Лев, видишь, что жить в Израиле совсем неплохо. Недаром столько людей едут сюда сейчас — даже из Европы и Южной Америки. А в то время нищета еще была ужасная. Нищета 50-х перешла в бедность 60-х. Брат Тирцы, только успел достичь совершеннолетия и пошел в армию. В армии было неплохо — хотя бы кормили. Но служил он совсем недолго. Подорвался на mine где-то на Синае. Это было ударом для родителей. Отец ее работал сапожником на Тахане Мерказит. Знаешь теперь, Лев, это наша центральная автобусная станция в Тель-Авиве. Он начал пить и даже травку курить, и потом даже работу бросил — жутко переживал гибель сына. Мать тоже страдала ужасно — сын, по рассказам Тирцы, был любимцем в семье. Мать пошла куда-то судомойкой и зарабатывала гроши. Семья с трудом могла свести концы с концами...

Юра, рассказывая все это, переживал ужасно. Он затягивался сигаретой все чаще и чаще, и на какой-то момент замолчал. А я сидел и думал: вот так Тирца — совсем не такая, как та, библейская — по-настоящему живая и по-настоящему страдающая!

— Да, так вот, — сказал Юра после паузы, собравшись с силами, чтобы продолжить свой рассказ, — так вот они и жили, трое, мать с отцом и Тирца. Отец пил, мать стирала и мыла посуду в чужих домах, а Тирца... Тирца как-то прочла в газете объявление, что какому-то адвокату в Петах-Тикве требуется секретарша. Причем в объявлении было напечатано — молодая и симпатичная. Она отправилась по указанному в объявлении адресу. На автобусе от ее дома было езды минут сорок пять. Адвокат этот оказался человеком средних лет. По тому, как он говорил на иврите, Тирца быстро поняла, что он приехал в Израиль из ЮАР. Эти люди, жившие раньше в ЮАР — обычно очень состоятельные евреи. Их немало живет в городах около Тель-Авива, в Хайфе и Натанье. У него был большой дом с садом. Жил он один. Жена его умерла, а дети были взрослые и жили отдельно. При знакомстве с Тирцей он сказал, что в ее обязанности будет входить не только помощь ему с юридическими бумагами, но и уборка дома, и уход за садом.

Конечно, Тирца была рада, что нашла работу, и что у нее будет своя зарплата, что она не будет зависеть от матери, которая выбивалась из последних сил и только иногда могла дать Тирце небольшие деньги для покупки косметики и какой-то новой одежды. Проблема для Тирцы была в том, что она должна была оставить учебу в школе — оставалось закончить еще два класса, и потом можно было бы думать и о дальнейшем образовании. Тем более, что училась она хорошо, а хоро-

шее образование в Израиле в ту пору ценилось особенно — ведь не приехали еще русские репатрианты.

Но выбор был сделан. Тирца взяла справку из школы — может, потом удастся продолжить образование, а пока вышла на работу к адвокату Рубинштейну.

Надо сказать, что адвокат относился к Тирце хорошо. Тирце все тяжелее и тяжелее давалась жизнь в доме с отцом и матерью. После гибели брата все раскололось в их семье. Отецпил и нигде не работал. При этом устраивал какие-то дикие сцены ревности матери, которую ни в чем вообще нельзя было заподозрить. Она приходила вечером домой после тяжелейшего рабочего дня, должна была готовить еду дома и выслушивать крики и угрозы пьяного мужа. Раньше из-за этого шума Тирца не могла вечером делать уроки дома. А теперь, когда она служила у Рубинштейна, то она наслаждалась тишиной в его доме, и возвращаться в свой дом ей было в тягость.

Адвокат никогда не давил Тирцу работой. Только самое необходимое должна была делать Тирца. Иногда надо было отпечатать на машинке какую-то жалобу, или ответить по телефону клиенту, когда Рубинштейн уезжал в суд. Бывало, что Рубинштейн писал ей на бумаге, что нужно купить из еды, и Тирца шла в магазин и выполняла все, что ей было поручено. Да, и конечно, она не забывала поливать цветы в саду, стирать белье — занятие, которое Тирца любила, потому что у Рубинштейна были великолепные стиральная и сушильная машины. В ее квартире, у отца и матери, таких машин не было. Рубинштейн купил ее в Германии, незадолго до того, как Тирца пришла у него работать.

Самое примечательное, Лев, то, что получалось так, что Рубинштейн прокладывал Тирце путь в общество таких людей, как он сам. Однажды, после того, как Тирца проработала у него уже несколько месяцев, он сказал, что он летит во Францию на какую-то международную встречу адвокатов, и что он возьмет ее с собой. Вот так новость! — подумала она. Мечтала ли она когда-нибудь оказаться в Париже?! И это не было просто обещанием. В один апрельский день они прилетели в Париж. Город в эту пору блистает своими каштанами и гладью своих улиц и авеню. А отель, в котором они остановились, не поддавался описанию. Hotel George V, отель Короля Георга Пятого! У Тирцы был роскошный номер с видом на Елисейские Поля! А вся работа ее состояла в том, что она сопровождала Рубинштейна на какие-то великосветские рауты.

— Но хорошее, наверное, Лев, не может длиться вечно. С какого-то времени Тирце просто невозможно было оставаться дома. И она сказала Рубинштейну, что хотела бы, если возможно, оставаться у него на ночь. Она, конечно, ничего не говорила адвокату о тяготах ее жизни с родителями, о невыносимой обстановке дома.

Должно быть, Рубинштейн почувствовал, что за просьбой Тирцы стоит уловка, типично женская уловка: сблизиться с ним по-настоящему...

— Да, — сказал я Юре, — ты знаешь, Юра, все женщины, или почти все, устроены одинаково. Сначала они отгораживаются, вернее делают вид, что отгораживаются от мужчины, а потом наступает момент, что они полностью завладевают инициативой, и самим мужчиной.

— Лев, ты не ошибаешься. Так случилось с Тирцей и Рубинштейном. Несколько ночей адвокат никогда не заходил к Тирце в комнату, где она спала. Более того, он дал ей ключ, чтобы она закрывала дверь на ночь, но в какую-то ночь Рубинштейн решил проверить закрыта ли дверь, и дверь оказалась незапертой. Остальное, как говорят шахматисты, оказалось форсированным вариантом. Про-

изошло то, что и должно было произойти. Рубинштейн овладел девушкой без всякого сопротивления с ее стороны.

У Тирцы, был какой-то опыт общения с молодыми людьми, но тут это было серьезно — ведь она стала жить с мужчиной под одной крышей. Наверное, это было ей не очень удобно — ведь Рубинштейн бы старше Тирцы на много, лет на тридцать. У него сын и дочь были старше Тирцы — они иногда приходили к отцу, но ничего не говорили ему о Тирце. Возможно, они даже не догадывались о характере его отношений с Тирцей. Секретарша... Ну и что? Известно, что секретарши часто становятся любовницами своих боссов. Не знали они только то, что их отец безумно влюбился в девушку с йеменскими корнями, красавицу из красавиц. В жизни Рубинштейна, человека, казалось бы, полностью занятого своим адвокатским трудом, и давно, после смерти жены, не общавшегося с женщинами, наступил особый период, особое счастье.

Хорошо было и Тирце. Пускай он был старше, — наверное, думала она. Зато не сосунок, как все эти ее молодые ухажеры — у которых только одно на уме. Рубинштейн был безмерно дорог ей, она это видела. Ничего ему для нее не было жалко, а страсть его, страсть зрелого мужчины, переполняла его и давала ей несравнимое наслаждение как женщине.

— А что же случилось потом? — спросил я. Мне не терпелось знать, почему Юра говорил о жизни Тирцы, что она трагична. — Что произошло?

— Лев, ты знаешь лучше меня, что неожиданности в жизни ожидают нас со всех сторон...

— И обычно неприятные, — добавил я.

— Не то слово, Лев, неприятные, — сказал Юра. — То, что пришлось на долю Тирцы, было катастрофой. Она уже почти два года жила и работала у Рубинштейна и стала фактически родным человеком ему, когда случилось несчастье. В тот день адвокат попросил ее закупить продуктов на неделю и дал кое-какие поручения — она должна была поехать в филиал его фирмы и проверить там какие-то бумаги. Кроме того, Тирца решила заехать к родителям, чтобы проведать отца, который, как говорится, не просыхал. Выполнив всю программу, Тирца вернулась домой. Когда она позвонила в дверь (а так она делала всегда — Рубинштейн бежал, чтобы открыть ей дверь, и они долго обнимались на пороге), то Рубинштейн не открыл двери. У Тирцы был свой ключ и она сама открыла дом. Тишина поразила ее. Даже когда Рубинштейн работал, то всегда были включены телевизор или радио. Тирца прошла в кабинет адвоката. Он лежал на диване и, казалось, спал. Тирца подошла к нему и попыталась разбудить. Но он не шевелился и не просыпался. Тирца поняла, что случилось самое страшное. Тут же она позвонила в скорую помощь. Буквально через три минуты приехала скорая, и врач с двумя сестрами констатировали смерть. “Скорее всего, это инфаркт”, — сказал врач. — Мы отвезем адвоката и сообщим вам, что произошло”.

Юра замолчал. Мне было ясно, что эту историю он проговаривал внутри себя сотни раз. Она сидела в нем глубоко, как что-то постоянно волнующее, она была о человеке дорогим ему. И было такое ощущение, что именно мне он, возможно, впервые доверил этот рассказ. Юра зажег еще одну сигарету, раскурил ее... Его волнение передавалось мне.

— Послушай, Юра, а что было потом? Ведь Тирца была в ту пору совсем молодой девушкой. При ее красоте, как ты мне ее описал, она всегда могла встретиться с кем-то другим...

— Это только так говорится, Лев. Встретить кого-то, кого ты полюбишь и кто полюбит тебя, так трудно. А у Тирцы был замечательный друг, и к тому же весьма состоятельный — если учесть ее беспросветную жизнь с ее родителями. Она была прикрыта им полностью от нужды, которую многие испытывают в Израиле. Самое ужасное, Лев, было в том, что после смерти Рубинштейна Тирца не могла ни на что претендовать. А ведь, как она потом мне рассказывала, Рубинштейн буквально за пару дней до смерти сказал ей, что хочет, чтобы они поженились. И вот такой конец!

— А кому досталось все состояние Рубинштейна? — спросил я.

— Конечно, его детям. Сыну и дочери. Они вообще к отцу относились плохо. У Рубинштейна почти все годы были плохие отношения со своей женой, и она, очевидно, прививала их детям неприязнь к отцу. Так ведь часто бывает. Я думаю, что, если бы адвокат знал, что его так внезапно не станет, он бы Тирце оставил, если не всё, то многое. Но так уж случилось...

— И что, Тирца опять вернулась в родительскую квартиру? — спросил я.

— Да, на какое-то время. Но нужно сказать, что пока Тирца работала у адвоката, она смогла скопить неплохие деньги — он ей прилично платил. Во всяком случае, на первый квартирный взнос ей хватило имевшейся у нее суммы, и она купила однокомнатную квартиру в Кфар-Сабе, недалеко от Тель-Авива.

— Ну, так это уже неплохо, — заметил я.

— Конечно, неплохо. Но ведь это не всё, Лев. Подумай, какую моральную травму получила Тирца. И кроме того, надо было работать, чтобы выплачивать ежемесячную плату за эту квартиру и как-то вообще существовать. И на то, чтобы окончить школу, у нее уже не было времени. Да и желания тоже. Опять садиться за парту? На это не у каждого есть силы и воля.

— Так что же она делала все это время? — спросил я.

— Да меняла работы. То в овощном магазине, то в магазине косметики. Секретарская работа... У нее такой опыт уже был с Рубинштейном! Конечно же, у нее были молодые люди. Красота ее привлекала к ней невероятно! А чувственность ее после романа с Рубинштейном была разбужена вовсю. И она не отказывала себе в женской радости. Но, понятно, то, что ей давал и еще долго мог давать адвокат — на это было трудно рассчитывать. Могла с ним ездить за границу. Париж, это, наверное, было только начало!

— А как ты с ней познакомился? — Я задал Юре вопрос, который у меня все время вертелся на языке.

— Это получилось как-то случайно, Лев. Где-то года два назад я поехал на дискотеку в Яффо. Я обычно на такие дела не езжу. Но хочется все же молодых красоток посмотреть. Но на меня же никто особенно не клонет. С моей внешностью и с моими деньгами! А тут стою и курю. Музыка играет, эта шумная, сумасшедшая музыка, все вертятся в танце. И вдруг ко мне подходит одна девушка, совершенно потрясающая по красоте, и просит у меня сигаретку. Я сразу от ее красоты просто ошалел. Дрожащими руками я дал ей откурить от зажигалки, думая, что сейчас она поблагодарит меня и отойдет. А она стоит и не шевелится. И я, осмелев, хочу завязать с ней разговор. Спрашиваю, откуда она, где живет, ну и прочую ерунду, которую говорят, когда хотят завязать отношения. А она просто отвечает, а потом и сама начинает меня о чем-то спрашивать. Я, конечно, понимаю, что она одна на дискотеку пришла, просто так от нечего делать. Я с тех пор думаю, что то, что я ей рассказал, история моей бедной жизни, оказалось ей близко. То есть, она почувствовала во мне родственную душу...

— Да, да, Юра, ты прав. Это чувство порой сильнее даже сексуальной тяги — вдруг встречаешь того, кто понимает тебя с полуслова и живет той же жизнью...

— Ну а дальше, как обычно. Обменялись телефонами. Стали изредка позванивать друг другу. Встречались иногда, обычно на нашей набережной, тайлет, в Тель-Авиве. Сидели вечером у моря, пили капучино, болтали, в общем-то ни о чем...

Тут я решил задать, так сказать, интимный вопрос.

— Юра, а как насчет постели?

— Ни, ни! Ничего такого между нами пока не было. Встретаться нам, первых, негде. Я с мамой живу, а Тирца меня до сих пор к себе не приглашала. Однажды я прямо ей сказал, что она мне очень нравится, но она ответила, что любить это что-то особенное, а она этого чувства ко мне не испытывает. Я, конечно, огорчился, ведь она со мной всем делилась, рассказывала о своей жизни, о Рубинштейне — все, что я тебе, Лев, только что рассказал. Возможно, как мужчину она меня просто не рассматривает и для постели у нее есть совсем другие ребята. Но этим она со мной не делится. То есть, я для нее, как какая-нибудь задушевная подруга, только чтобы поделиться переживаниями. Вообще, Лев, я заметил, что Тирца в последнее время как-то пристрастилась к спиртному. Я, как могу, ее останавливаю — может, у нее наследственность такая, я не знаю, но это меня беспокоит...

— Ладно, Юра, — сказал я перед тем, как мы попрощались, — у тебя все еще впереди. Я старше тебя, и то на что-то еще рассчитываю. Не получится с Тирцей, получится с какой-нибудь другой женщиной.

— Лев, твоими молитвами! — сказал Юра, протягивая мне руку

Где-то в конце октября, Йоханан Афек, израильский шахматный мастер и замечательный этюдист, который очень помогал мне все время, пока я жил в Израиле, повстречав меня в клубе Бикур Холим, предложил мне поехать в Хайфу, где в самом начале ноября должен был стартовать командный чемпионат Европы по шахматам.

— Лев, я хочу, чтобы вы поработали там в пресс-центре. Думаю, это будет для вас интересно. И кроме того, почему не заработать 500 шекелей? На дороге не валяются! Тем более вам в вашем нынешнем положении, когда вы только начинаете обустраиваться.

Я не мог отказаться от такого предложения. Увидеть всех знаменитостей — на первенство приехали, например, Смыслов, Таль, Полугаевский... Пожить в хорошей гостинице... Заработать деньги, которых у меня было так мало...

Утром 2-го ноября Йоханан заехал за мной на такси, и мы отправились в Хайфу. Езды на машине минут сорок, не больше. До этого в Хайфе я еще не был. Уже побывал в Иерусалиме. Был в Цфате. А вот в Хайфу попал впервые. Город очень красивый и по израильским меркам большой. Гора Кармиель поражает своей красотой. Особенно, когда поднимаешься на нее и видишь весь город — тоже из белого камня, — как и Иерусалим, сверху.

Йоханан не только талантливый шахматист и шахматный композитор. Он и блестящий шахматный организатор. Конечно, он позаботился о том, чтобы я жил в хороших условиях. Он заранее зарезервировал для меня номер в гостинице «Двир» на Кармиеле. Небольшая гостиница, но именно в ней располагалась школа кулина-

ров Хайфы, и многие участники первенства и журналисты приходили именно в «Двир», чтобы поесть и воистину вкусить все прелести израильской кухни.

Но центр шахматных событий был в двух главных больших гостиницах Хайфы — «Дан Панорама» и «Дан Кармиель». В них проводились туры и в них жили участники первенства. Вечером того же дня, когда мы с Йохананом приехали в Хайфу, начался первый тур. Прошли первые два часа игры, работы у меня никакой не было. Большею частью я проводил время в зале, перемещаясь от одного шахматного столика к другому и наблюдая за всеми перипетиями борьбы. Иногда выходил в фойе, видел кого-то из советских знакомых, разговаривал с ними. Благо знакомых — да еще каких! — было немало. Смыслов, Галь, Полугаевский — все с женами, как гости первенства. Известный тренер Анатолий Быховский, Сережа и Марина Макарычевы, Гуфельд, Васюков, Юдашин, Капенгут...

В один из моментов, когда я сидел в фойе, попивая кофе, я увидел что прямо на меня идет Юра Трахман. Впечатление было такое, что он словно знал, что меня встретит в Хайфе. Во всяком случае, я видел, что он был меньше, чем я, удивлен нашей встрече на первенстве.

— Лев, как я рад тебя видеть, — в словах Юры не было лукавства. Он, наверное, тоже был удивлен встретить меня, но умел не выдать эмоций. — Мы, кажется, не виделись после нашей последней встречи в кафе в Тель-Авиве... У меня, правда, для тебя есть сюрприз...

Я не успел спросить его, какой именно сюрприз. К Юре подошла молодая женщина, и я понял, кто она! Тирца! Собственной персоной. Не та из Библии, а та, о которой Юра мне так много рассказал несколько дней назад.

— Знакомься, Лев. Это Тирца, — представил ее Юра.

В этот момент я подумал, что недаром Юра мне так много рассказывал о Тирце. Он, наверное, боялся, что, увидев ее, я упаду в обморок от ее красоты, и ему не хотелось доставлять мне, его новому другу, страдания. А упасть в обморок было от чего! Я даже в эту минуту вспомнил блоковские слова — «бесстыдно-упоительна и унизительна-горда». Так можно было сказать о внешнем виде Тирцы. Я почему-то подумал, что — сумасшедшая мысль! — Рубинштейн был смертельно ранен ее красотой. Правда, Блок, наверное, думал о русской женщине, а Тирца была настоящей дочерью Востока.

Ее темные, глубоко посаженные глаза излучали какую-то особую улыбку, и в этой улыбке было и какое-то обещание, и приветливость, и ощущение, что она чувствует и видит то, о чем даже не догадывается подумать ее собеседник. Собеседник — конечно же, мужчина, ибо она была создана для того, чтобы покорять мужчин. Причем не только физически, а просто брать мужчину всего в плен — раз и навсегда!

Одега она была замечательно. На ней был черный костюм — очевидно, для большого светского выхода. И единственным, что нарушало черный цвет в ее одеянии, была маленькая красная розочка в лацкане ее жилета. Фигура же Тирцы, по моей так сказать первой прищипке, могла победить на подиуме всемирных красавиц. Она была довольно высокого роста, и в ней нельзя была заметить и малейшего признака в сторону худобы или полноты. Рядом с Тирцей Юра полностью терялся. Впрочем, рядом с ней терялись многие — это было совершенно ясно.

— Лев, послушай, — сказал Юра, — ты что здесь очень занят?

— Не то, чтобы очень, Юра, но вообще я здесь работаю, хотя еще не понял, что именно я должен здесь делать...

— Знаешь, могу предложить, чтобы мы втроем вышли и чуть прошлись по Хайфе. Я тут знаю очень симпатичные кафе. Посидим, поговорим...

Я посмотрел на Тирцу. Лицо ее было спокойно, и она, казалось, была готова к любому предложению Юры. Я подумал про себя, что может связывать этих двух совершенно разных людей. Ее, вышедшую из среды йеменских евреев, о которых мы, я — во всяком случае, в России никогда не слышали. Ее такую красивую, и Юру, обычного, неприметного человека, предки которого когда-то жили на Украине с ее еврейскими местечками и обычаями. И вот пересеклись они в Израиле, на Земле Предков... Возможно, Юрина любовь и Тирцына дружба. Такой возможно, ответ, подумал я.

— Хорошо, Юра, — согласился я, — пойдем, немного проветримся. Тут шахматистам еще долго играть, и мы можем погулять...

Мы вышли из гостиницы и пошли вдоль улицы, оживленной, полной магазинов и кафе. Уже темнело, и из некоторых кафе раздавались звуки музыки, чудесных еврейских мелодий и израильских песен. Я смотрел вниз, — ведь мы были на горе и внизу я видел море, буйную зелень, дома из белого камня. Все это было для меня особое зрелище. Жизнь моя резко изменилась. Еще какой-то месяц назад я был в Москве, а теперь судьба привела меня к совершенно новому этапу моей жизни, и я еще не представлял, как все повернется дальше.

Мы прогуливались, наверное, уже минут двадцать, когда остановились перед кафе с удивительным для Израиля названием «Оливковая ветвь», и Юра предложил зайти внутрь. Мы сели за столик, покрытый розовой скатертью, и Юра заказал официантке кое-что из меню.

— Юра, — сказала Тирца, — давай возьмем немного виски.

— Ты знаешь, Тирца, Лев все же на работе, — хотя мне, конечно, хотелось бы тоже виски, давайте, друзья, лучше ограничимся итальянским или французским вином.

Тирца не настаивала, но видно, что она не была очень довольна Юриным отказом заказать виски. В этот момент я вспомнил, что Юра мне говорил о том, что у Тирцы есть склонность к крепкому спиртному.

Мы наслаждались едой, а я любовался через стекло кафе видом на улицу, ярко освещенную разноцветными огнями. Хотя было только часов пять вечера, но в Израиле, тем более в ноябре, темнеет очень рано. Но как я ни был захвачен красотой вокруг меня, но краем глаза я все время смотрел на Тирцу, стараясь не выдавать открыто моего восхищения приятельницей Юры.

Так вот она какая Юрина “хавера”, Юрина подружка! Он о ней так много рассказал, а теперь я мог сидеть около нее и наблюдать ее воочию! Мне казалось, что я нахожусь в обществе Шехерезады, и вообще, — в сказке из “Тысячи и одной ночи”!

— Мне Юра уже говорил о вас, — сказала мне Тирца. — Как вам у нас? Уже привыкли к стране?

Я чувствовал, что ее интерес неподделен, и потому отвечать на такие вопросы мне было легко.

— Да, Тирца, к хорошему привыкаешь быстро и легко. Тем более, что уезжать из России было очень не просто.

Тирца спросила меня, что именно делало отъезд из Москвы таким тяжелым, и я рассказал ей и Юре, каких трудов стоило все — и получение визы, и покупка авиабилетов, да и просто сам факт — покинуть страну, в которой родился и прожил

целую жизнь! Не думаю, что Тирца, однако, понимала меня — людям, живущим всегда в одной стране, трудно представить сложности эмиграции — особенно той, которую прошли люди, уехавшие из СССР.

— Вы, кажется, живете сейчас в Бейт-Милмане? Так мне Юра говорил.

— Да, Тирца. Очень неплохое место.

— Я хорошо его знаю. Это в Рамат-Авиве, недалеко от университета. У меня в том районе раньше жила подружка, и мы там с ней встречались. Ходили вместе на пляж...

Наш разговор продолжался еще несколько минут. Юра почти ничего не говорил, но когда я смотрел на него, то видел, что он очень доволен тем, что привез Тирцу в Хайфу и познакомил нас. А Тирца смотрела на меня каким-то странным взглядом, а разгадать взгляды красавиц нам, мужчинам, не всегда дано...

Больше Юра и Тирца в Хайфу не приезжали. Турнир продолжался неделю. Работы у меня особенной не было. Иногда давали поручение позвонить куда-то или переслать телекс. И в общем, я наслаждался тем, что наблюдал за красивыми партиями первенства, общался с известными шахматистами — да и вообще, просто жил в прекрасной гостинице, ел вкусную израильскую пищу, гулял по городу. Ну и конечно же, вспоминал приезд в Хайфу Тирцы и пару часов, которые я провел с ней и с Юрой.

Помню, вернулся я в «Бейт-Милман» в пятницу, почти перед началом шабата. И этот переход от разнообразия впечатлений в течение недели к тишине шабата мне давался, как я уже заметил, весьма тяжело. Город был пуст, и общежитие навевало тоску. Не говорю уже о том, что в Хайфе я жил по-королевски — по моим меркам, во всяком случае, а в общежитии в Рамат-Авиве я опускался на грешную землю, и опять должен был думать о том, как поесть и как сэкономить в ожидании скромного ежемесячного пособия. Да и сидение в своей комнате в общежитии, когда из нее никогда практически не выходил мой сосед Илюша, лежавший на своей кровати в абсолютной депрессии, — это сидение совсем не вдохновляло меня.

Но шабат, в конце концов, кончился, и я уже было собрался, чтобы сесть на автобус и поехать в центр города, как в комнате раздался звонок селектора, и я взял трубку.

— Это Лев Харитон? Спуститесь вниз. Вас тут ждут, — сказал мне кто-то из администрации общежития.

Я спустился на лифте в фойе и увидел ... Тирцу! Вот так сюрприз! Ее приезда я не ожидал. Она была одна. Без Юры.

— А где Юра, Тирца? — спросил я, не зная от удивления, с чего начать разговор.

— Не знаю, — ответила она. — Я только что приехала из дома из Кфар-Сабы, хотела вас видеть, но не была уверена, что вы в общежитии. Мне повезло.

Я не знал, что сказать, но вспомнил, как странно смотрела Тирца на меня, когда мы сидели в кафе в Хайфе. Говорит, что ей повезло. Впервые за долгое время женщина говорит мне, что ей повезло увидеть меня. И не просто женщина, а такая красавица! Было от чего потерять дар речи.

— Тирца, — пролепетал я, — вы знаете, я не могу пригласить вас к себе в комнату. У меня там сосед, да и вообще...

— А я и не хочу подниматься наверх, — ответила она сразу. — У меня есть идея. Давайте проведем мацай шабат в каком-нибудь ресторане. Сейчас везде так весело, я так люблю этот выход из шабата, это пробуждение...

Я не понимал, как я могу пойти в какой-то ресторан, когда у меня совсем не было денег, но и сказать “нет” я не мог.

— Подождите, Тирца. Я поднимусь к себе и переоденусь.

Я побежал к лифту и быстро поднялся на шестой этаж. Одеваться мне долго не пришлось. У меня не было никакой особой одежды, и она даже в начале ноября в Тель-Авиве почти не нужна — так тепло! Натянул только на ноги новые туфли «саламандер», привезенные из Москвы, да и рубашку румынскую с брюками польскими одел — тоже напоминание о Москве.

— Как вы элегантны, Лев, — заметила Тирца, когда я снова появился перед ней.

Я не понял, шутила она или нет.

Мы вышли из подъезда общежития на улицу. Тирца заказала такси, чтобы ехать в ресторан. Она говорила по телефону быстро на иврите, и я не успел понять, куда мы именно отправляемся — то ли в Тель-Авив, то ли в какой-то город под Тель-Авивом. Но какое значение это имело для меня, оказавшегося в плену у самой богини? О том, что у меня нет денег, чтобы платить за такси и за ресторан, я как-то уже не думал. Больше меня занимало то, что мы будем делать после ресторана. Тирца, пока мы ждали такси, словно угадала мои мысли.

— Лев, сначала хорошо поедим, а потом я вас немного повожу по окрестностям, покажу то, что интересно. А потом, если не возражаете, я хочу показать вам, где я живу.

Она покажет мне, где она живет? Значит, она приглашает меня приехать к ней домой? Когда же это будет, в какое время ночи? Сердце мое учащенно забилося. Значит, мы эту ночь проведем вместе?

Во мне боролись разные чувства. С одной стороны, обладание такой женщиной, особенно для такого человека, как я, давно жившего напряженной будней, связанной с эмиграцией, ежедневной борьбой за выживание на новом месте, было более, чем даром небес. Я об этом и не мечтал! С другой, думал я, корректно ли это будет по отношению к Юре? Благородство начинало кипеть во мне. Но ведь, в конце концов, я Тирцу к себе не приглашал. Она сама приехала. Да и вообще, по тому что мне рассказывал о ней Юра, она уже давно не была девушкой, и мужчин у нее в жизни уже было немало. Так что ничего противоевангельского не будет, если я проведу с ней хотя бы ночь.

Все эти мысли мелькали у меня в голове, когда подъехала машина, и мы уселись на заднее сиденье. Тирца сказала водителю, куда ехать. И опять я не уловил названия места и, очевидно, названия ресторана. Такси везло нас по ярко освещенным улицам города, и мне казалось, что я вижу самого себя в каком-то иностранном фильме.

Тирца сидела около меня, и в какой-то момент она одну руку вложила в мою, а другой обняла меня за шею. Сначала я окаменел, и прежде чем я смог что-то произнести, Тирца горячо прикоснулась своими губами к моему рту. У меня было такое ощущение, какой бывает у лыжника, стремительно летящего вниз с крутой горы. У меня совершенно перехватило дыхание.

Так мы и ехали в такси — не знаю уж сколько, может быть, минут двадцать —, прижавшись друг к другу в страстном поцелуе — пока шофер не напомнил нам,

что мы уже приехали, и надо расплатиться и выйти из машины. Ощущение, что я играю эпизод в каком-то любовном триллере, не покидало меня.

Наконец, мы вышли из машины и вошли в ресторан. Он был ярко освещен изнутри, а на улице было довольно темно. Видимо, все так и было задумано. Тирца привезла меня в такое место, которое невольно располагало к интиму. Казалось, она не просто пригласила меня выйти в свет, но и полностью дирижировала этим моим, вернее нашим, выходом. И я уже предвкушал всю ту программу, которую она мне приготовила. И чувствовал себя великолепно.

Израильтяне народ весьма шумный, и трудно представить, какой гвалт стоял в ресторане. Быть может, он уступал только шуму, скажем, на тель-авивском рынке «шук-а-кармель» в самом центре города. За столами громко разговаривали посетители, играла громкая музыка, и всюду танцевали пары. Тирца подвела меня к одному пустовавшему столику в углу зала и подзвала официанта.

— Лев, думаю, неплохо бы начать с того, чтобы что-то выпить. За нашу встречу, как вы думаете? Что вы пьете?

Тирца прочитала мне названия нескольких вин.

— Что, может быть, что-нибудь французское? Шардоннэ? Хотите шардоннэ? Белое?

Я утвердительно кивнул головой. Шардоннэ так шардоннэ, — подумал я, — только не забывай, что сказал Юра насчет пристрастия Тирцы к алкоголю.

Тирца заказала вино. И официант тут же принес его. При этом он принес и пиво.

— Знаете, Лев, в этом ресторане пиво, во всяком случае сначала, подают бесплатно, а потом если уж понравится, приносят еще, которое включается в счет...

Легко было понять, что Тирца понимала, так сказать, толк в ресторанах. Ну а этот ресторан она, возможно, знала лучше, чем другие.

Пиво было отменное, что и говорить. Мы выпили сразу по большой кружке.

— Замечательно, — сказала Тирца. — А вино будем пить под мясо. Его нам сейчас принесут.

Вы знаете, я хотела вам еще раньше сказать, что с вами как-то себя свободно чувствуешь. Понимаешь сразу, что вы прожили интересную жизнь и вам есть что рассказать. И еще, конечно, то, что вы умеете слушать других. Это я заметила еще в Хайфе, когда мы увиделись впервые.

Я слушал и изумлялся. Впервые я слышал такие комплименты — да еще от женщины, которые сами любят получать комплименты.

— И потом, — продолжила Тирца —, я заметила, как хорошо вы говорите по-английски. Я уже знаю нескольких человек из России. Так они еле говорят по-английски, и почти ничего не понимают. Я сейчас, например, работаю в аптеке в Кфар-Сабе — так хозяин не знает, что делать с двумя русскими фармацевтами — из-за их плохого английского столько промахов в работе.

Я поспешил уверить Тирцу, что немудрено, что я хорошо выучил английский — все-таки я окончил специальный институт, в котором весь приоритет на изучении английского. Да и вообще, сказал я ей, в Израиле наверняка уже есть немало людей из России с хорошим уровнем знания английского.

— Ах, не скромничайте, Лев. Я вижу в этом ваша слабость. А может, сила?

Я понимал, конечно, что с одной стороны, Тирца говорила от души, а с другой, мне было ясно, что она своими комплиментами еще лучше расставляла свои женские сети, и уже видела, что я весь принадлежал ей.

Подоспело, как говаривали в старых романах, и мясо. Гарнир был обильный. Кормить в Израиле любят и умеют. Это я и потом испытал не раз, бывая не только в ресторанах, но и в гостях у людей. Кормят и вкусно, и обильно. Но Тирца перешла к тостам.

— Лев, хочу выпить за нашу встречу, — произнесла Тирца торжественно. — Я надеюсь, что хотя мы и сидим так в первый раз, но наши встречи будут продолжены. Мне так радостно, поверьте, находиться с вами, около вас.

И каждый осушил до дна бокал шардоннэ.

— А у вас, в России вы часто ходили в рестораны? — спросила меня Тирца.

— Нет, Тирца, совсем не часто, — ответил я. — Дело в том, что ресторанов в Москве, я имею в виду больших ресторанов, в Москве, даже в Москве, столице, было относительно немного, и большие события, ну, например, свадьбы, юбилеи и прочее, отмечались в ресторанах, заранее заказывались залы и даты, а так вот, чтобы посидеть вдвоем, это было редко. И люди чаще всего встречались по домам, в гостях...

— Ах, я этого и не знала, — вздохнула Тирца.

— А тут вам, Тирца, и расстраиваться нечего. У вас совершенно иная, интересная жизнь, а в России только и хотели смять личную жизнь человека.

— Как это так, “смять”? — удивилась она.

Я уже было пустился объяснять что-то из нашей советской жизни, но я видел, что до нее это как-то плохо доходило — вернее, мало интересовало. Такое часто случалось, когда я, работая переводчиком в Москве, старался рассказать иностранцам, чем же Россия с ее социализмом отличалась от остального мира. Такая тема мало кого волновала. А Тирца вдруг снова предложила какой-то тост за нас и наше счастье, и тут же пригласила меня танцевать.

Мы танцевали, и волна желанья уже начинала накрывать меня с головой, хотя спиртное на меня пока еще не действовало. В зале было хорошее кондиционирование, впрочем как и везде в Израиле — да и уже время года было такое, когда духота вечером спадает и дышать намного легче — не то, что летом. Время от времени, глядя Тирце в глаза, я видел, что они как-то помутнели — видимо, винные градусы делали свое дело.

Мы вернулись к столу, и я увидел на нем огромную емкость пива. Наверное, Тирца заказала еще. Принесли какой-то невероятный по вкусу марокканский салат, и я наполнил наши кружки пивом. Тирца выпила свою почти на одном дыхании. Я же понял, что пора приостановить коней и стал погивать пиво мелкими глотками.

У нас еще был заказан жареный цыпленок. Но прежде, чем его принесли, Тирца снова захотела танцевать со мной. По правде сказать, я никогда не получал такого удовольствия от танца с женщиной. И вместе с тем, мне никогда не было так тревожно за свою партнершу. Тирца была явно пьяна, и ее вело в сторону.

Мы вернулись к нашему столику. На нем стояло новое блюдо. И снова две кружки пива. Тирца даже не взглянула на цыпленка, и схватилась за кружку пива. Я попробовал остановить ее. Но куда там!

— Мне никогда не было так хорошо, Лев, — произнесла она.

Это было последнее, что она сказала. Вернее, с трудом выдохнула.

Я не знал, что делать. Тирца заснула — совершенно отключилась. Мы сидели за угловым столиком. И яркий свет, к счастью, не слишком освещал этот угол. В этот момент, я думал только о том, как уйти из ресторана, не делая много шума. Никакого шума. Платить мне было нечем. В кармане было двадцать шекелей.

Снова заиграла музыка. И танцующие пары закрыли от официантов наш с Тирцей столик. Я сумел приподнять Тирцу с кресла, и обняв ее за талию, я буквально потащил ее к выходу. Практически я нес Тирцу на себе, как будто выходил из боя, из вражеского окружения. Она ничего не произносила. Мне даже казалось, что она бездыханна. Оттащив ее на себе поближе к дороге, я принял решение.

В Израиле на каждой дороге и улице есть места, обычно на переходах, где можно нажать кнопку, и к вам очень скоро подъедет “ширут”, — то, что в Нью-Йорке называют car-service, разновидность такси. Так я и поступил. Держа Тирцу одной рукой, я нащупал другой в темноте заветную кнопку и нажал на нее. Буквально через две минуты подкатила машина. Я открыл заднюю дверь и положил Тирцу вдоль всего сиденья. Сам я хотел сесть рядом с шофером. “Эфшар” — сказал он. То бишь, “запрещено”. Я даже не мог разглядеть его лица. Но я понял, что рядом с Тирцей я просто не помещусь, а сдвинуть с места ее я не решился.

“Эйфо?” — спросил шофер. “В Кфар-Сабу”, — ответил я. И захлопнул дверь. И ширут укатил.

Через мгновение меня стала мучать совесть. И страх за Тирцу. Я пытался найти себе оправдание. В такую ситуацию я попал впервые в жизни, и что я мог поделать? Без денег, не зная города, не зная адреса Тирцы, которая спала как убитая.

Потом стало терзать другое. А что это за шофер? Не сотворит ли он что с молодой женщиной? О таких трагедиях все время приходится читать в газетах и слышать по радио. И как я могу узнать что-либо о Тирце? Ведь она не успела мне дать свой номер телефона. И у Юры, по вполне понятной причине, я не мог ничего спросить о Тирце. Получится, что я увел его девушку. И ко всему прочему, потерял ее. Как я смогу что-нибудь объяснить ему? А не ему — то кому?

Я снова нажал на кнопку, и опять очень быстро примчалась машина. Довольно скоро она привезла меня к общежитию. “Кама зе оле?” — спросил я. Шофер сказал, что я должен уплатить ему 50 шекелей. Сорок плюс десять за работу в мацай шабат. Я дал ему двадцать шекелей и попросил его подождать. Поднялся к себе в комнату. Сосед Илюша, как всегда, ночью не спал, и он одолжил мне 30 шекелей. “Можешь вернуть не сразу”, — сказал он. Бывают же такие люди, — подумал я. Я вернулся к шоферу и отдал ему эти тридцать шекелей.

Когда я возвратился в свою комнату, то Илюша спросил меня, почему я такой запыхавшийся и расстроенный. Я решил не отвечать на его вопросы, но не мог заснуть всю ночь.

Утром я спустился вниз, и спросил у дежурного, не звонил ли мне кто, не передавали ли какую-то просьбу. Но никто не звонил, и никто меня ни о чем не просил.

Днем я позвонил Юре. Хотел спросить его о Тирце, но не решался. Говорили о том, о сем, но в конце разговора я все же задал ему вопрос о Тирце.

— Ты знаешь, Лев, я ее не видел и не говорил с ней уже дня три, — ответил Юра.

Прошло три дня. Тирца мне не звонила. Мне в голову лезли всякие страшные мысли. Я даже боялся смотреть телевизор или слушать радио. Я себя успокаивал тем, что если бы с Тирцей что-то произошло, то все в общежитии только бы об этом и говорили. Плохие новости распространяются быстро.

Единственный, у кого я мог узнать хоть что-то о Тирце, был Юра. Я опять позвонил ему. Но он говорил почему-то непривычно холодно, а о Тирце он не сказал ни слова.

Мне было ясно, что я смалодушничал, но каждый раз, думая о том, что случилось, я находил себе оправдания. Но Тирца исчезла совершенно. Да и от Юры звонки становились все реже.

За суетой дней и дел эта история стала забываться...

Пять лет спустя, летом, я прилетел в Тель-Авив из Парижа.

Обстоятельства сложились так, что после полутора лет жизни в Тель-Авиве я потерял работу у Нудельмана и никак не мог найти ничего подходящего. Мне говорили: иди преподавать английский детям, преподаватели всегда нужны, но мне, честно говоря, так за долгие годы жизни в Москве надоело работать в школах, возиться с непослушными детьми (а в израильских школах они часто просто неуправляемы), и мне не хотелось впрягаться в старую лямку.

Как-то проходя по улице Монтефиори, я заглянул в туристическое агентство. Начал изучать, какие маршруты в нем предлагают. Глаза разбегались от всех предложений. Цены, правда, были ужасно высокие. Но я все же за год работы переводчиком сумел отложить кое-какую сумму и мог позволить себе хотя бы раз совершить путешествие.

Взгляд мой упал на Париж. Что может быть лучше? Вспомнил мою маму, которая, никогда не была в Париже и от которой с детских лет я слышал столько о Франции, Париже, французском языке.

Дух у меня захватило от мечты поехать в Город Света! Была не была, — подумал я. Работы у меня в Тель-Авиве пока нет никакой, когда мне еще удастся поехать в Париж? И я заплатил деньги за поездку в Париж. За путешествие на самолете в оба конца и за двухзвездочный отель.

Отель мой был недалеко от Латинского Квартала, в самом центре города, и первые три дня я, совершенно восторженный, бродил по городу, и просто не мог себе представить, что нахожусь в городе, о котором столько читал, о котором мечтают все люди в мире, и о котором мне столько говорила мама!

В Париже понятно, никого у меня не было, и я был предоставлен самому себе. Спасло то, что я все же немного помнил то, что мне преподавали на французском в институте в Москве, но с той поры прошло четверть века. Но все-таки кое-как я, перемещаясь по городу, мог общаться с парижанами. На четвертый день, проснувшись, я решил взглянуть в мою записную книжку. Дело в том, что у меня был один старинный приятель, Игорь Николаев, который уже, насколько я знал, давно жил в Париже. Мне его телефон дала одна наша общая знакомая в Москве, сказав, «будешь в Париже, найди Игоря, передай ему от меня привет». Тогда в Москве, собираясь в Израиль, я не придавал значения ее словам. А теперь подумал, а почему бы не позвонить Игорю?

И я позвонил ему. Совершенно неожиданно — ведь прошла пропасть лет с тех пор, когда он уехал в Париж — Игорь обрадовался моему звонку. А я-то думал, что он уже давно забыл мой голос.

— Слушай, старик, — сказал он, — я так всегда рад, когда кто-нибудь приезжает из России.

Вечером того же дня я встретился с Игорем в одном кафе недалеко от Нотр-Дама. Разговорились — ведь не виделись сто лет! В свое время он уехал из Москвы,

познакомившись с одной молодой француженкой, которая работала по контракту в АПН, но срок работы у нее уже почти истек. Завязался бурный роман буквально в последний месяц ее работы в Москве, а потом Игорю удалось всеми правдами и неправдами уехать в Париж и там он женился на своей возлюбленной. Правда, потом, как Игорь сказал мне в кафе, они разошлись.

— Прошла любовь, — объяснил он мне со вздохом. — Знаешь, не сошлись характерами.

Что ж, бывает — подумал я. Теперь уже несколько лет Игорь жил один, снимая комнату на улице Камартэн.

— А чем ты занимаешься в Израиле? — спросил меня Игорь.

Я ответил, что обучаю шахматам детишек, даю частные уроки. И еще работаю переводчиком для Министерства образования.

— Не бог весть что, — прокомментировал мой приятель. — Наверное, гроши получаешь, а занят много. Замучаешься так, в конце концов.

Я ничего не ответил. А у Игоря вдруг на лице появилось задумчивое выражение. Видимо, какая-то мысль пришла ему в голову.

— Послушай, Лев, ты знаешь, что в Париже есть такая газета “Русская мысль”?

— Да, конечно — ответил я.

В Москве мне доводилось, может быть, пару раз держать в руках эту старую газету русской эмиграции. Знал я, что ее основателем, среди других русских эмигрантов, был знаменитый Иван Бунин.

— Так вот я о чем думаю, Лев, — продолжал Игорь, — у них в газете до недавнего времени шахматную рубрику вел такой Аверьино. Владимир Семенович Аверьино. Он был с белыми и в юности уехал во Францию. Белым остался на всю жизнь. В шахматах он, насколько я понимаю, разбирался слабо, но всю жизнь, с основания газеты в 47-м году, вел шахматный отдел в “Русской мысли». Довольно занятная была шахматная колонка в газете. От шахмат там было мало. Я так понимаю, что Аверьино за шахматной жизнью следил мало, но литератор он был неплохой, и его рассказы, даже скорее байки, читателям нравились. Особенно, думаю, сверстникам Аверьино, которые так же, как и он, оказались когда-то в Париже. Сейчас он, говорят, очень болеет. Что и говорить, человеку уже за девяносто. И вряд ли он будет опять писать для газеты.

— Ты знаешь, Игорь, я даже никогда не слышал о нем в Москве.

— Да о чем вы там вообще слышали? В крайнем случае, о Нурееве или Барышникове...

В голосе Игоря слышалось то презрение, которое русские, оказавшиеся на Западе, непременно выражают по отношению к России...

— Ну да ладно, Лев, попробую организовать тебе встречу в редакции. И может, получится так, что ты будешь работать для газеты. Вести шахматный отдел. Опыт у тебя ведь есть, я знаю. Ты, я помню писал для русских шахматных газет...

— Да, было такое. Признаться, о такой работе я бы мог только мечтать...

Мы еще некоторое время посидели в кафе, а потом Игорь куда-то заспешил. На прощание он мне сказал, что он мне скоро позвонит — как только наведет справки о том, что происходит с шахматным отделом в “Русской мысли” и договорится о том, чтобы меня приняли в редакции.

Что и говорить, разговор с Игорем взбудоражил меня. Я и раньше писал, время от времени, статьи для шахматных журналов — и для “Шахмат в СССР”, в котором работал редактором Юрий Авербах, и для рижского “Шахса”, у истоков

которого стоял Михаил Таль. Но то были эпизодические статьи, а тут маячила возможность вести постоянную еженедельную рубрику! И не где-то, а в Париже — да еще в очень известной русской газете.

Вдруг я вспомнил, что когда-то на моей работе в Москве кто-то принес “Русскую мысль”. Я попросил дать мне ее домой на пару дней. Хотелось почитать газету, просто поддержать ее в руках. “Ладно, возьми ее, Лев, но с возвращением, пожалуйста, — было сказано мне, — и ни в коем случае не читай ее в транспорте. А то заметут тебя, и потом неприятностей не оберешься». И вот в такой газете я, может быть, буду работать. В жизни, и правда, происходят какие-то чудеса!

Игорь не подвел меня. Буквально через три дня он позвонил в мою гостиницу и сказал, что назначил мне встречу с главным редактором “Русской мысли” Ириной Алексеевной Иловайской-Альберти.

— Лев, — сказал он, — постарайся, будь точен, не опаздывай. — Ирина Алексеевна любит точность, и кроме того, не всякий может получить у нее аудиенцию.

Честно говоря, имя Иловайской мне в ту пору еще ничего не говорило. О ней мало кто знал и в СССР. Известность на родине ее предков пришла к ней после развала СССР, когда впервые за долгую жизнь, она поехала в Москву и начала выступать там с лекциями. Были выступления, насколько я знаю, и на радио, и на телевидении. Она была исключительно образованным человеком, блестяще говорила на шести языках. Самым удивительным для меня было то, что по-русски она говорила так, как говорю я, как говорят в Москве те, кто всегда жил на Арбате! И это при том, что впервые, я повторяю, она поехала в Москву, когда ей было под семьдесят.

Ирина Алексеевна родилась в Сербии в 1924 году в семье генерала Иловайского, сподвижника Врангеля. Ее отец умер в Сербии и похоронен рядом с Врангелем. Их род восходит к одной из дворянских династий в России. После революции ее семья прошла путь булгаковских героев. Бегство, или, как написал Булгаков, “бег”, через Новороссийск и Константинополь. А потом Париж...

Вряд ли был человек на свете, который больше ненавидел СССР, чем Ирина Алексеевна. Мне довелось говорить с людьми, знавшими ее близко, много я и читал о ней. Вскоре после Второй мировой войны она вышла замуж. Муж ее был итальянцем, и к фамилии Иловайская добавилась вторая фамилия — Альберти. Французы называли ее мадам Альберти. Муж Ирины Алексеевны к тому времени, когда я начал работать в газете, умер. Он был известным журналистом, потом занялся политикой. Был одно время замминистра иностранных дел в правительстве Италии. Ирина Алексеевна жила на два дома. У нее была квартира в Париже, но часто она ездила и в Рим, где у нее был дом. По своему рождению она была православной, но после брака с итальянцем она, это бывает редко, приняла и католичество. Поэтому русская газета в Париже исповедывала две ветви христианства. В газете была, например, страница, где приводились даты богослужений каждую неделю — как православных, так и католических.

Когда Ирины Алексеевны не стало, то ее потерю для мира сравнивали с уходом Андрея Сахарова и академика Лихачева.

Обо всем этом я узнал потом — а не тогда, когда шел на встречу с Иловайской январским утром 91-го года.

Игорь Николаев успел предупредить меня, что я должен, как он сказал, «показать» Ирине Алексеевне — при этом я не должен давить ее интеллектом, и меньше всего говорить о шахматах. “Она в них ничего не понимает”, — заметил он. — “Главное, — добавил Игорь, — не произноси слово “СССР” — это для нее как красная тряпка для быка!” Этот совет я запомнил крепко-накрепко.

Редакция газеты находилась на авеню Фобур-Сент-Оноре, престижнейшем районе Парижа, рядом с Елисейскими Полями. Даже простая прогулка в этом районе с таким головокружительно звучащем на французском названии возносила мой дух в иные сферы.

Ирина Алексеевна приняла меня в своем кабинете. Она выглядела старше своих лет. В ее глазах светился ясный и все постигающий ум. Когда я сидел перед ней, то я чувствовал, что она видит меня насквозь. Но интересно то, что, принимая меня на работу в газете, бывшей в течение пяти десятилетий эмигрантским флагманом в борьбе против коммунистической России, Ирина Алексеевна не давала мне никаких советов и наставлений, в каком фарватере я должен держать себя как журналист. Видимо, она сразу поняла, что у нее со мной никаких идеологических расхождений быть не может.

— Лев Давидович, — она, видимо, звала так, по-отчеству, всех, кто жил в России, — можете готовить материал к новому номеру. У меня было несколько кандидатов на то, чтобы вести шахматный отдел. Но я выбираю вас. Я вам верю.

Возможно, это был самый важный момент в моей жизни.

На следующий день мне позвонил Игорь.

— Старик, поздравляю, — сказал он, — ты принят. Ты даже не представляешь, куда ты попал, где будешь работать. Успеха тебе. Слушай, мне передавали мнение о тебе мадам Альберти. Она сказала, что не видела никогда такого человека из России. Она думала, что там только большевики и нет интеллигентов. Она даже спросила, как с такими людьми, как ты, страна докатилась до полного падения!

— Ладно, Игорь, не преувеличивай, — ответил я.

Почему-то я подумал о том, как Ирина Алексеевна сказала, что она уже видела несколько кандидатов на то, чтобы вести шахматный отдел. Я подумал об одном из них, весьма сильном шахматисте, гроссмейстере. Я его неплохо знал. Наверное, он начал спрашивать редактора о том, будет ли он получать медстраховку, пенсию по достижении пенсионного возраста, будет ли ему идти журналистский стаж... В общем, сибирский Растиньяк в Париже!..

Должно быть, это не понравилось Ирине Алексеевне. А я вот такие вопросы не задавал, и это Ирина Алексеевна оценила.

Через день Игорь снова позвонил мне.

— Лев, слушай, такие дела. Звонили из “Русской мысли” и сказали, что требуют настоятельно, чтобы ты жил в Париже. Если решил писать для газеты. У меня голова кругом идет. Мне так хочется помочь тебе.

Я заволновался. Ситуация была, что называется, хочется да колется! И писать для такой газеты хочу... но уезжать из Израиля... хотя у меня в общем-то там ничего не было.

Игорь угадал ход моих мыслей.

— Я знаю о чем ты думаешь. Риск для тебя небольшой. В конце концов, как я тебя вижу, ты — человек мира, и тебе никогда не будет ни слишком хорошо, ни слишком плохо. Я, наверное, прав, а?

— Не знаю, не знаю, Игорь. Но знаешь, такие вопросы не решаются с бухты-барахты. Надо подумать...

— А я уже подумал, — воскликнул Игорь. — У меня, вернее, у моей бывшей жены есть кузен. Он живет в Париже, у него маленькая комнатка, около метро Сталинград. Это недалеко от центра. Он на-днях уезжает в Нормандию, получил там работу врача. И он будет тебе сдавать, но по самой дешевой цене. Вывер-

нешься. Газета, я знаю, будет тебе неплохо платить. Да и уроки шахматные найдешь. Уж точно будет не хуже, чем в Израиле... А французский ты, кажется, сам мне рассказывал, в институте учил...

Так я стал французом...

Да, так вот. Пять лет спустя Йоханан Афек пригласил меня приехать в Тель-Авив, чтобы немного отдохнуть в августе. Конечно, я с удовольствием откликнулся на его приглашение. Жил я у него в квартире на бульваре Бен-Гурион. Совсем недалеко от моря.

Купаться я ходил рано утром. Уже после 9 часов утра на пляже невозможно было находиться. Такая жара!

И вот как-то рано утром часов в шесть иду я по бульвару Бен-Гуриона, сворачиваю на аллею к морю и вижу: сидят три мужика, без сомнения, евреи, и без сомнения, из России, и распивают «смирновскую» водку. В такую рань! Может быть, даже ночью не спали.

И вдруг в одном из них, сидящем посередине, узнаю Юру Трахмана! Не может быть! Юра никогда не пил. Только когда мы ходили в кафе. Я думал, что я обознался. Подошел ближе. Нет, точно Юра. Бог мой! До чего он дошел!

Он и раньше был бледен, а сейчас был как серое полотно, какой-то выцветший с безжизненным взглядом.

Я остановился перед мужиками.

— Эй парень, подклячайся, — сказал мне один, сидевший справа от Юры. — Если хочешь с нами поделиться, то гони монету.

Какой ужас! Эмигрировать, уехать из страны где родились, чтобы начать новую жизнь! И вот такой финал!

Я стоял, как вкопанный, а Юра глядел куда-то в пространство, даже не глядел, ибо у него были какие-то стеклянные глаза. Потом он повернул голову и безжизненно посмотрел на меня. Я молчал.

— А, Лев, — сколько лет, сколько зим! — воскликнул он. — Где ж ты был все это время? Я тебя искал...

Я поразился тому, что он меня узнал. Он еще что-то помнил, но жизнь из него всякая ушла — и в этом был весь ужас. Хороший, добрый, безбидный человек. Куда он пропал? Куда он, этот человек, вышел из него? Ведь осталась одна оболочка.

— Юра, как дела? — спросил я, даже не надеясь получить ответ.

— Какие дела? Обычные. Живу кое-как. Видишь, не пропадаю. Но мамы давно уже нет, а сестра про меня забыла, как я начал пить. И уже, знаешь, не могу не пить. Вот и все мои дела...

— А я помнил о тебе, Юра, все эти годы. Как я приехал в Израиль. И как мы дружили...

— Лев, может, выпьем за встречу, составь нам общество...

— Да не хочется сейчас, Юра, рановато... Слушай, а Тирцу помнишь?

— Тирцу? Какую Тирцу? — Он напрягся, чтобы что-то вспомнить. — А, помню, но не знаю, где она. Не трожь, Лев, Тирцу. Это мое светлое...

Я не знал, что сказать. Всё вспомнилось. И наши встречи с Юрой, когда я приехал в Израиль. И как я читал ему стихи Блейка, и Хайфа, и встреча с Тирцей.

И ужин с Тирцей в ресторане. И то, что случилось с Тирцей. И всё, и всё... Как это было давно!

— Слушай, Лев — не в службу, а в дружбу. Деньжат не дашь, а то я должен ребятам...

Я протянул Юре все, что было в карманах шорт. И пошел дальше...

Два дня спустя я поехал с Йохананом в центр, потом Йоханан поехал на какой-то шахматный урок, а я зашел в итальянский ресторан—пищерию на площади Дизенгоф, сел за столик и заказал мою любимую пищу с грибами.

И вдруг к столику буквально в пяти метрах от меня подходит пара, мужчина и женщина. В прогулочной коляске у них девочка лет полутора. Они устраиваются за столом. Я смотрю на женщину. Тирца! Один сюрприз за другим. Но этот сюрприз приятный! А я-то думал все эти годы, что с ней что-то произошло. И по моей вине.

Я не решался смотреть на ее лицо. Стеснялся что ли, трудно сказать. А потом взял и посмотрел ей прямо в глаза. И по тому, как она безучастно взглянула на меня, я понял, что она меня не узнала. И слава Богу!

Когда мне принесли мою пищу, я начал спокойно есть, понимая, что Тирца не узнала меня, и смущаться нечего. Я посмотрел на ее мужа. Девочка была похожа на него, но глаза у нее были мамыны...



Дмитрий Бобышев
ЧЕЛОВЕК ОТЕКСТ
Трилогия
Книга первая. "Я здесь"

(продолжение. Начало в №12/2014 и сл.)

Крымские дачники

К разгару белых ночей квартира на Таврической опустела: Бобышевы всем семейством уехали на дачу в Крым, а я оставался доделывать курсовые проекты и держать очередные экзамены — их общее количество, если считать с 7-го класса, уже исчислялось многими десятками: сколько невидимых миру нервных напрягов и надрывов!

Сад вваливался в раскрытые окна, небо было прозрачно расцвечено если не карамелью, то акварелью: вечерние зори в нем занимались прохладными нежностями со своими выходящими в утреннюю смену товарками. Науки меж тем всё усложнялись, и сочетать их с экстазами по поводу великого поэтического поприща бывало нестерпимо. Я уходил из дому в ночную тень — к уже розово освещённому по верхам Смольному собору, где изредка попадались подобные мне тени сверстников и сверстниц, томимых тем же брожением. Одна из них присоединилась ко мне:

— Можно с тобой? Я — Бэлка.

— Почему не «белочка»?

— Диминитивов не обожаю.

Ладная, подкрашенная блондинка, глаз — голубой, манеры свойские. Учится на шведском отделении университета, расположенном в античном тупичке сразу же за монастырем. Общежитие — там же. Шпионскую школу, конечно, знает. И более того — многократно туда ходила, и на танцы, и так. Что значит «так». То самое и значит — там же и была завербована в эти самые, в шпионки.

Мы с ней подружились именно потому, что я ей не поверил. Ну, не может же настоящая шпионка так вот выкладывать первому встречному всю конспирацию... Просто, должно быть, хотела по-своему удивить, произвести впечатление. Что ей, кстати, и удалось!

Нет, на следующую встречу притащила крохотный фотоаппаратик, явный диминитив, — не смогу ли я, мол, определить, испорчен он, или это она что-то не так с ним делает? Потом говорила о сложностях кодировок и уже совершенно непреодолимо трудных зачётах на шведском отделении. Я ей — о предчувствии необычной судьбы и тоже об экзаменах. Исчезала на недели. Наконец, исчезла на годы. И вот вдруг звонит, чтобы встретиться. Боже! Появляется советская вобла в двубортном костюме, сияет золотыми фиксами, и сразу — в койку:

— Расскажу всё потом...

— Никаких «потом», где ты, что ты?

— В Ту-у-ле, на одном предприятии, начальником первого отдела. Командировку себе выбила, — думаешь, это легко с моей секретностью?

И тут я в её бывшее шпионство поверил, — начальницей секретного отдела за так просто не станешь, тем более на оружейном заводе. А в Туле — только такие. Ну, конспираторша, сколько военных тайн ты можешь выдать?

Нет, в Джеймсы Бонды я не годился, не получался из меня и путный технолог-механик — о последнем стали догадываться, к сожалению, даже преподаватели. Сдавая проект по «Машинам и механизмам» Кирилову, чей бритый череп с нависшим лбом воплощал техническую мысль, я услышал от него укор с прищепотом:

— Какой же из вас, Бобышев, инженер получится, если вы гайки чертите с пятью гранями? Вы что, собираетесь изготавливать нестандартные гайки? Рабочие вас засмеют.

— А сколько их нужно?

— Чего — гаек? Рабочих?

— Нет, граней, конечно...

— Вот видите, вы даже вопрос правильно задать не умеете...

Уел меня на русском языке. А доцент Шапиро — на «Насосах и компрессорах». К его экзамену я готовился один, а к переэкзаменовке — вдвоём с Блохом, тот же экзамен завалившим. Пересдавали кое-как, но я получил троечку, а Блох — четверку!

Бывали и обратные варианты. К физической химии меня натаскивала Галя, считавшая долгом своей жизни выручать поэтов. Совсем недавно я как поэт вырос в её глазах, прочитав нервные и размашистые строфы из «Февраля на Таврической улице».

*Каждый угол на этой улочке,
затвердившей его ненастье,
был обшарен глазами колючими...*

Она дала им самую высшую оценку, на какую только была способна:

— Знаешь, это даже лучше, чем у Женьки.



Галочка Руби, 1956 г.

Натаскивала она меня упорно и сама на экзамен пошла раньше, чтобы успеть рассказать мне об обстановке, прежде чем я пойду отвечать. А принимала совсем новая преподавательница Нина Андреева, молодая, не без некоторой даже привлекательности дылда, и никто не знал, что она такое.

Выходит Галя — бледная, аж в зелень:

— Пара!

— Как?! Тебе — пара! Что ж тогда я получу? Минус-двойку?

— Иди, иди, ты получишь четвёрку.

Так оно и вышло. Русские фамилии получили четвёрки-пятёрки, еврейские — двойки-тройки. Ну, что было делать? Из протеста отказаться от спасительного балла? Тогда получились бы у меня две переэкзаменовки, что означало исключение из института. Впрочем, Галя пересдала на следующий день заведующему кафедрой.

А Нина Андреева преуспела, если не в физхимии, то в политике, и в годы перестройки даже возглавила партию сталинистов...

С тяжёлым чувством накопленных неудач я встал в длинную очередь на поезда южного направления. Очередь пересекала по диагонали кассовый зал, расположенный под башней, в бывшей Городской думе на Невском. Я пытался развлечь себя, сосредоточившись на томике Дос Пассоса, но мысли разбегались, в голове мелькали какие-то смутные сцены. Вот, например, — выгородка из того же зала, окна на Невский раскрыты, оттуда врываются сырой холод и шипенье троллейбусных шин по мокрому снегу. Но внутри жарко надышано, полно народу. Это явно эпизод из будущего: седоватый лысеющий мужчина «весь в заграничном», одолевая голосом уличный шум, читает стихи, и дата подтверждает — сегодня второе января 1989 года. Прилетев накануне «с того света» и встретив Новый год на Тавриге, я выступаю в Российском культурном Фонде. «Впервые после десятилетнего отсутствия», — как объявил секретарь Фонда. Да и вообще, считай, такое — впервые в жизни. В передних рядах раздражённые возгласы, в задних — большой одобряж, а в целом — сосредоточенное изумление: «Неужели это все взаправду?» Я читаю «Русские терцины».

— Перестаньте издеваться, позорить Россию!

— Нет уж, раз я решился высказать самое главное, так хоть сажайте, хоть сегодня же высылайте из страны... Здесь ведь не только личные мысли. Это — психоанализ моего русского «мы».

*А может быть, твердить ещё больней, —
да, мы рабы, рабыни и рабёнки,
достойные правителей, ей-ей.*

Это — далёкое предчувствие...

А вот опять — воспоминание о евпаторийском лете: мы с братом Вадимом спим на койках под деревом в абрикосовом саду. Я пробуждаюсь от резкого крика: на черепице соседнего дома сидит павлин, завесив хвостом чердачное окно и переливаясь золотом с зеленью по кобальтовой глазури. Вновь пронзительно крикнул и полетел, таща за собой ворох красивицных глаз на хвосте....

Путешествия во времени попеременно с невнимательным чтением были вдруг прерваны, когда моя очередь приблизилась к кассе:

— Вы не могли бы мне взять билет до Евпатории?

Чуть моложе и чуть выше меня. Вроде как абитуриент.

Голос интеллигентный, хотя и силоватый и немного грассирующий. Можно и отказать — вон сколько людей стоит позади, а вы, мол, без очереди... А можно и согласиться — в кассе действительно дают по два билета и случай мне предлагает попутчика.

— Хорошо. Давайте деньги.

— Вот вам без сдачи.

Это был Володя Швейгольц, ставший не только нескудным спутником для двухдневного путешествия, но и пляжным приятелем моих крымских каникул, за-

тем перейдя в разряд питерских более или менее литературно-богемных знакомств. В компаниях его звали просто Швейк.

Ещё в поезде начался наш книжный спор на извечные русские темы: Толстой или Достоевский? Пушкин или Лермонтов? Да русский ли только этот спор? А Гёте или Шиллер? И вообще — классицизм или романтизм? Швейк мёртво отстаивал идеи не столько даже Достоевского, сколько его героев: подростка Долгорукова, Ивана Карамазова и, увы, роковым образом Родиона Раскольникова. Но спорщиком я уже был заядлым и то и дело дожимал аргументами юного нищезанца.

Зато он обучил меня множеству практических вещей, годных на все сезоны. Например: позавтракай супом и до пяти часов не вспоминай о еде. Или на зиму: пока молод, носи с юмором боты «прощай молодость», причём, на размер больше: тепло и дешево, и в гостях, легко скинув их, не натопчешь. Этому совету я долго сопротивлялся, откуда он не посетил меня на Таврической и, скорей всего, нарочно оставил свои боты, и однажды в злобно-морозный день я их всё-таки надел да так и проходил в «ботах от Швейгольца» до конца зимы.

А на лето — в качестве пляжного костюма купи за 12 копеек детские трикотажные трусики, и на твоих взрослых чреслах они приобретут тутую элегантность!

Швейк обитал с матерью и сестрой на другом конце городка, пронизанного сетью малых, как швейные машинки, трамваев, но, видимо с утра зарядившись питательным супом, приходил напрямую по берегу на нашу часть пляжа, и мы целые дни проводили, как олимпийские боги. Ровный жар солнца сверху и снизу, отражаемый белым ракушечным песком, невесомая голубизна прозрачного мелководья, сочетания в одной перспективе самых крупных и самых дальних планов (я все ещё увлекался фотографией) — например, загорело-округлого плеча с белой полоской от вчерашней бретельки с невмещаемой и неохватной синью горизонта — всё это пitalо не хуже, чем утренний кулеш.

У Швейгольца было несколько вытянутое, «эль-грековских» пропорций тело, и плавал он, как торпеда. Хотя и самоучка, он вызвался мне преподать, как плавать истинным кролем. Учился (и учил) он по брошюре Джонни Вейсмюллера «Мой американский стиль плавания». Кто такой Вейсмюллер? Да его весь мир знает — чемпион по плаванию, приглашенный Голливудом на роль Тарзана!

Неужели — Тарзан? Пловец, сложенный, как Аполлон, но вдвое крупнее своего мраморного образца! Я с воодушевлением стал следовать довольно странным заповедям героя нашего отрочества. Чем причудливей, тем верней они казались: «Грудь работает в качестве киля». — «Ноги должны лишь поддерживать положение тела». — «Руки — это мотор. Но главное умение — не напрягать их, а расслаблять». «Вдох из подмышки». И так далее, похоже на «дыр бул шыл убешур».

Но на сегодня хватит плавательных наук, идём лучше исследовать лиман. В Евпатории только и говорят о лимане, о его целебных грязях, недаром здесь столько костно-туберкулезных санаториев для детей. Когда маленькие калеки колонной по двое пересекают пляж в корсетах, с костылями и ходулями, песок еще более замедляет их шаг, и переждать, пока они, ковыляя, освободят тебе путь, занятие нестерпимое.

Наконец, они миновали, и мы идём вдоль побелённых стен из ракушечника, пыльных ветвей абрикосов, серой листвы диких маслин. Туда же направляется и нарядная юная дама, ступает и держится, попросту сказать, грациозно. Она решается заговорить с нами:

— Простите, не эта ли дорога ведет на лиман?

— Надеемся... Мы сами туда путь держим.

Высокая брюнетка, а глаза синие. Пока идем, знакомимся:

— Володя Швейгольц, выпускник школы.

— Дима Бобышев, студент Техноложки.

— Оля Заботкина, балерина.

Потрясающе! И все трое — из одного города. Да, она бывала на подобных курортах, но здесь впервые. Эти скучные пыльные места, эти грязи — обычный профессиональный удел для многих балерин. Она живет у Курзала в доме отдыха. Да, я, возможно, могу зайти навестить её, но она ещё не знает, когда... Она так часто бывает занята. Завтра к тому же двухдневная экскурсия в Ялту.

Что это — вежливый отказ или робкая форма приглашения? Неземное создание исчезает в дощатой кабинке для процедур. Плоский лиман с застойной илистой водой не представляет никакого зрелища. Но ещё несколько лет мне было интересно следить за её яркой, но, увы, краткой сценической и экранной карьерой.

А вот ещё одно пляжное знакомство — солнечная девушка по имени, кажется, Света из Москвы. Во всяком случае, по фамилии Савельева, это точно. Да, Света Савельева звучит так, что я сразу вспоминаю хрупкое изящество, которое мучило не только нас со Швейгольцем, но, кажется, и её саму. «Не Саломея, нет, соломинка скорей» — подошло бы к её облику в ту пору более всего, но этих стихов мы ещё не читали. Легко и сухо пахло от её волос, а чистота глаз менее всего казалась пустой. Возможно, взгляд её наполнял удовольствие быть собой, скорее, чувствовать себя в восторженных апелтигах двух загорелых парней, но ответить им она была ещё не готова. Швейк проводил её с пляжа домой и назавтра был мрачней тучи: от ворот поворот. Попробовал я — с чуть большим успехом. Прощаясь, почувствовал и запомнил её запах и вкус, лепет нежных обещаний, обменялся с ней адресами, помаялся и забыл.

А через несколько лет от неё посыпались письма как продолжение того прощального лепета, многостранично исписанные красными чернилами. От красных букв пестрило в глазах, каждое слово кричало. Я был тогда в очередном личном кризисе, из глупой гордости разводясь с женой, наперекор своему (и, кажется, её) желанию. Московская корреспондентка настаивала на встрече.

Наконец приехала, останюясь в туристской гостинице. А мне её некуда даже было пригласить. Посидели у неё. Тётка как тётка. Поплакала. Уехала.

Готовясь к отъезду из страны, я разбирал наслышшуюся корреспонденцию — что-то на выброс, что-то на хранение, а что-то и попытаться вывезти с собой. Вот пачка её писем, надо бы их выбросить. Перед экзекуцией решил в них заглянуть, дать ей полепетать напоследок. Открываю одно письмо, другое, третье — и не верю глазам. Четвёртое, пятое — всё то же самое: бумага пуста, и ни человека, ни текста! Предваряя наваливающийся на меня мистический трепет, я успел ухватиться за объяснение: красные чернила выцветают быстрее, чем память.

Лето 1955 года склонялось к концу, и я не забыл об уговоре с Рейном навестить его в Мисхоре, где он должен был находиться в это время с матерью Мариной Александровной, преподававшей в Техноложке немецкий язык. Мисхор — это где-то за Ялтой, а в Ялту я уже ездил в прошлые крымские каникулы с Вадиком и его отцом. Вспоминалась долгая автобусная поездка, жара, Никитский ботанический сад, где мы с Вадимом, загоняя в пальцы колючки, пополняли тайком кактусовую коллекцию дяди Тима, помнился и экзотический ночлег в гостинице.

— Ничего, краденые цветы лучше растут, — говорил нам в утешение добродушный дипломат, укладываясь на бильярдном столе, который был предоставлен нам за неимением лучшего места.

В общем, поездка в Ялгу представлялась мне сложной, а Швейгольц был очень не против составить мне компанию, и я опять взял его в попутчики.

В изнурённую жарой Ялгу мы приехали к вечеру, дальше автобусов до утра не было. На такую роскошь, как бильярдный стол для ночлега, мы не рассчитывали. Решили идти ночью пешком. Когда вышли на Царскую тропу, с горы упала тьма, но над морем взошла полная луна, зачернила кипарисы, засеребрилась, зафосфоресцировала на воде, словно десяток Куинджи. На запаха остывающего асфальта накатывали валы хвойных ароматов, запахи сухой глины, сладкие выдохи медуницы и ночного табака.

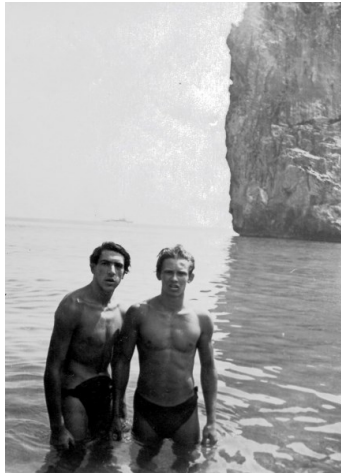
Сипловато, но музыкально мой попутчик нарушил тишь, вполголоса запев романс «Выхожу один я на дорогу...» Положим, не один, а вдвоём, и путь совсем не кремнистый, но звезда всё же заговорила со звездой, в небесах было и в самом деле «торжественно и чудно», и Лермонтов состоялся. Затем, к моему удивлению, Швейк сымитировал голосом сложнейший квартет Бетховена, расчлняя его на партии, а к концу пути перешёл на фортепьянные импровизации нашего изумительного джазового гения Цфасмана.

Мой приятель и спутник, одарённый не только музыкально, но, как утверждал он, и математически, всё-таки кончил плохо: он стал убийцей. Да, убийцей, и об этом я расскажу позже.

Итак, мы ещё затемно входили в Мисхор.

Женька-друг в одних трусах захлопотал у калитки, не пуская нас, однако, внутрь.

— Понимаешь, если б ты был один, а то вы вдвоём...



Рейн и Бобышев в Симензе, 1955 г.

В глубине постройки слышались властные модуляции женского голоса, возня, и через минуту Рейн вышел к нам с двумя одеялами. Утро мы встретили, лёжа на земле в парке, головами прислонясь к валуну. Кверху по склону горы в кипарисах прятались дачи, прямо перед нами садовник поливал огромную клумбу с цветочными часами в середине, внизу блестело море с торчащими из воды скалами.

— А где же Мисхор?

— Вот это он и есть. Тут бывают многие знаменитости. На днях, например, был Козловский. Подплыл сажонками вон к тому камню, взобрался на него и спел: «Плыви, мой чёлн, по воле волн».

— Сажонки... При чём же здесь чёлн?^{1 SEP}

— Ну что ты хочешь от тенора!^{1 SEP}

— Кстати о сажонках... Вот этот молодой человек обучает меня американскому стилю плавания по методу Джонни Вейсмюллера. Как, ты не знаешь, кто такой Вейсмюллер?..

За день мы прошли и проехали по основным красотам и снегошнбательностям курортного Крыма: поднимались на Ласточкино Гнездо, откуда якобы прыгал в море Женькин геройский приятель Генка Штейнберг, постояли в Ливадии, словно цари, на мраморной галерее, прогулялись по запущенному парку, где наш путь пересёк павлиний выводок, и заключили прогулку нестерпимым великолепием бухты и скал в Симеизе. Будущий убийца деликатно молчал, когда два поэта обсуждали свои литературные дела и планы, и оказался как нельзя кстати для фотографирования. Я привёз с собой камеру и выстраивал сложные игровые композиции на скалах — например, «Дедал и Икар», а Швейгольцу оставалось только нажать на спуск. Я был готов взлететь, Рейн меня и благословлял, и предостерегал от падения.

Турнир поэтов

«Технически» Рейн был старше меня всего на три с половиной месяца, но его день рождения приходился на самый конец декабря предыдущего года, и это «старило» его на целый год — обстоятельство для юных компаний заметное.

Но не это было причиной того, что я, хотя и с оговорками, всё же признавал его старшинство.

Сначала — оговорки: мы поступили в институт день в день, в одну и ту же группу, ходили на те же лекции, нервничали во время тех же экзаменов, знали не только слабинки один другого, но и неблагоприятности, и это нормально, из этого складываются отношения однокашников.

Делала его старше какая-то изначальная ненаивность, какой-то скрывае-мый, пережитый ранее опыт унижения, стыда или страха, экзистенциальный, как говорили тогда, опыт, не только отделивший его от остальных, «неопытных», но и позволивший ему их использовать даже с некоторым игровым азартом. Это, впрочем, касалось дел околбытовых, и тут уж он не позволял себе пожертвовать ни единым пустяком — ни ради дружбы, ни ради хороших отношений, ни просто так, ради чужого удовольствия.

Зато он был самозабвенно предан поэзии, и не только своей, но и моей, Наймана, Заболоцкого, Смелякова, Гитовича, Сельвинского, Лапина и Хацревина, Артюра Рембо и Тихона Чурилина. И он знал много о нашем предмете, любил это демонстрировать, а мне только того и надо было: то, что он сообщал о поэзии, укладывалось в багаж на всю жизнь — факты, тексты, оценки, порой вместе со вздором и выдумками, которыми Рейн вдохновенно заполнял свои неизбежные зияния и лакуны.

А самое главное — к нашему знакомству он в основном уже сложился как поэт. В самиздатский сборник «Анилины», составленный им к концу нашего студенчества, он включил стихи 53-го года, и они звучали тогда убедительно и свежо.

Убедительно и даже победительно звучит и выглядит вся эта книжица даже сейчас. Если ей искать генеалогию, то она — из высокопородных, вся в спектре «От романтиков до сюрреалистов» Бенедикта Лившица плюс наши авангардисты-романтики двадцатых годов. Но — ни одного «партийного» звука! Язык её если не вспахан плугом, то весь перекопан штыковой лопатой, — смыслы перевёрнуты:

*У зеркал хорошая память,
там, за ртутью — злоба и корысть.
Патетический ужас губами
собирается в сыпкие горсти.
Вылом скул по гравюрам узкий,
киновари налет пожарный...*

Казалось бы, что есть в мире беспамятней, чем зеркало? Но вдохновение перелопачивает очевидное и открывает подспудное: корысть (ударение ставится на колени перед рифмой), ужас и злоба делаются так же конкретны и материальны, как ртуть амальгамы. В книге множество грубо, смачно, кубистически раскрашенных метафор — Рейн знает толк в новейшей живописи, и, как ни странно (в жизни ему медведь на ухо наступил), она джазово, свингово музыкальна. Она и патетична. Но дороже всего это:

Жизнь сквозь стих — светло и жестоко.

Это действительно бесценно — сказано так рано и подтверждено всей протяженностью возраста. «Поэзия и Правда» — такая назвал бы свою запоздалую рецензию.

Как раз когда писались эти стихи (и поэма «Лирическая вертикаль», и поэма «Рембо»), Рейн разузнал о готовящемся турнире поэтов в Политехническом институте. Он заторопил меня, и мы отнесли рукописи в отборочный комитет, который был представлен всего одним, и то хитроватым, лицом Евгения Лисовского. Кто он — поэт? Не слышал о таком... «Специалист по стихам». Рейн и тут всё уже знал:

— Он для присмотра. А настоящий отбор будет делать Глеб Семёнов.

В институте ко мне подбежал встревоженный Найман:

— Ты знал об отборе и ничего мне не сказал! Как ты мог?!

— Прости, так уж вышло... Ты ещё успеваешь. Вот адрес...

17 ноября (кажется, так!) 1955 года состоялся наш общий дебют. Актовый зал Политехника — огромный, не хуже чем в Техноложке, был весь заполнен. Еще бы: 38 участников — это уже какая ни есть толпа, и каждый напраглашал ещё кого-нибудь послушать, не считая просто публики, которой позарез нужны стихи и поэты!

На сцене сидели соведущие Глеб Семёнов и Леонид Хаустов, председательствовал тот же Лисовский. Я узнал, что это не турнир, а Смотр студенческой поэзии Ленинграда, будет два отделения, а в перерыве, возможно, вывесят стенгазету, над которой уже идёт работа, и, если некоторые из участников смотра увидят в ней шарж на себя, пусть воспринимают это без обиды и с чувством юмора. По рядам будут пущены опросные листы. Список участников в порядке их выступления...

Мы с Рейном выступаем в первом отделении, Найман — во втором. Кроме них, я не знал никого. Но и меня никто не знал! И что же? За вычетом случайных лиц и с добавлением вошедших в круг чуть позже это были все те, кто стал в течение следующих десятилетий новым поколением поэтов. Связанные общим возрастом и делом, в остальном все разительно отличались внешностями, темами, манерами чтения и письма. Соперничество обостряло отличия, что же тогда говорить о чувстве защитной иронии? Оно эту остроту затачивало до бритвенного лезвия.

В первую очередь запомнились те, кто был на годик-другой постарше, поопытней и выступал не впервые.

Вот Леонид Агеев, с косой русой прядью на тяжелом лбу. Шумно шмыгнул носом, и кто-то в зале даже слегка хохотнул, но он замодулировал голосом грубо-нежно о земляном, трудном и медленном, подводя слушателей к весомому и простому выводу крестьянской мудрости. Аплодисменты.

Владимир Британишский с иконным лицом и в горняцкой тужурке с бляшками на плечах. Скрипуче, строго и бесстрашно отмерил порцию общественной честности. Рифмы — отточенные, аплодисменты ему — осторожные.

Кудлатый Глеб Горбовский смирившимся Кудеяром то бормотал, то выкрикивал в зал стихо-ключья горько-забавной беднячко-пропойной действительности. Бурные, долго не смолкающие...

Молодец, Глеб! И молодец Глеб Семёнов, давший всему этому разнообразию зазвучать. Вот он глядит чуть не влюбленно на Агеева, на-равных и с уважением на Британишского, с чуть отстраненным довольством на Горбовского, как на хорошо выполненное изделие, но это ещё далеко не вся его «продукция». Геологи и геологини шли заметно в ногу, командным шагом: Гладкая, Городничий, Кумпан, Кутырев, Тарутин.

После деревенских и демократических серьёзов белобрысый Олег Тарутин позабыл всех полупустником своих настояще-студенческих виршей — зачеты, влюблённости, юмор. Аплодисменты!

Странно, что филологи-универсанты представлены так слабо: какой-то самоуверенный Горшков, канувший потом в никуда, какой-то лихорадочный Сорокин, читавший надтреснуто «Отрывки из ненаписанной поэмы». Оказалось впоследствии, что и в самом деле он её не писал. Плагиат! Эх, нет здесь Миши Красильникова...

Но вот выступает Рейн: «Рабочий дождь в понедельник». Акустика в зале плохая, дикция у автора тоже известно какая. Кричит, бушует:

*Он бил цветы в ячных кадках,
он фортки взламывал, ревя...*

Кажется, это он о самом себе, а не о дожде. Да так ведь и есть: поэт — только о себе... Но — для кого?

*... для железа и бетона
заброшенных в восторге рук.*

В зале — нет, не восторг, и руки не особенно плещут. Скорей, пробегает обмен удивлений: кто-то не принял, кто-то не понял. А в общем — недоумевая, но заметили!

Александр Кушнер, как объявлено, — будущий педагог. Голос высокий, рост низкий. Волосы темно и густо курчавятся вверх, и сам он, привстав на цыпочки, тянется кверху за голосом:

*Поэтов любыми путями
сживали с недоброй земли
за то, что с земными властями
ужиться они не могли.*

Зал замер: вот оно! Встают из праха горестные тени Мандельштама и Павла Васильева, ещё неисчислимо многих, замученных этой бесчеловечной властью... Нет, его стихи, оказывается, не о Мандельштаме, а о Лермонтове, и власть, стало быть, не эта, советская, а та, царская, которую крикивать и можно, и похвально.

Но либеральный намёк всё-таки доходит. Умён, и горя от этого ума ему не будет. Аплодисменты.

Но это уже второе отделение, а я выступал в первом.

— Дмитрий Бобышев, будущий технолог, — объявляет Лисовский.

— Ну при чем тут технолог? — думаю я раздражённо. — Что я, курсовую работу сдаю?

Я читаю белые стихи из двух частей, на городскую и деревенскую тему, соединенных рифмованной вставкой. Называется довольно шаблонно: «Рождение песни», но так надо, потому что вставка и есть песня, а город и природа — это два начала, необходимые для её рождения. Что-то вроде мужского и женского, если хотите, только не так буквально. Город описывается возбуждённо-эйфорически, природа — горестно и элегически. Пока читаю, мельком вижу улыбку Глеба Семёнова: мол, материал-то есть, но — сырой... Слушают хорошо, отдельные образы нравятся даже больше, чем целое.

Аплодисменты. Перерыв. Расспросы, приветствия, комплименты, укоры. Младший Штейнберг (который Шурка и учится в Политехнике) показывает мне опросные листы, собранные у публики. Вот, оказывается, кто я: «убогий декадент», «интересный поэт», «футурист» и даже «певец космоса».

А на стенах фойе, соответственно, развешивается стенная газета (когда успели?): громадные шаржи, да ещё и с эпиграммами. Кто это? Черная бровь, крупный глаз, нос. И подпись:

*Рейн читал, забыв про негу,
хоть звучал немного в нос.
Он талантлив, как телега,
а работал, как насос.*

А это — неужели я? Знаю, что выгляжу моложе возраста, но изобразили меня совсем уж младенцем. А строчки — строчки вроде мои:

*Троллейбусы, как стадо мастодонтов,
идущее к Неве на водопой...*

Мол, смешно и так, не надо и пародировать... Тут же дошёл и положительный смысл этих насмешек: мы отмечены, ведь шаржей было намного меньше, чем участников.

«Будущий технолог» Найман выступил после перерыва, и не очень удачно: он взял для чтения что-то совсем новое, сбился в самом начале, остальное скомкал.

Внимание зала переключилось на литературный роман, разворачивающийся прямо на сцене. Крупная решительная девица по имени Людмила Агрэ, поэтесса из Лесотехнической академии, выпалила в зал нечто совершенно сапфическое:

*Хочется взять пальцами за подбородок,
заглянуть в опечаленные глаза,
такие пронзительно-чёрные,
погладить волосы, как крыло вороново,
и близко-близко наклонившись, сказать:
«Мальчик, не будем спорить с природой,
это не под силу ни тебе, ни мне...»*

Зал ахнул от такой смелости. Побежали шепотки, говорки в ладошку, которые усилились, когда был объявлен Марк Вайнштейн, тоже из Лесотехнической... Вышел миниатюрный юноша, хорошенький, как на поздравительной открытке. «Это он, это он», — прошелестело по залу. Глаза его блестели, щеки ярко горели,

волосы были черные-черные, как вороново крыло, голос едва слышен, а в стихах — ни слова о любви, но зато — о природе.

Я ехал домой в 32-м трамвае, со мной заговаривали какие-то девушки, спрашивали, кого им надо читать, но сознание было переполнено впечатлениями вечера, и в основном я осваивал факт состоявшегося события, перейдённого рубежа и той жизненной дали, которая, как мне чудилось, открывалась за ним.

И в самом деле, начиналась новая эпоха, ставшая известной под названием Оттепели. Так назывался роман Эренбурга, в то время обсуждаемый, но которого я, впрочем, так и не прочитал. Для нас она началась не с доклада Хрущева на XX съезде их партии, а вот с этого вечера, и закончилась не падением партийного властелина, а значительно раньше, когда он танками подавил студенческое восстание в Будапеште. То есть продлилась эта либеральная эпоха всего один год.

1956 год

Перемены чувствовались и внутри, и снаружи. Мои неясные экстазы и предчувствия необычного поприща получили наконец первое подтверждение.

Давящая твердь властей отошла на шаг, жизнь сама собой заводилась на ого-роженных прежде территориях, появились и выходцы из-за колочей проволоки, из мёрзлой тундры партийно-советских, чекистско-кагэбэшных, называемых сталинскими лагерей. Выходцы были битые, ученые этим битьем, и вели себя крайне осторожно. Действовали они келейно, бумажно отвоевывая себе реабилитацию, комнату в коммуналке и пенсию, либо тихую неответственную должность. Литераторы — в литературе: Сергей Тхоржевский стал собирать какой-то молодежный альманах, куда я в очередной раз не попал, Сергей Спасский стал одним из редакторов в «Совписе» (о книге нечего и думать), а Зелика Штейнмана приставили смотреть за молодежью в литобъединении «Промки», куда мне было самое место заходить.

Стихи выскакивали из-под пера, удивляя меня яркой забавностью своего появления. В городе, помимо литературных кружков, куда я уже мог себя считать вхожим, оказались и симпатичные компании литераторов нашего возраста, да и мы трое сами образовывали такую компанию. Завязывались знакомства.

Вот появился ироничный атлет Илья Авербах — медик, театрал, пишет стихи. Привёл Додика Шраера, тоже медика, тоже стихотворца, как бы повторяющего в разбавленном виде черты старшего друга.

Сергей Вольф читал свою джазовую сказку «Колыбельная Птичьего острова», заворожил всех свинговым ритмом фраз.

Вот позвонил Марк Вайнштейн, и мы с ним бродили, читая стихи и пересекая тропы моей первой прогулки с Найманом. Тихий голос Вайнштейна произносил тихо написанные строки и строфы, которые мне казались, увы, вялыми и описательными. Ну и что? А кому-то ещё они понравились даже очень. Вот он снова звонит о встрече, предлагая сообщить нечто необыкновенное.

— Ну так скажите!

— Это — не по телефону...

С некоторым недоверием иду. И у него, оказывается, действительно сенсация — письмо от Пастернака! Как же получилось, что мастер и полубог ему пишет? Давно ли они знакомы?

— Да совсем не знакомы! Но лето я проводил под Москвой, где подружился с его сыном и попросил об услуге: взять стихи и в добрую минуту показать их отцу. И вот только теперь, в декабре, эта минута нашлась.

— Потрясающе... А почерк-то, почерк!

Почерк торопливый, романтический: перекладыны букв летят, отставая от мчащегося мыслечувства. Читаю. Письмо большое. Тон доверительный, но и вызывающий, словно писалось оно не в добрую минуту, а скорее, в задорную, и суть его вот в чем. К своим стихам Вайнштейн приложил записку с просьбой оценить его шансы на поступление в Литинститут, и Пастернак комплиментарно отговаривал его от этого шага. Compliments были нешуточные, подпись под ними стояла подлинная, так что, по идее, само это письмо могло бы стать рекомендацией не то что в Литинститут имени Горького, а прямо на Парнас к богам и музам. Но Пастернак именно не рекомендовал ему этого, а, споря неожиданно с фразой Маяковского о поэтах хороших и разных, высказывался против массового производства поэтов. Он обосновывал это тем, что всё множество стихотворцев занимается заведомо ложным делом, наподобие средневековых алхимиков, в то время как нужно-то нечто противоположное, подлинное и насущное. Какую именно «химию» он считал этим истинным делом, он не пояснял, но самого себя, со всеми ранними книгами, относил к такой «алхимии», от которой теперь с горечью отрекался.

И комплиментарная часть письма, и критическая вызвали свои недоумения. Какое-то звено контакта с гением отсутствовало, за его мыслью трудно было следовать. Письмо рождало догадки, его с пожиманием плеч обсуждали по компаниям. Рейн, например, всё объяснял эксцентричностью мастера, но кого-то оно заставило и задуматься, в особенности когда только что возникший самиздат поместил эти идеи в контекст со «Стихами из романа», а позднее и с самим «Доктором Живаго». Стало по крайней мере ясней, что Пастернак противопоставлял произвол художественного творчества целенаправленности творчества религиозного. Но тогда мы до этих идей ещё не созрели. Поздней, однако, мы узнали другое: некое простодушное лукавство, неволью возникавшее в письме мастера. Отговаривая Вайнштейна от Литинститута, он в то же время противоречил себе и давал туда же рекомендацию дочери Ивинской. Увы!

Между тем наступил 1956 год. Василию Константиновичу по старой памяти доставили из подсобного хозяйства его бывшего завода пахучую пушистую ель, всё семейство село за овальный стол. Наступил момент, которого все ждали: Федосья принесла на стол, и без того уставленный яствами и разносолами, горячий пирог с рисом и фаршем. В нём запечён гривенник. Кому он достанется в этом году? Мать режет пирог на куски по числу сидящих домочадцев:

— Выбирайте: у кого будет счастливый кусок, тому удача!

Откусывая с осторожностью, все сосредоточенно едят. Как-то мать умеет повернуть поднос, что удача попеременно достаётся детям. А мне она так нужна! О!! Я чуть не сломал себе зуб... Разворачиваю вощаную бумажку, гривенник в этом году — мой!

Год и в самом деле выдался поначалу удачным.

Всё чаще после (или даже вместо) лекций мы с Рейном отправляемся на какие-либо литературные затеи, которых в городе происходит всё больше: выступления в Доме писателя в Шереметевском особняке на улице Войнова, обсуждения в ЛИТО, чтения стихов на дому... Или просмотр заграничного фильма, какой-нибудь «Пепел и алмаз» со Збигневом Цибульским... Или чей-нибудь день рождения — неважно, если не знаешь виновницу торжества, — важно, что можно хорошо угоститься!

Вот мы всей компанией на новогоднем вечере в Академии Художеств. Мы даже в расширенном составе — нас уверенно привел туда Серёжа Вольф. Он длинный, пластичный, весело-циничный, с глазами как у Джеймса Бонда, голова при этом трясётся, как у старца, о зубах лучше не вспоминать, но девушки от него мрут. Он проводит нас помародерствовать в зал, где только что закончился банкет. Картина не для слабонервных. Но кого-то привлекают недопитые бутылки портвейна, кого-то — остатки торта в картонной коробке. Варварски, из горла, руками...

А теперь — танцы! Буги-вуги! Рок-н-ролл! Элвис Пресли! Ловкий Найман подхватывает одну из натурщиц.

*One o'clock, two o'clock,
Three o'clock rock!*

Он её откидывает, швыряет, крутит, ловит. Шоколадные пятерни остаются на белом платье девушки.

Вот по Невскому, минуя дворец Энгельгардта, заплетающейся походкой идет немолодой человек с портфелем, явно «на автопилоте». И даже слегка попукивает. Рейн, указывая на него, читает мне вслух:

*Видели Саянова трезвого, не пьяного?
Трезвого, не пьяного? Значит, не Саянова.*

Я хохочу. Раззадоренный Рейн подходит к сановному пьянчуге:

— Виссарион Михайлович! Мы, молодые поэты, ценим ваши ранние книги: «Фартовые годы», «Олёкма»... Как вы писали! А теперь что?!

Саянов с любопытством косится на нас, но, следуя «автопилоту», сворачивает на канал Грибоедова по направлению к писательскому дому. Сталинский лауреат, член правления...

— Дайте пять рублей! — неожиданно требует Рейн.

— Ребята, да я не при деньгах. Вот, возьмите папирос, сколько хотите...

Вообще-то я курю сигареты, но, раз предлагают, беру одну «казбечину». Рейн — целую горсть, хоть и не курит. Суёт мне в карман, когда Саянов удаляется:

— Кури, курыка!

А это — в кружке Глеба Семёнова: выступает Сергей Спасский. Поэт, сейчас редактор. Сидел, реабилитирован. Худое лицо, сложение хрупкое. Седая чёлка под Пастернака. Он с ним и дружил, но воспоминания читает о Маяковском и Есенине почти по тексту книги, которую я одолжил по такому поводу у Казанджи. Но книга интересней его выступления, сухого и осторожного. Мы с Рейном похищаем Спасского у горняков, идём его провожать вдоль Невы, через мост лейтенанта Шмидта, спрашиваем больше о Пастернаке, но и о Хлебникове, читаем свои стихи. Под звон трамваев, сворачивающих с площади Труда на бульвар, Рейн кричит в его ухо только что написанную поэму «Рембо».

*Программа девственниц с клеймом на ягодице —
«А. Р.» — такое же, как под столбцами рифм...*

Какой-то толстячок-провинциал в бурках и при портфеле наткнулся на нас, опешит: «Виноват!» Скрылся.

*Есть медь и олово — из них получают бронзу.
Есть время и стихи — они не предадут.*

Я читаю «Рождение песни», потом что-то новое. Спасский растроган. Мы напомнили ему молодость. Мы напомнили ему, что есть настоящая поэзия. Он приглашает нас к себе в «Совпис», а там посмотрим... Он надписывает мне книгу (не

мне принадлежащую): «Евгению Рейну, в память о разговорах на необязательные темы. С. Спасский». Все перепутал! Как я отдам её теперь владельцу?

Нет, это я утрирую. Конечно, Спасский вписал «и Дмитрию Бобышеву», и я долго держал у себя эту небольшую книжицу, но, когда уезжал, пришлось вернуть владельцу. Я скучал без неё — там много живых эпизодов, подлинных реплик, верных описаний, её хотелось перечитывать. И вот именно сейчас, когда я это пишу, она случайно бросилась мне в глаза на полке в здешней библиотеке. Разумеется, другой экземпляр, но тоже знаменательный: вместо автографа — штампы. Заприходована Всесоюзной библиотекой имени В.И. Ленина в 1944 году, в год её выхода. Прошла проверку военной цензуры 1944 года, новую идеологическую инвентаризацию в 47-м году, а сколько книг тогда было казнено! Простемпелёвана в 50-м году, когда автор её сидел в местах отдалённых, и в 56-м, когда состоялась наша встреча, и в 70-м, когда автора уже не было в живых, и в 78-м, за год до моего отъезда в Америку. И вот я держу эту книгу в 2000 году в Иллинойском университете. Как ты здесь оказалась, долгожительница? И — как я?

А тогда, возвращаясь в 56-й год, мы с Рейном ликовали, мы ждали, мы были у Спасского в кабинете над «Домом Книги». Надо ли добавлять, что дело кончилось ничем?

Вот — Глеб Семёнов, который, конечно, Сергеевич, но мы зовём его за глаза по имени. Мы забрели на полуноваторскую, полународную выставку мексиканской графики в Доме писателя, и он — там. Нас интересует новаторство, его — народность. Вышли вместе на улицу проводить его к остановке. Он всё же авторитет, разбирается в деле и к тому же старается как-то помочь тем, кого считает питомцами. Нас он явно выделил после того вечера в Политехнике, меня даже определённой, чем более яркого Рейна. Называет футуристом, похваливает язык. Пока разговариваем, пропустили с десяток автобусов. Наконец, Глеб предлагает, даже назначает мне выступление-обсуждение в Горном институте и — уезжает.

И я читаю в Горном:

Раз навсегда плюнувши...

Геологи, «гвардейцы Глеб-Семёновского полка», как они себя называют, недоверчиво слушают:

...Шатались мы, мудрые юноши...

...проклятое статус-кво.

Выступает Британишский, мой назначенный оппонент: «Протест Дмитрия Бобышева, несомненно, имеет социальное основание. Действительно, общественность разделилась у нас на тупую силу тех, кто желает удержать статус-кво, и «мудрых юношей», с этим статусом несогласных». Он проводит литературные параллели, называет имена, но его обрывают: здесь заведено правило (видимо, против говорунов и эрудитов) не ссылаться на мнения других, пусть даже великих, а говорить своё.

Выступает Рейн с апологией не общественности, но эстетства: «Я никогда не слышал голоса такой поэтической силы и свежести, как у Бобышева». Спасибо, Женя, — вернувшись домой, я запишу это и запомню на всю жизнь. Помни и ты свои слова.

Корифеи смущены и хотели бы покритиковать, да что мелочиться, если уж крупные категории заворочались: этика, эстетика, общественность.

Выступает сам Глеб, он от запрета на имена освобождён. Человечность нужна, человечность, и не как чувствую «я», а как чувствует «другой», вот чего

всем нам не хватает. Некрасов это умел, Анненский это знал, и наш Агеев умеет и знает. Будет это в стихах — будет и в обществе.

Так он верил.

В обществе между тем происходила тихая революция. «Секретный» доклад Хрущева прорабатывался повсюду на закрытых собраниях: вход по партийному или комсомольскому билету, но только ленивый или не в меру осторожный на такое собрание не смог попасть. Содержание доклада слишком хорошо известно, чтобы его излагать, стоит лишь сказать о его сути, как она воспринималась тогда. Многими — как колоссальная провокация, и их заботой стало «не засветиться». Будущее показало, что они-то и были правы. Но для нас это звучало как косвенный (поскольку — партийный), но всё же призыв к жизни. Нам по двадцать лет или около того, и мы набиты будущим, оно распирает нас. Дайте нам превратить его в настоящее, не мешайте нам, это ведь — наши жизни!

Исчезли усатые портреты вождя. Но остались, и даже размножились изображения основателя. Округлости черепа делали его еще более монументальным — мол, на века! Но, как жучки-древоточцы, изгрызали его монолитность непочтительные анекдоты, хиханьки, хаханьки исподтишка. Лозунг призывал вернуться к «ленинским нормам социалистической морали», а анекдотец ехидно цитировал: «Феликс Эдмундович, гасстгеляйте товагища!» Партийно-чекистский барбос ворочал на все это глазами, большими, как плошки, даже как тарелки, поводил волосатым ухом, но пасть пока не раскрывал.

В наших глазах это была уже не оттепель, а весна, и мы ей простуженно радовались. Двадцатилетние гении выскакивали повсюду, как из-под земли. 15 марта в университетском кружке обсуждался Владимир Уфлянд, гриппозный и забавный. Каламбурные рифмы расцветивали его карнавальную маску советского колобка, из-под которой лукавилась круглой выпечки ироническая улыбка:

*Я вылеплен не из такого теста,
чтоб понимать мелодию без текста.*



Хороший Уфлянд, 1956 г.

Комсомольские лидеры просто набросились на него: «В поэзии должна быть партийность, идейность, народность...» «И ещё — классовость», — подсказал Илья Фояков. Интеллектуалы Лившиц, Виноградов, Герасимов полезли в бутылку: «Есть у него и партийность, и идейность! Есть и классовость, и народность!» Изумление вызывала такая форма дискуссии. Кавычками ко всем этим понятиям торчали рыжеватые лохмы поэта.

Молодёжных гениев появилось так много, что писательское начальство вынуждено было, хотя бы для учёта, если не для эшелонирования, объявить Конференцию молодых литераторов Ленинграда и области. Открытие назначено на 14 апреля. Трёхдневные заседания в Шереметевском доме на Войнова официально освобождали от работы или занятий. Авторы были распределены по семинарам к «мастерам» Н. Брауну, Н. Грудиной — в Белую гостиную, в Красную гостиную, в библиотеку. Я попал в семинар к А. Гитовичу и В. Шефнеру, за компанию с университетскими взаимными антиподами — Лившицем и Фояковым. Лёша Лившиц тоже, оказывается, пишет... Интересно, как же? Да так же, как я когда-то, и тоже про комсомольскую поездку всем факультетом:

*А на пятую ночь, на пятую,
вопреки паровозной возне,
поезд въехал в Ясиноватую
и задумал остаться в ней.*

Мастера начали анализировать, обсуждать. «Вопреки паровозной возне» звучит очень уж по-пастернаковски, зато остальное — как у Дмитрия Кедрина. «Дмитрий Кедрин, Дмитрий Кедрин», — заговорили участники семинара. Зашедший поддержать своего протеже Миха Красильников заметил распевно:

— Кедрин — поэт ма-а-ленький, как мошонка у мышонка.

И вышел из Белой гостиной, спускаясь в буфет.

Карпаты

Гуцульский посёлок Ясиня. Бурлящая Тисса, стремящаяся как можно скорее впасть в Дунай. Краснобровчатые терема турбазы, окружённые голубоватыми пихтами, травянистые склоны гор с хвойной полосой вверх. Выше — опять трава: полонины. Туда мы и намечаем свой путь назавтра.



Карпаты, 1956 г.

Мы — это два ленинградских поэта, Евгений Рейн и я, приехавшие сюда по путёвке, чтобы отправиться в поход по этой дикой части Европы, а с нами ещё около дюжины разношёрстной молодежи, наших попуччиков. Да кудреватый самоуверенный парень из Львовского педучилища. Спортивный разряд по туризму. Подрабатывает проводником.

Сегодня день Ивана Купалы, гуцулы спускаются с полонин, собираются выше посёлка у костров. Белые рубашки и блузки, тёмные свитки-безрукавки на мужчинах, узорные передники на женщинах. И это не смотр самодеятельности — так они нарядились для себя.

В это время на турбазе происходит возня и ажиотаж: проводник распределяет рюкзаки, палатки и одеяла. Пока я глазел на гуцулов, мое одеяло куда-то делось. Где моё одеяло?

— Ничего не знаю. Я его выдал под вашу ответственность. Придется вам зашпатить 20 рублей.

— Как же так? У меня украли, и я ещё должен платить! Куда ж оно могло деться?

— Почему я знаю? Может, вы его успели продать...

— Ах, так?! Где директор турбазы?

— Сегодня суббота, директора нет.

— Женья!

Я гляжу на моего громогласного друга в надежде на его могучую поддержку, но он, как-то линия на глазах, помалкивает, скромничает, сникает. Да-а... Отказаться от похода? Остаться до понедельника, чтобы разобраться с начальством? Жулик-проводник всё равно уйдёт с группой. Боюсь, что и мой друг — с ними. К тому же наши вещи и паспорта уже отправлены грузовиком в Мукачево, конечный пункт. Значит, надо идти.



Бобышев и Рейн с проводником на Карпатах, 1956 г.

И вот мы карабкаемся по каменистому ложу ручья, таща на себе поклажу, перешагиваем через поваленные стволы деревьев, ступаем по валунам, забираясь всё выше и выше в горы. Скальными кручами вдали завиднелась Говерла. Но она — для альпинистов. Мы же, туристы, идем на отлогие полонины.

Вот мы их и достигли. По существу, это плавные травянистые холмы, только на большой высоте, о которой дают знать виды и дали, виды и дали, а также головокружительные каменные обрывы, у одного из которых мы устроили привал. Рейн сбросил рюкзак, остановился, не на шутку задыхаясь.

— Что с тобой?

— Астма...

— Надо же, как у Багрицкого! — восхился я.

Проводник тем временем рассказывал об альпийских лугах, о горной растительности:

— Здесь растут эдельвейсы. По гуцульской легенде, если подарить этот цветок девушке, она никогда тебя не разлюбит.

Но эдельвейсы растут на кручах. В поисках популярности проводник наш лезет туда и вскоре дарит нашим девушкам по цветку. Ни одна не отказывается. Вид у многозначительного цветка не очень казистый: серо-серебристые толстые лепестки с ворсом. Теперь я знаю, как он выглядит!

— Нельзя туда! Непрофессионалам запрещено! — кричит на меня проводник, но уже поздно.

Я карабкаюсь по каменным уступам. А вот и эдельвейс! И ещё один, и ещё. Чуть дальше я вижу целый пучок серебристых звёздочек. Можно дотянуться, но надо соблюдать правило альпинистов и всегда опираться на три точки. Я его нарушаю, и сразу же следует наказание: камень вываливается из-под опорной ноги. Я повисаю, двумя руками схватившись за дернистый выступ. Но дёрн этот ползет! Две секунды жизни остаются мне для решения. Ногой я дотягиваюсь до какой-то ступени и отталкиваюсь руками от выступа, на секунду положившись лишь на одну-единственную опору — ступень. Она выдерживает, и я спасён. С эдельвейсами, торчащими из кармана штормовки, я выбираюсь на безопасное место. Теперь мы с Рейном всматриваемся в глубину кручи, из которой я вылез.

— Да, это была бы амба! — заключаем мы оба.

Весь день я находился в эйфории. Спускаясь и поднимаясь, мы шли по плавному травянистому хребту. Облака переваливались через него, то погружая нас в мокрую непроницаемую взвесь, то вдруг обнаруживая пронзительную бесконечность горизонта, светлую зелень полонин с белыми россыпями овечьих стад, тёмную зелень лесов и голубизну дальних гор. На подъёмах я шёл, подпрыгивая, впереди проводника, на спусках сбрасывал поклажу и, подпихивая надоевшую тяжесть ногами, катил её вниз. Проводник не делал мне замечаний, но, когда другие стали следовать дурному примеру, отчитал их за порчу казенных рюкзаков.

Рейн в это время то задыхался, то бормотал что-то в прострации, а у костра на ночлеге вдруг прочитал мне следующее:

*Укрываясь брезентовой полостью,
эдельвейс видел весь я, полностью.
Не мощами в ужасных гербариях, —
размещаясь и вой перебарывая...
... Вылез Бобышев, напугав.
Тихий, сам живой.
А в руках — табунок замшевый.
Говорили, горло мамой прополаскивая:
— Ну там, что там, ничего там, будь поласковее.
И пошли. Положи
стадо эдельвейсово.
Горы, травы. Сны большие.
Дальше — весело.*

Нигде позже он не публиковал этих стихов, и я их цитирую так, как запомнил. Только пропустил самое главное: описание кручи и строение цветка. А дальше действительно было весело: с полонин мы стали спускаться на уровень лесов и наконец вышли к очаровательному озеру Синевир, где был объявлен не только ночлег, но и днёвка. Весь следующий день мы купались до одури, к нам прибились в

компанию две простушки-москвички и бакинский житель Гуревич, намекавший со сложным акцентом, что и он не чужд литературе.

— Что там в столицах делается? — допытывался он.

Что делается? Новые имена появляются. Леонид Мартынов, например. Явный хлебниковец. «Вода благоволила литься», — разве вода эта не из Велимирова колодца? Ну, положим, Мартынов — это не совсем новое имя: надо знать «Лукоморье», вышедшее ещё до его посадки. А вот Борис Слуцкий — кто о нём раньше слышал? Хотя и не молод: фронтовик. Совсем недавно (неужели вы не читали?) Илья Эренбург написал о нём в «Литературке» хвалебную статью, представил его читателям, там же была помещена подборка. И, что самое удивительное, — стихи его действительно сильные!

— Политрук, он и есть политрук, — вдруг возразил Рейн. — Давайте-ка лучше сами письмом Эренбургу напишем.

«Синевиры» стали сочинять послание (в стихах) московскому султану. Я начал подбрасывать рифмы: «Синеvir — усынови», «лязгая — дрязгами»...

— Не по делу, — отклонил их Рейн.

— «Лузгая — Слуцкого».

— Это годится.

Гуревич следил с открытым ртом за рождением шедевра:

*... И мы просим Илью Григорьевича
написать про них и про Гуревича.
Лучше случка с овечьим пузиком,
чем соития тусклого Слуцкого,
перепуганного эренбурганьем.*

Гуревич тихо лопнул и с тех пор в жизни не попадался.

Поход закончился в Мукачево, где при этом всплыло паршивое «одеяльное дело».

— С вас причитается еще 20 рублей за пропажу одеяла.

— Да я... Да вы знаете... Это ж абсурд!

— Платите, иначе паспорт не получите.

Денег катастрофически не было. Занять у Рейна? А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? Оставались Бобышевы, которые в то лето все отправились на родину Василия Константиновича в город Дмитриев Курской области.

На последние копейки послал телеграмму: «ПРОПАЛО ОДЕЯЛО ТЕЛЕГРАФЬТЕ ТРИДЦАТЬ».

Потом меня мать корила за слово «телеграфьте» — разве так пишут? Да, именно так требует этот изысканный жанр! В ожидании перевода мы по корешкам путёвок ночевали на турбазе. Съездили на экскурсию в Ужгород, побывали в крепости и в музее, где Рейн сфотографировал меня в доспехах. Цельными днями шлялись по городку, от которого в памяти остались лишь вывески: «Перукарня», «Идальня», «Взуття», словно все жители только и делали, что брились, ели и обувались. Впрочем, «идальни» оказались дешёвыми и вкусными: можно было заказать суп и умять с ним буханку свежего хлеба. А потом — пойти бродить по базару с раскрытыми ножами и «пробовать» у торговков, отрезая у одной полгруши, у другой — кус арбуза...

Получив перевод, я выкупил паспорт, и мы решили съездить автобусом до Львова с остановками где заблагорассудится, а оттуда поездом — домой через

Москву. На прощанье с уже надоевшим Мукачевом Рейн учудил, рисуясь передо мной, выходку: украл две свечи под носом у продавца в москательной лавке, символически «отплатив» этой местности за моё одеяло. Я был в восхищении и ужасе от его дерзости. Но, может быть, мне не примстились однажды выдохнутые им три слова: «Я был вор». Чтобы не отставать от приятеля, и я тоже схватил с прилавка две стеариновые свечи.

Через час автобус нас уносил, петляя, от скальных россыпей к долинным дубравам, и, увидев несколько изб между отягощенных плодами деревьев, зелено-струйный поток и дорожную стрелку «Свалява 8 км», мы попросили нас высадить.

В первой же избе, дружелюбный и гостеприимный Венс Которба принял нас, отведя для гостей горницу с двумя перинными кроватями по углам. Между ними стоял длинный дощатый стол для трапезы и письма. Пахло сухим деревом и яблоками. Венс, чешский парень, рассказал свою историю: он влюбился в мадыарскую девчонку, живущую здесь, и из своей деревни, пересекая не одну границу, ходил к ней на свиданки, да ещё во время войны. Чего только не было! Осели всё-таки здесь. Настрогали детишек, которые в это время ползали по двору кверху грязными попами. В общем, живите, гости дорогие, с дороги угостим вас кукурузой, а дальше что Бог вам пошлёт!

Питаюсь ежевикой и сливами, мы прожили там дней пять: бродили, дивясь, по буковым гладкоствольным рощам, спускались к ручью и отмякали от горных напрягов и восхождений. Вечером зажигали ворованные свечи, и каждый что-то писал. Рейн о тумане, который, по существу, был облаком, а я о буках, помня довольно уважение к их древесине. Наконец сорвались в путь дальше. Миляга Венс не взял с гостей ничего, и мы вышли ждать попутку у того же дорожного знака.

Московские знаменитости

Машина, остановленная Рейном, оказалась грузовиком-лесовозом, и водитель, у которого уже кто-то сидел в кабине, любезно предложил нам ехать на брёвнах, — правда, за бесплатно. Несколько часов мы то ползли в гору, то летели под уклон безостановочно, трясясь на каких-то смолистых комлях, за нуждой отползая к гибким (и гибельно виляющим) вершинным спилам, пока наконец не въехали во Львов.

Прелестный город, старомодно элегантный, составлял контраст мятой пропылённости наших одежд. В своём провинциальном виде и статусе Львов сохранял столичное достоинство — это было нам, питерцам, по душе. Памятник Мицкевичу — поэту, а не какому-нибудь генерал-губернатору! Стрыйский парк! Но пора на вокзал.

В Москве жили все литературные знаменитости — и официальные, и те, что «по гамбургскому счёту», последние нас и интересовали. Рейн поселился у своих родичей, я — у своих, но не у Ивановых на Кутузовском, как прежде, а у Зубковских на Соколе в генеральском доме, — братец Сергей недавно женился и съехал оттуда, освободилась его кушетка. Я ночевал либо там, либо в Баковке, где семейства обеих сестер — Лиды и Тали — снимали дачу.

В один тёплый дождливый день я, накинув полковничью плащ-палатку дяди Лёни прямо на футболку и трусы, отправился разведать дорогу в Переделкино и пошёл себе мимо баковских дач, полем и сквозь лесок, по мосткам через какую-

то запруженную заводь, опять мимо уже переделкинских дач, и вдруг оказался у ворот к Дому творчества.

Я пожалел, что оделся так по-простому, по-дачно-спортивному, но решил узнать, там ли Владимир Луговской, к которому мы с Рейном планировали на днях съездить. Подойдя к дверям, я как раз и столкнулся с ним. Он возвращался с высокой дамой, обликом напоминавшей красавиц, когда-то позировавших Дейнеке и Самохвалову.

Пришлось представиться, как есть. Дама нас оставила вдвоём, и мастер, которым я так восхищался, разглядывал меня с недоумением. Объясняя свой, конечно же, неприличный для визита вид, я сам разглядывал прославленного поэта: высокий рост, тот же, узнаваемый из тысяч, мужественно-иступленный профиль, чёрные густые брови, волосы, теперь уже совсем седые, откиннутые назад, — знакомый по портретам облик. Но и какая-то едва уловимая дряблая дряхлость проглядывала в подбородке, в безволосой лодыжке ноги... А голос — роскошный, даже несколько показной.

Я рассказал ему, как до морозных мурашек по коже любил его поэзию, — не только знаменитую «Балладу о ветре» или «Мужество и нетерпенье вечно мучили меня» — образы, кстати, объяснившие мне собственные отношения с подругами, но и любовные, нежные и даже трогательные стихи...

— Какие же именно?

— Ну, например: «Стоит голубая погода, такая погода стоит, что хочется плакать об августе и слышать шаги твои»... Или: «Девочке медведя подарили»...

— А-а...

— И все-таки наиболее сильными мне кажутся поэмы из сборника «Жизнь», образующие новую линию. Так сказать, линию «Жизни»...

Мастер был этим замечанием очень доволен и сказал, что он как раз заканчивает книгу новых поэм, продолжающих эту «линию жизни», если хотите. Названия сборника, впрочем, «Середина века». А сейчас он просит меня прочитать что-нибудь своё. И я стал читать. Когда я закончил, он сказал:

— Ну, что ж. «На срезе тяжелого холма» — это хорошо. «Жизнь есть способ передвижения белковых тел» — это выражено смело. Может быть, даже нагло. А «лучики ромашек» — это, извините, «лучек и рюмашек». Но вы пришлите мне тексты, эти и новые, и я, возможно, вас поддержу.

Странный пустяк: я не взял его почтового адреса. Некуда было записать, да и казалось, что всегда успею. Но, созвонившись с Рейном, я на завтра привёл его к Луговскому. Глубоким низким голосом мастер читал нам поэму из «Середины жизни» (так у меня сейчас объединились оба названия) о бомбардировке Лондона. Образы были видимыми и резкими, но напоминали они не реальность и не поэзию, а кино, снятое оператором Урусевским. Впоследствии Рейн, переставив юпитеры и пригушив освещение, усвоил эту манеру для своих ностальгических баллад о былом.

Год спустя, когда Рейн был на Камчатке, пришла весть, что Луговской вдруг умер в Крыму. Я написал другу открытку, добавив кинематографических красок к скупому сообщению: поэт умер внезапно — шел купаться в море и упал лицом в куст цветущих опунций. Неправда стала поэзией. Рейн написал в «Японском море»:

Всякие смерти, и дивная смерть Луговского...

«Дивная» — от придуманных мною цветущих опунций и колочек, вонзившихся в мёртвое лицо поэта.

А когда мы вышли от Луговского, стоял белый день, и Рейн предложил навестить ещё одну поэтическую легенду — Илью Сельвинского, который, по его сведениям, жил там же, в Переделкине, на даче. Сказано — сделано. Нас впустили в дом, и крупная энергичная женщина («Абрабарчук, его муза», — шепотом пояснил мне Рейн) вела переговоры с верхним этажом — принять нас или нет. Сверху распорядились принять, и мы поднялись в заваленную журналами и книгами, завешанную картинами гостиную, где на диване возлежал простуженный мастер.

— Илья Львович! Мы ленинградские студенты... — стало само собой произноситься затверженное приветствие.

Он выглядел грузным, набрякшим, но говорил живо. Ещё более оживился, когда Рейн рассказал, что собирает его книги — «Пушторг» был не последним приобретением. Что он пишет? Больше редактирует старое, не забывает о театре. Пожаловался на критику — та его замалчивает, он чувствует себя виолончелистом без канифоли: играет, а в зале не слышно. Театры тоже не ценят его как драматурга, не хотят ставить трагедию «Орла на плече носящий» — героическое им сейчас не подходит. О нашей любимой «Уляевщине» не говорили — уж очень он её испортил в поздних редакциях. Зато — об «Охоте на тигра». И о «Севастополе» — какой там есть могучий рефрен: «Домашний ворон с синими глазами». Такое — именно надо придумать!

Расспрашивали о других мастерах. О Пастернаке он выразился как-то для нас непонятно:

— Конечно, талант, и ещё какой! Но он же как леший — сидит у себя и ухает из колодца. Этот его роман... Знаете, есть такой червь, который с собой сокушается...

Размашистая, в синих тонах живопись по стенам и на камине — это его дочь-художница, она училась во Франции. Виды Парижа, театральные фантазии... Её муж отвезёт нас на машине в Москву — электрички сейчас ходят редко. Но сначала нас нужно как следует накормить.

Мы спускаемся вниз, муза поэта готовит раблезианскую глазунью, а затем его зять отвозит нас уже в темноте в Москву.

Крупный поэт, вертевший словами, как силач — гириями, истинный соперник Маяковского! Может быть, именно за это его «зашикала» критика? Партийные стервецы! Но и братья-писатели друг на друга ножи точат... Его суждения о Пастернаке тоже, скорее всего, издержки поэтической ревности или неизвестных нам дрызг. И всё-таки он знал, что молодые поэты должны быть непременно голодными: яичница была грандиозна! Настолько, что мы оба запомнили её на всю жизнь, только Рейн, к моему изумлению, перенес её в воспоминаниях на кухню к Пастернаку, где мы, увы, никогда не были и нас не угощали!

А повидаться с Поэтом хотелось, как и с Прозаиком с большой буквы Юрием Олешей — тем более что они оба жили в Лаврушинском переулке на той же лестнице писательского дома. Лифтёрша, в точности такая, как на Таврической, остановила нас своей малой, но ухватистой властью:

— Вам к кому?

— К Юрию Карловичу.

— Нету.

— К Борису Леонидовичу.

— Нету. Отдыхают в Крыму.

Бредем в сторону Третьяковки. Как же так? С утра — и никого нет. Ну конечно, лето. Но странно, что Пастернака, у которого весной был инфаркт, повезли летом на юг. Может быть, в какой-нибудь специальный санаторий? В сомнениях возвращаемся. Лифтерши нет. Едем сначала на самый верх — к Олеше. Открывает изящная пожилая женщина в ярком халате, с чертами мелкими, но точно набросанными на её лице колонковой кистью Конашевича, — Суок! Пропускает нас в кабинет:

— Студенты из Ленинграда. Как вы сами назначили.

Сам он стоит посреди пыльных рукописей и наслоенных журналов — в брюках с подтяжками прямо на нижнюю рубашку: рост небольшой, взгляд колкий, брюшко косит вправо, к печени. Вчера мы познакомились с ним в «Национале», куда я входил не без робости — место было шикарным, но обстановка в зале оказалась несколько не натянутой. Мастер был весел и нас вычислил сразу:

— От вас приехал этот, как его, Вольф.

— А, Серёжа! Ну, как он вам понравился?

— Талантлив. Великолепно девок описывает! Как у него там? «Во время танца она профессионально, спиной, выключила свет».

— Мы хотели бы почитать вам стихи.

— Я стихов давно не пишу да и не читаю. Впрочем, приходите завтра ко мне, поговорим.

— В какое время?

— В восемь утра!

В восемь утра? Что это — чудачество или шутка подгулявшего автора «Трех толстяков». Мы специально тянули до девяти, а потом ещё эта лифтёрша...

— Ничего не знаю, мне уже нужно собираться ехать в другое место.

Сами виноваты. Мы побрели по ступенькам вниз. Проходя мимо квартиры Пастернака, я остановился. Рейн уже спустился на два марша. Почему бы не попытаться? Я позвонил.

Дверь открыл человек в голубом пиджаке (наверное, в том, что его близкие называли «аргентинским», в белой рубашке, с повязанным галстуком и седой чёлкой на лбу. Сам! Свежее, почти молоджавое лицо. Яркие карие глаза излучают энергию и радушие.

— Борис Леонидович! Мы — студенты из Ленинграда. Были в Карпатах, остановились проездом в Москве, чтобы повидать вас.

Рейн единым духом взлетел на два марша вверх и вот уже стоит рядом. Представляю его и себя.

— Конечно, конечно. Пожалуйста, заходите.

Коридор, и сразу направо узкая комната: книжные полки, кушетка.

— Есть ли тут стулья? Сейчас я вам принесу.

Побежал в глубь квартиры, ступая неравномерно, с прихромом. А какие у него здесь книги? Вот стоит Сельвинский, и как раз «Улялаевщина». И — с его пометками. Смотри, Женья! И я, как будто показывая ему фокус, засовываю книгу за пазуху.

— Ты что, с ума сошел? Поставь на место немедленно!

— Да я же шучу!

В узком коридоре загрохотали стулья. Внёс их, расставил, рассадил нас. Чем он может нам служить? Читать ему свои стихи было нелепо — всё равно, что утомлять мадонну фотографиями своих младенцев, — подхватываю я более позднее выражение Комы Иванова. Все собственные находки заранее казались вялыми,

вымученными по сравнению с его «Ужасный! — Капнет и вслушается...», не говоря об искрометном множестве других. Рейн полубопытствовал, может ли он увидеть «Близнец в тучах», первый сборник стихов Пастернака.

— К счастью, он весь пропал, до единого экземпляра, — загадочно ответил автор.

Рейн спросил, что он пишет теперь, добавив, что часть его новых стихов циркулируют какими-то своими путями. Да, подтвердил я, «Свеча», «Рождественская звезда», «Гамлет» передаются от друзей к друзьям, напечатанные на папиросной бумаге.

— Хорошо, — сказал он. — У меня есть какое-то время поговорить с вами. Правда, ко мне уже пришли двое журналистов, но они подождут. Дело, однако, в том, что в течение этого получаса должен прийти парикмахер, и он-то уж ждать не будет. Тогда мне придется с вами расстаться.

— А можем ли мы оставаться с вами, пока он будет вас стричь? — спросил Рейн.

— Что вы, я ведь не Анатолий Франс.

И Пастернак заговорил, поворачиваясь жарким коричневым глазом то ко мне, то к моему другу. В эти моменты на его свежем белке становился виден красный узелок лопнувшего сосуда, напоминая о недавнем инфаркте. Он говорил о своих ранних образах и книгах как о прискорбной ошибке, о которой он теперь сожалеет. То было ложное занятие, наподобие алхимии, которому он был привержен издавна и по-пустому.

Сразу же вспомнилось: те же мысли он высказывал в письме черноглазому Марку! Но если захватывающая душа искренность «Сестры моей — жизни» — ложна, то что же тогда подлинно?

Он сказал, что недавно закончил роман, где, может быть, я найду ответ на мои вопросы. Но для того, чтобы эта книга была напечатана, многое зависит от общей обстановки в стране. Сейчас она неплохая, и если это продлится, в чём есть сильные сомнения, тогда и можно будет поговорить о предмете. О чём этот роман? Пожалуй, обо всем, что пережило его поколение: о революции, о Гражданской войне и даже о Второй мировой, а не только о лагерях. Можно сказать — вовсе нет, хотя есть некоторые касательства этой темы...

Рейн, покосившись на меня, задал вопрос, который показался мне неуместным:

— Борис Леонидович, как быть еврею русским поэтом?

«Да вот же он перед тобой», — напрашивался мой безмолвный ответ, но сам вопрошаемый отнесся к нему всерьёз:

— Я понимаю вас и вижу этот путь лишь в полной ассимиляции.

Раздался звонок в дверь. Это, видимо, пришел парикмахер, и мы распрощались. С Пастернаком мы провели в общей сложности около сорока минут.

Газета «Культура»

Противоречивая хрущевская «оттепель», разыгравшаяся особенно в тёплые месяцы 56-го года, была двусмысленной во всем, начиная с фигуры самого «освободителя». Действительно, одних он освобождал, закабалия при этом других, а ещё третьих, как, например, нас, молодёжь того времени, провоцировал и обманывал.

Коротконогий лысый толстяк с вульгарной речью, он казался подобием Санчо Пансы. Особенно усилилось это сходство, когда он выбрал себе партнёром дряхлого и козлородного Булганина, только тем и похожего на Дон Кихота. Вдвоём они были в тот год летом в Питере, отметив странно некруглый юбилей основания города и прокатившись по его проспектам в открытой машине. Толпы были нагнаны, чтобы их приветствовать, ещё большие толпы явились поглезеть сами. Я увидел катающихся правителей на Петроградской, оказавшись на углу у особняка Кшесинской пригёртым боками к двум местным оторвочкам. Бойко стрельнув по сторонам глазами, одна из них объявила подруге:

— Ой, какой он противный. Я бы с ним не легла.

— И я. А с Булганиным легла бы.

Не желая тесниться, я выбрался из толпы. Похоже, что выпустив сотни тысяч (думаю, всё же не миллионы) из лагерей и наполовину (на четверть, нет, на чуть-чуть) развязав языки прессе, он выжидал, наблюдая за обстановкой: чья теперь возьмет? Либералы, сами тому не веря, туманно намекали на пришествие свободы. Консерваторы, перестроившись, рывкали здравичу «дорогому Никите Сергеевичу», но мёртво стояли на своём. Остальные пребывали в состоянии конфуза и недоумения.

Выдвинулись в литературе те, кто наработал задел, дождался и выстрелил им вовремя, именно в эту пору, обогнав цензуру на повороте. Разрешёнными только для них смелостями поражали Евтушенко и Вознесенский, один — политическими, другой — авангардистскими, но и они, когда надо, клялись революцией, Лениным и Советами.

А те, кому не разрешалось, пустились вольнодумствовать на собственный риск и при самодельной страховке. Вдруг открыли выставку Пикассо в Эрмитаже, но запретили обсуждать, а тех, кто всё-таки собрался на дискуссию, трепали и даже исключали из институтов. В киосках появились невиданно пёстрые обложки — журнал «Польша» начинал их дерзостями в двойном пересказе с французского: «Нет искусства без деформации!» — поляки, по тогдашнему анекдоту, были самым весёлым баракком в социалистическом лагере. Носить их журнал в руках было вывеской бескомпромиссного инакомыслия.

С полускандалом прошло несанкционированное эстрадное представление «Весна в ЛЭТИ», половина из участников которого потом стала профессионалами в развлекательной индустрии. «ЛЭТИ» напомнило мне о былых амбициях: и я бы там, наверное, участвовал... Однако и в Техноложке затевалось нечто — шла самая настоящая предвыборная кампания в комсомоле. Выдвигались (а не назначались) кандидаты, происходили потешные дебаты, в которых зарабатывалась подлинная популярность. Так, быстрый разумом Боб Зеликсон прославился математической шуткой, простой и совершенной, как «Курочка Ряба».

— Почему пятью пять — двадцать пять, шестью шесть — тридцать шесть, в то время как семью семь — уже сорок девять?

Знатки особенно смаковали в ней словосочетание «в то время как»...

«Выберем достойных» — под таким, конечно же, ироническим заголовком шла наша одноактная пьеса, которая по ходу репетиций сочинялась самими актёрами. Тот же Боб, один из главных кандидатов, был тут как тут. В ореоле светлорыжих кудрей, с непрерывно смеющимся, как маска *commedia dell'arte*, лицом, он играл немного юродствующего, чуть философствующего Арлекина нашего действия, по существу — себя.



С Борисом Зеликсоном в Ленинграде, 1975 г.

Мне досталась роль Пьеро, только фамилию для персонажа я придумал по рецепту Юрия Олеши, «высокопарную и дурновкусную» — Аметистов, — так я пародировал неадекватность происходящему, тоже, наверное, свою.

Ценитель и гурман пародийного языка Миша Эфрос, один из идеологов клуба под часами, совсем не на шутку ушедший потом в науку, был нашим режиссёром, и он попустительствовал моему Аметистову, кидавшему в зал цитаты из Екклезиаста или так же невпопад декламировавшему со сцены свидетельство другого современного пророка — Т.С. Элиота в переводе Мих. Зенкевича:

*Так вот как кончается мир,
так вот как кончается мир,
так вот как кончается мир,
только не взрывом, а взвизгом!*

Мир, однако, не кончился, комсомольским секретарем избрали Зеликсона, и вскоре он собрал в старой институтской гостиной с белой изразцовой печью всю, какая только наличествовала, элиту из-под часов. Посмеиваясь и балагурия, балаганя и пошучивая, он изложил грандиозный план: издать стенгазету. Но не такую, чтобы её засиживали мухи, а, если хотите, даже скорее стенной журнал под названием «Культура». И — чтоб во всю стену! И — чтобы только свои мнения, а не предписанные сверху. И — чтоб было не хуже, чем в «Лигературке». Таланты есть. Главный редактор — Леонид Хануков, ему слово.

Ничего о нём прежде не слышали, он взял слово, чтобы силно передать его обратно. Так почему же именно он — главный? Ясно. Либо «зигц-председатель Фунг», как у Ильфа и Петрова, либо, наоборот, приставлен для надзора. Он застенчив, Виталий Шамарин будет чем-то вроде его заместителя.

Опять рассуждает Зеликсон. Отдел публицистики будет вести Веня Волинский, передовая статья уже в работе. Отдел литературы — Дима, ты не против взять его на себя? Я не против, если другие литераторы не претендуют. Рейн? Будет писать о живописи. Найман? О кинематографе. Значит, литературный отдел мой. Тут же заказываю статью Генриху Кирилину — он любит Хемингуэя, да и похож на него, только без бороды, пусть о нем и пишет. И — начинаю сам обдумывать эссе о современной поэзии, а точнее, об Уфлянде — по крайней мере писать о нём будет забавно. Музыка — конечно, Михельсон и, конечно, о Шостаковиче. Театр — сразу несколько девушек, среди них Галя Рубинштейн. Балет... Природа... Юмор — этот отдел, разумеется, за самим Зеликсоном. Ну, навалились!

Через несколько дней газета висела на огромном щите, и площадка парадной лестницы была заполнена народом так, что было трудно пройти в деканатский коридор. И — трудно было её не заметить! Вадим Городынский, сын одного из наших преподавателей и художник-любитель, хорошо поработал над заголовками и коллажами: в ход пошли вырезки из журнала «Польша» — «Нет искусства без деформации».

Веня Вольнский написал роскошную проблемную статью «В порядке обсуждения» о восприятии культуры в условиях общественных перемен. Её уверенный, несколько вальяжно-журналистский стиль был действительно не хуже, чем в «Литературке», в ней изобиливали либеральные намеки и, что было заметней всего, совершенно отсутствовали идеологические цитаты и ссылки. Толпа выхватывала оттуда лозунги, ахала или оспаривала их: «Надо самим разобраться в искусстве», «Не бойся, если твоё мнение пойдет вразрез с чьим-то авторитетом», «Иди своим путем, без груза предубеждений». Даже такие очевидности казались тогда острой и пряной крамолой.

Рейн написал апологетическую заметку о живописи Поля Сезанна, и уже это воспринималось как дерзость, — «ценности соцреализма» охранялись почему-то не менее ревностно, чем идеологические догматы. Разумеется, в заметке провозглашались иные принципы. Но — вот незадача! Имя художника было правильным лишь в заголовке, который написал Городынский, а в тексте машинистка напечатала всюду «Сюзанн», так что в родительном падеже и вовсе выходила какая-то сомнительная «Сюзанна»... Раздосадованный насмешками Рейн сорвал свою статью и ушёл куда-то править ошибки.

В разделе «Кино» — «Чайки умирают в гавани», рецензия Наймана на бельгийский фильм под таким названием, снятый в авангардной манере. Либеральным чудом казалось появление этой картины в прокате среди индийских мелодрам и китайских назидательных агиток.

Заметка Гали Рубинштейн о сценических постановках режиссёра, художника и комедиографа тех дней Николая Акимова «Тень» и «Ложь на длинных ногах» называлась «Два спектакля — две удачи». Но не по поводу содержания статьи или её стиля, а по поводу заголовка разыгрались в редколлегии насмешливые упражнения — возможно, под влиянием «математических» методов Зеликсона: «Три спектакля — две удачи», «Четыре спектакля — три удачи», «Одна заметка — две неудачи»... Разобидевшись, юная театралка хотя и не вышла из редакции, но писать перестала.

Свою статью я, как ни торопился, не успел закончить к выходу газеты и с некоторым опозданием вывесил её, потеснив другие заметки литературного раздела.

Вот выдержки из неё. Я лишь чуть-чуть поправил огрехи торопливого пера.

Хороший Уфлянд

Осенью прошлого года в университете состоялось обсуждение стихов Владимира Уфлянда. Кто-то уже слышал об этом имени, и на чтение собрались довольно много ревнивых толкователей и бестолковых ревнителей поэзии.

Уфлянд был рыжий, курносый и нечёсаный. Он заматал шею зеленым шарфом и начал читать простуженным голосом. Есть в манере нынешних поэтов нарочито плохо читать стихи, не обращая внимание слушателя на их звучание. Уфлянд читал именно так, небрежно произнося слова и делая ударения лишь на начало и конец строки.

Но слушатели были захвачены этим Уфляндом из стихов. Чувствовалось, что он любит жизнь, любит её смущенно и нежно. Тепло и бережно

он относится к вещам, даже если это довоенная фотография или заглушенный холостяцкий дом, к людам, даже если это пыльный пьяница или брадильский эмигрант ...

Все люди разнятся друг от друга, но дело поэта показать, чем именно он похож на всех людей, а поэтому чем он отличается от каждого из других поэтов. И, как результат, — неповторимость манеры, поэтическое своеобразие. Подлинное своеобразие рождается лишь в коротких отношениях с действительностью. В любом ином случае — это только формальное различие авторских приемов.

Судя по стихам, Уфлянд придерживается очень верного и трезвого мнения о назначении поэзии. Он не хватает своего читателя за шиворот и не тащит его, уставшего после работы, на борьбу и сражения. Он дружески приглашает читателя войти в его настроения, давая ему начальный импульс для размышлений...

И читатель поддается душевному и доброму поэтическому слову. Настроение стихов долго не пропадает после их прочтения.

Из каждого факта можно сделать значительное событие. Факт обростает деталями, образами и ассоциациями, ему навязываются аллегории. Рассуждения зарифмовываются, и получается стих. Но это, по существу, муха, раздутая до размеров стихотворения. Такой метод чувствуется у поэтов более старшего поколения, так пишут и люди одного с Уфляндоу возраста — Г. Горбовский и М. Еремин. В значительно меньшей степени это встречалось и у Уфлянда.

Но сейчас Уфлянд подходит вплотную к большой правде мира. Он становится на путь проникновения в глубь факта и нахождения первобытной сути явлений. Этот путь — упрощение форм, углубление содержания и сближение с бытом — и есть сегодняшний путь поэзии.

Уфлянд входит в литературу, как обещающее явление, — этот бывший студент и рабочий, будущий солдат и настоящий поэт.

Статья эта, вместе с большой подборкой стихов моего героя, казалась ярким материалом, но провисела она в газете недолго. Хануков всё это снял и унёс в партком утверждать.

Пока они мою статью перечитывали, утверждали и отвергали, в институте стали происходить некоторые «климатические» изменения. Да и не только в институте, а и в городе и — шире — в стране и за её пределами.

Сначала выступила многотиражка «Технолог». Обычно никто не замечал это бесцветное печатное издание, оказавшееся в глубокой тени от нашей популярной стенгазеты. И вот заметка «По поводу газеты „Культура“». Без обиняков некто «Я. Лернер, член КПСС» высказал в ней «своё личное» партийное мнение:

Мне кажется, что газета „Культура“ должна заниматься не абстрактно-просветительной работой, а быть активным проводником идей партии в деле борьбы с проявлениями чуждых взглядов, идей и настроений. Редколлегия газеты не должна забывать, что у нас господствует социалистическая идеология, нерушимую основу которой составляет марксизм-ленинизм. Однако уже в первом выпуске газеты редакция допускает серьезные извращения, в отдельных статьях прямо клеветает на нашу действительность...

В общем, это был настоящий политический донос! Михельсон помчался куда-то вверх по главной лестнице, потрясая враждебной газетёжкой. Возник некоторый переполох. Ясно было, что на нас спустили первую собаку, с глазами размером пока ещё с чайные чашки.

Кто же такой этот Лернер, неужели тот самый «Яшка-завклубом», увольнение которого ждала институтская самодеятельность — театр и хор? Чернявый, довольно ещё нестарый нахал с безграмотной речью, он не только не скрывал своей связи с КГБ, но, должно быть, её преувеличивал, временами являясь на работу в майорском кителе, — будучи заведующим клубом и распоряжаясь театральным реквизитом, он в принципе мог бы появиться хоть в генеральских лампахах. Наш комбинатор умудрился для почти профессионального театра и чуть ли не совсем профессионального хора Техноложки устроить платные гастролы по области. Доходы от гастролов не достались актерам и певцам и не поступили в институтскую казну, да и не могли туда поступить, поскольку самодеятельным коллективам гонораров не полагалось. Когда стали разбираться, куда же они всё-таки делись, заодно выяснилась пропажа целого рулона тюля для занавеса... Пришлось этому партийному ворышке уйти “по собственному желанию”.

Некоторое время спустя Лернер всплыл в добровольной народно-милицейской дружке Дзержинского (а не какого-либо другого) района Ленинграда. И там опять «прославился» в деле Бродского, затем угодил-таки за мошенничество под суд.

День поэзии

В ту осень не только наша «Культура», но и другие студенческие клубы, неофициальные и рукописные журналы, независимые объединения поэтов стали возникать в городе. Будоражило ли это сыщиков политического надзора, тревожило ли это железобетонное ленинградское начальство? Не знаю. Но думаю, что временно им было не до нас. Москва замахнулась тесаком реформ, провинция хватала её за волосатое запястье. Пока потные гиганты сопели, перетаптываясь, процветала наша «Культура», в ЛИИЖТе звучали «Свежие голоса», в Библиотечном молотили «Чепуху», «Тупой угол» издавали интеллектуалы-физики в Политехнике, декаденты распускались «Синими бутонами», футуристы открывали «Лит-фронт Литфака»...

Из Москвы приезжали знаменитости: Евтушенко, Слуцкий. Каким-то невероятием Рейн их зазвал в Техноложку и скоростным образом (видимо, через Зеликсона или прямо через Никиту Толстого, завкафедры физики) устроил для них выступление в Большой Физической аудитории. Более того — не чувствуя себя уверенным перед огромным залом, он вытащил и меня, и мы вместе представляли гостей. Московские звёзды были осторожны, читали проверенное, “заливанное”... Евтушенко — «Военные свадьбы».

Вхожу, плясун прославленный, в гудящую избу...

В авторском чтении вдруг проступила какая-то нецеломудренная символика стихотворения: женихи уходят на войну, поэт-подросток остаётся им на замену...

Прочитав первым, Евтушенко тут же исчез. Слуцкий читал тоже лишь слабо разрешённое:

Я говорил от имени России...

Профессор Никита Толстой, по существу хозяин места, где все собрались, задавал вопросы из первого ряда:

— Почему не издают Хемингуэя?

Или:

— Когда, наконец, мы сможем прочитать Джойса?

Слуцкий мялся с ответами, — откуда ему было знать? Мы закрыли вечер и увели его, чтобы показать газету «Культура», которая нуждалась в веской защите. Он задал несколько статистических вопросов о том, сколько студентов в институте и какая часть из них прочитала газету, затем не торопясь проглядел заметки, но отозвался как-то невнятно:

— Посмотрим...

В утешение он сказал пишушим:

— Шлите всё Бену Сарнову, с поправкой, конечно, на читателя, в журнал «Пионер». Он печатает наших...

Поколебавшись, я все-таки его спросил:

— А «наши» — это кто?

— «Наши» — это наши, — четко ответил Борис Абрамович, заглянув мне испытующе в глаза.

На следующий день был Праздник поэзии. Московские знаменитости с тем и приехали, чтобы на нём выступить. В этот день я купил в Доме книги у молодой продавщицы отдела поэзии Люси Левиной большущий альманах, который так и назывался «День поэзии». На обложке, по забавному замыслу художника, уже имелись отпечатанные автографы участников, и кого там только не было! Красивая Люся, глядя прозрачно-зелёными глазами, произнесла на публику пунцово-выпуклыми губами:

— Приходите все в час. Будет выступать Павел Антокольский.

В начале второго перед толпой молодёжи стоял сморщенный, похожий на Пикассо старикан, артистически прикрыв голый череп беретом. Он был еле виден из-за прилавка. Поставили стул. Со стула, как малыш на ёлке, он стал читать поэму о сыне, убитом на войне. Предмет был грустен, поэма длинна и риторична, к тому же давно и хорошо известна — автор уже получил за неё Сталинскую премию, и публика скучала. Хотелось именно праздника. Ему стали подсказывать:

— Почитайте что-нибудь новое!

— Нет, лучше из старого! О Венере Милосской — «Безрукая, обрубок правды голой»...

— Пусть лучше Рейн будет читать! Поэму «Рембо».

— Кто такой Рейн? — вдруг заинтересовался старый романтик.

Рейна пропустили вперёд. Многоопытный, но любопытный Антокольский, не давая повода для неразрешённого выступления, распорядился:

— Читайте не им, а мне.

И — направил неожиданно большое ухо через прилавок. Но и Рейн не дал тут промашки. Частично в волосатое антокольское ухо, а большей частью отводя звук губою в зал, он гулко закричал:

Программа девственниц с клеймом на ягодице —

«А. Р.» — такое же, как под столбцами рифм.

Здесь нет иронии. Она не пригодится.

Так значит, прочь её. Но щеки опалив!..

Не знаю, как в дальнейшем сложились отношения двух поэтов, — кажется, довольно мило. Но тогда хотелось для Рейна немедленного признания, торжествен-

ной передачи лиры, благословения, приглашения в Литинститут в Москву! Этого, разумеется, не было...

А в Москве Леонид Чертков занимался, по его словам, «политической болтовней» в сарайчике для жилья, извне напшигованном подслушивающей аппаратурой, и публично читал с ироническим посвящением «Ленинскому комсомолу» свои «Рюхи».

*Расставив ноги блямбой,
она ему дала за дамбой...*

А в Польше... А в Венгрии...

В Венгрии тоже всё началось со студенческого кружка «По изучению поэзии Шандора Петефи». Кружком руководил профессор изящной словесности Имре Надь (не венгерский ли вариант Глеба Семёнова?) Читали летучие стихи, занимались «политической болтовней» на своем вывихнутом наречии... Только вдруг они ощутили себя свободными и стали освобождать страну. Такие же, как мы: в зеленых плащах и чёрных беретах. Но — с автоматами. Когда всё вдруг кончилось, мы с Найманом ходили смотреть кинохронику тех дней. Диктор произносил торжественно-злоеще: «Фашиствующие молодчики покусились на самое святое — памятник советскому воину-освободителю». Из положения лежа молодые венгры вели прицельную стрельбу из автоматов по советскому гербу на монументе. От него отлетали кусками: серп, молот, колосья...

— Я смотрю это в девятый раз, — признался Найман.

Диктор: «Войска Варшавского договора пресекли провокацию, грозящую дестабилизацией Восточной Европы»...

Да, 5-го ноября Хрущев бросил на Будапешт танки, и неделю они с лязгом гоняли по улицам, расстреливая повстанцев. Имре Надя, тогда уже главу правительства, схватили, увезли в Болгарию и там казнили. Из прессы нельзя было выжать никаких сведений о происходящем. Только сквозь рев глушилок, приносившая слух, я вылавливал обрывки радиорепортажей Би-Би-Си.

— Опять свои небеси слушаешь, — с неодобрением говорила Федосья.

Жизнь спустя, в 90-м году, следуя по отрогам разваливающейся империи, я переезжал на немецком прокатном «опеле» мост через Дунай между Пештом и Будой. На этом месте застрелился советский офицер-танкист, не пожелавший исполнить кровавый приказ. Далее, на развороте улицы, поднимающейся к крепости в Буде, стояло старинное укрепление. Его толстые гладкие стены были все в шрамах — результат обстрела из скорострельной танковой пушки. Так они и остались незаштукатурены. Видно, в 56-м это был крепкий орешек сопротивления, а сейчас я, восходя от незалеченных стен, возвращался к собственной юности. Вид с крепости на Пешт захватывал дух. Солнце слепило, отражаясь в Дунае. Венгрия уже была свободна, но запашистые, крепко-пахучие поленья салиями оставались ещё восхитительно дешёвы.

Разгром «Культуры»

Как раз 5-го ноября нас в институте согнали на инструктаж по поводу предстоящей «демонстрации трудящихся» к очередной октябрьской годовщине. Побывав однажды в 10-ом классе на такой демонстрации, я в дальнейшем успешно увиливал от этой общесоветской обязанности, не собиравшись участвовать и в этот раз, но на инструктаж пришлось пойти. Выступал деятель райкома:

— Возможны провокации!.. Запомните, кто идет в вашей шеренге слева, кто — справа... Во время шествия не теряйте их из виду. Не допускайте в свою колонну посторонних!..

Поскольку провокации были заранее объявлены, они должны были состояться, и состоялись. Первая весть после праздников была:

— Миху Красильникова арестовали!

— Как? Где? За что?

Очень просто: подвыпивши, во время праздничного шествия, а вернее, когда шествие замедлилось в ожидании выхода на Дворцовый мост, Миха забрался на основание Ростральной колонны и стал выкрикивать игровые лозунги: «Утопим Бен Гуриона в Ниле!», «За свободное расписание, за свободную Венгрию!», «Долой кровавую клику Булганина и Хрущева!»

В результате Красильникова уцепили на четыре года в лагеря. Рейн написал о нём стихотворение, в котором «четыре года» повторялись рефреном в каждой строфе. Через два месяца Чертков, по словам из его стихов, «на вокзале был задержан за рукав» и получил пять лет. Нас как будто забыли.

Но нет: в институте появился корреспондент из Москвы, закулисно беседовал где-то и с кем-то... За мной послали нарочного из деканата, отозвали с какой-то лекции, проводили в ту же, когда-то весёлую, а ныне унылую и пустую гостиную, где был Комитет комсомола. Там сидел некто — ни молодой, ни старший, ни высокий, ни низкий, вертел в руках мою статейку «Хороший Уфлянд». Представился:

— Корреспондент «Комсомольской правды.

— Дмитрий Бобышев, студент.

— Как же вы, Дима, дошли до такого?

— А что? Нас обвиняют, навешивают крамолу... А у нас её не больше, чем, например, в «Литературке»...

— И «Литературка» за своё ответит перед партией. А вы отвечайте за своё. Вот, например, ваша заметка... Что это: «Не тащит читателя, уставшего после работы, на борьбу и сражения»?

— Ну, я имел в виду «за абстрактную добродетель».

— Нет, это никого не убеждает...

Не убеждало и меня, и я остался с чувством тревожного ожидания дальнейших неприятностей. Но пока они медлили, нас развлекали мелкие нападки «Технолога». Там, например, появилось утверждение, что Найман «учинил скандал в институтской библиотеке, требуя целый список запрещенной и порнографической литературы».

— Толя, что это значит?

— Это значит, что я запросил «Хулио Хуренито» Эрэнбурга, а мне не дали.

— Почему же это порнография?^[1]_{SEP}

— По звучанию...^[1]_{SEP}

Основной разнос ожидался от парткома, а там царили неразбериха и шатания. Разоблачения Сталина, хотя и частичные, поколебали идеологический монолит, и стали видны человеческие свойства, а попросту слабость наших «парткомычей».

Дома отчим веселил и сердил меня... наивностью, когда старался обратить пасынка на «правильный» путь. Он копал под корень:

— Не было Иисуса Христа даже как исторического лица. Нет никаких доказательств!

— А я скажу — не было твоего Ленина. Как ты докажешь, что был?

— Да он же сам — в Мавзолее! К тому же есть столько свидетельств, фотографий...

— И о Христе есть свидетельства и изображения. Фотографий ведь не было, так — на иконах. И заметь — на них он всегда узнаваем! Это ли не доказательство подлинности?

Были у него и другие теории для моего «спасения». По одной из них мне нужно было до защиты диплома ничего другого не делать, а попросту лишь учиться, не отвлекаясь ни на что.

— Получишь диплом, тогда — пожалуйста! Девушки, развлечения, книжки...

— А дышать можно? А — жить?

— Так живи! Но к чему, например, на стихи расплываться. Зачем они? С чего ты их стал сочинять?

— Ну, чувствую что-то внутри. Какая-то цветомузыка на слова просится...

— А-а... Так ты, значит, песню слышишь. Так бы и сказал...

И он отступился от наставлений. Но вот, наконец, партком взвешенно грохнул — разразился в том же «Технологе» от 16 ноября письмом «Об ошибках газеты «Культура»...

Казалось бы, написали всё, что надо, для логически следующего вывода, — указали на идеологические грехи, назвали отщепенцев:

Некоторые члены редколлегии и их защитники выступают под флагом преодоления последствий «культы личности», а фактически проповедают буржуазную идеологию... Как может работать в газете «Культура» Бобышев (434-я группа), отказывающийся платить комсомольские членские взносы и являющийся ярким пропагандистом аполитичных и вредных стихов? Может ли заниматься культурным воспитанием студентов Найман (332-я группа)?..

Теперь бы связать это с международным положением, с «попыткой контрреволюционного мятежа в Венгрии», да и призвать: «Надо, ох как надо крепко дать по рукам их зарвавшимся приспешникам из числа редколлегии так называемой газеты «Культура!»... Но не было, не было этого! Пожалели, полиберальничали или не были уверены, опасаясь, что при следующем крене их самих призовут к ответу за «издержки культа личности».

Как бы то ни было, а газета висела, материалы в ней обновлялись, хотя и с осторожностью. Нас не трогали. Найман ходил смутный, будто он что-то забыл, — худой, чёрный, под током сочинительства. Говорил, что ест мало, а пишет непрерывно. Не мудрено, что при всём этом он в обмороке скатился на ходу с трамвая — ехал на подножке. Я в ЛИТО в «Промке» читал при партийном Всеволоде Азарове и другом неясном контингенте стихи «Венгрии», из которых помню только: «сёстры дальние», «вижу горем пропоротый город и огороды» да «сострадание стародавнее». Но само чтение вспоминает Додик Шраер-Петров в своей книге «Друзья и тени»:

Внезапно поднялся Бобышев. Он стоял бледный и замкнуто-решительный. Мы замерли. Так вызывают на дуэль. Он словно бы и не видел Азарова, встав передо мной, готовый бросить перчатку. «Как ты можешь писать Бог знает о чём, когда пролилась кровь наших братьев — венгерских интеллигентов?! Я прочту стихи, посвященные памяти героев венгерского восстания.» Бобышев читал. Помню, что там звучали ... горячие слова, вырывавшиеся и продолжающие вырываться из уст русских поэтов вотуже два века... Ни тени формальной работы. Ни одной реминисценции... Слезы и яростное проклятие душителям свободы.

Тексты этого стихотворения и другого, ему подобного, я уничтожил, возвратясь домой, так как был убеждён, что Азаров донесёт и меня в тот вечер схватят. Молодец, не донёс-таки, а ведь, как член партии, должен был.

Конечно, я находился на нервном взводе, но это не была паника. Что-то такое липко-холодное струилось в воздухе. Как я узнал позднее, несомненно и документально, «Литературка» (да, та самая якобы либеральная, а на самом деле провокаторская газета) поручила как раз в это время «тов. Л. Клецкому, аспиранту Ин-та им. Герцена (Ленинград, Моховая, 26, кв. 500) работу по составлению справки закрытого характера о вышедших самочинно в некоторых ленинградских вузах студенческих журналах и стенгазетах». Там было достаточно и о нас. Зачем им понадобилась такая справка? Они ведь эти сведения никак не использовали для печати. Зато некто из КГБ в Большом доме на Литейном взял новую дерматиновую папку, вывел на ней «Дело газеты «Культура», развязал её нетронутые шнурки и поместил туда эту справку вместе с доносами Лернера и письмом парткома. А 4 декабря к ним присоединилась и статья А. Гребенщикова и Ю. Иващенко «Что же отстаивают товарищи из Технологического института?», напечатанная в «Комсомольской правде».

Название казалось задумчивым, к тому же нас называли «товарищами», и первой мыслью было: «Значит, брать не будут». Более того, в конце статьи достоверно сообщалось: «Сейчас в институте поговаривают, что долго газете «Культура» не выходить: скоро, мол, её прикроют. Будем надеяться, что этого не случится...».



Партийная критика, 1956 г.

— Тем лучше! — бодро воскликнул Боб Зеликсон. — Давайте повесим эту вырезку среди материалов нашей газеты. Она привлечёт к ним ещё больше внимания.

Повесили. Привлекла. Куда больше? Но желаемой дискуссии уже быть не могло — внутри мягко озаглавленной статьи шёл политический мордобой. Расправа.

Это было бы ничего, споров мы не боялись, а нежелательный крен в политике, по идее, мог вот-вот смениться другим, благожелательным, — на это же,

помнится, рассчитывал и Пастернак... Увы, произошло обратное: «империалистическая американо-израильская агрессия на Суэцком канале», результатом чего были портреты плачущего (глаза красавицы, эффектно-белые височки) Абделя Насера, «Героя Советского Союза», попавшие в вырезках из западных газет в наш оборот, да рёв глушилок, смешанный с рёвом контрпропаганды...

То ли глушилки работали недостаточно плотно, то ли специально был отловлен нужный материал, но — обсуждалось в парткоме, и до нас оттуда долетело нечто в таком роде:

— Госсекретарь США Джон Фостер Даллес, этот жупел «холодной войны», изображаемый Борисом Ефимовым не иначе как с сосулькой на носу, выступил в Турции на открытии ракетной базы, направленной на нашу страну. Он говорил о сопротивлении коммунизму внутри самих коммунистических стран. И приводил примеры — кружок Петефи в Венгрии, газета «Культура» у нас в Технологическом... Хороший Уфлянд, плохой Бобышев, импрессионист Рейн, вероятно, еще и Найман и, несомненно, Зеликсон...

«Голос Америки» сделал то, чего не доделали советские мастера несвободы: газету «Культура» закрыли.

Эмигрантская болезнь

Вторую половину жизни я провёл за границей и с переменным успехом насмешничал и потешался над ностальгией как атрибутом эмиграции. Ещё у «хорошего Уфлянда», так и не изведавшего этой болезни, она была забавно и точно названа «эмигренью» и лечилась только заменой пальм на берёзки. Однако эти пресловутые деревья прекрасно росли и растут в Америке. Сытые, толстые, с глянце-витыми листьями и с особенно белой и гладкой корой, они явно в лучшую сторону отличаются от родной «берёзы бородавчатой», как её определяет Малая советская энциклопедия. Пуще того, массачусетский поэт Джозеф Ленглан, с которым мы общались на почве взаимных переводов, как-то поведал, что, помимо белой, в лесах и парках его штата растёт еще и чёрная, и розовая, и розовая, и даже золотая берёза...

“Дай коры мне, о берёза, белой дай коры, берёза”, — заклинал бунинский Гайавата. А почему бы не розовой? Выбор — ведь это так типично для жизни на Западе... Но неужели и сам певец «Тёмных аллей» страдал от навязчивой тоски? В конце концов, в Париже есть целый Булонский лес, куда можно съездить на такси, чтобы насытиться «берёзовой кашей» (не надо меня поправлять, я слышан о том, что это значит), и нужно ли напоминать, что «*boulevard*» по-французски и есть наша «берёза». Нет, вся эта ностальгия мне представлялась культурным мифом, тоской по небывшему, оправданием и маскировкой для неудач. А деревья... Разве они виноваты?

— Ненавижу их, — сказал Андрей Седых, указывая на мелкие кроны ново-саженных берёзок внизу.

Мы стояли на балконе тридцатипятиэтажного здания в Нью-Йорке, встречая новый 1981 год в литературной компании на квартире Леонида Ржевского, но не князя, а писателя — одного из эмигрантов второй волны, многие из которых прятались под звучными псевдонимами. Седых был обломком первой волны, состоял секретарем и переводчиком при Бунине, когда тот ездил за Нобелевской премией, но тоже был отнюдь не сибирским казаком, как на то намекало его картинное вы-

думанное имя, а феодосийским крещёным евреем Яковом Моисеевичем Цвибаком, журналистом. Газета «Новое русское слово», находившаяся в его владении, в то время круто меняла направление.

С одной стороны, там помещались объявления о благотворительных обедах в сестричествах, ёлках на монастырских подворьях, а больше — о сборах на ремонт храма, о заупокойных службах по лейб-гвардии... их высочеств... Это отходила в историю «белогвардейская» первая волна.

С другой стороны, газета печатала крутой антисоветский и антикоммунистический комментарий, а по существу, те же ржавые советские агитки, только наоборот. Это продолжала свою войну против «батки Сталина» вторая, «власовская» эмиграция.

И наконец, всё больше появлялось сообщений о бармицвах и бармитвах, об успехах кишинёвских дантистов и одесских биндюжников. Сочные, смачные и визгливые рекламы больше, чем заметки и очерки, свидетельствовали о третьей, якобы «диссидентской» волне, не без нахрапа расположившейся на более или менее комфортабельных задворках Большого Яблока.

Яков Моисеевич вбирал в себя все эти взаимоисключающие стороны российского Исхода и даже пропорциями тела напоминал свою газету, раздаваясь боками вширь.

— Вы всё-таки принесите мне ваши стихи. Может быть, напечатаю... — смутно пообещал он и, вернувшись в гостиную, широко втиснулся между двумя поэтессами — Аглаей и Валентиной.

Время и место — больше ничего у меня не было общего с этим разносторонним журналистом. Деревья я ненавижу не мог, а поэтесс считал слишком лёгкой добычей. Теоретически я не исключал, как он, слово «родина» из своего лексикона, а в подходящем контексте мог бы написать его и без кавычек... Я, впрочем, передал в редакцию газеты свою книгу, о которой уже была там напечатана кисло-сладкая статья Александра Бахраха — ещё одного бунинского протеже.

После этого я ещё долго раскрывал страницы всё толстеющего «Русского слова» в поисках стихов. Но моих там не было. Цвибак упорно печатал одних поэтесс.

Тема ностальгии оказалась под строгим запретом в этой газете, но продолжала таинственно существовать в эмигрантских преданиях.

— Выдумка советской пропаганды, подбрасываемая КГБ в наши ряды, — рассудил Боря Шрагин, диссидент и философ.

Стройных рядов не наблюдалось, хотя агенты, вероятно, и были. У меня тоже для тоски не находилось времени — Америка увлекла новизной и размахом. Но чтобы обезоружить беспокоящий феномен, такого объяснения было недостаточно.

— Нет, это на самом деле тоска по прошлому, по детству и молодости. По любви. И заодно по тем пейзажам, включая злополучные берёзки, на фоне которых она происходила.

Я высказывал это мнение новым знакомым, и оно очевидно усваивалось, потому что однажды вернулось мне от Марины Тёмкиной, поэтессы, то есть стало расхожим.

Переезд из Нью-Йорка в американскую глубинку, уже не праздничные, а ежедневные заботы новой жизни отодвинули эту тему на периферию сознания, но она стала возникать ещё очевидней с неожиданной, гастрономической стороны. Прилежь среднезападные добротные стейки, экзотические креветки и даже пряные китайские вычуры. Захотелось варёной картошки со свежим укропом, тёртой редьки, солёного

груздя со смородиновым листом или хотя бы кильки. Или же — опрокинуть гранёный стопарик ледяной водки и быстро закусить его ржаным хлебом с ломтиком сала, помазанным жгучей горчицей! Конечно, многое из этого находилось в округе, надо было только поискать, но кое-что категорически отсутствовало — например, чёрная смородина, вообще запрещённая к ввозу в Америку. А за деликатесами пришлось гонять в Чикаго, в «русский» (еврейско-украинский) магазин с ностальгическим для бывших киевлян названием «Каштан» — так в их прошлой жизни означались валютные лавки.

Там было всё, и даже в превосходной степени. Соскучились по вобле? Конечно, есть отличная вобла-гарабанка, а есть и легендарный рыбец, просвечивающий от жира... Это его, по семейному сказанию, когда-то возили вельможному Жоржу Павлову в Москву с почти обезрыбевшего Азовского моря. Запредельный, райский идеал воблы, к которому она тщетно стремилась всю жизнь! А захотелось «правильной» селёдки — есть и она, малосольная, тонкошкурая, но не лучше ли взять сельдь «залом», которой закусывали наши прадеды и о которой теперь можно было лишь прочитать в художественной литературе? А здесь — пожалуйста!

Но эти триумфальные победы над ностальгией были временны, и когда ко мне на побывку собралась мать, я попросил её привезти в Милуоки буханку чёрного хлеба. Лишь потом я сообразил, что подвергал её риску в американской таможене. Зато как я наслаждался нелегальным караваем! Ничуть не меньше, чем Пруст — бисквитным печеньем, размоченным в чашке чая с молоком... Только я видел другую, чем он, застывшую картину моего детства: колодец проходного двора, медленно хлопающего крыльями голубя, улетающего в голубой квадрат наверху, и остановленное моим взглядом перо в воздухе.

Пока мать гостила, она могла наблюдать, как меня занимает новая жизнь, а я ещё и подчеркивал свое благополучие: дома — семья, инженерная работа в электронной фирме, в конце недели — вечерние лекции по русской литературе, которые я стал читать (к тому же и на английском языке) в местном университете, а по выходным — пикники и прогулки по-над берегом великого озера Мичиган... Для полноты картины у меня ещё случилась короткая поездка в Париж по литературным делам, откуда я привез ей шёлковую сувенирную косынку и вычурную авоську для покупок.

Словом, я вёл насыщенную интересами, яркую жизнь, о которой раньше мог только мечтать, и тосковать было не о чем. Кроме того, я успел показать матери красоты и достопримечательности Среднего Запада, которых обнаружилось немало, и наконец отвез её в аэропорт.

Полёт домой ей предстоял долгий, но я заметил по часам, когда её самолет должен был приземлиться в Пулкове. Я сидел один в милуокской квартире на Локуст-стрит, глядел на часы. Налил в широкий бокал бургундского вина калифорнийского разлива. В этот момент она должна была проходить паспортный контроль.

Заминка с багажом. Таможня.

— Наркотики? Оружие?

— Посмотрите на меня. Какие могут быть наркотики?!

— Проходите...

Кто-то её встречает: Таня или Костя. Или — оба. Такси! Едут по Московскому проспекту, огибают блокадный монумент, затем справа остаётся на фоне Военно-промышленного комплекса мускулистый Ленин в балетной позе и с жестом руки, могущим означать лишь одно: «Вздернуть!»

Вот таксерская «Волга» перемахивает через Обводный канал, влево от проспекта отходят Красноармейские Роты. Вспоминает ли мать наше предвоенное жи-

тё там? Наверное — да, но тут же воспоминание перебивается торжественной трапезой Техноложки. Вот бронзовый Плеханов, тычущий пальцем через площадь, неторопливый рабочий со знаменем... Такси сворачивает направо: Разве Можно Верить Пустому Сердцу Балерины? — только в обратном порядке. Витебский вокзал, Пять углов, узкий Загородный, широкий и короткий Владимирский, переходящий в Литейный проспект, каменная кулебяка дома Мурузи, ещё одна — Дом офицеров, и — поворот направо, на Кировскую. Здесь уже близко: справа — Преображенский полк, слева — Таврический сад. У музея Суворова — широкий разворот влево, и машина останавливается у подъезда дома 31/33. Пока выгружают вещи, Федосья смотрит, свесясь с балкона и покрякивая на Костю.

Пока я мысленно следовал этому маршруту, что-то в груди, отдельно от стука сердца, стало ритмически сжиматься, — тоска ощущалась, как физическая боль. Вот отпустила. Вот опять... Это была самая настоящая, безусловная ностальгия, переживаемая как мысль о невозможности вернуться. Так вот в чем была зарыта собака! Я поставил пластинку с песнями Терского берега Белого моря и завил свое американское счастье веревочкой.

С первым же возвращением на родную землю все симптомы эмигрантского недуга исчезли. А тоски по моей мучительной молодости я никогда не испытывал, потому что возвращаюсь в неё постоянно.

Нож к горлу

Венгерское восстание было подавлено, наша «Культура» разогнана, и холодные ветры задули в буквальном и переносном смысле. Тучи, поминутно срываясь дождем, летели серыми клочьями с залива. Вода в Неве и каналах стояла высоко, подпирая ливневую канализацию, и целые кварталы оказались самозатошены. Это мрачное, сырое и не совсем чистое зрелище всё же привлекало чем-то — не своею ли неподконтрольностью? — и тянуло домашних затворников выйти на улицу.

Наверное, не только я, но и мои друзья-стихотворцы да и другие братья-технологи-во-Культуре чувствовали себя пушкинскими евгениями — всем впопугу было отсиживаться на каменных львах... Погрозили пальчиками бронзовому истукану государства, и теперь уж — держись!

Евгению первому и досталось. Он захворал, пропустил три дня занятий и, не успев обзавестись вовремя справкой от врача, был оглоушен приказом по институту: «Студента механического факультета Рейна Е.Б. исключить за прогулы. Подпись: ректор К.С. Евстропьев».

Да и все были ошеломлены. Споры в деканате, ходатайства ничего не дали. Зазияла перспектива рекрутчины. Кто следующий? И у Наймана начались неприятности как раз на военной кафедре.

Хунта добродушных полковников (и подполковников тоже) под началом генерала Михеева готовила из наших химиков отравителей и дезактиваторов, а из механиков — артиллеристов, да таких, чтобы могли и пульнуть химическим зарядом на случай гипотетической войны.

Еженедельные занятия не были особенной обузой... Но полковники требовали неукоснительной посещаемости, и отсутствие среди нас девушек студенты восполняли зубоскальством, потешаясь над гомерической глупостью хунты. На занятиях по баллистике (которыми в своё время не гнушался Наполеон) подполков-

ник Мишук объяснял, как с помощью гаубицы поразить противника, укрывшегося за высокую гору. Зеликсон спросил:

— А если гора будет еще выше?

— Изменить угол наклона ствола, — пояснил лектор.

— А если гора до неба?

— До неба никакая гаубица не дострелит, — последовало откровенное признание.

— А если тогда положить её набок, нельзя ли гору обогнуть снарядом слева или, соответственно, справа?

Пока Мишук обдумывал «научный» ответ, три дюжины будущих младших лейтенантов запаса давились от сдерживаемого хохота.

Надо понимать, что и не менее дерзкий Найман в своей группе отчебучивал что-то подобное. Хунга отплатила тем, что, не допустив до экзамена, оставила его «рядовым необученным» и, следовательно, уязвимым перед любым очередным призывом в армию. Зеликсон, Вольтинский и Михельсон были на пятом курсе и уже обладали охраняющими их от солдатчины офицерскими званиями.

Меня поджидало своё лихо с другой стороны: в ту осень я захворал тяжелой ангиной, затянул сдачу курсового проекта, тем временем наступила зимняя сессия, а я свалился с ангиной ещё раз. Стало ясно, что с семестром я не справляюсь, но и исключить меня не могут — больничные листы были наготове, и даже с рекомендацией ларинголога: удалить гланды. Всплыло спасительное понятие: «академический отпуск».

Таким образом, я ускользал от беспощадного Павлука, но, выдавая мне справку об отпуске, он всё же холодно обусловил:

— Отпуск дается только для немедленной операции и последующего выздоровления. Знайте: если вы пренебрежете рекомендацией врача, вас ждет исключение из института.

Иначе говоря, отправил-таки меня под нож! Но — нет худа без добра: гланды уже спасли меня от военной службы, теперь спасают опять. Да и поправить здоровье не мешает, а в спокойное время решиться на операцию не просто...

Направление из районной поликлиники у меня уже было, но мать узнала что-то плохое, ненадёжное о больницах, куда оно было адресовано: там невзначай можно попасть на коновала... Оставалась городская Клиника уха, горла и носа на Бронницкой улице, кстати в двух шагах от Технологжки. Но туда оказалось не так просто попасть, — пришлось гальванизировать какие-то старые номенклатурные связи Василия Константиновича.

О нем прежде всего и расспросил врач, принявший меня уже поздно после полудня в клинику. Затем только заинтересовался мной.

— Студент Технологического института? Не может быть! Это же прекрасно! — неестественно оживился он. — Профессора Евстропьева знаете?

— Как же, это наш ректор.

— Ну, просто великолепно! — ещё более обрадовался он. — Как раз сегодня вечером у него встреча с избирателями здесь, в этой клинике. Он баллотируется в горсовет от нашего округа. Вот вы и выступите на собрании, расскажете о вашем ректоре.

— Но я не знаком с ним лично!

— А ничего. Мы его и совсем не знаем. Расскажите, как он руководит институтом, о научной работе, о студенческих буднях и праздниках. Это такая удача для нас, что вы — именно сегодня...

— Но у меня горло болит! Я не могу выступать!!

— Полноте, я ведь врач. Болеть оно будет завтра утром, в операционном кресле. И то не очень. Я обещаю вам хороший местный наркоз. А выступить от избирателей вы обязаны: у нас из Техноложки вы один.

Я всё понял: и его скрытый ультиматум, и то, как глубоко влип. Выступить с тем, что от меня ожидалось, я не мог, не мог и не выступить, если этого требует хирург, приставив мне буквально, именно буквально, нож к горлу. Сбежать? Куда? Там — Павлюк. Потянуть еще время? В прострации я произнёс нечто для себя неожиданное:

— Нужно обдумать. Предоставьте мне отдельную палату и выдайте десять порций компота.

— Конечно, конечно... Может быть, ещё блокнот и карандаш?

— Разумеется. И — право курить в палате.^[1]_{SEP}

— Все будет сделано.

Я был вписан в регистрационную книгу, сдал одежду, переоделся в застиранную казенную пижаму, и медсестра отвела меня в стационар. Пути назад уже не было. Палата, в нарушение договоренности, оказалась общей, на двадцать коек, но остальные условия были соблюдены. Обитатели палаты, в пижамах и с белыми, глухо забинтованными головами, недоуменно таращились на юнца, к койке которого был подан весь оставленный компотами из сухофруктов поднос, пепельница и блокнот. Круглоголовые были прооперированными пациентами, у которых выдалбливалась в голове полость за ухом и оттуда выкачивалось нежелательное содержимое. Остальные находились в угрюмом ожидании того же. Завтра я так же лишусь голоса, как эти — слуха.

Меня удивляло такое количество больных одним и тем же заболеванием, я вспоминал теперь встреченных «на воле» людей с провалами в черепах именно в этих местах, за ушами, не всегда удачно закамуфлированными волосами, мне хотелось узнать, нет ли общей причины, может быть, климатической или профессиональной, для этой болезни, но... хирургический нож, а вернее, особые ножницы-щипцы, наподобие, видимо, абортных, с каждым часом приближающиеся к моему горлу, заставили думать о собственной участи.

Итак, через два-три часа начнется собрание. Я выпил очередной компот, с неожиданным удовольствием размолвал зубами несколько твердых гранул попавшейся груши, потом закурил и стал рассчитывать мои бредовые обстоятельства на несколько ходов вперед. Они, впрочем, были ясны как божий день: в любом случае мне несдобровать. Если я отказываюсь выступать, врач докладывает об этом Евстропьеву и последствия скажутся на моем пребывании в институте. А главное, ведь завтра с утра тот же самый врач схватит меня резиновыми пальцами за горло и вырвет оттуда абортными щипцами хорошо если гланды, а не сам язык, отказывающийся лгать!

Ну, а если не лгать, а выступить и рассказать все о разгоне «Культуры», о подлome исключении Рейна? Ведь это он, Евстропьев, подписал приказ... Вот так и заявить, а заодно и призвать всех отказаться от фальшивого голосования, когда выбирать приходится из одного кандидата!

Тогда они меня тут же на месте и зарежут, и безо всякой анестезии. Или, заламывая руки, утащат в воронок, чтобы бросить где-нибудь в кагэбэшном узилище на цементный пол.

А сыграть в их игру, произнести деревянно набор идеологических шаблонов — вредоносных, лживых, неприемлемых — разве можно после столь пунцового

позора ещё жить и писать стихи и даже пытаться сказать что-то «векам, истории и мирозданию». Правда, Маяковский так ведь и сделал, но сам себя и казнил за то. Это же нечто непредставимое, всё равно как выбросить руку вперед и произнести «Зиг хайль». Ну а если всё-таки произнести «Зиг хайль», но, например, при этом громко пукнуть, то — что тогда? Уничтожается ли одно безобразие другим или же, наоборот, удваивается? Какая-то зыбкая возможность выхода всё же забрезжила в этом направлении мыслей, когда всех лиловомочальных пациентов, глухих и гугнивых, и меня среди них первого, пригласили в зал на предвыборное собрание.

Неожиданно вместительный зал полукругом огибал просцениум, на котором стоял стол, покрытый сукном и пышно обставленный кустами цветущих фуксий. Почему именно в больнице, где чахнут люди, так жирно разрастаются комнатные цветы? Впрочем, вопрос этот был не ко времени. Среди фуксий блеснули золотые очки Евстропьева. Какой-то лысоватый брюнет поднялся от стола к трибуне. Доверенное лицо кандидата. Молодой, а уже доцент, — о его научной карьере, конечно же, не приходилось беспокоиться...

— Выдающийся ученый, Константин Сергеевич возглавил разработку новых научных методов... Преданный делу социалистического строительства и научного прогресса... Опытный руководитель, он сочетает в себе... Отдавая себя заботам об избирателях, он и на второй срок депутатского служения...

И так далее. Кончил. Возник председательствующий:

— Среди пациентов нашей стационарной клиники оказался студент Технологического института Дмитрий Бобышев. Он выразил желание выступить в поддержку нашего кандидата профессора Константина Сергеевича Евстропьева. Пожалуйста, товарищ Бобышев, ваше слово.

Когда я выходил на трибуну, в очках Евстропьева приплясывало удивление, смешанное с тревогой. А я так и не знал, что скажу через секунду, — в пижаме, операционный пациент, перед другими пижамными пациентами-кеглями. Мой голос произнес:

— Профессор Евстропьев руководит одним из крупнейших научных и учебных заведений страны. Студенты называют этот вуз «Техноложкой». Институт готовит инженеров-химиков, технологов и механиков для промышленности. На юбилейном собрании по поводу 125-летия Техноложки ректор Евстропьев сказал: «По количеству специалистов институт задачу выполнил. Теперь главная задача — качество». Вот мы и учимся — качественно... Учёба — это не только лекции и лабораторные работы, мы ведь ещё и живём нашей студенческой жизнью, а это и уборка картошки, и отдых, и самостоятельность, но не такая, как обычно, а наша собственная. Например, газета «Культура»... Ну, критиковали нас, это ладно. Но одного из участников газеты, моего друга Евгения Рейна, взяли и исключили из института якобы за прогулы. А у него была справка от врача! Пошли разбираться к ректору. И он, представьте себе, восстановил этого студента. Восстановил! Ректор Евстропьев — справедливый и отзывчивый человек, и если так, вы можете голосовать за него.

Что это было? Ложь? Для пижамных кеглей, если они расслышали, — да, но для Евстропьева и меня самого — слишком уж очевидная и нелепая до пародийности байка, чтобы воспринимать её как обман. Укор под видом похвалы? Скрытый призыв поступить как должно и хотя бы задним числом восстановить справедливость? Или же — юродство во спасение?

На следующее утро резиновые пальцы вогнули мне в глотку, как было обещано, лошадиную дозу новокаина. Мороз охватил не только язычок, но и трахею,

я стал задыхаться. Не мешкая, хирург выдрал щипцами одну из моих грешных желез, тёплым и густым стало заливать замёрзшее горло, дышать стало нечем, я закашлялся и вдруг увидел свою кровь на очках у врача, на его перчатках и клеёнке передника. Кровавая длань снова полезла мне в пасть и нестерпимо долго, в два приёма доделала свое чудовищное дело. Меня увезли.

Во второй половине того же дня, раньше, чем я получил вести от домашних, мне принесли записку от Наймана:

Бобышеву, 1-я палата.

Димка! Они меня не пустили и тебя не позволили вызвать. Но, в общем-то, ты у них на хорошем счету: они сказали: «У них (т. е. у тебя) отец — военный». Температура у тебя нормальная, а мы с Женькой думали, что ты уже в морге. Дима, будь мужчиной — у людей в жизни бывают разные неприятности. Их надо пережить так, чтобы не было мучительно больно...

Галя Рубинштейн меня раздражает. И очень сильно. Но это деталь.

Женька обещал зайти к тебе попозже. Я застал его в вестибюле института с очень приятной девушкой. Женька ей что-то ворковал. Пошлая. Прости, сам нарвался.

У меня новостей никаких. Я научился определять, кто родится: мальчик или девочка. Для этого мне нужно знать год рождения отца, матери и месяц и час зачатия ребенка. Девчонки из группы просто обалдели. Простят раскрыть секрет. Фиг им!

Был в субботу на катке, вчера на лыжах. В четверг — на Ростроповиче. Стравинский понравился меньше ожидаемого. На бис исполнял «Менестрели» Дебюсси, «Белого ослика» Берга и ещё кого-то и ещё несколько вещей. Первые — понравились.

В четыре у меня занятия, так что тороплюсь. Ты, говорят, шипишь. Это, брат, плохо. Старайся говорить громче — плюй на врачей.

Ну, я натрепался. Последнее — начало моего нового стиха:

*Когда пропахнет город холодом
и крыши выплоскостит инеем
и пар взойдет над льдом расколотым
и самым нужным станет синее...*

Записку проглоти. Целую в пуп.

Толя.

Записка — прямо живой Толя: острый, но и отзывчивый. И шутки, и серьёз, и утешения, и стихи. Шутки заставили меня улыбнуться, впервые за много дней. Улыбаться было больно.

Но что это? Кто это? Это же он сам, уговорил-таки нянек, пустили. Разговаривать я не могу, говорит он: острит, забавляет, отвлекает от боли. И — невольно — боль причиняет. Его анекдоты уморительны, я из последних сил сдерживаюсь от хохота. Во рту — вкус крови.

(продолжение следует)



Александр Габриэль

ЭКВИЛИРИУМ

Стихоживопись

От редакции. Замечательному балтиморскому художнику Изе Шлосбергу принадлежит идея сращивания своих картин с поэтическими текстами авторов, стихи которых ему по душе. Свою идею художник воплощает в виде подарочных, высококачественно изданных сборников.



Подобные работы уже были сделаны совместно с некоторыми поэтами, живущими в разных странах (СНГ, США, Израиль). В октябре 2013 года такого рода книга вышла у Александра Габриэля, продаётся она в интернет-магазине "Amazon".

16, или Девчонка с собакой

*Что ж ты, прошлое, жаждешь казаться
румяным, завидным et cetera,
чем-то вроде клубка, из пушистейших ниточек времени
свитого?..*

*А она выходила из дома напротив
выгуливать сеттера,
и кокетливо ветер
касался ее новомодного свитера.*

*Затихали бессильно
аккорды тревожного птичьего клёкота —
второпях отходили отряды пернатых
на юг, к Малороссии.
А девчонка по лужам неслась, аки по суху —*

*тонкая, лёгкая,
совместив территорию памяти
и
территорию осени.*

*Сентябрило.
И время подсчета цыплят наступало, наверное.
И была, что ни день,
эта осень то нежной, то грозною — всякою...
Шли повторно «Семнадцать мгновений весны»,
но до города Берна я
мог добраться быстрее и верней,
чем до этой девчонки с собакою.*

*И дышала душа невпопад, без резона,
предчувствием Нового,
и сердчишко стучало в груди
с частотою бессмысленно-бойкою...*

*А вокруг жили люди, ходили трамваи.
Из врат продуктового
отоваренно пёр гегемон,
не гнушаясь беседой с прослойкою.*

*Занавеска железная...
Серое. Серое. Серое.
Красное.
Кто-то жил по простому наитию,
кто-то — серьезно уверовав...
Над хрущевской жилию коробкой
болталась удавка «Да здравствует...»,
а над ней — небеса
с чуть заметно другими оттенками серого.*

*А вокруг жили люди —
вздыхая, смеясь, улыбаясь и охая,
освещая свое бытие
то молитвой, то свадьбой, то дракою...
Но в 16 — плевать,
совершенно плевать, что там станет с эпохой,
лишь неслась бы по лужам,
по мокнущим листьям
девчонка с собакою.
Бостонский блюз*

*Вровень с землёй — заката клубничный мусс.
Восемь часов по местному. Вход в метро.
Лето висит на городе ниткой бус...*

*Мелочь в потёртой шляпе. Плакат Монро.
Грустный хозяин шляпы играет блюз.*

*Мимо течёт небрежный прохожий люд;
сполох чужого хохота. Инь и Ян...
Рядом. Мне надо — рядом. На пять минут
стать эпицентром сотни луизиан.
Я не гурман, но мне не к лицу фастфуд.*

*Мама, мне тошно; мама, мне путь открыт
только в края, где счастье сошло на ноль...
Пальцы на грифе «Фендера» ест артрит;
не потому ль гитары живая боль
полнит горячий воздух на Summer Street?!*

*Ты Би Би Кинг сегодня. Ты Бадди Гай.
Чёрная кожа. Чёрное пламя глаз.
Как это все же страшно — увидеть край...
Быстро темнеет в этот вечерний час.
На тебе денег, brother.
Играй.
Играй.
Из города N*

*В зеркалах — потускневший мужчина неведомой масти,
а ведь, помнишь, смеялся, ты звала меня «жгучий шатен»...
Набегают волна, лижет гальку оскаленной пастью,
и пишу я тебе из прибрежного города N.*

*Ты, возможно, припомнишь его: променады, таверны,
синусоидным скользким угрём — незатейливый пляж.
На парковке машины, как прежде, малы и двухдверны:
коль в разгаре сезон, то в разгаре и ажиотаж.*

*Здесь все люди попарны. Одна — только черная кошка,
что с бордюра глядит на небес пламенеющий край...
Как же странно: осталась от времени мелкая крошка,
а когда-то казалось, что времени — хоть отбавляй.*

*Вот трехлетний малыш из песочка построил запруду,
а в ручонке его в виде лейки — пластмассовый гусь...*

*Я когда-то сказал, что тебя никогда не забуду,
сам не ведая толком, насколько я прав окажусь.*



Елена Аксельрод
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Время не знаваться — узнавать,
заново встречаться.
Книги юности на помощь звать —
где Вы пропадали, друг мой Чацкий?
Время не влюбляться, а любить.
больше не опасен мне Печорин,
нынче он бы мог мне внуком быть.
Воздух гор, как и тогда, просторен
и смертелен. И подлунный путь
В н е м л е т Б о г у,
а не детям блудным.
Время выдоха, а мне б вдохнуть
и признаться улицам безлюдным
в ненасытной жадности моей —
на краю, в двух метрах от пустыни
к слову, что чем дальше, тем слышней,
что в с и я н ь е г о л у б о м не стынет.

Грибоедов

К чему предчувствия? Даст Бог — и уцелею...
Но все ж поспеть бы с Ниной к алтарю,
Не угодив под нож ни к персу-брадобрею,
Ни к ласковому батюшке-царю.
В элегии срывается дыханье.
Вот рифмоплет — двух строчек не сплести.
Единственное завершил создание,
Что остается после тридцати?
Царева служба. Никуда не деться.
Перо пригнуплено. Отчаянье. Разлад.
И не судьба на Нину наглядеться —
Из-под венца да в пекло. И назад
Пути не будет... Хотя о том не знаю.
Грехом не поминай меня, Москва.
Тебя в круглых горах зову и проклинаяю,
И, может, впрямь, Комедия жива.

На поле бранном тишина...

В.А. Жуковский

Когда валит орда
Вслепую, напролом
И Страшного суда
Накатывает гром –

Вспорхни на свой шесток,
И — тихо, ни гугу.
Несется вскачь поток,
А ты на берегу.

Ты сух и невредим.
И есть пока пшено.
Что за шестком твоим –
Не все ль тебе равно?

Но вдруг Мамаю рать
Тебя собьет копьём –
Успеешь ли понять,
Что не взмахнул крылом?

Неужто снег? Неужто лес?
Но рядом ропщет площадь.
Что нам в спокойствии небес?
И свет исчез, и Бог исчез,
И нет их в сонной роще.

Забыла площадь, ошалев,
О бессловесном Благе.
Ревет тысячеликий гнев,
И нет земли, и нет дерев –
Лишь лозунги да флаги.

Как люди доняли людей!
Как страшно ненавидим
За то, что в скудости своей
Мы сторонились площадей
И ропот был невидим.

Не смоят легкие дожди
Пудовое молчанье.
Так не суди и не ряди,
Какие громы впереди,
Какое воздаянье.

Мне радостно, когда читаю
Стихи Марии Петровых.
Их в немоту свою вплетаю,
И вновь живу меж строк живых.
Как чист и ясен звук негромкий,
Которым мучусь и лечусь,
Когда скольжу по ломкой кромке,
Когда в отчаянье мечусь.
Так слышно долгое молчанье,
Так безответно дышит страсть,
Так душу бередит звучанье
Другой души, что снова власть
И мне мерещится над словом,
Над недосказанной судьбой,
И удочка с уловом новым
Дрожит и тянет за собой.

По занавескам, по стенам квартиры,
маясь бессонницей, бродит заря,
лезет сквозь ставни, рисует пунктиры,
день преждевременный наспех твоя,
бредит о чем-то вместе со мною,
тычется слепо то в стол, то в кровать.
Этой запойной лохматой весной
ласточки медлят гнезда свивать —
только, разбужены ранним рассветом,
пробуют голос так же, как я,
чтоб неизбежным, безвыходным летом
перекликаться, дух затая —
слышать друг друга на высохшей кроне,
слышать в квартире глухонемой —
пусть в перекличке односторонней
мне лишь мерещится слушатель мой.

Стала ворчливой, стропливой,
да некому укрощать.
Хмурые воды залива
тебя научили прощать.
Тебе подарил смиренье
эстонский старый рыбац,
его — до поры — терпенье,
его замедленный шаг.
От нашего камнепада

нырнуть бы в ту тишину,
где и прощать не надо,
где я тебя не упрекну.

Когда я шла к нему по спящей мостовой,
Меня вел свет, во мне и в нем горящий.
И вот — к тебе по непролазной чаще,
Сквозь строй теней, из прошлого глядящий,
Сквозь непрощающий, недвижимый строй.

Когда я шла к нему по тусклому песку,
И мартовский прибой, холодный и кичливый,
Касался ног моих, какой была счастливой,
Как доверялась я пустой возне прилива,
Казалось, чуть нагнусь — и жемчуг извлеку.

Когда я шла к нему по спящей мостовой,
Когда я шла к нему знобящим побережьем...
Ты скажешь: «Не смейся, ведь это было
прежде» —
И прав — сама к себе я жестче и небрежней,
И не к тебе бегу — наощупь за тобой.

Я пуста, как после спектакля вешалка,
Где висит одиноко пальто гардеробщика.
В непосильное дело не стану вмешиваться,
Наварю-ка я лучше румяного борщика.
Бурачков накуплю, зеленушки вздохмаченной,
Плащ накинута, и в лавку, и жить буду проще.
На колесиках сумка, покупка оплачена,
И сама повариха я, сама гардеробщик.

Стихи сыну

1

Весь мир непрочен, заболочен,
дорога из одних обочин,
в окне гримасничают горы,
не находя себе опоры,
ломлюсь в открытые ворота,
за ними незнакомцев рота.
Неужто добралась до грани,

когда с покорностью бараньей
цепляюсь я за провожатых...
Вокзал. Среди пинков и брани
бредет незрячий. В веках сжатых
маршрут, угаданный заране.
Одно в толпе неразличимой
твое лицо светло и зримо.

2

Почему так узка река,
Не глядятся в нее облака?
Неужели я заплуталась,
По воде заскучала талой?
Но гора на фоне заката,
Как берет мой, черна и поката,
Но как дева, сосна стройна.
Ветка древа тонка, как струна.
А мое родословное древо,
Хоть направо пойду, хоть налево,
Не укроет меня в своей кроне,
Только ветку сухую уронит.
Не сердись, что с улыбкой хмурой
Обнаженной люблюсь натурой.
Может, вся эта красота
Не для жизни, а для холста?

Утро в поселке

На щедро раскрашенном блюде
пиров отшумевших осколки.
Какие отдельные люди
живут в этом круглом поселке.

У главного магазина
хромой ветеран, как на страже.
А в лавке у Изи-грузина
Лаваш и ткемали в продаже.

Вот под руку с ученицей
маэстро бредет безработный,
Полвека урок его длится
без передышки субботней.

Вот песик холеный, озлобясь,
на кошку ничейную лает.
Студент догоняет автобус,
но тот тормозить не желает.

Разбуженный плачет ребенок,
ему детский сад не по вкусу.
а некий бездельник спросонок
метафоры ныжет, как бусы.

В будни на площади

У нас в городке
побирушек не сыщешь,
правда, скрипач-инвалид,
вальсы пиликает, словно нищий,
словно не площадь, а пепелище,
хоть худо-бедно одет и сыт.
Нет, он играет не в поисках пищи,
не потому, что в раскрытый футляр
походя, кто-то бросает монеты
(музыка — недорогой товар,
вряд ли хватит на сигареты,
к тому же, они
с каждым днем дороже),
а потому, что осточертело
до лихорадочной боли,
до дрожи
терпеть немоту в четырех стенах.
Страх, что музыка отлетела,
сильней,
чем прилюдного срама страх.

Старуха и джаз

Мой дар убог, и голос мой не громок
Е.А. Баратынский

Билеты купили заранее.
Вечером в первый раз
в новом с иголочки здании
новый играет джаз.

Труба, как зубная боль.
Это во мне нет гармонии.
Это мои МИ ФА Соль
тонут в бездонном гомоне.

Разве это ударник
по барабанам стучит?
Это мой дар бездарный
под ропот оркестра молчит.

Разве это контрабасист
на пол роняет ноты?
Это в мозгу моем свист,
не улей — пустые соты.

Рояль чудит надо мной,
Врачует, спасает от сплина,
черный, как век нефтяной
не казнит головы повинной.

Какой сердобольный рояль!
Но что-то невнятное гложет.
Мне почему-то жаль
всех, кто меня моложе.

Книги детства

Трюхали, трюхали, спешились.
Сбилась с дороги кобылка.
То зърсли, то проплешины,
царевна, чернавка-бобылка,
свиданье в поющем кустарнике,
тщеславие гордой полячки,
воины, стражники, странники,
юродивый денежку клянчит.

Наперсницы многостраничные,
а где-то эвакуация,
переселенцы нищие,
доски вагонные кладают.
В буржуйке огня трепетание
над горкой угольно-серой.
Глоотаю взалхлеб скитания
печального Агасфера.

Сама себе хозяйка

Поднимется чуть свет
И на прогулку с лайкой.
А после в интернет,
Сама себе хозяйка.

Ей невтерпеж постичь
Глубинный смысл Танаха
И волосы подстричь,
Чтоб не прослыть неряхой.

Своих не зная лет,
В трясущемся трамвае
Зажав в руке билет,
Над пропастью вигает.

Колымскому ЗеКа
И камнепад не страшен.
Кто отмотал срока,
До срока бесшабашен.

Она писала стихи о смерти,
не веря ей ни на грош.
А та перед ней лежала в конверте
с печатью сургучной НЕ ТРОЖЬ!

Она писала стихи о доме
под шиферным колпаком,
не видя, что дом еле дышит в коме,
что двери его под замком.

Конверт лежит на столе, не тронут,
не раскрошился сургуч,
кусты у порога в предзимье тонут,
в замке задержался ключ.

Песня о канторе

Службу вел этот кантор
в городке Молодечно,
а, вернее, в местечке,
что на речку глядит.
Говорят, этот кантор
пел псалмы так сердечно,
как в года стародавние
юный Давид.

Говорят, песни кантора
слышали в гетто,
то ли заупокойную,
то ль за здравье псалом.
Но какая мелодия
замерла, недопета,
было некому, некому
вспомнить потом.

Только бабка моя
не забыла о канторе
и на Малую Бронную
спешила со мной.
Не грозили подмостки
бессудными карами,
не сулили тот гибельный
сорок восьмой.

Там на сцене московской
пели песни на идише.
Там за месяц в партер
раскупали места.
Обезумевший Лир
заклинал силы высшие,
но спасти не сумел
ни себя, ни шута.

А теперь в синагоге,
где кантор-бельканто,
где поют на библейском
живом языке,
кто услышит,
как звал к покаянию кантор
в городке Молодечно
на Уша-реке?



Борис Горзев

ПОЛУСТАНОК ЕШКАНДАЙ

1

Здесь место доброжелательное. Особенно если вы уже не молоды и не местный. Странно — вы на месте, но не местный.

Вот и думаешь: ты дома? Когда ты понял, что тут — твоё, что ты дома? Когда почувствовал, что на месте? Не местный, но на месте. А ведь было так, было: почувствовал, понял...

Пожилые — люди доброжелательные. Не всегда с ходу разговорчивые, но ответят с готовностью, что-то объяснят, подскажут. Или просто улыбнутся, пожелают удачи.

А найти бывшего соотечественника просто. Скажем, заблудившись в незнакомом городе, достаточно произнести громко: «Тут кто-то говорит по-русски?» — и тотчас же в толпе кто-то откликнется, подойдет или вскинет руку: «Какие проблемы, слушаю вас?»

Так было в первые дни, когда, гуляя по Иерусалиму, Давид долго не мог найти остановку нужного автобуса, чтобы вернуться в тот дом, где теперь временно жил после репатриации. Жил он в дальнем районе под неблагозвучным для нашего уха названием «Писгат Зеэв», что значит «Холм Зеэва» (по-нашему, Владимира). Большой жилой район в северной части города, где из-за холмистой местности дома построены ярусами. Красиво.

Красиво особенно вечерами или ночами, если взберешься на еще незастроенный холм, чтобы полюбоваться на библейские звезды и на огни вечного города внизу. Рассказывали, что в библейский период тут проходил путь из Иерусалима в Шхем и Галилею, а уже в небиблейские времена этот район включили в состав Иерусалима после Шестидневной войны. И началось строительство. А до того тут гнездились арабские поселения, пыльные, почти безжизненные, ни одного деревца. Одну такую деревеньку Давид видел, едуци верхним шоссе на автобусе, остановку которого теперь искал в центре Иерусалима. Тот откликнувшийся на его призыв человек оказался, понятно, пожилым и почти одесситом, ибо продолжил диалог так: «Ну и что, что вы туда уже ходили? Кто тут местный — я или вы? Идите, куда вас послали, и будем вам ваша остановка, божешь мой!» Давид пошел, куда его послали, и на сей раз действительно обнаружил то, что так долго искал.

То было уже почти двадцать лет назад, а теперь он жил в городе Ашкелоне, что на Средиземном море, в двадцати километрах от сектора Газа, откуда иногда прилетают ракеты. Одна из этих ракет типа «земля — земля» угодила в заброшенное арабское кладбище, которое прямо перед трехэтажным домом, в котором живет Давид, лишь перейти через узкую улицу Тишрей. Выбило стекла, однако на втором и третьем этажах, а вот нижние, именно Давидовы, уцелели, ибо теперь прикрыты кронами деревьев в садике перед домом, всякими нам агавами и туями. И все-таки по зловещей иронии судьбы эта упавшая на старое арабское кладбище ракета смертельно ранила именно араба, рабочего, занимавшегося на улице каким-то ремонтом. Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Соседство с кладбищем Давида не смущало. Тем более, оно заброшенное. Пустырь, который, несмотря на разрастающееся кругом строительство, трогать не смеют. По какому-то израильскому закону. Сколько-то лет. Да, арабское кладбище с одиноко торчащими саркофагами могил, заброшенное, заросшее — пыльные травы, низкие кустарники, колочки. Будто степь. Опалённая солнцем, вечной жарой, хамсином. Степь или полупустыня. Тут под ночь, когда спадает зной, обычно гуляют собачники, освободив своих питомцев от поводков, чтобы те вволю поносились по округе. Так делал и сам Давид, когда у него была собака, почти овчарка. Или некая помесь, однако явно овчаристого типа, крупная. Но так под ночь, а днями кладбище прекрасно виднеется прямо из окон его квартиры и из садика, если выйти туда покурить или уже вечером сидеть за столом под теми же библейскими звездами.

Теперь Давид не гулял с собакой, потому что она умерла, но в садике перед домом сидел всё чаще, потому что вышел на пенсию, подрабатывал по договору и, значит, свободного времени стало больше. Вот и сидел, покуривая, хотя доктора советовали избавиться от этой привычки, поскольку появились симптомы паркинсонизма — вялость, скованность, тремор пальцев, повышение мышечного тонуса, замедленный темп движений, а отсюда трудности при ходьбе. И с психикой нелады: забывчивость, застревание на неких мыслях и действиях, невозможность быстро переключиться на новое занятие, как бывало прежде. Старые друзья спрашивали в электронных письмах, почему он так долго не отвечает или прочитал ли наконец высланную ему книгу, и тогда Давид вспоминал, что, да, хотел ответить, да, хотел прочитать, но как-то руки не дошли («Руки! — усмехался он. — Мозги склеротические!»). Он принимал нужные лекарства, и пока это помогало. Но перспективы... Давид понимал, что его ждет.

2

Что его ждет, он понимал, когда наблюдал из своего садика за одним незнакомым стариком.

Это было в течение последнего года. Вечерами, когда спадала духота, перед заброшенным арабским кладбищем стал гулять старик с палочкой. Передвигался он медленно, натужно, постоянно останавливался, застывая в странной позе, и Давиду ничего не стоило поставить диагноз, ибо, ясно, тот страдал тем же недугом, что и он сам, то есть паркинсонизмом. Разница состояла в возрасте и тяжести: старик казался лет на десять старше и двигался куда хуже.

Так было всё последнее время. Вечерами, часов в десять. Как раз выходили собачники, отпускали на волю псов, те носились, оглашая лаем округу, а старик брел чуть поодаль, ни с кем не общаясь. Брел по асфальтовой дорожке вокруг кладбища и никогда не углублялся внутрь, где была сухая кочковатая земля, колочие кустарники, заросли какой-то пыльной травы, а иногда и кладбищенские камни, о которые можно споткнуться, тем более во тьме.

Старик с палочкой гулял полчаса или минут сорок, потом, наверное, устав, медленно брел обратно, куда-то вправо от дома Давида, и выпадал из видимого обзора. Так до следующего вечера. Давид настолько привык к этому постоянству, что наблюдал за стариком как уже за своим, подмечая изменения в его движениях. Ага, видел, вот уже пару дней он ходит чуть получше — значит, принимает какие-то лекарства. Интересно — какие? Ведь собрат по несчастью... Но проходили две-

три недели — и опять хуже, еле-еле. Значит, не помогает медицина, прогрессирует чёртов паркинсонизм!.. Давид глядел на старика у кладбища и невольно думало себе.

И еще он думал о том, что, похоже, старик, как и он, из давнишних репатриантов, то есть откуда-то из бывшего Советского Союза. Это угадывается. По внешнему виду, по поведению. Молчаливый, сторонится всех. Печать совка. Когда действительность накладывает характерный отпечаток на мышление и поведение. Пусть жизнь в Союзе была давно, но такое неизгладимо.

Если так, думал Давид, то со стариком можно пообщаться на родном языке. Можно, в вот нужно ли? Хотя и есть общая тема (здоровье, а верней, нездоровье), однако, похоже, тот не любитель новых знакомств. Да и самого Давида не тянуло к общению. Вот раньше бы — непременно, а в последнее время — вяло, ленно, через не могу...

Но вот однажды случилась знаковая перемена: старик не шел — его везли. В кресле-каталке. Он сидел недвижно, молча, глядя только вперед, будто шпагу проглотив. За его спиной — какая-то незнакомая Давиду женщина (в ближайшей округе, в магазинах и на рынке она не встречалась), явно много моложе — или дочь, или какая-то родственница, или, кто знает, социальный работник, такое тут вполне возможно или даже положено. Так или иначе, стало понятно, болезнь прогрессирует, теперь старик самостоятельно гулять не может. Веселые дела! Вот что тебя ждет, понял Давид и преисполнился печалью — за старика и себя.

Теперь так было каждый вечер. Старик выезжал на прогулку в сопровождении той дамы за спиной. Кресло катило по асфальтовой дорожке вокруг заброшенного кладбища, кругом, лая, сновали собаки, прохаживались, ведя беседы, их хозяйка, а старик и его дама двигались молча, никак не реагируя на звуки и мелькание псов. Однажды, пересилив лень, Давид выбрался пройтись и специально направился через улицу к кладбищу, чтобы поближе разглядеть старого незнакомца. И действительно вскоре поравнялся с ним. Лет семьдесят пять, понял, уступая дорогу креслу-каталке, в ответ на что услышал от дамы по-русски: «Спасибо, мы проедем, тут нормально». Они разминулись, а лицо старика так и стояло перед глазами: обездвиженное, скованное, амимичное, будто маска. Вот-вот, маска, сказал себе Давид, и медленно побрел к себе.

Еще дней через десять они опять встретились — как бы ненароком. Давид вышел заранее, и вот вскоре показалось кресло-каталка. Оно еще катило вдоль улицы Тишрей, направляясь к кладбищу. Дождавшись, Давид поздоровался. Дама приветливо улыбнулась, а старик лишь кивнул. Давид пошел рядом.

— Я тут живу, вот в том доме, — указал через улицу, — я вас часто вижу из своего сада. Можно познакомиться?

— Конечно, — ответила дама. — Это Семен Григорьевич, а я — Ирина, племянница. Вот так мы гуляем перед сном. А вы?

— И я гуляю, — улыбнулся Давид. — А зовут меня Давид. Судя по всему, вы живете где-то совсем рядом?

— Семен Григорьевич живет вон в том доме. Да, по соседству от вас, так выходит. Я приехала к нему на время, помочь. А вообще-то я обитаю в Тель-Авиве, с семьей.

— Ясно. А вы когда перебрались в Израиль?

— Мы — в 1990-м, а вы?

Это были стандартные вопросы при знакомстве репатриантов. После чего обычно следовали короткие жизненные истории — как, почему, откуда приехали,

где жили и работали, что и как теперь. Так и на сей раз. В общем, получалось то же: на месте, но не местные. Говорила только племянница старика, тот молчал и изредка кивал. В конце она сказала:

— Скоро я вернусь в Тель-Авив, отпуск заканчивается. С дядей будет гулять кто-то из соцслужбы, я договариваюсь сейчас. Так что вот так. Может, еще встретимся здесь. — И опять улыбнулась.

Давид вдруг понял, что у него есть идея:

— Слушайте, если я вам не в тягость, дайте мне адрес Семена Григорьевича, я и сам могу зайти вечером, сопроводить его погулять, это мне не в тягость, если не каждый день, — взять кресло-каталку. Заодно и сам прогуляюсь.

Племянница явно удивилась, но затем склонилась к старику:

— Дядя Сёма, ты не против?

Тот наконец подал голос, кашлянув:

— Спасибо сердечное, Давид. Это будет чудесно. Не Давид и Голиаф, а Давид и Ионафан. Знаете эту библейскую пригчу?

— В общих чертах. Точнее, только слышал, что есть такая. А о чем...

— О чем? О дружбе. Ионафан — это старший сын царя Саула, храбрый юноша, не раз отличавшийся в битвах с филистимлянами. Был сердечным другом Давида, и тот его сильно любил. В общем, Давид — будущий царь Иудеи, и Ионафан, сын царя Саула... Э, заболтался, ладно. Спасибо, заходите, если будет желание. Ирочка, скажи ему мой адресок и покажи пальчиком, где наш дом.

Давид вынул записную книжку, которую всегда носил при себе, и всё записал — адрес и номер телефона. А где дом Семена Григорьевича, уже ясно: всего-то в полусотне метрах, за углом улицы... В общем, распрощались сердечно. Какнибудь вскорости непременно зайду, пообещал Давид.

Он зашел только через неделю, потому что неважно себя чувствовал: доучало головокружение. Но когда полегало, прозвонил и пришел — поздним вечером, чтобы прогуляться перед сном. Оказалось, старик обитает в точно какой же квартире на первом этаже, с отдельным выходом во дворик через лоджию.

Племянница Ирина уже уехала к себе в Тель-Авив, но при Семене Григорьевиче, слава богу, была жена, тоже пожилая женщина и тоже с трудом передвигавшаяся — как выяснилось, после прошлогоднего перелома шейки бедра. Вот и хорошо, что жена: значит, старик живет не один. Милая старушка, хотела напоить чаем, но Давид отказался, сказав, что желает прогуляться, за тем и пришел. Старик уже сидел в кресле в садике, и вдвоем с его женой они выкатили его в подъезд, а дальше Давид уже сам.

Вечер был не жарким, поскольку конец октября. По тутошной погоде, бархатный сезон. И купаться еще можно, и днем уже достаточно комфортно, вечера — просто чудесные, а сезон дождей еще не настал. Поэтому праздно гуляющих много. Из открытых окон — звуки музыки. Покой, умиротворение, доброжелательность. Кажется, беспроблемное место на Земле. Вот только бы не включать радио и телевизор, поскольку там опять о терактах или падении новых ракет. Однако — нет, кто-то всё равно расскажет. Такая тут жизнь, увы. Хотя посему «увы»? Всё в положенной пропорции — счастье и горести...

Старик в кресле молчал — может быть, таким и был обычно, то есть мало-разговорчивым, а может, от стеснения, из-за того, что его везет новый, незнакомый человек. Но когда они оказались перед домом Давида, старик кивнул в ту сторону:

— А, вот-вот! Это тот дом, который пострадал от ракеты, так?

— Именно тот. Я в нем живу. Стёкла выбило.

— И ваши?

— Нет, нас не тронуло, обошлось, поскольку мы на первом этаже. Спасибо деревьям.

— Спасибо, что арабская ракета угодила не в еврейский дом, а в арабское кладбище, где только кости покойников.

— Ирония современной истории, — усмехнулся Давид. — Арабская ракета, упавшая на арабское кладбище и убившая только араба, а евреи остались целы. Ирония, да.

Они миновали Давидов дом и уже свернули на асфальтовую дорожку, идущую вокруг кладбища. Тут было совсем тихо, улица с горящими фонарями и яркими окнами невысоких домов осталась позади. Кладбище выглядело обычным пустырем, заросшим буйными травами. Там время от времени проносились собаки и слышался лай. А так — тишина, пустота, полутьма. Вдалеке, уже за кладбищем, смутно виднелись дома нового квартала. Оттуда не было слышно ни звука. Будто это кладбище, чудом врезанное в районы бурных застроек, принадлежало чужому времени. Или чужой цивилизации, кто знает.

Наверно, старик тоже мелко философствовал про себя. Потому что вдруг проговорил:

— Знаете, Давид, почему, несмотря на строительный бум в нашем милом Ашкелоне, это арабское кладбище не смеют трогать?

— По какому-то израильскому закону, — вспомнилось смутно, — а какому, я не в курсе.

— Да, и я точно не знаю. Но слышал, что тут нельзя строить еще пятьдесят лет. Но откуда начало отсчета — с Шестидневной войны? Если так, то с 67-го года прошло уже 45 лет. Или начало отсчета с того момента, когда кладбище считается заброшенным, его никто не посещает, то есть нету потомков тех арабов, кости которых в этой земле? Или потомки есть, но они уже ничего не знают? У основной массы арабов память короткая, они живут настоящим. Время для них — это сегодня, а вчера — это тоже сегодня, и завтра — тоже сегодня. Как у детей. Такой вот у них склад психики и такая картина мира. Психология кочевников. Ну да, вот в Библейской энциклопедии Брокгауза сказано: «Библия знает арабов как кочующее племя семитского происхождения, а также как потомков Измаила». А Иосиф Флавий называл арабами говорившее на арамейском наречии кочевое племя, которое вторглось в эти пределы из Сирийской пустыни.

— Вы знаток Библии? — заинтересованно спросил Давид. Старик ему нравился, потому что вещал как на лекции, не окрашивая голос эмоциями — дескать, вот факты, а отношение к ним — дело не моё. Хотя, пришла мысль, не исключено, такая манера говорить в данном случае связана с паркинсонизмом старика: монотонно, неэмоционально, вяло. Ну да, вспомнил, это из-за скованности мимических мышц лица. И у меня, наверно, так же, подумал, или будет так же.

Помолчав, старик наконец ответил:

— Нет, Библия — не мое дело. То есть это не от профессии.

— А какая у вас профессия? — возник понятный вопрос.

И тут неожиданность:

— Надо подумать... Наверное, так... — Старик делал большие паузы: то ли не мог сразу сформулировать мысль, то ли мешал тот же паркинсонизм, а может быть, то и другое вместе. Наконец, созрел: — Наверное, с некоторых пор я памя-

тист. — И тут же, вот странно, продолжил, поясняя: — Не мемуарист, летописец или хроникер, а именно памятист. Не слышали о такой профессии? И правильно. Потому что это так. Слушайте. Вы меня слушаете? — попытался глянуть себе за спину, где шел Давид.

— Слушаю, конечно, — на ходу ответил тот.

— Спасибо. Значит, так. Сначала, когда вырос, я думал, что самое интересное в жизни — это женщины. Потом понял, что самое интересное — это книги, потому что они никогда тебе не изменят и там про всё написано, в том числе про женщин. Потом думал, что самое интересное — это люди, люди вообще. Потом понял, что самое интересное — это путешествия, они интереснее и женщин, и книг, и людей вообще, в них больше, чем есть в женщинах, больше, чем в людях и книгах, потому что, путешествуя, можно видеть, узнавать и трогать, и вот это-то тебе никогда не изменит, никогда не предаст. А теперь я понял и знаю, что самое интересное — это мои воспоминания, потому что в них всё, весь я и весь мир, который я видел, который имел и о котором читал. Мои воспоминания, да. Они не лгут и не стареют. Я старею, а они — нет. Они как вино. Чем старе, тем сильнее, если по Пушкину. Помните: «Но, как вино — печаль минувших дней / В моей душе чем старе, тем сильнее». — И сказав это, неожиданно хохотнул: — Цитировать Пушкина на старом арабском кладбище древней Палестины, это как? Забавно!

— Нет, это нормально, — не согласился Давид. — Пушкина, Бродского и Высоцкого можно цитировать везде и по всякому случаю.

— Замечание принимается, — послышался тихий голос из кресла.

Они уже сделали полкруга. Кладбище мёртво темнело слева, а справа слышался шум проезжавших по центральной улице этого района машин и автобусов.

— И что, — спросил Давид замолчавшего старика, — какие-то материальные памятники от вашей профессии остаются?

Тот сразу понял, о чем речь:

— Конечно. Только надо употребить прошедшее время: не остаются, а остались. Остались памятники. Какие? Книги. Мои книги. Я был представителем производящей культуры. Книги — они выходили еще в Союзе, а потом здесь, в Израиле, немного, но есть, были. Теперь я иссяк. И это правильно. Пора, пора. Что хотел и мог сказать — сказал... Хотя нет, — перебил себя, будто озарившись давней мыслью, — недавно я понял, что не сказал о детстве, а стоило бы. Да, непременно стоило бы. Однако уже никак, не в силах, мозг сдался. Паркинсонизм точит мозг. Это даже не звоночек с того света, а сирена. То есть сигнал: хватит, ты уже умер, теперь инерционное доживание организма, доживание без дара. Дар умер, у него свой срок. У поэтов короче, у прозаиков длиннее, но тоже задан природой, определен сроком. Старый Толстой — уже не тот Толстой, что прежде, уже более не писатель, а философ, мудрец, записывающий на пергаменте. Но этот пергамент почти никому не нужен. Вы меня понимаете?

— Кажется, да, — откликнулся Давид.

— Спасибо за кажется, уже хорошо.

— Так что вы хотели бы сказать о детстве? — Давид остановил кресло, развернул старика к себе и, отойдя на шаг, уселся на кладбищенский камень. — Я закурю, не возражаете? Спасибо. Так что о детстве? О детстве вообще. Понимаете, я сам частенько думаю об этом, теперь думаю, постарев. Я ведь тоже угнетаем паркинсонизмом, как и вы, хотя я не писатель, а бывший ученый.

— Бывших ученых не бывает, — холодно поправил старик. — Это не столько профессия, сколько состояние ума. А состояние ума не связано с пенсионным возрастом.

— Пожалуй... Так что о детстве? — Давид наконец закурил и приготовился слушать.

— Главная мысль такая. Что есть детство? Золотая пора? Почему считается, что она — золотая, самая счастливая часть нашей жизни? Потому что беспроблемная? Отнюдь нет. У меня, во всяком случае. Напротив, жуткая пора! В детстве меня никто не бил, я не голодал, не испытывал тягот войны, не был арестован, у меня не было врагов народа родителей, не отбывал ссылку, а вот был обижен и унижен — да. Я был незванным и неожиданным гостем в чужом, странном мне мире. И в своем собственном доме тоже. Мир не принимал меня, а я — его. Мы были чужими друг другу, и невольно, да, именно невольно, это меня, маленького, обижало и унижало. И вовсе не потому, что так мне казалось, не потому, что природно я был каким-то обидчивым, истеричным или сверхчувствительным к себе. Нет, тогда я не понимал, а потом отчетливо понял: мир вокруг меня был мне чужим, совершенно чужим, будто я пришел на планету, где всё не так, не по мне, против меня, несогласно со мной.

Где бы я ни оказывался, было именно так — в детском ли саду, потом в школе, на улице, да и в моем доме, с родителями. Как сказал Макс Фрай, в детстве, когда еще не знаешь толком, как все устроено, видишь вещи такими, каковы они есть. Именно как они есть. И людей так видишь. Вот и я так же. Я тщетно старался быть своим, но из этого ничего не выходило, на меня смотрели как на чужого. Теперь я понимаю, что так смотрят на многих детей, и только потому, что они — дети, странная субстанция для взрослого мира, чуждая ему, поскольку непонятная. Психики взрослых и детей совместимы лишь в редких случаях. Мне не повело. Моё детство — жуткая пора, о которой я вспоминаю с содроганием и с превеликой жалостью к себе. Мне кажется, это не прошло даром. Меня там, тогда, в детские годы, сломали. Не желали сломать, а сломали. Чем? Одной чужостью, инопланетностью, если образно.

— Мне это понятно, — кивнул Давид, — я помню, у Левитанского есть такие строки... ну, про инопланетность детей. Как же это у него?

— Это так, — сказал старик, — это так:

*Дети, как жители иностранные
или пришельцы с других планет.
Являются в мир, где предметы странные,
вещи, которым названья нет.*

— Точно! — поразился Давид. — Я знал, но, вот чёрт, забыл. А вот вы помните!

— Конечно. — Старик попытался улыбнуться. — Эти строки должны были бы стать эпиграфом к той моей книге, так и не написанной. Ну, одним из эпиграфов. Еще там из Толстого кое-что. А еще из Короленко. Вот это:

«— А все-таки ты очень странный, — сказала она с задумчивым участием.

— Я не странный, — ответил мальчик с жалобною гримасой. — Я... я слепой!»

Понимаете, тут очень важно слово «слепой». Это образ. Не у Короленко, а у меня. Ребенок — как слепой, понимаете? Слепой в мире, где он вдруг обнаружил себя. Пришелец. Ничего не понимает, не видит так, как хотят взрослые. В общем,

слепой... Впрочем, ладно, это долгий разговор. Старые мысли... зачем они теперь? Уже ни к чему. А вы в какой области науки чудодествовали?

Давид понял, что старик не намерен развивать тему о детстве и вообще о себе. Что ж, нет так нет.

— Я не чудодествовал, а запойно пахал в той области науки, которая называется биологией.

— А, так! Но если запойно, то вы счастливец...

Они гуляли уже более получаса. Похоже, было пора потихоньку двигаться обратным ходом, уж скоро одиннадцать. Давид загасил окурок о каблук, поднялся не без труда и взялся за спинку кресла.

— Вы не устали? Еще поедем или к дому?

— Да, пора. К дому. Спасибо вам, чудесная погода и собеседник тоже. Я вас не утомил?

— Ни капли. Мне тоже полезно двигаться. Так что мы с вами созданы для таких вечерних прогулок.

— У кладбища, — печально добавил старик.

3

Давид дал себе слово совершать эти прогулки с Семеном Григорьевичем каждый вечер — и полезно, и компания приятная, и никто никому не в тягость: кати себе кресло со стариком, слушай его речи, покуривай, присев на кладбищенский камень или плиту. Тем более сейчас «бархатный сезон», комфортная погода по вечерам и ночью, тишина и покой, нарушаемые лишь лаем и промельком собак.

Так и делал. Около десяти вечера приходил к старику, а тот уже ждал его, сидя в кресле-каталке. Значит, покатали к кладбищу...

Так проходило около часа, почти каждый вечер в октябре и первой половине ноября. Исключения составляли лишь те случаи, когда к Давиду с женой приезжал кто-то из друзей или родственников (тогда, как правило, было застолье с выпивкой), а к Семену Григорьевичу — племянница Ирина, одна или с почти взрослым сыном.

За это время они кое-что узнали друг о друге. Например, выяснилось, что старик с семейством жил в Баку (впрочем, тогда он не был стариком, а еще полным сил пятидесятишестилетним мужчиной, довольно успешным литератором, членом Союза писателей СССР), но в январе 90-го года там случился страшный погром, армянский погром, когда погибло, как говорили, до трехсот человек, в основном армяне, но под горячую руку, из-за внешней схожести, попало и несколько евреев, их тоже убили, а вскоре туда начали вводить войска, был штурм города, в результате которого погибло еще около двухсот мирных жителей, однако погромы прекратились. Не прекратилась ненависть — к армянам, советским войскам и вообще к инородцам.

Вот тогда-то Семен Григорьевич и понял — пора, надо репатрироваться на историческую родину. Хотя там тоже не сладко, теракты и прочее. Но лучше жить со своим добросердечным народом, чем быть чужим в обреченной стране с агрессивным народом. Так решил и сказал семейству (жене, сестре и племяннице с мужем и сыном) — пора, поехали. И вскоре это удалось, в конце 1990-го года. Осели здесь, окончили ульпан, помыкались, но в конце концов всё устроилось и все устроились. Вот только у Семена Григорьевича складывалось не слишком

удачно: и возраст уже не молодой, и приехавшие писатели тут не шибко востребуются, особенно если вы не слишком современный писатель, а приверженец русской классики. Хотя, не исключено, усмехался Семен Григорьевич, дело все-таки в степени таланта. Наверно, мне, говорил он Давиду, библейский Бог чего-то недодал, не поцеловал в макушку и махнул рукой: живи как можешь со своим маленьким талантом. Вот и дожил до паркинсонизма и до смерти маленького таланта...

Такой невеселый рассказ. А тут многие истории невеселые. Если собрать истории репатриантов, особенно прибывших из бывшего СССР, то грустный получится том. Грустный, иногда трагический, иногда мелко-драматический, но в любом случае это будет некая «история кочевника». Нету места на Земле, кроме твоего места, ты всюду чужой, кроме как на твоём месте, но туда надо попасть, а перед тем как попасть, надо понять, что такое место тебе есть. Вот это-то и есть самое главное — понять. Понять, а затем смочь перекопать к себе.

Это как в рассказе старика о детях. Моё детство, говорил он, — жуткая пора, о которой я вспоминаю с содроганием и с превеликой жалостью к себе. Мне кажется, это не прошло даром. Меня там, тогда, в детские годы, сломали. Не желали сломать, а сломали. Чем? Одной чужостью, инопланетностью, если образно...

Теперь мы на своей планете, так? На месте, хоть и не местные, то есть не коренные израильтяне. Но все-таки доброжелательные, так?

Особо запомнилось несколько бесед. Особо о женщинах. Ну да, если говорят двое мужчин, хоть они и в возрасте, то как минуешь эту тему?

Давид сказал старику, что у него чудесная жена. То есть, что у старика она такая, чудесная. И это верно. Однажды ей все-таки удалось уговорить Давида выпить с ними чаю. К чаю она падала кнафе. Что такое кнафе, он не знал. «О, — заговорила старушка, неловко передвигаясь с чайником в руках. — Тогда вкус вас очень удивит! Это из серии восточных сладостей: в данном случае — сочетание козьего сыра, теста и сладкого сиропа. И важно еще то, кнафе нужно есть горячим и свежим, а не откладывать на завтра. Вот я только что его приготовила — прошу, прошу! Сёма, скажи гостю — за стол! Успеете нагуляться!»

Кнафе оказалось незабываемым. Чудесная жена!..

— Да, — откликнулся старик уже на прогулке, — она у меня муза. Что есть муза, знаете? Это женщина, которая вас вдохновляет, она и друг сердечный, и советчица, и хозяйка прекрасная, и любовница прекрасная. Ну, последнее уже в прошлом, как вы понимаете, ибо с недавних пор я, простите, импотент. Да, исчезла эрекция, вот так. Но она, моя Лиза, меня иногда ласкает. «Тебя поласкать, мой старичок?» — спрашивает, улыбаясь, и, что вы думаете, делает это, и нам хорошо! Именно нам — я это знаю: и мне, и ей тоже. Будто мы опять любовники.

Он замолчал, думая о своем. Потом продолжил, вспомнив, с чего начал:

— Ах да, о музах! О тех музах, о реальных и выдуманных женщинах великих творцов... Да, понимаете, творцу нужен Идеал, которому он поклоняется, и это вдохновляет его. А как это поймешь изначально? Ну, выдумал себе творец идеальную женщину — однажды увидел ее, очаровался ею и далее намечтал, намечтал, сделал вечной героиней своих творений, а вот если бы она соединилась с ним, то как было бы на самом деле? А может, она оказалась бы серенькой дамочкой — ну, при очаровательной внешности, конечно? Такое миллионы раз бывало и бывает. Внешность женщины — как правило, обманка, способ природы привлечь и увлечь мужчину. Павлинье оперенье. Среди животных самочки серенькие, невзрачные, в отличие от самцов, которые, наоборот, с привлекающей внешностью, яркие, а вот

у животного-человека своё наоборот: именно женщины — павлины, а не мужчины. А это, то есть их внешность, — и есть обманка.

— Ну, вы строги! — усмехнулся Давид.

— Ни в коей мере! Я о реалиях, то есть о норме людской. Хотя, если о творцах, то тут и так, и эдак. Что есть творец? Разве он — норма?.. Ладно, начнем. Скажем, великий Веласкес. Великая любовь — он и его Хуана Мирандо. Диего было 19 лет, когда он увидел ее, Хуане — пятнадцать. Совсем девочка, дочь художника-мастера дона Франсиско Пачеко в Севилье. Она прожила в счастливом браке более сорока лет и умерла почти одновременно, с разницей в четыре дня. Ее похоронили рядом с великим мужем, в Мадриде, в склепе церкви Сан Хуан Баутиста.

Так вот, слушайте дальше. У молодого Веласкеса было три настоящих любви: к Деве Марии, к жене и к великому художнику Эль Греко, который всю свою жизнь посвятил Богородице и даже при смерти работал над очередным её образом. И вот Веласкес: прошло несколько месяцев после венчания, и однажды он увидел, как преобразилось лицо его Хуаны, когда она поняла, что зачала. Её лицо сияло. Это его потрясло. И он тоже, как Эль Греко, взялся писать «Благовещение», но так, чтобы соединить на холсте всех своих любимых, но главное — написать Хуану в облике Богоматери. Хуана стала его музой, его вечной Богоматерью. Так она и осталась в истории, причем навечно.

Поэтому тут, если о Веласкесе, Идеал проверен опытом, долгой совместной жизнью. Никаких фантазий, чистый реализм! Но даже среди великих, среди творцов, которые не от мира сего, это — исключения. Исключение — Веласкес, исключение Шагал с его Беллой Розенфельд или Сальвадор Дали с его Еленой Дьяконовой, известной как Гала. Каждая из них была всем сразу: женой, любовницей, другом и музой-вдохновительницей. Любовь таких женщин — бескорыстная и преданная, это женщины-богини. Но такое, повторяю, исключения. Хотите примеры неисключений?

— Хочу, — с готовностью кивнул Давид.

— Тогда всем известный пример — Боттичелли и Симонетта. Что за дама? Симонетта, урожденная Каттенео, родилась в Генуе и в 16 лет обвенчалась с ровесником, которого звали Марко Веспуччи. Кстати, он был родственником будущего знаменитого мореплавателя Америго Веспуччи, того самого, именем которого названа Америка. А сама Симонетта умерла, когда ей было всего 22 или 23 года... Теперь почти цитирую, я это еще хорошо помню: «Боттичелли был глубоко несчастлив и счастлив одновременно. Был он, что называется, не от мира сего. Мечтательно-пуглив, алогичен в поступках и фантастичен в суждениях. Верил в озарения и не заботился о богатстве. Не построил своего дома, не свил семьи. Но он был очень счастлив тем, что умел запечатлевать в своих картинах проявления Красоты. Он превращал жизнь в искусство, и искусство становилось для него подлинной жизнью»... Так, а вот еще, главное: «Портреты женщин редко встречаются у Сандро Боттичелли, но он воспел и прославил Симонетту Веспуччи — женщину, знаменитую своей красотой и любовью. Она была возлюбленной другого человека — Джулиано Медичи. Она — сама Красота, царица всемогущего искусства. И оттого с такой болезненной страстью греет Боттичелли руки у чужого костра. И оттого говорит о Симонетте Веспуччи то, что никогда еще не было сказано ни об одной женщине».

Понимаете, Давид, он даже не обжался с нею! Но создал идеал Красоты — красоты именно с Большой буквы. И создал великие полотна с ней, Симонеттой, в главной роли. Действительно, лучший образ женщины в мировом искусстве, если

именно о красоте, о некой божественной гармонии. Идеал. Но какой Симонетта была в жизни, он не знал, и мы толком не знаем. Параллельный эксперимент отсутствует! Ну, вышла замуж, имела знатного любовника. И что? Это еще ни о чем не говорит. Короче, нет информации. Только божественная, одухотворенная красота. Но для Боттичелли этого оказалось не просто достаточно, а сверхдостаточно. Что ж, ура! Искусство!

Теперь следующий пример, тоже хрестоматийный, уже не из живописи, а литературы. Данте и Биатриче. Знакомо? Пренинтересная история!

Ее звали Беатриче Поргинари, это тринадцатый век. Печально, но очень романтично. Девятилетний мальчик Данте залюбовался на майском празднике девочкой восьми лет, дочерью соседа. Конечно, он и прежде видел её, но тут — будто ожог, причем на всю жизнь. Десять лет спустя он увидел её снова, но уже замужней женщиной. Она поселилась в его душе навсегда и стала, как он писал, владычицей его помыслов. Да-да, на всю жизнь. Слушайте:

*Такой восторг очам она несет,
Что, встретясь с ней, ты обретаешь радость,
Которой непознавший не поймет,
И словно бы отуст её идет
Любовный дух, лиющий в сердце сладость,
Твердя душе: «Вздохни...» — И вздохнёт.*

Да, платоническая любовь на всю жизнь. Даже когда она умерла, а сам Данте вступил в деловой брак по расчету. Надуманный идеал. А какой была Беатриче на самом деле, кто теперь знает! Зато — великая поэзия, которой, по сути-то, это не столь важно.

Еще. Это не менее знаменитая пара — Петрарка и Лаура. Четырнадцатый век.

22-летний Петрарка впервые увидел Лауру де Новес на пасхальной мессе в церкви Святой Клары в Авиньоне. Замужняя женщина, она имела большую семью, была достойной супругой и рано умерла. Это случилось через 21 год после их знакомства, но Петрарка продолжал писать о ней.

Однако это потом, а тогда, после той первой случайной встречи, он воспевал свою платоническую любовь и пытался поймать взгляд Лауры в церкви и в других местах, где она бывала. Они виделись на улицах Авиньона, в церквях, на службах, и влюбленный Петрарка, не смея отвести глаз от своей музы, смотрел на неё, пока та не уходила под руку с мужем. И за все годы они не обмолвились ни единым словом.

Причина смерти Лауры доподлинно не известна. Скорее всего, она умерла от чумы, поскольку в тот год чума скосила в Авиньоне многих. Лауре было всего 38 лет. А сам Петрарка накануне своей смерти много лет спустя, писал: «Уже ни о чем не помышляю я, кроме нее» и ежегодно отмечал годовщину знакомства с Лаурой написанием нового сонета в ее память. Почитаю немного, если не возражаете.

*Улыбки вашей видя свет благой,
Я не тоскую по иным уладам,
И жизнь уже не кажется мне адом,
Когда люблюсь вашей красотой.
Но стынет кровь, как только вы уйдете,
Когда, покинут вашими лучами,
Улыбки роковой не вижу я.
И, грудь открыв любовными ключами,*

*Душа освобождается от плоти,
Чтоб следовать за вами, жизнь моя.*

— Вы хорошо читаете, Семен Григорьевич, — подал голос Давид. Он был искренне удивлен.

— Да? Тогда еще сонет:

*О высший дар, бесценная свобода,
Я потерял тебя и лишь тогда,
Прозрев, увидел, что любовь — беда,
Что мне страдать всё больше год от года.*

*Для взгляда после твоего ухода
Ничто рассудка трезвого узда:
Глазам земная красота чужда,
Как чуждо всё, что создала природа.*

*И слушать о других, и речь вести —
Не может быть невыносимей муки,
К любой другой заказаны пути
Для ног моих, и не могли бы руки
В стихах другую так превознести.*

— И много вы наизусть помните? — уже не удивился Давид.

— Много. И не только признанно высокое, но и непризнанно высокое.

— Это что?

— Блатная поэзия. Народное творчество, так сказать. И что? Так называемая народная поэзия, в том числе блатные песни — это один из слоев нашей... э, простите, русской культуры, и там есть такие изюминки! Например:

*Мы с тобой, братан, отныне — эки,
за окном с решёткой — тучи в чёрном,
как душа в заблудшем человеке
и печали в сердце обречённом.*

*Ты как хочешь, я же в письмах к маме
напишу, что подвела удача.
Знаю я, она прильнула к раме
И меня высматривает, плача.*

— Ну что — здорово, согласитесь! «Тучи в чёрном, как душа в заблудшем человеке и печали в сердце обречённом». Класс! Поэзия! Однако мы ушли в сторону. Если о музах, то есть еще один сюжет, уже не такой однозначный, как предыдущие, и из современности. Хотите? Или устали?

— Ни в коей мере.

Старик покивал чуть трясущейся головой, потом сделал многозначительную паузу, как актер перед залом, и начал:

— Значит, опять о гении и его музе. Об Иосифе Бродском и его Марине Басмановой. Кстати, истинное имя той дамы — Марианна, чтоб вы знали... Итак, Бродский.

Нетипичная история в литературе, потому что настоящая драма, и невыдуманная, не надуманная, а реальная. Опять Идеал. Но какой! И каким был здесь сам творец, Бродский!

В литературе, во всяком случае, русской, такого Идеала прежде не отмечено. Если о самых великих, то идеала-музы, не было у Пушкина (ну, может, в юности на эту роль отчасти претендует Наталья Кочубей), не было у Лермонтова, а если говорить о Тютчеве, то у него была высокая и трагическая любовь к Елене Денисьевой, а вот была ли она музой Тютчева, не знаю, не знаю.

Но вот Бродский. Роковая встреча. 22-летний Бродский встречает молодую художницу Марину Басманову, дочь известного художника, ученика Петра-Водкина. Ее внешность действительно роковая: высокая и стройная, с высоким лбом, темно-каштановыми волосами до плеч и зелеными глазами. Казалась, она сошла с картины эпохи Возрождения.

Но это — внешность, а теперь о характерах в этой паре. Кто-то определил Бродского и Марину как классические архетипы мужчины и женщины: он — бешеная энергетика, талант, целеустремленность, остроумие, расчет, тщеславие; она — роковая внешность красавицы, талант, низкий, тихий голос, немногословность, искушенность, обаяние, естественная и непреднамеренная лживость. Как сказала Ахматова, в первый раз увидев ее: холодная вода!.. И вот сталкиваются такие классические архетипы.

Любовь? Да. Но. У него — с первого взгляда, мгновенная и на всю жизнь. А у нее?.. Порывистый, страстный Бродский и спокойная, рассудительная Басманова. Огонь и вода, пламень и лед... Любила ли она Бродского с тем же пылом, что он ее? Трудно понять. Скорее всего, и да, и нет. А он ее просто боготворил. И тем не менее, вот что сказала обо всем этом давний друг Бродского Людмила Штерн: «Этот союз был обречен. Слишком уж несовместимыми были их душевная организация, их темперамент и энергетические ресурсы — для Марины Иосиф был труден, чересчур интенсивен и невротичен, и его «вольтаэж» был ей просто не по силам».

Это лучшая и, похоже, самая точная оценка, говорящая о психологической несовместимости полюбивших друг друга мужчины и женщины. И как полюбивших! И кто точнее самого Бродского мог сказать об этой любви:

Дорогая, мы квиты.

*Больше: друг к другу мы
точно оспа привиты
среди общей чумы...*

Или вот эти строки:

*Я любил тебя больше, чем ангелов и Самого,
и поэтому дальше теперь
от тебя, чем от них обоих...*

Художница Марина Басманова оказалась в жизни Бродского главной. Явлением, судьбой. И музой, потому что, благодаря ей, русская поэзия обогатилась новыми вершинами любовной лирики. С того времени, с 62-го, она, Марина, скрытая под инициалами М. Б., стала главной героиней поэзии Бродского и тем образом, который выплавлял его личность. Его как творца, как поэта. Пожалуй, такого еще не было в литературе: благодаря Идеалу, росла личность творца, а его поэзия становилась выше и выше.

Много после, уже давно живя в США, в 1983-м году, Бродский издал сборник «Новые стансы к Августе», который обнимает весь период его стихотворений, посвященных «М. Б.». Это большой сборник, и там есть несомненные шедевры. По этим стихам читаешь жизнь Бродского и их, его и Марины, судьбу: до ссылки

Иосифа, в ссылке, недолгий период после нее, эмиграция в США, переписка через океан, взросление, старение, слава и безысходность. С 62-го по 83-й. Больше двадцати лет. Но это еще не финал, будет еще кое-что. А теперь, да-да, надо поведать о том, что было в их жизни, хотя жизнь и поэзия тут неразделимы.

Через два года после их первой встречи Марина ему изменила. С одним из его близких друзей, тех, кто входил в круг Анны Ахматовой. Изменила. Возник роковой, но классический треугольник, о котором все знали. Знали и то, что Бродский готов наложить на себя руки. Но спустя несколько дней его арестовали прямо на улице. Арестовали, держали в кутузке, потом поместили в психиатрическую больницу для «судебной экспертизы». Марина носила ему туда передачи. Затем состоялся знаменитый процесс над Бродским, «за тунеядство», который закончился ссылкой на три года в Архангельскую область. Позже, уже живя в Америке, он откровенно признался всё той же Людмиле Штерн: «Это было настолько менее важно, чем история с Мариной. Все мои душевные силы ушли на то, чтобы справиться с этим несчастьем». То есть с ее изменой.

Они странно ладили и странно расставались. Марина приезжала к нему в ссылку, в глухую деревню, и подолгу жила там, хотя условия для нее, избалованной, были тяжкими. Жила там, потом уезжала. Так несколько раз. В черед этих встреч и прощаний, уже после ссылки, в 1967 году, у них родился сын Андрей. Бродский надеялся, что уж теперь-то Марина выйдет за него замуж, но этого не произошло. Она была непреклонна. А над Бродским сгущались тучи: люди из КГБ недвусмысленно советовали уехать на Запад. И в конце концов он уехал, до последнего надеясь, что они эмигрируют все вместе — Марина, он, сын...

Что потом? Ну, известность, мировая слава, Нобелевская премия в 1987-м году. Но для нас тут главное — постоянная переписка с Мариной и новые стихи к М.Б. Они переписывались до 95-го года, а в январе 96-го Бродский умер.

Остались стихи... Эти стихи из-за океана — помимо несомненных шедевров — некий показатель эволюции личности Бродского и его любви.

А теперь — внимание!

Последнее стихотворение с посвящением «М. Б.» датировано 1989 годом. Отметим: с 62-го по 89-й — двадцать семь лет!

Итак, спустя почти три десятилетия после первого посвящения Марине, Бродский адресует ей последнее, прощальное стихотворение. И тут случается невероятное: издатели отказывались его печатать. Почему? По той элементарной причине, что так о женщине, пусть даже любимой в прошлом, не говорят (ах, эти бездуховные, думающие только о выгоде и наживе американцы!). Итак, издатели-американцы не хотят печатать, однако Нобелевский лауреат Бродский настаивает. И настоял — напечатали.

Теперь, как вы понимаете, я не могу не прочесть вам это стихотворение:

*Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.
Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополи*

*на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошную чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более немислимые, чем между тобой и мною.
Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь — человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил.
Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографши, ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправиш.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.*

Потом говорили, что Бродский будто бы решил отомстить своей бывшей возлюбленной. Дескать, неужели не понимает, что это выглядит как запоздалая месть? Уже упомянутая мной Людмила Штерн так и написала ему... вот, слушайте: «Жозеф, прости или прокляни, но не могу молчать. О чем ты возвестил миру этим стихотворением? Что, наконец, разлюбил МБ и освободился четверть века спустя от ее чар? Что излечился от «хронической болезни»? И в честь этого события врезал ей в солнечное сплетение? Зачем бы независимому, «вольному сыну эфира» плевать через океан в лицо женщине, которую он любил «больше ангелов и Самого?»

Кошмар, да? Кошмар. Но Бродский не был бы Бродским, если бы всё так просто и однозначно.

— Будете его оправдывать? — вдруг спросил Давид. — Знаю, будете, но как?

Старик почти дернулся в кресле:

— Буду не оправдывать, а понимать! Понимать психологию поступка. Да, тут психология творчества вторична, а первична психология личности... Слушайте. Что неосознанно сделал Бродский? Он сотворил психологический перевёртыш. Перевёртыш образа, Идеала. Он так безумно любил Марину — именно безумно, то есть пропитав ею на протяжении жизни всё подсознание, что однажды почувствовал: он больше не может, больше нет сил, он дошел до предела. И вот тогда включилась психология, тоже нечто подсознательное. Надо было доказать себе, что та, которую он любил, любит — интеллектуальное ничтожество. Она стала (да и была вообще-то! — уверил себя Бродский) интеллектуальным ничтожеством. Да, с внешностью и манерами всё прекрасно, а вот внутри! Как по Чехову: «А заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил!».

И Бродский на уровне подсознания перевертывает образ, перевертывает Идеал, делает «крокодила». Теперь его Марина такая: *уже тогда* — пристрастие к люля и финикам (примитивно!), немного пела, развлекалась со мной (не любила, а лишь развлекалась!), потом сошлась (именно сошлась, а не полюбила — сошлась) с таким примитивом, как инженер-химик (и это взамен поэта!). А почему? Бездуховна, глумлива (убийственное слово!). И так-то была глуповата, а спустя годы и вовсе чудовищно поглупела. Чудовищно! — опять слово-то какое найдено!..

Спасая себя, на уровне подсознания спасая, Бродский перевернул образ. Вот, оказывается, какая она, Марина Басманова! Да разве такую можно любить? Ну, любил, да, было дело, но доколе?

Так психология сделала свою работу по спасению. Что это по сути? Самосохранение.

Это было прощаньем с Идеалом — Бродский почти освободился. И спустя год после этого появилась жена (красавица итальянка с русскими корнями), роди-

лась дочь Анна. Однако, простившись с Любовью, Бродский, по сути, простился с самим собой. Он в первый раз умер, и это осознавал. А до второй смерти, окончательной, оставалось немного, несколько лет. И что это была за жизнь, если о жизни души? «Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива». Опять предельно точные слова: в темноте! гнилье! Вот и весь сказ.

Поэтому он не Марине врезал в солнечное сплетение, если по письму Штерн, он врезал себе. Вот почему он смолчал в ответ на негодующее письмо старого друга, точнее подруги.

Бродский мучительно хотел приехать на родину, в Питер. И мучительно не мог. Его сотни раз приглашали, официально и чисто по-дружески, скажем, по турпутевке, но он отказывался. Причина? Только одна-единственная: память о Марине, память о городе, где они любили. Это было бы запредельно больно. И он неизменно отвечал отказом, мрачно цедя сквозь зубы: «Нет, на место любви не возвращаются».

Место любви занято! Занято Мариной — навсегда...

Вот и всё, дорогой мой. Надеюсь, а вернее, не сомневаюсь, вы всё поняли. Про творца и его музу. Разные варианты случались в истории, а тут — вот такой. Более чем реальный и равно печальный, даже трагический.

А на следующий год после смерти, в июне 97-го года, Иосифа Бродского окончательно похоронили — на кладбище Сан-Микеле в Венеции, поскольку туда перевезли из Нью-Йорка гроб с его телом. То есть перезахоронение. Планировали совершить это на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева, но оказалось — невозможно, поскольку Бродский не был православным. Отказало в погребении и католическое начальство. Зато согласилось протестантское. Так и схоронили — на протестантской части кладбища. Сначала на могиле был скромный деревянный крест, только лишь с именем по-английски: «Joseph Brodsky». Но еще через год стараньями вдовы Бродского Марии установили надгробный памятник, сделанный известным художником Радунским, бывшим советским, ныне американским. На обратной стороне памятника — надпись по-латыни, строка из элегии Проперция: «Letum non omnia finit» — «Со смертью не всё кончается».

— Да, это тяжело. Тяжко так любить! — вздохнул Давид. — Значит, среди этих женщин-муз есть два типа. Первые — те, которые реальные ангелы-хранительницы, а вторые — которые просто надуманные, просто образы.

— Ну, в общем, так, — согласился старик. — Первые, как, например, повторяю, Белла для Шагала: жена, любовница, друг и, да-да, ангел-хранитель, а в итоге — муза-вдохновительница. Любовь таких женщин — бескорыстная и преданная, это женщины-богини. А у вторых, как у Данте или Петрарки, — это надуманный образ по мотивам существующей, но далекой от него женщины. Короче, чистая эфемерность. Такое свойственно натурам поэтическим, а уж истинным поэтам — тем более. Что до Бродского, то для него музой, Идеалом стала реальная женщина, с которой он был перманентно близок и даже имел от нее сына, но реальная Марина и М.Б., живущая в его поэзии, — это не всегда одно и то же.

Творцу нужен Идеал, источник вдохновения. И если в реальном окружении его нет или недостаёт, творец придумывает его, вымышляет и начинает им жить.

— Ну да, ведь Бродский глубоко и сильно любил вполне реальную Марину, — утвердил Давид.

— Да, любил, но вскоре произошла трансформация: он любил уже ее образ, и этот образ вдохновлял его на высочайшую поэзию... И вообще с Бродским во-

обще всё сложнее. При своем поэтическом суперталанте он был человеком очень аналогичным, трезвым, особенно в средние и поздние годы. Если говорить традиционно, то умом-разумом он всё прекрасно понимал, а вот его подсознание упорно и упрямо продолжало любить Марину, любить болезненно, как любят несвершенное, нереализованное, несостоявшееся. Марина впечаталась в его подсознание навсегда, фактически до смерти, вытесняя прочих женщин и даже, как я вам рассказал, препятствуя возможности увидеть родину. Он боялся увидеть места, где любил. Это был мощный инстинкт самосохранения... А у людей пониже талантом... это, знаете, как у Окуджавы: «Мне нужно на кого-нибудь молиться». Помните? «И муравей создал себе богиню/по образу и духу своему». Вот мы, муравьи, наделенные даром понимать поэзию, подобных богинь себе и создаем. Поэтому, чтобы закончить тем, с чего мы начали, то моя ненаглядная Лиза — она муза, но муза для меня-муравья. Моя русская муза. Да, она русская по крови, а поехала со мной в Израиль, не моргнув глазом. И я с ней счастлив. Одно больно: вот помру скоро, и она останется одна. Да, есть родственники, но без меня она — одна. Вот еще критерий: без единственно любимого ты — сирота. Такая муза...

4.

Всё-таки это старое кладбище, по окружности которого они ходили-ездили, все-таки оно задавало темы бесед. Будто оно что-то навевало. Впрочем, ясно что.

— Вот, скажем, документальные съемки, — говорил Семен Григорьевич в какой-то их вечер — В отличие от художественного кино, я не могу смотреть по телевизору эти кадры, особенно если там показаны умершие современники. Понимаете, художественное кино — это все-таки нечто искусственное, так или иначе надуманное, сочиненное, как бы отстраненное от реальности, и актеры там, пусть уже и умершие, воспринимаются тоже отстраненно, не близко к сердцу. Ну, скажем, Чарли Чаплин, или наша Любовь Орлова, или, если о недавних, Аркадий Райкин. Это ж уже персонажи прошедшей эпохи! Ну, актерствуют, играют роли. А вот с реальными личностями, заснятыми на хронику, людьми известными или, напротив, никак не известными, но в тот момент не играющими никакой роли, живущими натуральной жизнью, — вот на них я глядеть не могу. А вы?

Давид подумал:

— Да нет, я, пожалуй, могу. Во всяком случае, не вижу тут для себя проблемы и разницы. Кино и есть кино — художественное или документальное.

— А я вижу. Не в смысле, различаю жанры, это понятно, а для меня тут есть проблема. Какая? Психологическая, да. Или я как-то сверхчувствителен ко времени, или... в общем, черт знает! Вот когда вдруг вижу старую хронику или недавнюю, но теперь-то уже с покойниками, то меня всегда берет оторопь. Людей уже нет на свете, а, смотри-ка, там они живы, двигаются, открывают рты, куда-то спешат. У них дела. Дела! Но они умрут, скоро умрут, понимаете? Умрут — и я это знаю! И другие это знают, но не берут в голову, просто не задумываются. А я беру. И понимаю, что в этом совмещении несовместимого, в этом хроникально-киношном оксюмороном есть что-то ненормальное, патологическое, супротив нормальной психики... Вот, например, какая-то дореволюционная съемка: император, министры, толпа людей, все такие деловые! А ведь скоро все они умрут! Императора убьют, министров — кого сошлют, кого выдавят в эмиграцию, где они и помрут, и простой народ тоже перемерет или погибнет в войну, репрессии, а то и с голодухи.

Но вон, говорю я себе, вон те любопытные мальчишки, которые таращатся на царя в окружении свигы, — хоть они-то живы? И понимаю: тоже нет. Даже те мальчишки, если и не погибли в войну или репрессии, то уж никак не дожили до наших дней. Сто лет прошло! А они там всё суетятся, улыбаются, разглядывают высокие особ... Ужас берет! Ведь по сути, это живые трупы — оксюморон. Понимаете?

— Вас — понимаю, но вообще-то — нет, — подытожил свои мысли Давид. — Наверное, это потому, что я ученый, а не творческая личность, у меня до сих пор в мозгах упорядоченная реальность и чистое аналитическое восприятие мира, левополушарное. То есть логический склад мышления. Это, может, и скучно, но так яснее.

Старик помолчал. Потом сказал:

— Нет, ясность и скучность — это в разные стороны. Если ясно, то прекрасно, а если скучно, то зачем родился? Вот теперь мне частенько скучно — значит... — Он не договорил и устался в кладбищенскую тьму. — Наконец проговорил еле слышно: — А не повернуть ли нам домой? Будьте любезны...

Запомнился и такой разговор.

В тот поздний вечер неожиданно похолодало. Ну как похолодало, если иметь в виду Израиль? Плюс двадцать. Но на голове старике была бейсболка, а поверх рубашки наброшена курточка, поэтому он сидел в своем кресле какой-то нахохливавшийся, как московский воробей осенью. Но говорил охотно.

— Знаете, я стал уставать от жары. А сегодня хорошо, дышится легко. Казалось бы, живя в Баку, давно привык к летнему зною, но тут и особенно теперь... Да, стал уставать. Зато поговорить тянет, это потому, что не думаешь о жаре. Да, вечером, под ночь... Вообще-то я говорю мало. Дома, весь день. С моей Лизонькой мы всё проговорили за нашу долгую жизнь, а сиюминутные политические новости меня не интересуют — что их обсуждать? Вот и молчим весь день, и так всё ясно. А вот с вами, на этих прогулках... Вам не скучно со мной? Э, понимаю, вы человек деликатный и на данный вопрос не дадите положительного ответа, то есть не скажете «да, скучно», поэтому можете не отвечать.

Давид усмехнулся:

— Да нет, скажу честно: мне не скучно с вами и, мало того, интересно. И еще скажу: уютно. А почему — бог знает, нечто иррациональное. Можно только пожалеть, что мы не знали друг друга раньше.

— Спасибо на добром слове. Аналогично. — И вдруг спросил: — А какой вуз вы окончили?

— Медицинский — ответил Давид.

— Надо же, и я тоже! Опять аналогично. И в каком году? — Получив ответ, покачал головой: — Вы еще молодой человек! Я-то окончил медицинский в 60-м, в относительно светлый период, как потом говорили, в период оттепели. Милое было время, правда, милое: молодость, надежды, стигнули страхи, ренессанс, вечера поэзии, Евтушенко с «Бабьим Яром», Солженицын с «Иваном Денисовичем», Окуджава, «Гаганка», Высоцкий и многое другое. И полное отсутствие агрессивности в народе. Странный для нашей бывшей родины период, если оглядываться на ее прошлое и настоящее... Ну ладно, а как вы стали биологом?

— Занялся генетикой, медицинской и клеточной, окончил аспирантуру, защитился... ну, и так далее.

— И я «и так далее», — хмыкнул Семен Григорьевич. — Стал и врачевать, и писать. А уже вскоре больше писать, чем врачевать. Так и пошло-поехало. Ока-

залось, я неплохо пишу, как мне говорили, и начали печатать. Потом приняли в Союз писателей. Тогда это было невероятно престижно и даже денежно, ибо вас, как члена Союза, по статусу должны были печатать, пусть не часто, если вы не генерал от литературы, но должны. И гонорары были приличные. Например, на деньги за мою первую книгу, художенькую вообще-то, я купил новенький «Москвич-412», еще чуть подкопил — и купил. О, как!.. Значит, мы с вами изменили нашей первичной профессии. Хотя... хотя что значит — изменили? Вы занялись познанием живого-материального, я — познанием духовного. Ничему мы не изменили, если мыслили и делали дело.

— Пожалуй, так, — привычно согласился Давид. Привычно потому, что старик всегда говорил верно, как-то единственно правильно, точно, и это не выглядело банальным.

— Но при всем при том, — продолжил Семен Григорьевич, — тот мой период — медицинский — не прошел даром. И еще студентом я многое увидел и понял, и потом, когда работал врачом, тоже. Полезный опыт для литературы, очень пригодилось! Например, вот это. — И неожиданно он указал рукой куда-то вглубь кладбища. — Да, вот это.

— Что «вот это»?

— Казахстан.

— Не понял!

Старик сжал подлокотники кресла и с усилием откинулся на спинку.

— Ассоциация. Растительность на этом кладбище — как в Казахстане, где я был на практике в студенческие годы, после четвертого курса. Да, первая врачебная практика, где-то недалеко от Ерментау... верней, далеко от него, в глухой степи, ровной как стол, до соседнего села полсотни километров, никого-ничего, только железнодорожная ветка возле поселка, полустанок, где не останавливаются поезда дальнего следования, только местная «кукушка» в два вагона, бывшие ссыльные немцы, теперь полусвободные, мой медпункт, куда никто не приходит, я один, вечером, когда спадает сухая жара, прогулки в степь, лебеда, джузгун, полынь, сумасшедшие запахи, сумасшедшие звезды в черных небесах, и постоянные мысли о девушке, которая не пишет мне писем, а может, и пишет, да тут повымерли почтальоны, и тоска, тоска, ах, какая тоска, и спирт под рукой, потому что в дальнем поселке, куда можно доехать на телеге по грунтовке, спиртовой заводик, но спирт-то отличный, ибо не из загнивающей картошки, а зерновой, пшеничный, но хоть выпьешь перед сном, всё равно тоска, девушка не пишет, почтальоны перемёрли, степь да степь кругом, вот как это кладбище, и я всё помню, всё, по сих пор, помню запахи и тоску, потому что я памятист, да.

Он произнес это без пауз, будто без мысленных знаков препинания, не отрывая остановившегося взгляда от кладбища, от смутно видимых во тьме трав. Давиду даже стало жутковато. Будто монотонно вещал восставший из могилы покойник.

— Я тоже бывал в Казахстане, — проговорил в ответ на монолог старика, — но только в Алма-Ате, на всесоюзном совещании по молекулярной биологии, поэтому степи толком не видел, туда-сюда на самолете.

— Ну, вот и смотрите, наглядное пособие! — кивнул тот в сторону кладбища. — Да, значит, я всё помню. И даже кое-что писал об этом... Там, знаете ли, все-таки нашелся один казах... именно один, потому что в поселке жили немцы, так вот, тот казах рассказывал мне о словах. И переводил, и рассказывал. Значит, Ерментау, город вдалеке от нас, если по железке. Разное значение названия. «Ер-

мен» — это казахское слово означает «горькая полынь», а «гау» — гора. Получается «гора, где горькая полынь». А по-другому так: «ермен» — это «седло», «гау» — опять же «гора». Получается «седло и гора», или, скорее, седловина. И как правильно, спрашивал я его, моего казаха? Он: «А как хочешь. Это смотря, откуда идешь»... Вот как чудесно! Если идешь с севера, то так, а если с другой стороны, где холмистая степь, то эдак. Кстати, холмистая степь по-казахски — «кыр», это я тоже помню. Короче, кыр да кыр кругом... Но самое удивительное и символичное, как назывался наш полустанок. Знаете как? Полустанок Ешкандай. Естественно, я спросил, что это значит по-русски? Мой казах: «Ешкандай — «никакой». То есть так: умные люди думали, как назвать, и ничего не придумали. Одна кыр вокруг. Кыр, и всё. Никого нет, ничего нет. Вот и назвали — «Полустанок Никакой». Так и говорят люди на железке: «Ты до Никакого?»

— Действительно, символично, — согласился Давид. Это ему понравилось.

— Да, казахи, как и многие оставшие от нашей цивилизации народы, а вернее, живущее в том времени, которые для нас прошлое, это люди с символичным мышлением. Например, вот та трава... вон та, видите? Это джужгун. А что это значит у казахов? «Растение с плодами, как солнце». Чудесно, правда? Мой казах научил меня пробовать веточки джужгуна. Они кисловатые и этим напоминают щавель. Вкусно! И вообще джужгун — премилое растение. Низкие кустики с изогнутыми стволиками и ветвями. Весной и в начале лета — дымчатые, а в самую жару уже серые, почти безлистные... Ну, что еще тут у нас? Так, понятно, лебеда. Если правильно, это «лебеда колючковая», она и в Казахстане, и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке, например в нашем славном Ашкелоне. — Тут старик хохотнул. — Я ж говорю, эта старое кладбище — наглядное пособие по степной и полупустынной флоре!

— Вы правы, — кивнул Давид, хотя лекции по ботанике ему всегда были скучны. Но тут оказывалось небезынтересно. Старик продолжал:

— Что еще? Полынь, прутяк. Сейчас всё это уже давно отцвело, а вот весной, когда степь зацветает! Сумасшествие! Желтое, розовато-фиолетовое, а маки — алые... Ах да, тут маков нет, извините, они на кладбищах почему-то не растут. А там, в степи, — да. И какое всё душистое! Особенно по ночам, когда спадает жара. Вот я и пристрастился выходить под самую ночь в степь, надыхаться этими запахами. Потом брякнусь на сухую комковатую землю, еще хранящую дневной жар, и таращусь на россыпи звезд. Алмазики на черном бархате. Так я даже о моей девушке забывал, о таки не полученных письмах... Да, та девушка, первая любовь, первая близость, потом первая измена... ну, и всё последующее, всё, как у всех людей. Вот только стихи почему-то я начал писать. А после так и не бросал это дело. Нет, не из-за девушки, она стала лишь временной героиней моего творчества, она не из отряда муз, о которых я разглагольствовал на днях. Но своё дело она сделала: я стал мужчиной, познал страсть и боль. Всё как положено. Это хорошо, когда первая женщина не оказывается музой. Потому что, познав боль любви, потом, по контрасту, познаешь истинную высоту любви, той, которая вдохновляет творить и жить. Поэтому это хорошо и правильно, что она мне изменила и ушла. Так было надо. Она ушла, я не получал писем и однажды понял: померли те почтальоны. Всё!

Семен Григорьевич наконец смолк и всё смотрел на кладбище, смотрел. А что он там видел, во тьме? Бог его знает. Может быть, взглядываясь в кладбищенскую тьму, он смотрел в себя? В свои воспоминания, которыми теперь жил?

И точно. Потому что далее последовало:

— А знаете что? Хочу прочитать вам один стих. Он давний, я не включал его ни в одну книгу, потому что считал его слабым, несовершенным. А недавно понял: нет, не так, этот стих — совершенный. Поэтому и прочту. Сейчас. Я написал это тогда, в казахской степи, мне было всего двадцать лет, представляете? Это стихотворенье так и называется — «Полустанок Ешкандай». Ну, слушайте.

*Старый магнитофон.
Забыл, что он играл.
Какой-то мадригал.
И в этом что-то было.*

*В соседнем городке
был спиртовой завод.
Мы выпили — и вот,
тоска меня убила.
Уехать бы, удрать.
Магнитофон пиликал
И в торжестве великом
Тоску преумножал.*

*Что было — смута, жар?
Устало ныло тело,
и голова гудела,
как по степи столбы.*

*Над крышею пожар —
проделкой Герострата.
Иль то игра заката?
Возможно, да, вполне.
И от тебя во мне
ни слова, ни привета.
Уж на исходе лето —
ни одного письма.
Что нас связала как-то,
в потехе огневой.
Но адрес твой, конечно,
в сознание-подземелье
всплывет после похмелья,
тот странный адрес твой:*

*какой-то полустанок,
где аж со время оно
не сыщешь почтальона —
хоть не протрезвевай.*

*Был день, а может, не был,
и скрылся тихим вором.
И я надеюсь, скоро
я вспомню адрес твой:*

*какой-то полустанок,
где аж со время оно...
Где нету почтальона...
Где степь, джузгун, полынь...*

Поплыла тишина, густая, южная. Надо было что-то сказать.

— Я не тонкий ценитель поэзии, — кашлянув, произнес Давид. — Однако думается мне, это стихотворение все-таки странное. Настроение — да, окружающий мир — да, ощущение безмерной тоски и одиночества — тоже да, и все-таки привкус странности остается. Поэтический импрессионизм? Или сюр? Не знаю. Но привкус странности есть. Во всяком случае, во мне оно осталось. Как некое послевкусие. Я вас не обидел?

— Господь с вами!.. А в ваших словах даже что-то есть. Послевкусие... Это неплохо. Что нам осталось? И верно — послевкусие. Жизнь завершается, остается ее послевкусие. Послевкусие чего? Жизни — как полустанка. Полустанка Ешкандай. Я это понял, когда впервые пришел сюда, на заброшенное кладбище. Смотрю: моя степь, вот она, я к ней вернулся! Только теперь она в виде кладбища, причем заброшенного. Никого-ничего. Пустырь без названия. Пустырь Никакой. Ешкандай... Всё закономерно.

5.

Чем закончилась эта относительно короткая, «кладбищенская» история? А тем, что закончился «бархатный сезон».

Это ясно: с середины ноября тут начинаются дожди, холодает, хотя днем иногда ярко светит солнце и вполне тепло, до пятнадцати градусов, а то и до двадцати. Тем не менее, не слишком комфортная погода для долгих прогулок, с моря тянет влагой, прохладно, сыровато. Вот и Семен Григорьевич пропал. Сначала говорил по телефону, что мерзнет, если его выкатить из дома, и соответственно, Давид не заявлялся к нему, чтобы отвезти на традиционную прогулку. Но потом видел его пару раз из своего садика, видел опять с племянницей Ириной, катившей кресло со стариком, укутанным в пальто, и в той же бейсболке на голове. Но так было действительно раза два, а после старик пропал из вида. Скорее всего, решил Давид, теперь он, как говорят в шутку, гуляет в форточку, то есть коротко посиживает себе в кресле у себя во двореке. Так решил и больше не беспокоил старика своими звонками.

Настал Новый год (если по григорианскому календарю), потом прошел и январь, Давид сам неважно себя чувствовал, опять беспокоили головокружения, скованность мышц в спине, отчего стало труднее двигаться. Тут уж не до прогулок, особенно по зимней погоде. Но иногда вспоминал Семена Григорьевича, его рассказы про казахскую степь, про Бродского, да и вообще про тот самый Полустанок Никакой, который и есть их жизнь. Вспоминал и всякий раз наказывал себе позвонить старику, узнать, как он там, пообещать, что вот скоро зацветет крапива, как говорили-шутили в России, и тогда они непременно возобновят свои «кладбищенские» прогулки. Так наказывал себе, но из-за обычной своей вялости, скованности и медлительности и забывчивости долго не звонил.

Позвонил уже весной, когда началось повсеместное бело-розовое цветение. Позвонил именно 26-го апреля, чтобы заодно поздравить с праздником — Днем независимости. Как обычно, к телефону подошла жена Семена Григорьевича —

Елизавета Александровна («Моя русская муза», как несколько раз называл ее старик). Но оказалось, теперь она не жена, а вдова. Вот так!

Оказалось, еще в январе старика хватил сильный инсульт. Сначала госпитализировали в местную больницу, а через месяц родственники решили забрать его в Тель-Авив, чтобы положить в какую-то специализированную клинику, но там он и скончался еще через несколько недель. В Тель-Авиве и похоронили.

Теперь бывшая русская муза вернулась в Ашкелон, в свой опустевший дом. Ничего, сказала, справляется. Да, одна, но справляется, даже в ближайшие магазины ходит, племянница Ирина постоянно приезжает, уж раз в неделю, это точно, так что с большими покупками всё в порядке, а ухаживать за собой — это пока не так уж сложно. Вот только одна, Семьнет, но когда-то это должно было случиться, ничего не поделаешь, так заведено, сказка про умерли в один день — все-таки сказка, так в жизни не бывает, но все-всегда в это верят. Чем человек отличается от других существ — верой в чудеса, правда?

Давид хотел сказать: не только верой, а еще и воспоминаниями, но смолчал. Он думал о Семене Григорьевиче — старике с паркинсонизмом, о себе — старике с паркинсонизмом, об их жёнах, которые когда-то верили в «умерли в один день», но теперь-то знают, что это сказка. Чем человек отличается от других существ? — вспоминал слова вдовы. Ну, кто-то действительно верой в чудеса, а кто-то знанием. Вера — сказка, но она нужна. Старик же всё знал. Например, то, что наша жизнь — это, по сути, тот самый затерянный в большой степи полустанок. Который Никакой. Полустанок Ешкандай.

2013



Елена Матусевич
СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА
Три рассказа

Леди Лорен

Все думали, ей конца не будет, а вот. То есть, конечно, знали достоверно, что конец непременно быть должен, но как-то так затянулось все, и она стала вечной. Потому и пропустили. А готовились несколько раз: съезжались, прощались, платили, паковали, перевозили, и опять платили. Но дальше генеральной репетиции дело не зашло, и на представлении никого не оказалось. Ни старого сына, ни честной, некрасивой, измученной неумирающими старухами невестки, ни лоботряса внука, обожаемого, так похожего на нее и на сына, пока еще тот походил на нее и на себя, ни этих, остальных, неважных, поздних, незнакомых внуков.

В этом есть плюс: когда так застревашь в старости, что даже она заходит в тупик, то уже не больно ни себе, ни другим. Это ее шутка. Она всегда шутила, сохраняла холодную голову, и не позволяла себе распускаться. Даже когда медсестра, потеряв терпение, хотела позвонить родне, крошечное тельце на казенной кровати собралось и сказало 'нет'. Она сама удивилась, как легко ей это далось. Еще недавно она засыпала письмами прикрепленного к их дому престарелых провизора, чуть не ежедневно меняя свою последнюю волю: кремировать, зарыть, кремировать, зарыть. Ее интересовали мельчайшие подробности того, что происходит с телом в обоих случаях. Привыкший ко всему провизор даже пожаловался на нее заехавшему внуку. Теперь, с удивлением глядя на отодвинутые от нее в бесконечность собственные ступни, она не могла более понять как эта сушеная, обеспеченная оболочка могла ее настолько занимать.

Она успокоилась и перестала есть. На нее навесили трубок, и вокруг юридически суетились нянечки и сестры. Это было неприятно. Ей хотелось сказать им, что они могут, наконец, перестать делать вид, но шевелить языком было лень. Сын не звонил, и ей было все равно. Да разве этот круглый, глупо улыбающийся, лысый господин ее сын? Ее сын был высокий, стройный и лохматый, но она прожила столько, что лысеет уже ее внук. Она вообще с детства любила все только красивое: музыку, цветы, украшения и высоких стройных мужчин. Поэтому и не приняла вторую невестку и пошедших от нее скуласто-мосластых, похожих на железнодорожные шпалы внуков. Но теперь ей и это было безразлично, только радовало то, что их нет рядом.

Их было двое, она и Чарльз, и она всегда знала, что когда уйдет брат, ей тоже больше нечего будет здесь делать. Два осколка когда-то большой семьи, большого состояния, большого прошлого, двое, проживших этот век с начала до конца, надкусив даже века будущего. Чарльз умер в апреле, в день своего столетия, как и хотел. И теперь она тоже сумеет отказаться, сама. Они всегда отказывались страдать, она и Чарльз, это было их кредо. Ей и сейчас не было ни больно, ни скучно, ее не мучила совесть, перед ней не проходила фильмом ее жизнь. Ее существо было

теперь сведено к своей основе, и основа эта была суха, холодна и тверда как ее высушенное до костей тело. Они совпали, ее тело и ее дух, срослись, вернее, обнажились, когда отпали, вместе с шелухой ее гламурных нарядов, все эти обязательные, всем ею навязываемые, приветствия и благодарности. Теперь явись сюда хоть королева английская, она не повернет головы. Сестры думали, что она слабеет, а она с каждым днем набиралась сил для того последнего 'нет', которое она сумеет сказать бестактно навязчивой жизни.

В тот год в штате Миссисипи валил снег. В ее южный город отменили все рейсы, и усталая родня застряла в аэропортах огромной страны. На обледенелые дороги не пускали даже кареты скорой помощи, и в скромном доме престарелых было тихо. Они не успели. Никто не виноват. Просто ей, как всегда, повезло.

Жак

Посвящается Лорен Швайцер
(1915-2013)

— Да тут недалеко, ты помнишь? Или не помнишь? Чего тебе, в твоем возрасте, по кладбищам таскаться. Я и сама не люблю, вообще-то. Пустое это, самой к себе в гости ходить. Сам себя пригласил, сам себе цветочки. Ты, кстати, цветы не забыл? Для Жака. Это мои любимые гости, те, куда меня не пригласили, и куда мне поэтому до сих пор хочется. Не так ли? *Familiarité engendre le mépris.* * Жак все повторял это, оттого и помню. Хотя, ты же не говоришь по-французски. Только жена.

— Да, вот по этому хайвею до пятьдесят пятой, там потом знак должен быть. Тут можно быстро ехать, я люблю. Обгони этого и иди по правой. Я вот что хотела сказать: нам всем телевизоры в комнаты поставили. Я смотрю. Показывают, как мир без нас живет. Ничего, интересно. И как люди раньше без телевизора умирали? Не представляю. Мне грех жаловаться. Во-первых, я понимаю, что смотрю, а, во-вторых, помню, что смотрела! Меня тут всем комиссиям показывают: раритет, говорящий антик. Даже статью про меня написали. Я тебе послала, ты читал? Ну, и что, что неправда. Правду говорят от отсутствия воображения. Жене твоей не будет, а мне приятно, что профессор — ты. Жалко тебе? Газета местная. Гордись бабушкой. Я тут — единственный нормальный человек, включая обслуживающий персонал. Эти на нас глядя рехнулись. Плюс квам перфектум. Время такое в латыни есть, знаешь? Хотя ты ведь и латыни не знаешь. Ну, жена. И чего бы это ей латыни не знать? Жак тоже знал. Так вот, плюс квам перфектум, мой милый, значит «больше, чем законченное», прошедшее в прошедшем. Время после окончания времени. Это про нас. Старость теперь — как жвачка на тротуаре: липкая, тянется и не наступить невозможно. Я пыталась, ну, ты знаешь. Так никак: очень есть хочется. Аппетит у меня, просто неприлично. Ладно, ладно, не буду. Совсем засохну, само отвалится.

— Через две мили сворачивай. Жалко, что нельзя еще быстрее ехать. Я бы сама повела, у меня права остались, я их спрягала, да попадемся, отцу твоему штраф за меня выпишут, и тебе, главное, влетит. Нельзя. Мне теперь все нельзя. А то ведь, упаси Боже, умереть могу! В девяносто-то семь лет. Смотри, поворот не пропусти. Я зачем тебя сюда потащила ... Отец твой велел не говорить тебе. Так вот: дед твой, пусть земля ему, не спал со мной. Совсем, считай, не прикасался. То есть сначала еще туда-сюда, хотя, как я потом для себя открыла, и это ни к черту,

оказывается, не годилось. То есть именно что туда-сюда, пардон. Ну, да ты большой у меня уже мальчик. Сам папа. И раз жена от тебя пока не сбежала, значит, ты у меня ого-го! Так? Золото мое. Они ведь теперь сбегают. А твоя особенно. Теперь стало можно. А тогда...

— Поворот ты все-таки пропустил. Мало ли что! Я семьдесят лет за рулем провела и поворотов не пропускала. Это я не для газеты, я правду говорю. Придется возвращаться на хайвэй. Ну, ничего, не на крестины едем. Так вот, было у нас это туда-сюда по воскресным дням, а потом, как твой отец родился, и вовсе все кончилось. И ведь не то, чтобы он детей хотел. Не думаю. Но вот как Крэг родился, так и все. Сорок лет. Мы только обедали вместе, с открытыми шторами, при свете, чтобы соседи видели, что у нас все как у всех. Нас так воспитывали, и я думала, это нормально. И потом, от его туда-сюда не особенно-то разойдешься. Это же как все. Если мало есть, желудок сужается, а когда не это, то тоже. Подружки мне завидовали даже: «Везет тебе, Лорен, не пристаёт.» Тогда так было.

— Ну, вот, теперь ты правильно едешь. Теперь все прямо. Там тупик. Так вот, я все эти годы думала, и зачем он мне предложение сделал? Женится на мне зачем? Не неволил же его никто. Это наш брат, за черта пойдешь, лишь бы старой девой не остаться. А Жак меня два года промусолил. Проказник. Два года втроем ходили. Жак меня в кино пригласит, и дед твой за нами увяжется. Руки в карманы, молчит, идет поодаль, но идет. И везде так. Я даже привыкла, за два года, идет и идет. Но что за радость ходить с влюбленными третьим? А потом Жак исчез, а дед твой предложение мне сделал. Ну, мне думать было некогда, двадцать семь лет, шутка? А ему зачем? Он же мужчина, свободный человек. Вот и протлела я с ним сорок с лишним лет. Хорошо не пятьдесят. Во всем, внучек, надо находить хорошее.

— Хорошо, никого на парковке нет. Не больно-то народ горюет. Да и будний день. Дальше я на тебе повисну. По этой дорожке налево. Так я к чему? К телевизору. Я помню, почему я с телевизора начала. Он у меня целый день иногда включен, так, для присутствия. Ты садись, тут скамейка есть. Нет, это я устала, не взыщи. Так вот, Жак красавец был. Не наш. Русский. То есть не русский, а француз, но до того русский. Из Парижа. Семья его во Франции осталась, а он к нам как-то попал, через Сан-Франциско. У нас тогда иностранцев совсем не было. Юг, глубинка. Кто? Эти? Эти, может, и были. Наверное, были. Я не о том. Я тебе о настоящих иностранцах говорю. Их не было. Ну, пошли, тут два шага осталось. Вот. Фамилия, видишь, какая у него длинная? Одиннадцать букв. Он говорил, что дворянская. Я верю. Ты бы его видел... А я тогда ему сказала, что мы из швейцарцев. На всякий случай. Наши тогда все в швейцарцы и австрийцы подались. Твой отец хотел бы в них и остаться. А я тебе скажу: немцы мы чистые, и ты бы был, если бы твой отец... Ну, ладно, ладно, не буду. Во всем надо находить хорошее. Давай сядем. Шикарный памятник. И как Жак здесь оказался? Уехал, исчез, а потом узнаю: умер, погиб, и здесь похоронен. Почему здесь? Погиб он в сорок пятом году, видишь, тут написано: 1915-1945. Золотом: «Погиб при освобождении Европы от нацизма». От деда твоего и узнала, он мне сказал. Мы ведь сюда оба ездили, правда, не вместе...

Так вот, про телевизор. Забавнейшая история. Вспомнила я, сопоставила. Телевизор помог. Одно время там все про геев показывали: разрешать жениться или не разрешать. Пока я разобрала, что это такое... Так вот, что я тебе скажу. Тогда, конечно, и в голову такое не могло прийти, но дед твой, чтоб ему пухом, не за мной два года третьим ходил. Не про меня был треугольник. Может, Жак оттого и исчез? Не мог выбрать? Не хотел обижать? Опасался огласки? Не спросишь. Да

только тело Жака твой дед сюда перевез, уж не знаю как. Больше никому. Потому мы и дом свой так долго купить не могли. Дорого это, покойников в такую даль возить и памятники с золотыми надписями заказывать. Он, кстати, тут же похоронен, я и забыла. Вон памятник, видишь? Иди, сходи к нему. Все же дед. И моя могила там же, отец твой место купил, а то дорожает все. А я тут посижу. Не буду, пока жива, навязывать ему свою компанию.

— Ну, все? Как ты быстро. Тогда пойдем, а то ехать далеко, и есть страшно хочется. Кутнем? Я тебя приглашаю, внучек.

Сладкая жизнь

Лежит Леся, лежит, не шевелится. Всю ночь пироги да булочки, хлеба да печенья. С повидлом, кремом, ягодой, орешками, посыпками, помадками, изюмом и маком. С вечера замесит, ночь печет, к утру погрузит, а там в город свезет. А как же? Загодя нельзя, клиентам обещано, и в объявлении у ней так: все свежее, с накатуне, не то, как у других. Так уж она всегда, точно, свежее. Не схитрит, не пожалеет. Сама спечет, сама снесет. А кому ж? Сама.

— Тебе что, мальчик? Да ты поди сюда, какой тебе? Да ты про то не думай, кто тебя про это спрашивает? Бери, бери, ничего, не обеднею.

— А вам что? Сколько? Десять шоколадных, десять малиновых, десять ванильных. И то...

Улыбается Леся, сладкая женщина, *sweet lady*. Всегда к ней очередь. Сладкий у ней товар, жирный, ласковый, сам в рот просится.

— Мама, мама, сначала трубочку!

— Одну трубочку? Да шо так мало? Вон он худенький какой. Какую тебе? Шоколадную или ванильную? Не знаешь? Ну, на те, дитка, две трубочки, все в рост уйдет.

Улыбается Леся, а улыбка с левой стороны не вверх, а вниз, к земле, тянет.

— Что это у Вас?

— Да, перекосило, простудилась, верно, да так и осталось, как омертвело, что ль. — Да вы бы показали...

— Доктору-то? Да не, то ничего, работать не мешает, не болит, а шо лицо, ну, Бог с ним, с лицом. Наша порода такая, двужильная, куда им до нас, до херсонских...

Всю ночь пироги да булочки, хлеба да печенья. Рогалики, трубочки, пончики с вареньем. С клубничкой, малиной, миндалем, ревенем, лимоном, кардамоном. Вафли сахарные, сухарики чесночные, печенки в мешочках, пирожные в коробочках. Чисто, ладно, аккуратно. Только поворачивайся, только успевай к протянутым рукам, чекам, монеткам, долларам. Ходовой товар, веселый, шпучный. Рожки, язычки, полоски, хлебцы, коржики. Не видали тут таких, в супермаркетах своих. Еще, еще, кузов большой, налетай сердечные. Она еще напечет, накрутит, начинит.

Лежит Леся, да пора вставать. Разложить, завернуть, снести, да ехать. Далеко ехать, сто семьдесят километров, да в темноте, да, считай, по льду. Но ничего. Что темно, не привыкать, что ноги не идут, так расходятся, что руки немеют, да и такими можно. И встала Леся и пошла, и взялась, и несет. От печи к столу, от стола к двери, от двери к кузову. От кузова к двери, от двери к столу, от стола к печи. И опять. И опять. Утро стылое, кузов ледяной, подносы пудовые. На подносах буханки, на противнях торты, в формах кексы.

Кексы теплые, пол холодный. Между ними большая Леся лежит. Не шлохнутся на ней торты, не дрогнут халы. Тихо и чинно покоятся они, прижимая ее к чужой земле. Не отпустят больше. Скиснет тесто, засохнут начинки, остынет печь. Взойдет солнце. Кончилась сладкая жизнь.



* “Близкое знакомство порождает презрение.” (Ларошфуко)

Илья Криштул

ЛЕДОРУБ ТРОЦКОГО

Телефон зазвонил резко, противно и неожиданно, так как был отключен три месяца назад за неуплату. К тому же было рано, часов двенадцать, и я, причисляющий себя к творческо-креативному гламурному бомонду, то есть к безработным иждивенцам, ещё спал.

— Масюкевич, Максим Александрович? — голос в трубке был тоже резкий, противный, но властный.

Я ответил, что я это я.

— Вас беспокоят из администрации президента России, моя фамилия Татаринов. — продолжил голос.

— А президента России как фамилия? — спросил я.

— Мы вам телефон не для шуток подключили, Максим Александрович. — в голосе послышались стальные нотки: — Дело в том, что ваш дом очень удобно расположен. У вас же Первомайская, тридцать семь?

Я кивнул.

— Первый этаж?

Я снова кивнул.

— Всё правильно. Ваш дом единственный, стоящий в глубине. Можно отследить подъезды, плюс спортплощадка, детская площадка, он это любит, в общем, по нашему мнению и мнению охраны, идеальный вариант. Запоминайте — через неделю к вам неожиданно для вас, для нас и для всей страны в гости заедет президент. — Татаринов немного помолчал и продолжил: — Будет проезжать мимо и заедет. Вы понимаете, какая это честь и, в тоже время, ответственность?

Я понимал. У меня вчера в гостях Марат был, одноклассник, вот это была ответственность, не знаю, правда, насчёт чести. Сто двадцать килограмм живого веса, постоянно норовящие упасть то на стол с напитками, то на аквариум с рыбками.

— А как я его узнаю, президента вашего? — наконец спросил я.

— Во-первых, не только нашего, но и вашего тоже, — ответил Татаринов: — А, во-вторых, вы что, не знаете в лицо президента страны? Телевизор у вас есть?

Телевизор у меня был, но работал как тумбочка, что-то с ним случилось лет пять назад, а мастера вызвать нет ни времени, ни денег. Я так этому Татаринову и ответил, особенно упирая на отсутствие денег.

— Хорошо. Через час к вам заедут наши сотрудники, ожидайте. А я приеду вечером, побеседуем.

В трубке раздались короткие гудки, утренний сон сгинул почти безвозвратно, я селв постели и задумался. Интересно, думал я, что чувствовал смотритель далёкой железнодорожной станции Астапово в тот ноябрьский день, когда к нему в дом зашёл Лев Николаевич Толстой, поздоровался и умер? Президент, ко мне, конечно, не умирать придет, у него есть где это сделать, но какое-то сходство в этих визитах всё-таки есть... И вот с этой нехорошей мыслью я окончательно проснулся и пошёл готовиться к незваным гостям.

Через час у меня под окном припарковалась неприметная «Газель» с надписью «Почта России», из неё вышли несколько человек и, не обращая внимания на

домофон, зашли в подъезд. Я не стал дожидаться звонка, открыл дверь и сразу получил замечание.

— А вот дверь, Максим Александрович, сами больше не открывайте, — сказал стоящий первым усатый мужчина в очках и зашёл в квартиру: — С сегодняшнего дня у вас не личная и приватизированная жилплощадь, а, понимаешь, государственный объект. Теперь здравствуйте. Меня зовут Сергей Леопольдович, я ваш куратор на эти семь дней. И ещё насчёт двери. Вообще до визита президента к ней не подходите. Вы кого-то ждёте?

— Вас ждал. — честно ответил я: — Не Толстого же...

— Это приятно, нас, понимаешь, мало кто ждёт. — Сергей Леопольдович хмыкнул и продолжил: — Познакомьтесь.

Из моей комнаты вышла миловидная женщина с холодным взглядом и улыбнулась. От её улыбки у меня в голове застучал ледоруб Троцкого, под окном проехал грузовик режиссёра Михозлса, а о том, как она оказалась в комнате, где я недавно в одиночестве спал, я решил вообще не думать.

— Татьяна Борисовна, — представилась женщина: — Сестра вашей жены.

— Э... — сказал я, а заговорил опять Сергей Леопольдович:

— Президент захочет попить чаю с плюшками, кто его будет угощать? Вы умеете печь плюшки? А стол, понимаешь, накрыть, тут же будет телевидение, первый канал, второй, журналисты... И что у вас с ванной, вдруг он захочет руки помыть...

И Сергей Леопольдович пошёл в сторону ванной.

— Я насчёт жены... — кинулся я вслед за куратором: — Я же вроде как...

— Успокойтесь, Максим Александрович, — остановила меня новоявленная родственница: — Ваша жена появится через минуту и только на неделю, очень симпатичная девушка Лена. И давайте на «ты», нам работать вместе. Я, кстати, приехала из Балашихи в гости к сестре. Работаю в страховой компании, менеджер. А вот и Лена.

В квартиру действительно зашла симпатичная высокая блондинка и я сразу решил пошутить по поводу отдачи супружеского долга. К счастью, пошутить мне не дали.

— Майор ФСО Круглова — командным голосом отчеканила блондинка и ледоруб Троцкого снова застучал в моей голове, и где-то вдалеке заиграл радиоприёмник барда Галича, а шутить расхотелось навсегда: — Прикомандирована к вам в качестве супруги. Показывай, муж, кухню. Осваиваться будем...

Остаток дня мы осваивались, а вечером, как и обещал, приехал Татаринов. С ним приехали рабочие, сразу приступившие к ремонту ванной, и почти новый телевизор. Татаринов осмотрел квартиру, поговорил наедине с моими родственницами, с Сергеем Леопольдовичем и, видимо, остался доволен. Потом он подарил мне портрет президента в красивой рамке и мы сели пить чай с плюшками. Плюшки были вкусны, чай сладок, но я не обратил на это никакого внимания. Я думал о телевизоре, о прекрасном плазменном телевизоре в серебристом корпусе со встроенным ДВД, с диагональю... Да это не важно, важно было другое — оставят ли его мне после визита, ведь мой старый телевизор они уже вынесли на помойку? Или он на балансе ФСО и они возят его по всем квартирам, которые посещает президент? А может, это вообще личный телевизор президента? И интересно, подавали что-нибудь тому смотрителю, в доме которого умер Толстой?..

— О чём вы думаете, Максим Александрович? — вдруг спросил Татаринов: — Вам не нравятся плюшки? Или вы не хотите помочь нам, а, значит, и своей Родине?

И вновь застучал в голове ледоруб Троцкого, и раскрылся отравленный зонтик болгарина Маркова. Я решил оставить вопрос о телевизоре на потом, откусил плюшку и ответил:

— Плюшки нравятся. Помочь хочу. Просто я подумал, что есть более достойные люди... Вот надо мной, Паша и Маша, он банкир, она домохозяйка, двое детей... Я у них займы часто беру...

— Второй этаж не подходит. Он там будет как мишень в тире. К тому же президент страны в гостях у банкира это не очень правильно, ему ж займы не нужно. А семья хорошая, мы знаем. Итак, президент придет к вам ровно в десять утра и пробудет пятьдесят три минуты...

— У нас здесь по утрам пробки... — вставил я.

— В это утро пробок не будет. — твёрдо сказал Татаринов: — Да, совсем забыл — вам знакома гражданка Вережанская Виолетта Павловна, пятидесятого года рождения?

— Да, знакома...

— Шла к вам, мы попросили этого не делать. Проживёте неделю без гражданки Вережанской, к тому же пятидесятого года рождения?

— Проживу, конечно. Телевизор буду смотреть...

Мой слабый намёк остался без внимания и Татаринов, достав из портфеля какие-то бумаги, продолжил:

— Вот запись вашей непринуждённой беседы с президентом. Главное — вам, как представителю творческой интеллигенции, нравится отношение президента к культуре, поэтому вы поддерживаете все его начинания в этой области. Вот список начинаний. Теперь жалобы. Их у вас одна — вы недовольны ростом тарифов ЖКХ, он отвечает, что только что подписал указ... Ну, словом, как всегда отвечает. Вот текст жалобы. Дальше наша-ваша жена наливает чай, угощает президента плюшками, которые сама испекла, президент пьёт, благодарит, встаёт, спрашивает, есть ли у вас какая-нибудь личная просьба к нему, как к президенту страны. Тут важно — вы отвечаете, что есть. Потом излагаете эту вашу личную просьбу, вот, кстати, и её текст. Президент говорит, что он вас услышал, это такая специальная фраза для подчинённых, снова благодарит за плюшки и уезжает, а вы с чистой совестью приглашаете постаревшую ещё на неделю гражданку Вережанскую. Всё понятно?

— Понятно. — ответил я и взял отпечатанные листки с начинаниями, жалобой, личной просьбой и непринуждённой беседой: — Это всё наизусть учить?

— Вы, Максим Александрович, сами как думаете? — спросил Татаринов с интонацией, от которой застучал, застучал в голове ледоруб Троцкого, а перед глазами закачалась петля поэта Есенина.

Спалось мне в эту ночь плохо. Во-первых, жутко храпели на своих раскладушках моя жена майор ФСО Круглова и её сестра из Балашихи, чьё звание я так и не узнал, а, во-вторых, два молчаливых мужика, дежурившие в прихожей, каждые полчаса заглядывали в комнату и обводили её тяжёлым взглядом. Проснувшись с ощущением лёгкой арестованности, я посмотрел на президента в красивой рамке, поздоровался с ним и вышел на кухню. Жена-майор уже приготовила завтрак, сестра жены мыла сковородку, два молчаливых мужика в прихожей сдавали дежурство двум другим молчаливым мужикам, а за окном... За окном творилось необык-

новенное. Свежевыкрашенным фасадом сиял дом напротив. Вокруг детской площадки за ночь выросли голубые ели, а на самой площадке дети с радостью катались на аттракционах, вывезенных, судя по всему, из Диснейленда. На спортплощадке играли в футбол вежливые люди в костюмах-тройках и тёмных очках, переговариваясь между собой по рациям. Подтянутые, голубоглазые и светловолосые дворники мыли шампунем только уложенный асфальт, а молодые мамы с пустыми колясками ходили одновременно и на представительниц женской сборной России по самбо, и на участниц конкурса красоты. Редкие прохожие в плащах и шляпах совершенно не были похожи на прохожих и выглядели, если честно, как сотрудники ФСБ. Но я не стал об этом никому говорить и сел завтракать.

А через неделю, наконец, наступил день визита. В пять утра меня разбудила собачка спаниель, деловито обнюхивающая комнату, и её хозяин, делающий тоже самое. С кухни доносился аромат свежеспеченных плюшек и, дождавшись, когда человек с собакой обнюхают каждый сантиметр из моих жилых метров, я встал, дружески кивнул портрету и пошёл бриться-умываться, повторяя про себя давно выученный текст беседы с президентом. Потом я пил кофе, получая последние инструкции и наставления, надевал новый спортивный костюм и помогал прибывшим заранее телевизионщикам расставлять их аппаратуру, которая, кстати, расцарапала мне весь линолеум. А ровно в девять часов пятьдесят восемь минут моя квартира замерла и во двор въехал кортеж президента.

Президент оказался приятным, улыбочивым и вполне своим, извинился, что заехал без предупреждения, с удовольствием ел плюшки, много шутил про президента США, рассказал анекдот про борьбу с коррупцией, чем ужасно рассмешил мою жену-майора и её сестру, спросил у меня совета по поводу реформирования госструктур и внимательно выслушал жалобу на рост тарифов ЖКХ. Ответив точно по сценарию, что он только что подписал об этом указ, президент съел пятую плюшку, встал и спросил, глядя в глаза мне и одновременно в объективы всех телекамер:

— Ну а какая-нибудь личная просьба ко мне, как к...

— Есть. — твёрдо ответил я, недослушав президента и ледоруб Троцкого взбесился в моей голове, и в лицо уже летела струя цианистого калия националиста Бандеры: — Есть. Вы мне телевизор не оставите?

Проснулся я от непривычной тишины, но, к счастью, в своей кровати. Первое, что я увидел, был мой старый телевизор, стоящий на своём месте и выполняющий роль тумбочки. На нём лежало письмо-уведомление о повышении тарифов ЖКХ в два раза. Я вскочил и выбежал на кухню. Нет, никаких следов визита президента не было, даже крошек от плюшек, даже царапин на линолеуме от телевизионной аппаратуры, да и за окном... За окном всё было как всегда — на спортплощадке выгуливали своих собак соседи, гортанно переговаривались дворники-хлопкоробы, а на детской площадке, на качелях, поставленных ещё пленными немцами, сидела пара алкашей с бутылкой. «Как же так...» — подумал я, а вслух сказал:

— Как же так? Что ж это за власть такая, которая обманывает свой народ даже во сне? Власть подлецов во главе с президентом, который богатеет на бедах своего нищего народа! Указ о ЖКХ он подписал... Нет, только переворот, только революция спасёт эту страну от гибели! И если надо стать зеркалом этой революции, то я...

В комнате раздался непонятный звук, как будто что-то упало-разбилось и одновременно зазвонил дверной звонок. Я пошёл открывать, по дороге заглянув в комнату, и... Холодная липкая струйка медленно протекла по спине, а ужас заста-

вил закрыть глаза. На полу, в осколках от разбитого стекла, лежал подаренный Татариновым портрет президента в красивой рамке. В дверь продолжали звонить, и я уже знал, кто за ней стоит, сжимая в руках ледоруб Троцкого. На ватных ногах я добрёл до двери, сказал последнее «прощай» своему отражению в зеркале, повернул ключ, зажмурился и прикрыл голову в ожидании удара. Но удара не последовало.

— Ты чего? — раздался голос Вережанской Виолетты Павловны, пятидесятого года рождения и я открыл глаза.

Действительно, это была Виолетта Павловна, удивлённо глядящая на меня, а у её ног стояла запечатанная коробка с плазменным телевизором со встроенным ДВД.

— Опусты руки и занеси телевизор. — скомандовала Виолетта Павловна.

— Откуда он у тебя? — слабо спросил я.

— Государство подарило, на сорокапятилетие трудовой деятельности. Там, на коробке, и наклейка специальная.

Действительно, на коробке была яркая наклейка с надписью «В.П. Вережанской в честь 45-летия трудовой деятельности на благо государства от этого государства».

— У меня же два телевизора есть, этот решила тебе отдать, а то живёшь, как в пещере, ни одного сериала не видишь — продолжала говорить Виолетта Павловна: — С тобой и обсудить скоро нечего будет...

И я занёс коробку в квартиру.

Вечером мы лежали и смотрели «Новости». Показывали президента страны, который в каком-то городе зашёл в гости к простым людям и долго с ними беседовал, угощаясь плюшками. Простые люди, кстати, были очень похожи на моего куратора Сергея Леопольдовича и майора ФСО Круглову. Хотя, может, мне это лишь показалось...

— Всё-таки хороший у нас президент и государство хорошее. Всё для народа делают — телевизоры дарят, плюшки едят... — пробормотала в полусне Виолетта Павловна: — Правда ведь?

Я вспомнил про яхты олигархов и про нищих пенсионеров, вспомнил про вымирающие деревни и про пятиэтажные коттеджи чиновников, про тарифы ЖКХ и про зарплату начальника этого ЖКХ... Но ледоруб Троцкого стучал в моей голове, ледоруб Троцкого, и так уютно бубнил со стены новый телевизор...

— Правда. — громко ответил я не только Виолетте Павловне и, посмотрев на портрет президента в красивой рамке, добавил: — Завтра надо стекло вставить. И рамку подороже купить, из красного дерева с золотым напылением.

Я очень надеюсь, что меня услышали и я буду жить долго. Дольше, чем Троцкий. И умру в своём доме, а не как Толстой. Ведь мужья майоров ФСО, пусть и во сне, должны жить долго и счастливо...

А вдруг это вообще вещей сон был? Не дай Бог, конечно...



Владимир Кузьмук

МЕЖДУ ЭРОСОМ И ТАНАТОСОМ

(продолжение. Начало в №1/2015)

Одиннадцатая школа находилась на Ворошилова, нынешнем Ярославом Валу. Теперь здесь школа искусств. Классы трещали от перенаселённости. За партами сидело по три человека. Полно было переростков. При немцах многие не учились. Среди первоклассников случались ребята и по десять и даже одиннадцать лет. Немудрено, что я через неделю заявил, что в школу буду ходить сам без провожатых. Иначе меня засмеют. В школу меня водила бабушка. Дорога была чревата опасными неожиданностями. Перейти две улицы было не так-то просто. С Рейгарской ещё, куда ни шло, а вот на Ярославом Валу действительно творилось настоящее столпотворение. Трамваи сновали туда и сюда непрерывно, на светофоры внимания никто не обращал, улицу перебегали, кто, где хотел, водители всё время бешено сигналили. Шум и грохот стоял ужасающий. Угодить под машину ничего не стоило.

Моя решительность вызвала на кухне бурю протеста и возмущения. Всё началось с абстрактных упреков в адрес детей, на их чёрную неблагодарность в ответ на самоотверженную заботу родителей и всё такое прочее. В дело пошёл весь набор обычных в таких случаях примочек. Прошибить меня привычными увещеваниями было невозможно. Я и ухом не вёл. После основательной психологической обработки атаки начали приобретать более целенаправленный характер. Мне прозрачно давали понять, что пагубность моих решений представляет опасность для страны, подрастающего поколения и для меня самого в особенности. На свет были извлечены самые знаменательные несчастные случаи в истории человечества. Вспомнили даже князя Олега, так неосторожно ступившего на череп собственного коня, не говоря уже о злополучном «Титанике».

Марья Моисеевна, специалистка по ужасам и кошмарам, рассказала в назидание мне самую новейшую душераздирающую историю:

— Да, — говорила она, переворачивая ножом котлету на сковородке, — никто ни о чём и не подозревал. Они всей семьёй спокойно переходили дорогу на Воровского. И вдруг на тебе — трамвай с горы с бешеной скоростью. Тормоза отказали. Никто и пикнуть не успел. Кровавое месиво — в секунду. Все погибли, даже кошка. Хоронили в закрытых гробах. Разобраться, где, что, было просто невозможно.

— Кошка могла преспокойно убежать, — сказал я.

Она уставилась на меня в упор, запахнула на груди свой засаленный махровый халат и под шипение котлет возмущённо изрекла:

— Как вам это нравится, он мне не верит! Да к твоему сведению, всему городу известно, что кошка была в корзинке с крышкой.

Это был неопровержимый аргумент, после которого по всем законам логики я должен был сложить оружие и сдаться на милость победителя. Но все расчёты пошли прахом.

Через день я как триумфатор, гордо размахивая портфелем, шагал в школу один. Краем глаза я следил, как по противоположной стороне улицы шлепалась бабушка, наблюдая за моими демонстративно наглыми и вызывающими действиями. Мне даже стало её жалко, и в какой-то момент я готов был поддаться слабости и раскаться. Но возобладала жизненная целесообразность принятого решения. Я спрятал чувства в коробочку, впервые подчиняясь велению судьбы.

Только после того, как я благополучно перешёл шумный Ярославов Вал, бабушка возвратилась домой. Так продолжалось пару дней. А потом все привыкли и принимали мой демарш, как нечто естественное и само собой разумеющееся.

С точки зрения современного компьютерного обучения первый класс был настоящим каменным веком. Считать мы учились на палочках. У каждого из нас была их целая обойма, перехваченная резинкой. Нечто напоминающее аптечные приспособления для чистки ушей, только без ватки на концах. Разделив палочки, мы старательно передвигали их по парте от одной стопки к другой. Осваивали таким способом простейшие арифметические действия сложения и вычитания. Бусины счёт на вертикальной подставке в углу это уже была высшая математика, откладывающаяся до второго класса.

Но подлинно ритуальным действием был процесс обучения письму. Тетрадь в косую линейку, разноцветная в три строки, чтобы середина буквы была строго фиксирована, чернилка-невывлившка и восемьдесят шестое перо. До сих пор для меня остаётся загадкой этот странный и почти мистический номер. Возможно, таким способом был зафиксирован процесс эволюции письма, начиная со знаменитого древнеегипетского луврского писца с его нехитрыми письменными принадлежностями. Восемьдесят шестое перо, раздвоенное посередине, чтобы давать нажим, утолщение в букве, по всей вероятности было прямым потомком гусиного и доставляло массу хлопот. В обращении с ним требовались определённая сноровка. Его следовало обмакнуть ровно настолько, чтобы чернил хватило, по меньшей мере, на слово. При переборе жирная клякса на странице была обеспечена. Я старался, как мог. Но пальцы и руки всё равно были в чернилах. Всё было в чернилах даже нос. После школы бабушка тащила меня в ванную и оттирала хозяйственным мылом и щёткой следы моей старательности. Калиграфия и чистописание были чуть ли не главными в школьной программе первого класса.

Приобщение к знаниям вызывало у меня трепетное почтение. Сказать, что я учился с удовольствием, было бы слишком мало. Когда я, что называется, одолевал очередную ступеньку в процессе познания, ну, успешно решал какую-нибудь там задачку про две трубы в бассейне, или двух пешеходов между пунктами «А» и «В», в душе появлялось сладкое чувство гармонии, а в груди начинали дудеть победную песню медные трубы. Вероятно, это были отзвуки времён, когда учение и священнодействие были неотделимы друг от друга.

Нечто подобное сложилось у меня и с городом. Это была, наверняка, мистическая связь. О ней я вообще-то предпочитал помалкивать, чтобы не стать объектом насмешек. Выражалась она по-разному и всякий раз неожиданно. Как-то вечером я бродил по старым кварталам. Знакомые с детства места сильно изменились, но всё же оставались прежними. Почему-то никому не удавалось исказить лицо этих переулков, улиц и площадей. Город перемалывал и приспособлял к себе всё, что ему навязывали. Сумерки странным образом подействовали на меня. Размытые очертания вдруг обрели предельную чёткость. На миг всё предстало в каком-то ином свете. Словно приоткрылось то, о чём когда-то толковал старик Шапиро. Я

ощутил прикосновение неявного — того непостижимого мира, сути всего сущего, куда человек тщетно пытается достучаться. Казалось, вот-вот и я постигну скрытый смысл вещей — жизнь станет ясной и понятной. Но озарение длилось всего лишь долю секунды. Всё тут же погрузилось во тьму позднего вечера. Видение стёрлось, вроде его и вовсе не было. Как будто при проявке не сработал закрепитель.

Знакомый архитектор объяснял тайну города по-своему. Нам кажется, что мы собственноручно направляем свою волю и творим жизнь, как нам захочется. Но это не так. В явленном мире не мы, а что-то другое владеет нами, считал он. Незримые силы этой земли порождают в душе неосозанный трепет и благоговение. Они нас и направляют. Мы действуем независимо от того хотим ли мы этого или не хотим. Вообще-то он был мистик. И всё же я склонен ему верить. Вера в предназначение до сих пор сохранилась у меня такой же нетронутой и наивной, как и в детстве. Ничто не смогло поколебать её ни годы, ни опыт. Всё, что я предпринимал, всё, что не делал, только подтверждало это. Все мои попытки отпрыгнуть в сторону, начать всё с другого старта, кончались ничем. Что-то футболило меня снова и снова в прежнее русло, и я покорно плыл по жизни дальше, как мне, вероятно, было предписано в книге судеб.

Моя слепая вера в судьбу, наверняка, не выдерживает критики. Можно найти тысячу аргументов «против». Учёные психологи, например, убедительно доказывают, что жизнь каждого предопределяет его характер. Особенности личности заставляют поступать так, а не иначе. Но разве только характером можно объяснить всё, что управляет человеком помимо его воли и чего ему не избежать, как бы он не старался?

В школе, в параллельном первом «в» учился Валька. Он был из соседнего околотка, того, что в начальных номерах Чкалова. Дружить мы с его компанией не дружили, но и не враждовали. Это был скорее шаткий мир, готовый в любую минуту лопнуть. Валька был задиристым и драчливым, «заядлым» по-уличному. Прицепиться он мог без всякой причины к кому угодно. Я держался от него подальше. На переменках друг друга мы не замечали, но я всё время краем глаза держал его в поле зрения. Мало ли что он мог отмочить. Предположить, что он выкинет через мгновение, было совершенно невозможно.

Потом нас всем классом перевели в другую школу, и я никогда бы о нём и не вспомнил, если бы судьба не столкнула нас уже в другой взрослой жизни. Мы оба работали на киностудии. Специалистом он был неплохим, но я его не любил. Встречаясь в коридоре, он хлопал меня дружелюбно по плечу и шутливо вопрошал: «И чего ты меня так не любишь?»

— Оставь, Валька! — говорил я, отмахиваясь, — с чего ты взял? — и шёл дальше своей дорогой. Это повторялось всякий раз и превратилось в своеобразный ритуал приветствия.

Тут-то на студии я и узнал его настоящую историю. Подлинная биография Вальки началась 29 сентября сорок первого. В то утро ещё никто не знал, что чуть позже в тот же день их как слепых котят перестреляют на окраине в Бабьем Яру, хотя предчувствия и догадки были. Все думали, что их куда-то увезут и брали с собой только необходимое, как было предписано в оккупационном приказе.

— Дора, — сказала дворничиха уже на выходе, — оставь Валика здесь, пока всё утрясётся, а потом забереешь...

Валькина мать заколебалась, но решать нужно было, не мешкая. Времени на размышления не было. Что-то ёкнуло у неё в груди.

— Ладно, — сказала она, изменившись в лице, — пусть останется, но за ним нужен глаз да глаз. Ты уж присматривай. Я тебя отблагодарю.

Она решительно толкнула дверь и вышла, не оборачиваясь, с рюкзаком на плече.

Так Валька стал приёмным. Донести на него никто не донёс. Его признали своим. Через некоторое время он превратился в босяковатого мальчишку. Никаких признаков еврейства в нём и близко не осталось. Он впитал как губка все замашки сверстников, с которыми с утра до ночи болтался по улице. Да так-то оно было и к лучшему. Немцы ничего не могли заподозрить. Таким впервые я узнал его в школе. Но никогда и предположить не мог, что он еврей, хотя это было так. Он выучился, женился, имел двоих детей. Видимо, слова дворничихи оказались пророческими или уж больно одиноко было там Доре, что решила она вернуть сына себе.

С понедельника Валька не появился на работе. Не было его ни во вторник, ни в среду. Жена забеспокоилась ещё в воскресенье. В субботу вечером муж должен был приехать на дачу на велосипеде. Но его нигде не было. Только через три дня его обезображенный труп опознали в поселковом морге. В темноте на просёлке Вальку сбил грузовик. Насильственная смерть, запланированная с детства, по непонятным причинам словно была отложена на неопределённый срок. А потом всё свершилось в своё время, как было предназначено.

Как сложились судьбы остальных одноклассников, неизвестно. После школы я поставил на них крест. В одиночестве я переживал первое поражение. Провал на конкурсе в университет ставил на мне клеймо неудачника. Встречаться с бывшими однокашниками не хотелось. Многие из них, серые мыши в школе, гордо восседали в институтских аудиториях. Все мои оправдания или, ещё хуже, жалобы в адрес, бог знает кого, были бы никому неинтересны. Я впервые узнал, что люди ценят лишь успех, и предпочитают тех, кто на гребне. Это открытие было достаточно убедительным, чтобы отбить всякую охоту от встреч со счастливыми, получившими от жизни первый аванс. Я перестал ими интересоваться и естественным образом потерял всех из виду. Никто из них впоследствии, вроде бы, так и не выплыл на поверхность. Может быть, только об одном я могу сказать нечто определённое. Время от времени слухи о нём долетали и до меня. Кроме яростной работоспособности особых дарований за ним не числилось. Типичный отличник, он умел упорно бить в одну точку. За что бы ни брался — всё получалось. При минимуме способностей к танцам он стал неплохим танцором. Подвизался в семидесятилетнем коллективе, откуда приглашали в самые престижные профессиональные ансамбли. Не знаю, зачем это ему понадобилось. Может быть, чтобы беспрпятственно пролезть в университет? Такие студенты ценились. Но вроде и родители у него были влиятельные. Не знаю... Танцовщиком он так и не стал. Его амбиции были выше. Вообще ему судилось быть во всём первым. Некоторое время о нём ничего не было слышно, да я и не интересовался им особенно. Потом случайно узнал, что он стал парторгом огромного оборонного предприятия. Это была вершина карьеры. Партийные функционеры такого ранга прямым ходом шли в руководители государства. Но случилась перестройка, а потом и независимость. Психология отличника сыграла с ним злую шутку. Видимо, уроки доктрины он усвоил слишком серьёзно, прочно сросся с системой и сломался вместе с ней. На свалке быть ему не пристало, оставалось только умереть, что он и сделал.

Вспоминается дежурная сентенция нашего соседа Владимира Яковлевича. Отставной диктор радио любил выставляться. На кухне он славился умением пре-

поднести любую общеизвестную истину так, как будто сию минуту открыл её для себя сам.

— В жизни — изрекал он поставленным дикторским голосом, обжѣвшись о ручку чайника, — за всё приходится платить.

Наверное, он был прав. Счѣт в конечном итоге предъявляется каждому. Тут все на равных. Смерть превращает в трагедию и жизнь самого ничтожного бомжа, роющегося по утрам в отбросах, и жизнь самого выдающегося деятеля на вершине славы и почѣта.

Предсказать, кому, какой предуготовлен конец, невозможно. Недаром говорится, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Если бы во времена моего детства, кто-либо предположил, что история из всех возможных выберет вариант, который не могли бы предвидеть и самые парадоксальные умы, его единодушно признали бы невменяемым. Но жизнь привлекательна именно своей непредсказуемостью. И в любое время и при любых обстоятельствах человек всегда старается насытить её полнотой, позабыв о смерти. Она для других, но только не для тебя.

Война не оставляет места иллюзиям. Поветрие смертельного предчувствия висит в воздухе. Точно такое же, наверное, зависало над Европой в чумные годы средневековья. Каждый ощущает себя на краю пропасти. Нить жизни готова ежеминутно разорваться. Сартр называет это состояние пограничной ситуацией. Долгожданный треугольник письма с фронта вызывал священный трепет. А конверт из военкомата повергал в ужас. В письме могла быть похоронка. Предсказания и гадания стали важнее даже сводок Информбюро с поля брани. Хотелось, во что бы то ни стало, узнать, что готовит судьба. Будет ли завтра поставлена точка или парки и дальше продолжают сучить веретено жизни. Гадали, кто как мог. В ход шли все подручные средства от бобов до карт.

Проще всего было с бобами. Семь штук, достаточно крупных, нужно было, накрыв ладонью, встряхнуть в стакане и широким жестом выбросить на стол. Это напоминало игру в кости. По расположению бобов делались прогнозы. Конфигурацию можно было толковать как угодно. В многовариантности заключались недостатки и достоинства метода. Предсказание, в конце концов, неминуемо зависело от ожидаемого результата и фантазии толкователя судеб.

С воском нужно было повозиться. Растопить, вылить в воду, а потом тщательно изучать застывший артефакт под разными ракурсами и углами. Выводы бывали настолько обескураживающими, что могли легко поставить в тупик даже самого изошрѣнного знатока скульптурных абстракций. Толкования в большинстве были пальцем в небо и частенько никак не соотносились с жизнью гадальщика. Но это несколько не колебало веры в судьбоносные знаки. Все проколы сваливались на несовершенство интерпретатора.

— Человеку не дано постичь Бога! — делала умное лицо Марфа, и никто не возражал.

С картами было проще. Фиксированное значение каждой исключало погрешности человеческого фактора. Основной упор делался на раскладе. Как карта ляжет. Казѣнный дом, туз пик, если падал остриѣм вниз, означал смертельный удар. Всё зависело от умения гадалки соединять разрозненные намѣки в связный рассказ. Лучше всего это получалось у мамы. Гадать мама научилась в эвакуации у Паны Савѣловны, нашей квартирной хозяйки. Дочь ссыльного не то революционера, не то старовера сидела дома на инвалидности и на жизнь зарабатывала гаданием. По-

сле отбытия срока её отец не стал испытывать судьбу дважды и осел в Сибири. Пана была мастером своего дела, а мама схватывала всё на лету. Клара Носкова, племянница гадалки, искренне удивлялась маминым способностям. За всю жизнь она так и не смогла постичь основы оккультных наук, зато с успехом пела и играла на гитаре. Её репертуар составляли романсы. Козырем её была «Ночь светла». Трогательный голосок матового тембра проникал в душу, и все просили петь её ещё и ещё. Клара не ломалась. «Ночь светла над рекой тихо светит луна» исполнялась всегда на бис во второй раз.

Талант её тётки базировался на глубокомысленной теоретической основе. Попытки заглянуть в будущее с помощью манипуляций с картами, считала она, связаны с тайными знаниями ещё древнеегипетских жрецов. Карты Таро были не больше ни меньше, как иероглифические страницы пророческой книги бога Тота, Гермеса Трисмегиста по-гречески. Она была твёрдо убеждена, что и в четырёх мастях обычных игральные карты, пиках, трефах, бубнах и червах, закодирована вся история человечества — прошлая, настоящая и будущая. Ключ к этим шифрам давно утерян. Но сущность приоткрывается в мистике гадания.

Обитателям нашей квартиры мама казалась не просто какой-то там самоучкой из подворотни, а специалистом со школой и практическим опытом. Её прорицания пользовались неизменным успехом. Тем более, перед тем как раскинуть карты, соседки выкладывали ей все свои беды, как есть. Маме предстояло только считывать варианты, и они зачастую сбывались.

Самой большой почитательницей маминых откровений была Люда, дочь Любви Яковлевны. Ей исполнилось шестнадцать, и она пребывала в хмельном чаду первой любви. С уст не сходило имя Алька. Она была совершенно помешана на нём, и просила раскинуть на Альку чуть ли не дважды на дню. Но это не проходило.

— Карты во второй раз бунтуют, — говорила мама, — и начинают врать. Они не любят этого.

Гадалые карты многого не любили. Их нельзя было использовать в карточных фокусах или тем более играть в азартные игры. Перед гаданием на колоде требовалось немного посидеть. Наверное, чтобы передать им часть своей духовной энергии.

Ничего хорошего карты Люде не сулили. Да и без карт было ясно: в жизненной программе скороспелого смазливового брүнета с голубыми глазами Людмила была лишь проходным эпизодом. Но это несколько не снижало температуры её чувств. Даже при одном только упоминании его имени сердце её начинало учащённо стучать и прыгать.

В суровых условиях войны все мы были в равной степени счастливы и несчастны, как и люди в самые благополучные времена. Разве что минуты радости переживались острее.

Холодными осенними вечерами, когда частенько не было света, наши соседи почти в полном составе собиралась у Любви Яковлевны. Комната была большая, да и сама хозяйка любила общество. Управдом Камский, коренастый рыжий еврей с покалеченной кистью, тайно влюблённый в Любовь Яковлевну, организовывал свет. Над столом на пластмассовом ободке было подвешено несколько лампочек от карманного фонарика. Всё хозяйство подсоединялось к двум аккумуляторам. Призрачное зыбкое освещение струилось над столом, но этого было достаточно для игры в карты. Компания стягивалась постепенно и как бы спонтанно. Это был маленький театр. Каждый делал вид, что заглянул сюда слу-

чайню и всего лишь на минуточку. На столе высилась горка семечек. Хозяйка радушно приглашала присоединиться. Начинаясь лёгкий, ни к чему не обязывающий трѣп. По мере того, как горка таяла, тайное ожидание основного события достигало предела, температура накалялась и, наконец, достигала нужной кондиции, и тогда кто-то из гостей бросал как бы случайно клич, на столе мгновенно появлялась колода трофейных карт, специально припасѣнная по случаю. Все торопливо рассаживались с тайным трепетом от предстоящего удовольствия. Играли в подкидного дурака чаще всего три на три, но бывало и два на два. Обязательно с погонами — всё остальное было не в счёт. Начинили с шестѣрок и заканчивали тузами, «генеральскими». Конечно, самое трудное было с шестѣрками: их-то надо было попридерживать до конца партии и непременно все четыре. Борьба за шестѣрки шла отчаянная, полная риска — с такими картами легко было прогореть. В общем, страсти бурлили не на шутку. Игра затягивалась далеко за полночь. Вся гамма чувств, на которую способно человечество как в кашле воды отражалась в кратких мгновеньях того вечера. Вплоть до дикой звериной страсти, которую излучала фигура безмолвного Камского, притаившегося за спинами болельщиков как лесной зверь в сумраке тёплого уголка. Любовь Яковлевна ѣжилась под этими взглядами, непреклонно демонстрируя свою неприступность. Еѣ муж, полковник, каждые три дня слал ей с фронта письма с верой в любовь и преданность супруги. Хочешь, не хочешь, а положение обязывало. Хотя она прекрасно знала, что еѣ любимый Тима, вальяжный привлекательный мужчина, добродетелями, которые требовал от жены, особенно не блистал.

И сама сцена и сюжет впоследствии смешались у меня с Караваджо. Верхний как из погреба свет и выхваченные из мрака лица и руки игроков. Картины великого итальянца брали меня за живое, будили прошлое и, вообще, были очень близки по духу. Наверное, как и мы, его персонажи своей случайной общностью противостояли мраку и страхам бытия.

В первые, послевоенные годы огромная масса демобилизованных и разоружѣнных мужчин с большим трудом возвращалась к мирной жизни. Они отвыкли от работы, а большинство из них вообще никогда не работало. Свободное плаванье пугало больше фронта. Там, по крайней мере, не было забот ни о куске хлеба, ни о крыше над головой. Легчайшим способом добычи жизненных благ было насилие. Оно было знакомым и привычным. Из бывших фронтовиков формировался состав многочисленных банд. Самые знаменитые — это «Чѣрная кошка» и «Молоточники». Первые специализировались на грабежах квартир и вскоре стали живой легендой. Отделить истинное от созданного воображением перепуганных граждан было невозможно. Говорили, что бандиты жалобно мяукали в ночи. И когда двери открывали, пытаясь или впустить надоедливую кошку или отогнать, они врывались в дом и отнимали всё, что можно было превратить в деньги. Иногда заодно, чтобы не оставлять свидетелей, и приканчивали ограбленных.

Каждый вечер, вглядываясь в темноту окна, я с содроганием прислушивался к наружным звукам. Это была настоящий голливудский триллер, но не на экране, а в жизни. Мяукань кошки я ни разу так и не услышал, но от этого таинственная банда оставалась не менее пугающей.

«Молоточники» были уличными грабителями. Считали, что они подкрадываются к жертве сзади и оглушают молотком по голове. Популярной шуткой был совет женщинам вечерами поддевать под платок либо чугунок, либо сковородку. Ходили слухи, что когда один из бандитов хлопнул какую-то даму молотком и вместо хруста черепа услышал металлический звон, то тут же на месте умер от разрыва

сердца. На устах покойника застыла счастливая улыбка. Видимо в последнюю минуту ему почудилось, что всевышний простил его и сразу пригласил в рай. Звон сковородки был ошибочно принят за бряцанье струн ангельских арф. Хотя реальных подтверждений случившемуся не существовало, тема долго оставалась предметом пересудов и пересказов в различных вариантах.

Как бы там ни было, игра освобождала от всех страхов и забот и с особой силой заставляла переживать полноту мгновенья. Расходились все улаженные и счастливые.

Холодное серое утро возвращало к реалиям повседневности. Бабушка выгребала из печки золу, остатки вчерашнего праздника. Нужно было вставать и собираться в школу.

Вставать не хотелось, в постели было тепло и уютно. Иногда я пытался притвориться больным, но делал это не так убедительно как Сёмка, мой лучший школьный друг. У него была в запасе добрая сотня способов как отвертеться от школы. Некоторыми я пытался воспользоваться, но безуспешно. Самое простое — высунуть голову в форточку на морозный воздух и ждать, пока не замёрзнешь. Или постоять на цементном полу босиком в ванной. По сёмкиным расчётам насморк или кашель были гарантированы. Но когда нужно было заболеть — ничего ко мне не прилипало. Сколько ни торчал я в форточке или в ванной, никаких признаков простуды не появлялось. У Сёмки всё шло на много успешнее. Вообще он был отпетый лентяй и врал, каких свет не видывал. Он умудрился остаться на второй год в первом классе. Впоследствии он уверял, что сделал это, чтобы сидеть со мной за одной партой. Он был годом старше. Сёмкину мать такая версия вполне устраивала.

— Подумайте — восхищалась она, — какой преданный друг мой Сёма! Хотя первопричиной сёмкиной преданности была лень и отсутствие всякого желания грызть корень науки. Ко всему прочему он был ещё феноменальный бездельник. Сёмкина мать досконально знала повадки сына и всячески поощряла его дружбу со мной. Я был круглый отличник. Предполагалось, что чего-то он да наберётся от меня. Но выходило скорее наоборот. Мои положительные примеры отлетали от Сёмки как мячики от стены, зато сёмкины дурные привычки приставали ко мне как липучка.

В большинстве случаев его хитрости не срабатывали. Притворство обнаруживалось, и Сёмку с треском выгаликивали в школу. Но про запас у него всегда была припрятана фишка со стопроцентным КПД. Это был золотой фонд. Он шёл в дело в случае крайней нужды. Тут-то мой дружок разворачивался во всю и давал волю своим актёрским дарованиям на полную катушку. Главное было не пересолить. Но в хрипах, чиханиях и кашле он был мастак и настолько соблюдал меру, что ему поверил бы и сам Станиславский. В таких случаях ему тут же совали подмышку градусник. Незаметно нужно было щелчками подбить ртуть в термометре до нужного деления или поднести градусник к батарее отопления. Второй способ давал немедленный эффект. Но сорок два было уже за гранью жизни, и термометр необходимо было сбивать. Результат был непредсказуем, зато врача вызывали немедленно.

Нашим участковым эскулапом была некто Шумяцкая. Странная особа в буклях и с кожаным потёртым до невозможности саквояжем. Лба у неё практически не было, волосы росли, чуть ли не от бровей, с крючковатым носом и в круглых очках она была не дать, ни взять настоящая сова. Лекарского апломба ей было не занимать. Электрические звонки тогда, как правило, не действовали. Обычно на двери висела написанная от руки табличка, кому сколько стучать. Шумяцкая де-

монстративно её не замечала и беспорядочно барабанила в дверь что есть сил как на пожар. Всеобщий аврал собирал всех.

— Кто там? — вопрошал хор взволнованных голосов.

— Доктор Шумяцкая! — сообщала она зычно и торжественно тоном шпехштаймайстера, объявляющего сенсационный цирковой номер.

Спектакль, который давала докторша при осмотре больного, был по-своему уникален. Сёмка был партнёром достойным. Подыгрывал он ей как мог. Помыв руки, она медленно вытирала пальцы один за другим специально припасённым сёмкиной мамой для этого случая полотенцем. Её взгляд направлен был куда-то в пространство, на губах блуждала едва заметная улыбка, словно она внимала божественной музыке сфер.

— Открой рот! — командовала она, — шире! Ещё шире! Скажи «а-а-а»...

— Мама, дайте чайную ложку!

Она совала ручку чайной ложки Сёмке в рот, после чего он, в самом деле, начинал давиться.

— У ребёнка рвотный рефлекс! — бросала она реплику в сторону тоном не предвещающим ничего хорошего. Проводила она осмотр с такой серьёзностью, как будто Сёмка страдал от неизлечимой болезни в последней завершающей стадии. В промежутках между выстукиванием и выслушиванием она косила на Бебу взглядом, от которого у той с перепуга по спине начинали бегать мурашки. Хотя Беба не очень-то доверяла манипуляциям Шумяцкой, её губы на всякий случай машинально шептали слова древней молитвы предков.

— Боже, пугай меня, но не наказывай!

Заключительным и коронным номером программы осмотра было выслушивание без стетоскопа. Шумяцкая припадала к сёмкиной спине ухом и требовала от него поочерёдно, то дышать, то не дышать, то кашлять, то не кашлять. Сёмка был в образе. Он так старательно дышал и не дышал, что, в конце концов, начинал сам верить в свою высосанную из пальца хворь. Вслушивание продолжалось достаточно долго. В конце концов, докторша отваливалась от него как пивка, насосавшаяся вдоволь крови и, не промолвив ни слова, садилась писать.

— Доктор, ну что? — вопрошала с надеждой Беба.

— Лёгкие чисты. — сообщала Шумяцкая, не отрывая головы от своих ка-
ракулей.

Как разбирались в её рецептах провизоры, одному богу известно. Если через тысячу лет волей случая время сохранит её скоропись для потомства, понадобится целый институт специалистов для расшифровки загадочного письма. Но с уверенностью можно утверждать, если бы Сёмка принимал все порошки и микстуры, предписанные ею, летальный исход был бы ему обеспечен немедленно. Благо он прямым ходом отправлял все её предписания в унитаз по дороге на кухню, где он якобы должен был запить лекарство водой.

Ежемесячно Сёмка проворачивал свой трюк, и ежемесячно Шумяцкая своим бодрящим стуком поднимала на ноги всю квартиру. Так продолжалось, пока её не перевели на повышение в другую поликлинику.

В последний раз перед переломным моментом своей карьеры Шумяцкая появилась на консилиуме. Сёмкин дед тяжело болел, и было принято решение пригласить для консультации медицинское светило. Нам с Сёмкой, тогда уже достаточно взрослым, мы учились в пятом классе, было позволено в уголке, молча присутствовать на церемонии. Светило появилось в сопровождении молодого человека и сразу

вызвало симпатию и доверие. Лысый холёный мужчина, чем-то напоминающий Шалапина с известного серовского портрета, излучал доброжелательность и понимание. Деда он особенно не мучил, сразу оценив насколько тот плох.

Короткие реплики, пересыпанные латинскими терминами, придавали особую весомость его действиям. Общался он в основном с ассистентом, и Шумяцкая тщетно пыталась втиснуться в паузах. Наконец, долгожданный момент подвернулся, и она, набрав полные лёгкие, как певец перед высокой нотой, изрекла:

— Коллега, — протянула она манерно, обращаясь к светилу и надавливая из всех сил на «л», — это же элементарный абсцесс...

Мы с Сёмкой, давясь от смеха, ракетами вылетели из комнаты. «Коллега» — это было уже выше наших сил.

Шумяцкая ушла с подмошков, как подобает настоящему артисту. Последняя реприза была достойна великих комиков столетия. Вспоминая «коллегу» с претенциозно растянутым на добрую версту «л», все всегда умирали со смеху. Но, с годами, когда передо мной возникает тщедушная фигурка в заношенном стареньком пальто с потёртым на сгибах до дыр саквояжем, смеяться мне вовсе не хочется.

Жили мы с Сёмкой на одной лестничной площадке. Шумливое сёмкино семейство обитало в квартире напротив. Там они занимали огромные две комнаты окнами на улицу до отказа набитые мебелью. Сёмкин дядя Боря был офицером интендантских войск. В город он попал сразу после освобождения. Марфа рассказывала, как целый день Боря стаскивал мебель со всего дома в свои комнаты. Рояль на верёвках солдаты спустили с балкона третьего этажа. Учтивая, что в комнате стояло уже пианино, зачем ему нужен был рояль он, наверное, и сам не знал. На большее чем чижик-пыжик он никогда не замахивался. Я часто видел инструмент у сёмкиных родителей. С отвинченными ножками он стоял вертикально, прислонённый брюхом к стене. Чёрная фанеровка от сырости понемногу вздувалась и отслаивалась, обнажая желтоватое тело. Потом рояль куда-то исчез. Может его тайно выбросили, а может быть порубили на дрова. В комнаты никто из посторонних не допускался, чтобы не узнали свои вещи. Я был на правах члена семьи. Мне доверяли, и я был посвящён во многие семейные тайны.

Если что-то и могло сплотить эту семейку в единое целое, так это патологическая ненависть к невестке. Пожирали Розу скопом все, включая и мужа. Я застал травлю на стадии бойкота. Розу попросту не видели в упор как человека-невидимку. Если бы было возможно, они бы с превеликим удовольствием проехали сквозь неё, и глазом не моргнув, настолько она была им ненавистна. Чем насолила им Роза, до сих пор остаётся загадкой. Во всяком случае, все дружно пытались её выжить. Но она упорно не уходила. Да и куда ей было идти с годовалым ребёнком на руках. Существом она была кротким и часто плакала от обиды. Нас с Сёмкой она, если и не зачисляла в стан врагов, то союзниками тоже не считала. Но регулярно просила присмотреть за Феликсом. Собственно сёмкиного двоюродного братца звали Фимой. Но Роза считала это имя неблагозвучным. Уж сильно смахивало оно на еврейское Хаим. И тут она не ошибалась. Потому что и дедушка, и бабушка именно это и имели в виду, когда в запись актов гражданского состояния занесли этот русский эквивалент еврейского имени. Возможно в пику своим родичам Роза тут же нашла более благозвучный вариант — Феликс. Феликс так прилип к Фимке, что иначе его и не называли. Когда он стал постарше, и Роза выкликала его с улицы домой, она особенно нажимала на окончание «кс». Ей это казалось более шикарным и французистым. Но у окружающих, кроме насмешек, это ничего не вызывало.

Обычно она долго упрашивала нас посторожить Феликса каких-нибудь полчаса. В конце концов, мы сдавались. Но проходил час-другой, а Роза не появлялась. Нам приходилось таскать коляску с ребёнком по двору, а иногда и на улицу, если требовали обстоятельства. Случалось, что Роза, возвратившись и, не застав нас в положенном месте, начинала в отчаянии метаться в поисках наших следов. Где-нибудь в окрестностях она всё же натыкалась на нас. Встреча с Розой была не для слабонервных. После длительного отсутствия её было не узнать. Пронзительный взгляд валькирии производил жутковатое впечатление. У парикмахера, видимо, было специфическое представление о красоте. А может, он экспериментировал. Во всяком случае краски он не жалел ни на ресницы, ни на брови. Свежий макияж действовал на окружающих как лик Горгоны. Мы мгновенно столбенели. Несколько секунд паузы выдержать ещё было можно, но потом на нас напал истерический хохот. Роза пожимала плечами, беззлбно обзывала нас идиотами, но зарывшись весельем, и сама присоединялась к нам. Все трое мы смеялись до колик в животе.

Боевая раскраска не проходила незамеченной и в стане противника. На операциях долго старались разгадать коварный замысел невестки. К единому мнению прийти не удавалось, но в результате Роза получила кодовое прозвище «кукла». С той поры о ней иначе и не говорили. «Кукла пошла, кукла пришла, кукла включила, кукла выключила...» и так далее в том же роде.

Стратегия куклы была безошибочной. Кукла знала, что делала. Её обновленный облик не оставлял без внимания и супруг. Труба звала, и по ночам он, видимо, тайком посещал её ложе и, молча, выполнял супружеский долг. Это укрепляло её позиции и вызывало новую волну ненависти и презрения у остальных родственников.

Ничего от этого не менялось. Роза по-прежнему оставалась изгоем. Её просьбы по присмотру за отпрыском стали привычными. Деваться было некуда, и мы всюду таскали Феликса за собой. Со временем он превратился в типичного прилипалу. Он увязывался за нами, куда бы мы ни шли. Приходилось тратить немало усилий, чтобы от него отвязаться. Общение со старшими сыграло дурную службу. Феликс слишком хорошо усвоил наши нравоучения относительно собственной персоны и цитировал их всем и каждому в науку по любому поводу, где надо и чаще где не надо. Он беспардонно учил всех жить. Поучения раздражали одинаково и ровесников, и взрослых. Особенно сёмкиного отца Зяму. Как только после работы он заставал Феликса у себя, то тут же моментально указывал ему на дверь и дополнял жест директивой.

— Паскудство, вон!

Феликс без боя сдавал позиции и мелкими шажками трусил на выход, бормоча под нос что-то нелюбезное в адрес дядьки.

Сёмкин отец был подпольным дельцом. В сталинское время это было рискованным и небезопасным. Но он как-то выкручивался и, судя по всему, деньги зашибал немалые. Официально он числился заведующим базой. Если утверждение, что СССР родина слонов, требует ещё каких-то аргументов в поддержку тезиса, то приоритеты в области тотального дефицита в доказательствах не нуждались. Всё было ясно как божий день. Кто владел дефицитом, заказывал музыку. На Зяме, лежала обязанность распределения товаров по магазинам. В руках у него были все нити. Чтобы заполучить дефицит, директора магазинов расшибались в копейку, денег не жалели. Дефицит давал приличный навар при реализации из-под прилавка

или с чёрного хода. Ежемесячно Зяма собирал щедрую дань. Каждый из его клиентов выражал свою благодарность соответственным отступным в конверте. Расценки были оговорены заранее. Вся бухгалтерия всплыла на поверхность позже при первой женитьбе Сёмки и послужила причиной развода. К восемнадцати годам Семён превратился в долговязого юношу с ярко выраженными вторичными половыми признаками — мускулами, густыми усами и щетиной на щеках. Девиды, покуражившись, охотно давали себя ему щупать, а у меня его успехи на сексуальном фронте вызывали белую зависть. Пушок на моём подбородке только пробивался. Понятно с учёбой у Сёмки было покончено раз и навсегда. Абстрактного мышления он был лишён напрочь. Да, и с преподавателями точных наук нам не очень-то везло. Первой математичкой у нас была Софа, Софья Львовна. Это была пожилая еврейка с крашеными волосами, завёрнутыми на затылке в валик с помощью железных заколок. Она постоянно их теряла, и после математики то тут, то там на полу валялись эти конструктивные элементы её незамысловатой причёски. Говорила Софа с ярко выраженным одесским акцентом. Голосок у неё был писклявый. Но когда Софа впадала в гнев, голос приобретал все признаки баса профундо и мощь иерихонской трубы. Подобная метаморфоза была не для наших нервов.

— Что это такое? — вопрошала глубоким трубным гласом разгневанная Софа. А мы подобно стенам Иерихона тут же валились на пол от хохота.

Софины познания в математике были достаточно скромными. Частенько она и сама путалась в элементарных задачках, но двоек не ставила. Она была добрая, и мы прощали ей всё. Её муж преподаватель сольфеджио, был на много большим докой в точных науках и частенько натаскивал супругу перед сложной темой. Он давал частные уроки музыки на дому. И любил поглаживать учениц по самым неподобающим местам. Не знаю, было ли так на самом деле. Но слушок такой полз. Говорили даже, что одна из мамаш жертвы его запоздалого зова плоти пыталась возбудить уголовное дело, но расследование удалось замять на корню. Нам его эротические посягательства были очень понятны. Ничего подобного Софа вызвать ни у кого не могла. Она даже не смогла нам внушить ни капли симпатии к математике.

То же самое случилось и с физикой. Своего физика мы попросту съели с потрохами. Тиша был лишён малейших признаков педагогического дара. Он был добрейшим существом в мире. Мы усекли это сразу с первого его появления в классе, как только он заявил, что воспитывать из нас рабов он не собирается. Мы тут же почувствовали себя свободными. С этой самой минуты все злоключения Тиши и начались. Он словно открыл ящик Пандоры. Освобождённые от оков и условностей педагогического процесса, мы основательно утвердились у него на голове. Дошло до того, что весь урок он мог простоять у стола то и дело, постукивая ключами по журналу и обречённо приговаривая «тише-тише». Из-за этого самого «тише» он и получил своё прозвище. Внимания на него мы никакого не обращали, как будто в классе его вообще и не было. Он мог бы показаться жалким. Но нас он тоже особенно не привлекал. Его светлые глаза смотрели куда-то вдаль мимо, как будто он видел что-то такое, чего не дано было узреть никому из нас. В глубине души он нас, видимо, глубоко презирал. Единственной его заботой было уберечь классный журнал от наших посягательств. Но он слишком уж был погружён в своё презрение и явно недооценивал изобретательность юности. На уроке физики мы проворачивали эксперимент, который по точности и чистоте ничуть не уступал опыту лучших лабораторий мира. Для его проведения требовалось тщательно изучить до долей секунды ритм постукиваний Тиши по журналу. Сложность манипу-

ляции заключалась в том, чтобы в промежутке, когда его рука с ключом поднимется и замрёт на секунду в верхней мёртвой точке, выдернуть журнал и подсунуть на стол что-то схожее по толщине и фактуре. В операции была задействована не только первая парга. Нужен был ещё и убедительный отвлекающий манёвр. Где-то на галёрке затевалась возня. Всё внимание Тиши переключалось туда. Дальнейшее зависело от ловкости рук экспериментаторов. Мы насобачились проделывать всё очень виртуозно. Комар бы и носа не подточил, а Тиша и подавно. Когда журнал, наконец, оказывался в наших лапах, тут-то и начинался истинный праздник знаний. Оценки мы подставляли осторожно, в пределах разумного. Иначе афёра могла лопнуть в любую минуту со страшным треском. Иногда отработанная методика давала сбои на том или ином этапе. Тиша обнаруживал подвох, и тогда до конца урока журнал оставался у него подмышкой. Интерес к его персоне тотчас же угасал. Мы начинали заниматься своими делами и игнорировали его присутствие окончательно. Вообще ситуация с физикой была загнана в глухой угол и требовала какого-то разрешения. Дальше так продолжаться не могло. И однажды Тиша на урок не явился. Нам сказали, что он уволился.

Найги физика оказалось не так-то просто. Несколько недель мы вообще обходились без этой науки наук. Вот тут-то на Софу что-то и снизошло. Она словно услышала голоса свыше и решила спасти положение, во что бы это ей не обошлось, даже ценой самопожертвования. Вспомнилось, что она заканчивала физико-математический факультет пединститута с отличием и всё остальное. В общем, Софа без раздумий, очертя голову, бросилась в физику. Это был не самый счастливый день в истории науки. Если из омутов математики она ещё как-то выплывала, то физика в её преподавательской карьере оказалась совершенно непреодолимой преградой. Вместе с нами она делала целый ряд удивительных открытий. Камнем преткновения для неё стал четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания. Целую неделю она не могла уловить принцип его действия. В физическом кабинете пылилась действующая модель двигателя в разрезе. Каждый раз Софа в начале урока извлекала наглядное пособие из недр шкафа, ставила на стол и делала очередную попытку постичь чудо инженерной мысли. Она запускала модель в разном темпе, но понять, как и почему открываются и закрываются клапаны, было ей не дано. Она удивлённо взирала на согласные движения шарниров и зачарованно приговаривала «поднимем поршень, опустим поршень». Класс скандировал за ней следом «поднимем поршень, опустим поршень». Но Софа иронии не улавливала, как и принципа действия двигателя. В конце концов, «поднимем поршень и опустим поршень» стало пригчей во языцех. Стоило Софе притронуться к модели, как класс мгновенно реагировал кликами «поднимем поршень, опустим поршень». Даже самый отпетый двоечник уже мог преспокойно объяснить первому встречному, почему поднимается и опускается поршень, но только не Софа. Войги в двадцатое столетие она никак не могла.

Примерно такая же ситуация сложилась и с индуктивным током. Софа без конца опускала и поднимала магнит в катушке, зачарованно наблюдая за всплесками стрелки в амперметре. При этом она приговаривала: «Это же фактически соленоид». «Соленоид» с той поры стал её фирменным знаком, брендом. На все софины манипуляции класс реагировал однозначно. Что бы она ни пыталась проделать, все орали, что это же «фактически соленоид». Хотя соленоидом там и не пахло.

Если Софа отставала от современной науки примерно на столетие, мы шагали в ногу с веком. Все достижения теории, не медля, воплощались в жизнь. На

физике доморощенный Ползунов, очкарик по прозвищу Матюха, тайком извлекал из шкафа магнето, протягивал с последней парты по всему ряду проводок и давал его каждому в руку. Пару оборотов ручки было достаточно, чтобы весь ряд одновременно как по команде с воплем вскакивал с места.

— Что такое? — орала Софа басом профундо, а весь класс покатывался со смеху. Матюху с треском выставляли за дверь, и порядок снова восстанавливался.

Перед контрольной мы проворачивали иногда ещё один эксперимент из области прикладной физики. На перемене дверь закрывалась на стул. Просунув ножку через ручку, чтобы не застучали на месте преступления, мы могли преспокойно продельвать манипуляции с лампочками. За короткое время в каждый из четырёх патронов необходимо было заложить влажную промокашку и вернуть всё в исходное положение. Ничего не должно было вызывать никаких подозрений. Смена у нас начиналась в два. Осенью темнело рано. В часа три пополудни надо было уже зажигать свет. Пока промокашки были мокрыми, свет горел. Но стоило им подсохнуть, как лампочки по очереди сникали, немного помигав на прощанье. Класс погружался в печальную полутьму осенних сумерек. С контрольной было покончено. Это был яркий пример единения науки с жизнью. Что ни говори, в ногу с веком мы шагали синхронно.

Софу, в конце концов, так увлёк водоворот открытий, что она полностью решила посвятить себя физике и математику забросила окончательно. Тогда-то и появился Яков Львович «воты-воты». Каждому Господь выделяет свою долю строительного материала. У Яши он явно переборщил с металлом. Волосы торчали у него над головой негнушейся железной щёткой, а рот сверкал избытком золота. Говорил Яша на суржике, дикой смеси украинского, еврейского и русского. Все вынужденные запинки он украшал междометием «воты». По количеству неологизмов он мог легко заткнуть за пояс любого поэта-модерниста. Но как свойственно гению, Яша не придавал никакого значения этому своему дарованию. Его истинным призванием была математика. Рядом с Софой Яша казался Эйнштейном. Задачи он щелкал как семечки. В уме он свободно мог умножать трёхзначные цифры на четырёхзначные и просил проверить. Мы пыхтели минут пятнадцать, но он никогда не ошибался. К отличникам и двоечникам Яша был одинаково равнодушен. Первых он считал тупыми зубрилами, вторых — отпетыми тупицами. Родственные души он находил в силовом поле между полюсами. Среди его неявных фаворитов был Вовка Кожухов. Стоило кому-нибудь провалить задачу, как Яша тут же сообщал всем: «Воты, плохо». Опершись на подоконник, он начинал блуждающим взглядом выскивать среди нас очередную жертву.

— Воты, кто пойдёт? — в классе повисала тяжёлая пауза. Яша постукивал очками по ладони, а у всех дрожали поджилки. Нервы были на пределе.

— Воты, Кожухов пойдёт, — объявлял своё решение Яша с ехидной усмешечкой.

— Яков Львович, — пытался сопротивляться Кожухов, — я же был вчера.

— Воты, я нарочно, — озарял всех зловещим блеском своих зубов Яша.

Кожухов умел мыслить в ответе. Каждое свое действие он комментировал вслух, и это особенно нравилось нашему наставнику. Вообще-то это был настоящий спектакль. Яша подсказывал заведомо ложные ходы, подстраивал всяческие ловушки, но Кожухов засекал их тут же, мгновенно проигрывал до конца, доказывал ложность подсказки и кяшинуму удовольствию прокладывал верный курс. Мы все были вовлечены в поединок и болели за Кожухова. Иногда он мог предложить

такое решение, которое не приходило в голову даже преподавателю. Тогда Яша был на седьмом небе от счастья и ставил Кожухову жирную пятёрку.

Яша был справедлив. Мы отдавали ему должное. Он был объективен, как наука, которую он представлял. Свои предпочтения математик никому не выказывал явно, и иногда мог вlepить даже Кожухову двойку, если тот того заслужил.

Сёмка ходил в компании безнадёжных двоечников. Яша справедливо считал его наглым вымогателем и давно махнул на него рукой. К концу четверти он как-то натягивал ему тройку, чтобы отвязаться, но считал его конченным.

Все мои попытки натаскать Сёмку по алгебре кончались ничем. Он внимательно слушал мои разъяснения, охотно соглашался и изображал на своей роже глубокое понимание. Это подхлестывало меня. На меня сниходило вдохновение. Мне казалось, что он, наконец-то преодолел барьер и достиг желанных вершин знания. И вдруг его неожиданный вопрос плохал меня снова оземь.

— Тебе всё понятно? — вопрошал я с надеждой.

— Мне всё понятно. — говорил убедительно он, смотря мне в глаза своим ясным взглядом, — ты мне только скажи, сколько будет «а» плюс «б».

Напрасно я силился объяснить, что «а» плюс «б» — всего лишь символ суммы. Что вместо «а» и «б» можно подставить любые числа. Всё как с гуся вода. Ничего не помогало. Он упорно стоял на своём и требовал немедленно сказать ему, сколько всё-таки будет «а» плюс «б». Ответ «ц» был для него неприемлем.

Отчаявшись, я, в конце концов, всё как есть доложил Бебе, и на семейном совете Сёмку решено было перевести в вечернюю школу. Требования там были ниже, и аттестат получить было легче. Кроме того работа и учёба давали определённые привилегии при поступлении в вуз. Шуку как в басне кинули в речку. Сёмкина трудовая деятельность ограничилась фиктивной справкой, которую сделал ему Зяма. До двенадцати Сёмка дрыхнул, а вторую половину дня целиком посвящал заботам о внешности. Где-то он раздобыл себе дефицитную ткань и сшил модный пиджак с широкими плечами. Твид был дешёвенький, но броский, и Сёмка себя чувствовал на коне. В школу он дефилировал как на парад. Домой возвращался поздно около часу ночи. Где он был и что делал всё это время, оставалось глубокой тайной. Он обзавёлся кучей знакомых. Теперь выйти с ним погулять было совершенно невозможно. Он сталкивался с новыми приятелями на каждом углу и застревал надолго. Беба, как могла, старалась положить конец этим ежевечерним выходам в свет. Она накладывала арест на пиджак, запирая его в шкафу на ключ. Достать отмычку от шкафа Сёмке особого труда не составляло. Отечественная промышленность работала по принципу «от вора нет запора», и все замки от шкафов и ящиков были стандартно одинаковы. Источником добычи ключей были окрестные мебельные магазины. Там незаметно из любого шкафа можно было стянуть связку. Но Беба ежевечерне обшаривала карманы, и ключи регулярно конфисковывались. Теперь главная сёмкина задача сводилась к тому, чтобы припрятывать их как можно надёжнее. Дальнейший ход событий напоминал соперничество контрразведок двух воюющих держав. Сёмка прятал, а Беба искала. Чем замысловатее был тайник, тем сложнее и дольше продолжался поиск. Каждое сёмкино появление вечером в пиджаке означало бебино поражение. Методы с обеих сторон становились всё более изощрёнными, а борьба всё более ожесточённой. Как всегда победила молодость. Беба в конце концов капитулировала. Обнаружить последний заветный тайник она так и не смогла.

— Ладно, — соглашалась она, — ты выиграл. Но скажи мне, где всё-таки ты прячешь ключ?

Сёмка только посмеивался, но тайны не выдавал. Беба была человек сугубо земной, и ждать от неё можно было всего, чего угодно. Если бы она время от времени поднимала взгляд к небесам, Бог не обошёл бы её догадкой. Ларчик открывался просто. Под потолком висела люстра. На самом верхнем её блодечке Сёмка и прятал ключ. Тайна так и осталась до конца дней неразгаданной.

В своих амурных пристрастиях на первое место Сёмка ставил шмотки. Главное — оформление. Всё остальное не имело значения. С приближением дня рождения мы долго обсуждали каждую кандидатуру, готовую защитить честь его модного пиджака. Строгую селекцию выдержала только Анька, его новая одноклассница. Почему-то у нас она проходила под прозвищем Сильвестра.

Анькино появление на торжестве было равнозначно эффекту разорвавшейся бомбы. В светлосалатовом цельнокроеном платье «принцесс» впечатление на гостей она произвела ошеломляющее. Искусно драпированный фестон от бедра до бедра, пикантно нависающий над срамным местом, туфли-лодочки на шпильках — гордость римской барахолки, стрижка «мальчик без мамы» под Джину Лолобриджиу, фирменное декольте «лодочка» — всего этого хватило бы с избытком даже для искушения святого Антония. Вооружённая до зубов Анька предстала противником серьёзным и опасным. Зяма оценил диспозицию мгновенно, и все силы были брошены на этот участок фронта. Весь вечер он не отпускал Аньку от себя, накладывал ей в тарелку салаты и закуски, подливал шампанского, шутил и танцевал только с ней. Сёмку распирало от гордости. Но отца он явно недооценил. Глубоким вечером, когда гости разошлись, и в узком кругу началось обсуждение подробностей вечера, Зяма выдал залп, навсегда поставивший крест на Сильвестре.

— Боже мой, Вовочка, — обращался он только ко мне, — какая девочка! Я старый дурень на минуточку просто голову потерял, вспомнил молодость. Такая красавица! А как одета! Всё бы ничего, если бы изо рта у неё не несло как из помойной ямы!

Снаряд лёг прямо в цель, хотя ничего такого за Сильвестрой не числилось. Дыхание её было свежим и чистым как у ребёнка. Но больше Сёмка с Анькой не встречался.

Восемнадцатилетие сына дало понять Зяме, что инвестиция более чем созрела и требует немедленного вложения в дело. Сёмке срочно стали искать подходящую невесту. Вскоре её обнаружили среди данников Зямы. Майка, образованная и работающая, была дочерью директора обувного магазина. Неприметная серая мышка работала корректором в каком-то издательстве и училась заочно в полиграфическом институте. Это была настоящая находка. Ни на какие молодёжные вечера она никогда и близко не ходила. Только в театр с подругами. Сёмка был её первый парень. Влюбилась она в жениха при первом же знакомстве моментально.

Свадьбу сыграли богатую, но тихую. Не хотели лишний раз привлекать внимание ОБХСС, отдела борьбы с хищениями социалистической собственности.

Жизнь на обroke у тестя ничем не отличалась от холостяцкой. Сёмка по-прежнему спал до обеда, а во второй половине дня торчал у зеркала в спальне молодых. Любуясь собой, он поглядывал на супругу, хлопывал себя по животу и приговаривал:

— Ну, какой тебе муженёк достался!

Майка млела от избытка чувств и была на седьмом небе.

Счастье длилось три месяца. Наконец, сёмкин тесть не выдержал.

— Зяма, — в сердцах сказал он. — Я бесплатно кормлю и пою твоего сына. Почему я тебе должен ещё ежемесячно доплачивать? Получается двойная плата...

— Хорошо, — сказал Зяма. — Я должен подумать.

Сёмкин отец был человек дела. Больше всего на свете он любил деньги, и расставаться с ними было для него хуже смерти. Через неделю Сёмку и Майку развели. Всё это случилось позже в середине пятидесятых. А в первые, послевоенные годы Зяма по-настоящему ещё и не развернулся. С отцом народов шутки были плохи, да и вождь опять взялся на евреев. Мало ли что могло случиться. Времена были суровые, накликать беду ничего не стоило, и Зяма по пустому зверя не травил, пороху не делал и грёб под себя только по мере надобности.

Один большой начальник милиции, хорошо набравшись, как-то разоткровенничался:

— Воруют все. Дела житейские. Всё знаю. Любого могу посадить. Но берёшь — бери по-божески. Знай меру. А если ты свинья, сразу будет видно. Жируешь, живёшь не по средствам. Потерял совесть. Тут уж можно и за жабры без суда и следствия.

Ничего такого Зяма себе не позволял. Держал себя в разумных пределах, хотя жил безбедно. Ежегодно ездил на курорт, в Цхалтубо, и рот у него был полон золотых зубов. Первый телевизор КВН в доме тоже появился у них.

Его торжественно водрузили в первой комнате, и Роза вольно или невольно могла присутствовать при просмотрах. Хотя габариты телевизора были немалые, сам экран можно было прикрыть полностью ладошкой. Перед экраном на металлических подпорках стояло какое-то подобие аквариума пузатое с одной стороны и плоское с другой. Через небольшое отверстие его заполняли водой, и аквариум увеличивал изображение. Это была линза. У всех линза была с дистиллированной водой, у Зямы она была с глицерином для лучшего преломления. Днём она была накрыта салфеткой. Но вечером салфетка снималась, и линзу выдвигали, максимально отрегулировав увеличение. Смотреть через неё можно было только под определённым углом, и зрители располагались в конусе смотрового поля согласно таблицы о рангах. Роза сидела на задворках у самой двери. А мы с Сёмкой устраивались совсем близко справа и слева, всунув свои носы между экраном и линзой. На эти места никто не претендовал. Они считались неудобными, зато мы получали информацию непосредственно без всяких приспособлений из первых рук.

Однажды, вдохновлённая «Лебедем» Плисецкой Роза вскочила и восторженно воскликнула:

— Боже мой, и как она только это делает!?

Руками она изобразила что-то похожее на судороги паралитика. Лучше бы она этого не делала. Мы тут же свалились со стульев от смеха. У остальных её восторг наткнулся на глыбу ледяного молчания. Роза спустила на тормозах, осеклась и виновато села. Море ядовитого презрения затопило комнату. Наш смех как-то сам по себе сник. В наступившей тишине послышалось, как Роза шмыгает носом. Потом скрипнула дверь и Роза вышла.

Через пару минут мы тоже оказались на кухне. У окна спиной к нам стояла Роза. Плечи её вздрагивали, она плакала. Сказать было нечего. Телевизор смотреть перехотелось и мы, молча, вышли на улицу.

Бог видимо был на стороне Розы. Её обидчики один за другим ушли в мир иной. Поначалу дед с бабкой, а потом и Боря. Он, исполняя заветы отца, не разго-

варивал с женой, словно взял обет молчания. Бог не пощадил и его. У него сорвался тромб и застрял в сердце. Роза только и успела что на его предсмертный крик. В огромной комнате, где ещё совсем недавно было тактесно, остались вдвоём только Феликс с матерью. Теперь всю свою любовь она вкладывала в Феликса. Она работала воспитательницей в ведомственном детском садике, кормилась там сама, а заодно подкармливала и сына. К совершеннолетию Феликс вымахал в здорового детину. Наши эстетические пристрастия нашли в нём продолжение, правда, своеобразное. Мы наслаждались балетом преимущественно из зрительного зала, Феликс делал то же самое из-за кулис. Днём он сидел на лекциях, а вечера проводил на задворках оперы. Ни одну из кордебалетных девиц за время курса в политехническом институте он не пропустил. Сердце у него было вместительное. Кроме всего он имел фору. Местные мальчики партнёрами особенно не интересовались.

С дипломом инженера Феликс пару лет проторчал в каком-то проектном бюро, имитирующем бурную деятельность. Ему всё казалось, что его затирают. Хотя его дни и труды сводились к количеству чашек выпитого кофе. Воспользовавшись просветом перед афганской войной, он умотал в Канаду вместе с матерью. Из эмиграции Роза писала жалостливые письма подруге Асе Кац. Ей было холодно и одиноко. Зимы там оказались суровее. Феликс женился на канадке и, чтобы поглядеть сына, ей приходилось всякий раз по телефону напрашиваться в гости. А потом она перестала писать, и следы их затерялись.

Нынче в окнах, где обычно летом, уютно примостившись животами на подоконниках, лежали члены сёмкиной семьи, лениво комментируя события местного значения, теперь зелёные зеркальные стёкла. Здесь ресторан с залом для VIP-персон. Никому нет дела до того, кто жил здесь прежде. Пьяное веселье стоит до утра, и если в винных парах кому-то из набравшихся в стельку гостей померещится пара — старик в толстовке и старуха в высоких шнурованных ботинках по моде начала века, то это, вне всякого сомнения, сёмкины дед и бабка.

Рано или поздно весь этот праздник и VIP-персоны вместе с зелёными зеркальными стёклами тоже станут чьими-то воспоминаниями. Всех затянет в воронку чёрная бездна. Даже наш дом, даже египетские пирамиды когда-нибудь уплывут по реке времени и сольются вдали в неразличимое целое в одной точке. А потом и точка растворится в бескрайнем пространстве.

«И от нашей горячей любви молодой не останется в памяти имени даже...» — под гитару самозабвенно старались послевоенные пляжные барды, собрав вокруг себя кружок в плавках и купальниках. И хотя поклонников городского фольклора под шумок часто основательно обчищали, оставляя без штанов и денег, это несколько не снижало любви к искусству. Поэзия, без сомнения, обладает провидческим даром. Через полвека слова незамысловатой песенки полностью подтвердились. Гитаристы как в воду глядели. От всего того казалось неизблемого мира не осталось ничего. Только горстка воспоминаний, готовых разлететься в прах в любую минуту даже при лёгком дуновении ветра.

Грядущим поколениям будет не так-то просто разобраться в наших проблемах. Сознание наше было глубоко расщеплённым. Как в средние века мы жили в двойственном мире. С одной стороны — реальная жизнь, убогая, лживая и показушная. С другой — призрачное нечто, где царили лад, красота и гармония. Материальным воплощением параллельного мира был Запад, двери, куда были наглухо заколочены и зорко охранялись.

В Нинку я влюбился в одиннадцать лет. Она была на два года старше, и мои чувства были глубоко безнадежными. Нинка изо всех сил корчила из себя взрослую девушку, хотя грудки у неё только начинали проклёвываться. Под платьем в малиновую клеточку, отороченным полоской белого кружева, их почти и заметно не было. Она была дочерью оператора-хроникёра и казалась существом из горнего мира мечты.

Стоило ей только появиться во дворе, как всё вокруг преображалось. Серость начинала играть яркими невиданными красками, а в душе всё трепетало и пело. Я ходил следом за Нинкой как зачарованный. В свите королевы была ещё и её двоюродная сестра Галка, очкарик и вообще существо невзрачное. Фантазия у Нинки была буйная, и врать она умела отменно. Всё, что вешала она нам на уши, мы принимали за чистую монету. Слушателями мы были благодарными и благоговейно внимали её рассказам.

— Да, — между прочим, сообщала Нинка, — вчера была на танцах.

Мы с Галкой вопросительно переглянулись. Никаких танцев во вчерашней программе вроде не значилось.

— Смотрю, рулит ко мне такой, ничего себе, — продолжала, как ни в чём не бывало, Нинка, — красивый, настоящий принц. Девушка, говорит, вы танцуете танго с па? Я и глазом не моргнула. Конечно с па, говорю. Разрешите вас пригласить, говорит.

— И ты танцевала с ним? — замерла в набегающей волне восторга Галка.

— Нет, — сказала Нинка, — музыка кончилась. Видимо, она решила, что и приглашения на танец нас будет достаточно. Факт сам по себе был впечатляющим.

Что мешало паре продолжить показательные выступления в следующем танце — такого нам даже и в голову не могло прийти. Сообщения нашего идола были истинами в последней инстанции и сомнению не подлежали. Всё, что ни говорила Нинка, всё что ни делала, вызывало только восхищение. Мелом на асфальте она рисовала дам в кринолинах и широкополых шляпах и подписывала загадочно Карладон. Таинственное слово казалось волшебным заклинанием, пропуском туда, где обитают избранники, готовые дни и ночи напролёт проводить в светских беседах с нашим кумиром или танцевать танго с упомогающими па.

Впоследствии выяснилось, что Карладон было попросту плохо услышанное имя героини «Большого вальса» Карлы Доннер. Фильм Дювивье пользовался тогда бешеным успехом и не сходил с экранов несколько лет. Его смотрели по сто раз. Звезде вальса, в прошлом киевлянке, посчастливилось подцепить где-то не то австрийского, не то немецкого барона, и сделать головокружительную карьеру. Она пела в опере, на неё положил глаз даже Голливуд. Апогеем было приглашение на главную роль в международном проекте с огромным по тем временам бюджетом и музыкой Штрауса. Игра стоила свеч. Затраты оправдались с лихвой. Барон, как и подобает аристократу, считал недостойным, чтобы кто-то из его древнего рода расхаживал в стекляшках, даже перед кинокамерой, и притащил на съёмочную площадку полный комплект фамильных драгоценностей. Он не отходил от жены ни на шаг, путаясь под ногами съёмочной группы, и прослыл большим ревнивцем. Но дело было в бриллиантах. Он опасался, как бы в суматохе их попросту не спёрли. Жрецам десятой музы барон не доверял.

На экране за венский лес с грехом пополам сходили окрестности фабрики грёз, зато звезда блистала подлинной огранкой драгоценных камней, которые но-

сило несколько поколений её предшественниц. В общем, было от чего свихнуться, и Нинка в этом плане не отличалась от других.

Раз в неделю вместе со свитой принцесса делала выходы в свет. Мы шли на Сенной базар к частнику лакомиться мороженым. Нинка брала у мамы чёрную сумочку коробком с вышитой бисером розой, цепляла на грудь пластмассовую брошку в виде двух болонок, и мы отчаливали к «Гастроному» на Львовскую площадь.

Мороженое делали из настоящих сливок, потому и называлось оно сливочным. Цинковую мороженицу охлаждали в бочонке со льдом. Мороженщик в белых нарукавниках и фартуке казался настоящим магом. Пока он вершил свой обряд, мы исходили слюнками. Делал он всё основательно и неторопливо. Сперва укладывал круглую вафлю на дно дозатора, похожего на полую гранату, потом ложку за ложкой начинал извлекать из недр мороженицы драгоценное лакомство и накладывать его в цилиндрик. Когда порция была сформована, он накрывал её такой же круглой вафлей и выталкивал специальным рычажком. Брать её следовало двумя пальцами сверху и снизу. Облизывать этот фирменный шедевр было просто несказанным наслаждением. От удовольствия мы только хрюкали и причмокивали. Слов не было.

Когда острые ощущения послекусия пригупялись, наступал Нинкин час. Мы садились на скамейку в сквере, и перед нами разворачивалось действие, ради которого наша птичка так тщательно чистила пёрышки. Это был её выход. Время от времени Нинка с родителями посещала вечерние спектакли в опере и слушала многое, чего не давали на утренниках. В прошлый раз Нинка была на «Корневильских колоколах», и мы жаждали впечатлений.

— Теперь я понимаю, почему на такие спектакли не пускают детей, — тоном умудрённой жизненным опытом зрелой дамы начала Нинка. Она открыла сумочку, вытащила платочек и медленно стала обтирать пальцы один за другим. Мы могли лопнуть от нетерпения, но Нинка своё дело знала. Она тянула время, нагнетая драматургию. В конце концов, дольше держать паузу было немислимо, и она встала, поправила волосы и прошлась перед нами, выхляя бёдрами. Мы застыли от изумления с раскрытыми ртами. Но это была лишь разминка. Главное ждало впереди. Она нашла точку отсчёта, стала в позу, приподняла двумя пальцами платье чуть выше колена и пропела на украинском языке, как и было в театре:

— Погляньте тут, погляньте там, — она сделала два шажка влево и подняла платье с другой стороны ещё выше, чтобы ни у кого не возникло сомнения, куда нужно смотреть.

— Як воно здається вам? — Развернув подол веером, она присела в манерном реверансе.

— Вот это да! — Это была высшая точка чего-то совершенно запретного, куда вход до шестнадцати, таким как мы, был строго заказан.

— Конечно, да! — сказала Нинка, отряхивая руки одна о другую. — Но разве такое можно показывать детям?

Осенью Нинка вместе с родителями переехала на Печерск.

В комнате нинкиного семейства поселились новые жильцы. Это была настоящая богема. Поступления в семейный бюджет они проматывали в ближайшую пару дней. Потом сидели на бобах до следующего вливания. Режим экономии отдавался свистом ветра в пустых карманах и безнадежными попытками поправить финансовое положение. Лидия Михайловна, новая соседка, робко стучалась в дверь и просила займы десятку.

— Нашла миллионеров! — ворчала бабушка, но никогда не отказывала. Деть ведь надо было чем-то кормить.

Старшая дочь богемы Танька, моя ровесница, несла на себе бремя артистических амбиций рода. На темени у неё красовалась высокая распигая блёстками тюбетейка-шапочка с резинкой под подбородком, и во дворе она явно метила на роль женщины-вамп. Никаких данных на ампулу у неё не имелось — щупленькая и невзрачная, но мальчишки вились вокруг неё как оси над банкой мёда.

Романы наших девчонок на стороне ревниво пресекались. Очередному танькиному ухажёру мы давали в глаз, и он навсегда отлетал, даже не попрощавшись.

Но однажды произошла осечка. Новый поклонник Юрка Корсунский был взрослый — лет шестнадцати. Это не мешало ему регулярно получать от нас свою порцию в ухо. Но он упорствовал. Как-то во время очередной экзекуции он стал в картинную позу, поднял руку и изрёк: «Вы можете убить меня, но любить её я всё равно не престану!» Это была реплика какого-то шекспировского персонажа. Юрка подрабатывал осветителем в театре, и весь репертуар у него был на слуху. Кровь у жертвы любви хлестала из носа. Он стоял жалкий и растерзанный. Но слова шли от сердца. Высокий штиль добавлял им приподнятости и убедительности. Эффект был ошеломляющий. Искусство лишней раз доказало свою силу. Ромео был отпущен с миром и больше мы его не трогали. Ему позволялось даже торчать на углу Стрелецкой в ожидании своей Джульетты. Хотя та водила его попросту за нос. В день у неё бывало по три свидания в одно и то же время. Она явно его использовала. Юрка проводил её в театр со служебного входа, усаживал рядом в осветительской ложе и там исходил чувствами на протяжении всего спектакля.

— Какой цинизм! — высказалась по поводу ситуации Гита Ваксберг, танькина одноклассница. Её суждение являло типичный психологический феномен перенесения собственных грехов на чужие плечи, что называется с большой головы на здоровую. Точно такую же реплику в адрес Гиты бросила как-то русачка, по прозвищу Пуля, когда Гита в мельчайших подробностях расписывала трагическую смерть любимого кота — причину невыученного урока. Кот оказался живым и невредимым, но за Гитой с той поры утвердилась слава особы циничной и беспардонной. Это, конечно, было сильно сказано. И всё же Гита и в самом деле была без тормозов. Она вдруг ни с того, ни с сего могла сесть на шпагат или противным голосом кокетливо пропеть «Я беззаботна и шаловлива, меня ребёнком все зовут...» словно какая-нибудь Ольга из «Евгения Онегина». А то и того хуже, закатывала глаза к потолку и с завыванием сотрясала воздух строфами неизвестного происхождения, выдавая их за античную лирику. Зубы у Гиты торчали во все стороны света, и в запале красноречия слона летела собеседнику прямо в лицо. Отрицательное обаяние и злоязычие не мешали приглашать её на вечеринки. Рядом с Гитой любая кикимора смотрелась как Мисс Вселенная.

Я тогда уже жил у бабушки этажом выше. Бабушке очень хотелось, чтобы комната в наследство досталась мне. Ценой невероятных усилий и бегания по институтам ей удалось прописать меня на жишплощадь.

Любимым бабушкиным развлечением была больница. Болеть в ту пору ничего не стоило, и бабушка ежегодно осенью устраивала себе каникулы в стационаре на Рейгарской. А у меня наступала пора светской жизни. Вечером ко мне приходил Сёмка, Танька приглашала пару одноклассниц и веселье начиналось. Мы плясали под патефон, беззлобно перемывали косточки знакомым и пили шипучку. Шипучка изготавливалась элементарно просто. Несколько капель уксуса, щепотка

соды и стакан начинал шипеть и бурлить как кратер вулкана. А если добавить пару ложек варенья, смесь превращалась в напиток богов. Особенно удавались мои приёмы, когда не было света. Мы зажигали свечку, и всё вокруг приобретало романтический оттенок. Комнатёнка была маленькая — не разгонишься. Мы то и дело натякались на Гиту, но никто не обращал внимания. Радость общения брала своё. Школы были раздельные, отдельно женские, отдельно мужские, встреча вплотную с девчонками случалась нечасто и была настоящим праздником.

Гита восседала на диване, заложив ногу за ногу, потягивала шипучку и с презрительной ухмылкой созерцала наши выкрутасы. Однажды, пригубив очередной стакан, она вдруг громко сообщила.

— А варенье воняет клопами!

— Как же, — сказал я, — специально для тебя отбирали самых упитанных и сушили на солнце.

Гита разразилась истерическим хохотом. Столь бурной реакции ирония моя не заслуживала. Но Гита не унималась. Видимо, ей было совсем одиноко, и хотелось заявить о себе городу и миру любым способом. Почему-то вспомнилась моя безответная любовь, Нинка и всё остальное. Нинку я никогда больше не встречал, но она оставила глубокий след во мне — любовь к опере на всю жизнь.

Наверное, и без Нинки эта склонность, так или иначе, проявилась бы. Нинка лишь ускорила события. Всё и так шло к тому. Жизнь так складывалась. Духовный паёк времён холодной войны был донельзя скудным. Борьба со всем западным не щадила ничего. Особенно досталось музыке. Она первой оказалась в числе жертв. По радио звучала только кастрированная классика, патриотические и народные песни. Высота директивных идеалов требовала в который раз нечеловеческих усилий и трудовых подвигов. Но это был перебор. Все устали. Хотелось покоя и простых земных радостей. Среди всеобщего погрома нетронутой почему-то оказалась опера. Только там ещё можно было отыскать что-то человеческое. Опера неожиданно приобрела неслыханную популярность. Спектакли транслировались по радио в прямом эфире. Появилась целая обойма эрудитов-комментаторов как на футбольных матчах. Они предваряли действие рассказом о том, что будет происходить на сцене. Все это придавало значительность моменту. Трансляция всегда становилась событием. Хотя и тут без цензуры не обходилось. Преимущество отдавалось отечественному репертуару.

Официально музыку делили тогда на прогрессивную и загнивающую буржуазную. Понять, почему что-то расцветало, а что-то загнивало, было невозможно. Хлипкие критерии не давали возможности разобраться, что к чему. Но цензоры обладали острым нюхом и держали нос по ветру. Джаз и латиноамериканские ритмы были с гнилым душком и явно буржуазны. На них категорически наложили табу. Городскую музыку без разбора попросту изъяли из употребления. Вкусы строителей коммунизма формировались строгой диетой из продуктов, просроченных ещё на исходе прошлого столетия. Даже классика конца века попадала под подозрение. Дебюсси и Равеля не исполняли вовсе.

Но, как говорится, если Бог закрывает дверь, где-то он всегда открывает окно. Каналом, куда руки цензуры не дотягивались, было трофейное кино. Запретная информация шла оттуда. В прокат попадали в основном фильмы десятилетней давности. В тридцатые вместе со звуком на экран хлынул поток музыки на любой вкус, включая и оперу. Кинозвёзды поголовно запели. Все, кто мог, и кто не мог тоже. Не было ни одной музыкальной картины без оперной арии. Это стало при-

знаком хорошего тона. Чуть ли не главным поставщиком музыкального товара на мировой экран была Америка. Правда, конкуренты наступали на пятки. УФА лезла из кожи вон, чтобы перешпунуть Голливуд. Всё, сколько-нибудь стоящее на европейском горизонте, прибиралось к рукам. В конце концов, в павильонах Бабельсберга очутились и Джильи, хотя снимался больше он на родине. Знаменитый тенор уже был в возрасте, и ни под какие каноны красоты не подходил, но приглашали его на съёмочные площадки охотно. Телевидения тогда не было, а мэтра бельканто хотелось увидеть всем. Слезливые мелодрамы приносили приличные доходы. Сюжеты лепились так, чтобы более или менее органично вставить в картину музыкальные номера. Конечно, роли героев проходили со скрипом. Изумительной красоты голос юноши исходил из нутра большоголового пузатого человечка на коротких ножках, смахивающего больше на карикатуры девятнадцатого века. Певец подвизался на амплу брошенных мужей, несчастных отцов, обретающих своих детей, и всякую подобную муть. Сладкоголосого Орфея на экране окружали шикарные красавицы и роскошные интерьеры. Но главной приманкой были неаполитанские песни и популярные оперные арии. В них Джильи ощущал почву под ногами, ему не нужно было что-то изображать, он был в своей тарелке. Голос лился от души и просто завораживал. Очарованные зрители, прищулив глаз, забывали о физических несовершенствах исполнителя. Я смотрел эти фильмы по многу раз. Божественные мелодии хотелось слушать ещё и ещё. Они помогли позже легко принять оперную условность. В том совершенном мире, из которого была и Нинка, люди могли общаться друг с другом не иначе, как только с помощью пения.

Конкурентом Джильи, по крайней мере, у нас на небосклоне был Ян Кипура. Он тоже отводил душу на наших экранах. Соперничество было делом случая. Просто волей проката ленты оказывались рядом. А вообще тенора выступали в разных весовых категориях. Кипура был молод и красив и, конечно же, романтический любовник.

Его картины особым разнообразием тоже не блистали. Герой, преодолев все препоны, становился знаменитым и любимым ослепительной блондинкой или брюнеткой. Одна и та же схема кочевала из фильма в фильм. Если что и менялось, так это музыка. Всё, что было возможно из оперного репертуара Кипура перепел в своих картинах. Иногда и по нескольку раз. А его шлягеры моментально обретали сумасшедшую популярность. «Нинон», «Сейчас или никогда» распевали по всей Европе. В УФА Кипура славился своей капризностью. Вместе с Мартой Эгтерт, женой и тоже кинозвездой, они здорово портили кровь нацистскому руководству концерна. В конце концов, в отместку те отыскивали в биографии певца неарийские корни, и Кипура вынужден был эмигрировать в Штаты. Популярность звезды катилась к закату. Но у нас его фильмы обрели новую жизнь, и когда слухи о смерти певца просочились через железный занавес, к этому отнеслись с недоверием. Небожители не умирают. Завещал он похоронить себя в Варшаве, и поляки устроили ему грандиозные похороны. В пику коммунистическим властям проститься со знаменитым земляком пришло, чуть ли не всё население столицы. Это была явная демонстрация. Ведь он был посланником другого мира. Идеального экранного мира красоты, любви и гармонии.

Чем было кино в дотелевизионную эру сейчас представить невозможно. Кино было всем. Особый виртуальный мир, в котором пребывали миллионы. Сила воздействия движущихся картинок была сродни наркоте или алкоголю. В кинематографическую зависимость попадали большие города и посёлки. Получить свою

дозу счастья толпы стремились с утра до поздней ночи. Очереди у кинотеатров стояли километровые. Как за сливочным маслом. Подступиться к кассе было невозможно. Билеты скупались перекупщиками. У каждого кинотеатра ошивались подозрительные личности предлагавшие билеты вдвое и втрое дороже. Желавших было хоть отбавляй. Справляться со спекулянтами милиция вовсе не желала. Стражи правопорядка были частенько задействованы в бизнесе и получали свою долю добычи.

Репертуар сменялся по понедельникам. Фильмы были непонятного происхождения. В титрах значилось, что трофейные. Но добрая половина была не немецких, а американских лент. Ни рекламы, ни каких-либо других сведений не было, изъяты были даже титры. Ни исполнителей, ни постановщиков. Только название, которое зачастую совсем не соотносилось с оригиналом. Это придавало картине дополнительную привлекательность и загадочность. Процесс разгадки был не менее интересен, чем и сам просмотр.

В начале недели мы с Сёмкой вскакивали с постели с утра пораньше и мчались в кино на первый сеанс, чтобы снять сливки. Разузнать, кто играет, и сделать прогнозы относительно экранной судьбы фильма. Слухи распространялись с бешеной скоростью. Успех мог обрушиться на следующий день, и тогда в ближайшие две недели попасть на картину было уже невозможно. А мы обычно смотрели хороший фильм по многу раз. Среди ширпотреба встречались настоящие шедевры, те, о которых впоследствии становилось известно, что это киноклассика. Они были в общей куче, и распознать их было не так-то просто. У меня, наверное, был нюх ищейки. Струны были настроены в резонанс. Если я случайно наткнулся на нечто, внутренний инструмент начинал вибрировать. Я летел с катушек. Это было безусловным признаком настоящего кино. Интуиция редко подводила. С первого захода я попал во власть вестерна с прокатным названием «Путешествие будет опасным». Это оказался знаменитый «Дилижанс» Джона Форда.

То же случилось и с фильмом Роберто Росселини «Рим открытый город». Картина была легальной. Её купили и прокатывали по лицензии. Но никто ничего толком о ней не знал. Так себе очередное кино про войну с пытками и трупами. Никто и не догадывался, что фильму судилось стать точкой отсчёта целого направления, которое впоследствии нарекут «неореализмом». Картина производила мощное впечатление. Она завораживала особой магией. От неё нельзя было отделаться. Она преследовала по пятам. Зрители выходили из зала совершенно ошеломлёнными. Пару дней я был как в бреду. Никак не мог встроиться в нормальную жизнь. «Рим» поражал беспощадной правдой, но за душу брал, прежде всего, нервом и поззией кадра. Не забыть крик Анны Маньяни «Франческо! Франческо!», выстрел и тело убитой женщины, распостёртое в неестественной позе на камнях вечного города. Или финал — окраина Рима, расстрел священника, дети, такие же, как и мы, подростки, и льющееся с экрана чувство всепрощения и сострадания, единственная гавань, где ещё дано укрыться человеку от сил зла и разрушения.

Значительно позже я узнал, что к ленте приложили руку молодые Феллини и Антониони, будущие столпы итальянского кино.

Но подлинным кумиром была Дина Дурбин. Актрисой она была не, бог весть, какой. Но у неё была харизма. Естество её лучилось молодостью и оптимизмом. Да и пела она от полноты жизни. Одно её присутствие на экране дарило ощущение счастья. Её хотелось видеть снова и снова. Она была настоящей звездой.

Как и подобает звёздам, она всё время играла одну и ту же роль. Зато, с удивительной непосредственностью и отдачей. Во всех фильмах, какое бы имя она не носила, и в какие ситуации бы не ставили её сценаристы, она была только собой — Диной Дурбин. Она и не пыталась что-то изображать — просто жила на экране. Это был настоящий сериал. Хронология её взросления. Она играла сверстниц. Если героине было пятнадцать, то и Дине пятнадцать. Если двадцать, то и Дине двадцать. Создатели картин неосознанно фиксировали на плёнке великое таинство жизни — вылет бабочки из кокона, метаморфозу превращения угловатого подростка в молодую женщину. Наверное, это и было главной приманкой скроенных по коммерческим лекалам лент.

Часть её фильмов была куплена, но остальные были, скорее всего, ворованными. Иначе, зачем было их тайком показывать по клубам на задворках или ночью после двенадцати, а то и в семь утра. Всё делалось тихо и без рекламы. Но каким-то непостижимым образом весть разносилась. Залы всегда были переполнены. Просмотры обладали тёрпким привкусом запретного плода.

Больше всего на свете я любил музыкальные фильмы. Всю жизнь я ощущал себя подростком волей случая оказавшимся во взрослой компании. Мюзиклы возвращают меня в чарующий воображаемый мир, где нет ни смертей, ни болезней, где хотелось бы остаться навсегда. Предметом моего обожания была Жаннет Макдональд. У неё был настоящий голос. Пела она оперные арии, оперетту и мелодичные песенки, специально написанные для неё. Лицом и голосом она могла выразить тончайшие оттенки чувств и настроений и вдохнуть жизнь в самую несусветную чушь. Она была одинаково хороша и в ампирном наряде и в пышном кринолине Второй Империи, а профиль у неё вообще был как у англичанки-камеи. Поговаривали, что на ней хотел жениться даже сам владелец Метро-Голдвин-Майер. Но она ему дипломатично отказала. Это было на пике её романа с экранным партнёром Нельсоном Эдди. Она светилась счастьем. Любовь, которую они разыгрывали перед камерой, была неподдельной. Я мог смотреть эти фильмы по пять и десять раз. Это не надоедало. Музыка довершала дело. С каждым новым просмотром картина становилась ещё привлекательнее, наподобие оперного спектакля.

Впервые в опере я побывал в десятилетнем возрасте. Это было подлинное потрясение, глубокий стресс с последствиями. Давали «Запорожца за Дунаем».

В театре тогда безраздельно царили Литвиненко-Вольгемут и Паторжинский. Много раз я потом слушал эту оперу. По-настоящему оценить достоинства выдающихся певцов довелось лишь позднее, когда я попал на спектакль с дублёрами. Всё выглядело безжизненным и мёртвым как урок, заученный по учебнику.

Всё, что осталось от былого триумфа, случайные кинокадры, бледная тень того, что делалось на сцене. Как только артисты появлялись, спектакль сразу обретал иные качества, они вливали в представление живую кровь. Казалось музыка и всё остальное действие рождается в ту минуту на наших глазах. Барьеры между сценой и залом рушились. Публика жила жизнью персонажей. То было полное торжество театра. Вокал артистов был безупречен, они и физически были полностью тождественны героям и настолько сливались со своими образами, что предсказать, что они предпримут в следующее мгновение, было просто невозможно. Они импровизировали и никогда не повторялись. Как только заканчивался знаменитый дуэт, зал взрывался овацией. Остановить бурю казалось никому не под силу. Дирижёр делал попытки продолжить спектакль, ничего не помогало, публика требовала

повторения. Но стоило певиче сделать едва заметный жест рукой, и зал затихал мгновенно. Публика целиком были в их власти.

Всю следующую неделю я находился в каком-то хмельном чаду. Вновь и вновь я переживал подробности увиденного. Чудо, что вершилось на сцене, не отступало ни днём, ни ночью. Перед глазами вновь и вновь проплывали пышные закаты и рассветы, исполненные осветителями. Бескрайние дали задника, хоры, арии и дуэты перемежались со сверкающим мерцанием люстр, бархатом лож и блеском позолоты антракта. Я едва смог дожждаться воскресенья. Как только время приблизилось к двенадцати, я помчался в театр. Опера была неподалёку, а входные билеты на галёрку стоили гроши. К своей страсти я приобщил и Сёмку. Каждый выходной мы регулярно тащились в оперу и вскоре стали заядлыми меломанами. Осваивали мы музыкальное пространство самостоятельно. Проблемы и вопросы приходилось решать в полевых условиях методом проб и ошибок прямо на спектакле. Однажды на «Русалке» Даргомьжского мы весь первый акт терзались в догадках и предположениях. На сцене рядом с мельником пыхтела дебелия тётка в сарафане с кокетливой лентой в волосах. Поначалу она помогала мельнику тягать мешки, а потом смахнула пыль с лавки и уселась что-то шить.

— По-моему это служанка, — заявил Сёмка.

— Да нет, это мельничиха, — возразил я.

— Дети, дайте слушать — зашипела дама спереди, — это дочь мельника Наташа.

Мы притихли

— Сказанула! — прошептал Сёмка и повертел указательным пальцем у виска. — Да такая Наташа одной только левой прижмёт князя и от этого сморчка мокрого места не останется!

Но в подтверждение слов соседки тётка на сцене вдруг резко сорвалась с места и тяжёлой поступью рванула в сторону рисованного омута топиться. По идее вода должна бы выйти из берегов, но всё обошлось глухим стуком. В антракте дама с победной ухмылкой поглядывала в нашу сторону. Наша карта была бита.

Хотя мы считали местный театр не бог весть чем, но киевская опера была не из худших. Просто не с чем было сравнивать. Голоса могли украсить любую престижную оперную труппу. Тогда об истинной ценности своего таланта никто понятия не имел. Дорога куда-либо дальше всё равно была заказана. Всё замыкалось на Киеве. Правда, иногда местную знаменитость приглашали в Большой, но редко кто задерживался там надолго или оседалнасовсем. И мафия и интриги были в Большом на порядок выше. Положение обязывало. Театр был придворный.

Вообще Большой был эталоном и головной болью местных властей. Украина, как и подобает провинции, старалась изо всех сил обскать столицу. Постановки готовились тщательно. Премьерами не баловали, в лучшем случае одна-две в сезон. Декорации были громоздкие и основательные. На сцене били настоящие фонтаны, выводили живых лошадей. Антракты затягивались до двадцати минут. Но качество спектакля оставалось высоким.

Особенно сильное впечатление производил на меня финал «Аиды». Действие развивалось в двух уровнях. На верхнем — храм с мощной колоннадой, под ним — гробница. Во время финального дуэта две объёмные фанерные глыбы под камень медленно сдвигались и скрывали погребённых заживо Аиду и Радамеса. По мере того как мерк свет внизу, на верхнем уровне разгорался новый день, жрецы в ритуальном священнодействии приветствовали божественный диск восходящего

солнца. Лишь где-то в стороне терзалась в муках любви и ревности Амнерис. По силе воздействия таких финалов в мировой классике совсем немного. Разве что «Кармен» Бизе. После спектакля я долго не мог прийти в себя. Как пьяный бродил я по полутёмным, влажным от дождя осенним улицам. Музыка неотступно звучала во мне, я вновь и вновь переживал всё сначала. Дебютантка Лилия Лобанова покорила свежестью голоса. Это была настоящая Аида без позы и наигрыша. Козерацкий являл пример достойного партнёрства, а Лариса Руденко брала не только совершенством формы, но рвала душу подлинностью человеческих чувств. Спектакль был по-настоящему звёздным.

Много позже у пирамид мне снова вспомнилась «Аида» моего детства. Клюквы было там совсем немного. В театре работали люди, знавшие в своём деле толк.

Запомнился на всю жизнь третий акт «Лебединого озера». Свита Ротбара была вся в чёрном с красным. И хотя костюмы по идее соответствовали национальному характеру каждого танца, в цвете все были одинаковы. Дивертисмент спутников злого гения оставлял жутковатый привкус. Унификация цвета в соответствии с духом средневековья носила знаковый характер принадлежности к клану, и в то же время была символическим отблеском адских сил вселенского зла. Такого ни в одном театре я больше не встречал.

Остались в памяти и декорации к «Лесной песне», балету Скорульского. Четыре времени года, повторённые на одном и том же пейзаже, брали лиричностью и скрытой печалью. Это было очень близко поэзии Леси Украинки, по мотивам которой было написано либретто.

С годами моя любовь к оперному пению утратила импульсивность. Наверное, я стал требовательнее. А может быть, попросту чувства поизносились. Недавно я даже немного постоял на ступеньках «Ласкала» в надежде ощутить священный трепет. Но никакой дрожи в коленках не почувствовал, хотя вроде бы и должен был — на этой сцене блистали самые выдающиеся певцы мира.

Было жарко. Никому до меня не было никакого дела. Город жил своей привычной жизнью. Сезон ещё не начался, и двери театра были на запоре. Да и попасть на спектакль в святая святых европейского вокала случайному туристу и не светило бы. Запись за полгода вперёд не даёт полной гарантии даже местным почитателям оперы. Как невозможно просто так увидеть и знаменитую «Тайную вечерю». Созерцать творение Леонардо разрешено тоже только по предварительной записи и лишь в определённые дни недели. Знаменитая фреска дышит на ладан.

Разочарованный я потащился в пинакотеку Брера. Туда можно попасть без особых усилий. Тут уж я решил отыгаться по полной программе, но темп был взят не тот. Слишком усердно простаивал я у каждой картины, стараясь ничего не пропустить. От средоточия имён и шедевров голова пошла кругом. Доза эмоциональной нагрузки превысила все мыслимые нормы. Я выпал из галереи совершенно обессточенный. Идея побывать ещё в одном из музеев улетучилась тут же. Голодный и усталый плёлся я по улицам Милана, с опаской поглядывая на вывески ресторанов. Мои попутчики здорово обожглись в Вероне. За мороженое на террасе центральной площади с них содрали сто евро. Когда надежда поесть окончательно оставила меня, вдруг в крытом пассаже Виктора-Эммануила на перекрёстке взгляд уткнулся в знакомую вывеску, правда гораздо меньших размеров, чем у нас. Это был Макдональдс. Дешёвая харчевня словно была ниспослана свыше. Сидя за столиком, я набивал свой желудок итальянским фаст-фудом за пятнадцать евро и

осматривался. На возвышении, у окна сидели два парня с девушкой и двое пожилых людей моего возраста. Жестикулируя, они с жаром что-то рассказывали, перебывая друг друга. Мелькали имена Тито Гобби, Тито Руффо, Тито Скиппа. Увлечённо они напевали знакомые мелодии. Смысл беседы я уловил сразу. Речь шла об опере моей молодости. То ли от сытости, то ли от тёплой компании за соседним столиком напряжение вдруг спало. Я обмяк и почувствовал себя в чужом, замкнутом на себе городе легко и уютно, как дома в далёкие счастливые времена. Я был в стране бельканто, в стране мечты своего детства и юности.

Любители хорошего пения тогда делились на два лагеря — козлистов и лемешистов. Мы ходили в поклонниках Лемешева. Наш кумир снимался в кино и был симпатичнее. В Козловском я находил нотки самолюбования голосом в ущерб общему впечатлению. Но со стороны Сёмки чувствовался какой-то подвох. Уж очень бурно он восхищался хитом конкурента «шпыи мой чёлн...» из «Корневильских колоколов», и даже сам пытался напевать. Сомнения чуть позже подтвердились.

Где-то в начале пятидесятых Козловский начал прощаться со сценой. Прощание растянулось на добрый десяток лет. Каждый год певец приезжал на родину в Марьяновку и по дороге давал очередной прощальный концерт в Киеве. На один из таких концертов в театре Франка пролезли и мы. Делалось это так. Кондиционеров в ту пору не было, и во время антрактов публика вываливала наружу глотнуть свежего воздуха. После звонка отдышавшиеся зрители тянулись в зал и вместе с ними просачивались через контроль и мы. Техника была досконально отработана. На контролёршу нужно было не обращать никакого внимания, не суетиться и лучше всего в процессе проникновения вести между собой заинтересованную беседу. Правда всё второе отделение приходилось стоять на ногах или в лучшем случае сидеть на ступеньках, но это стоило того. Мы бывали на всех гастрольных спектаклях, куда билеты достать нужно было, и думать забыть. Так мы попали и на Козловского.

Видимо, когда Господь Бог раздавал всем сестрам по серьгам, то решил, что золотого голоса сельскому мальчонке будет вполне достаточно. На остальное он махнул рукой. Пусть хоть бы с этим управился! Козловский распорядился божьим даром, как мог. Все повадки звёзды он усвоил досконально. Подолгу отсиживался за кулисами под неистовство зала. Выходя, разводил руками: «Ну, что с вами поделаешь?», закатывал глазки, прижимал руки к сердцу, в общем, демонстрировал полный набор ужимок отягощённого славы гения.

Голос певца звучал ещё вполне пристойно, и когда он сладко затянул из «Вертера» «и вот в долину к вам придёт певец другой», зал забился в рыданиях. А мы заржали в кулак, оглядываясь с опаской — как бы не вытолкали вшаей почтитатели тенора.

Сейчас, много лет спустя, я отношусь более снисходительно к той публике. Недавно я слышал Анну Нетребко. Её пенье было не просто обычным воспроизведением нотной записи. Она словно возвращала к истокам, к тем доисторическим временам, когда человек для выражения чувств, впервые извлёк из своего нутра не рык, а гармонию звуков. Мелодия лилась легко и свободно. Она пела как птица всем естественным, словно раскрывала тайну и назначение пения — выражать упоение полнотой жизни. Это были божественные вибрации, которым ещё неведомы быстротечность и неповторимость мгновенья. Слезы сами собой хлынули из глаз, и я разрыдался как мальчишка. Правда, я отношу это к издержкам возраста.

Наша с Сёмкой меломания оставалась не без последствий. В одном из эпизодов фильма «Кабаре» Лаица Минелли в телячьем восторге самозабвенно орёт под грохот электрички. Нечто подобное мы проделывали вместе с Сёмкой ещё раньше героини мюзикла. Трамвай, первый номер, ходил тогда от площади Богдана Хмельницкого на Демиевку. Позже маршрут укоротили до университета. Там развернуться было негде. Водитель пересаживался в кабину в хвосте, стрелку переставляли, и трамвай катил обратно. Прodelать эту манипуляцию можно было только в вагонах времён бабушкиной молодости. Уныло ржавеющие на задворках депо ветераны нежданно обрели новую жизнь. Им нашлось дело. Под стать вагонам был и кондуктор, сухонький старичок без возраста в круглых железных очках с кожаной видавшей виды сумкой на шее. Через весь вагон тянулась верёвка. Если её дёрнуть, звонок над водителем издавал звонкий отрывистый щелчок, сигнал ехать дальше. На каждой остановке старичок предупредительно объявлял: «Громадяни пассажиры, бережно! Вагон рухает! Смакаю за мотузку!» Когда эта груда металлолома неслась по рельсам, ходуном ходил весь ближайший квартал. В конструкции дребезжал каждый винтик. Казалось, на город пикирует армада тяжёлых бомбардировщиков. В ту минуту можно было спокойно убить человека — никто б ничего не услышал. Нужно было только использовать момент. И мы его не теряли. У нас это называлось взять высокую ноту. Как только на горизонте появлялся вагон, мы, переглянувшись, согласно кивали друг дружке, набирали в лёгкие воздуха побольше и начинали свой вокал, доводя мощь звука до немислимых высот. Сравниться с этим удовольствием ничто не могло.

Вскоре я обнаружил у себя голос. Было ли так на самом деле, трудно сказать. Но я был в этом глубоко убеждён. Относительно эстетических качеств открытия можно было дискутировать, но то, что голос был зычный, доказательств не требовалось. Не жалея сил, я испытывал терпение соседей с утра до ночи. В ход шёл весь знакомый оперный репертуар. Шкутиха, соседка, сумасшедшая артистка, пробегая мимо с тарелкой супа, стучалась в дверь и орала:

— Вова! Выше диафрагму! — и бежала дальше. Её советы можно было брать во внимание. Во времена нэпа она промышляла пением в каком-то варьете. На стене у неё красовалась выцветшая афиша с большими красными буквами: «АЛЕКСАНДРА СИЧАНИ. ЦЫГАНСКИЕ РОМАНСЫ ПОД СОБСТВЕННЫЙ АККОМПАНИМЕНТ НА ГИТАРЕ». «Сичани» был её сценический псевдоним. Она была самым колоритным персонажем нашей вороньей слободки и скандалисткой номер один. Если бабушка затевала разборку ради утверждения высших принципов, то её скандалы носили явный оттенок эстетства. Беспричинные стычки возникали на пустом месте. Их накал и продолжительность наглядно демонстрировали наслаждение самим процессом выплёскивания эмоций. Это было искусство ради искусства, формализм чистой воды. Артистизм её натуры не исключал и прочих негативных сторон личности художника. С чистым сердцем она могла стянуть всё, что плохо лежало. Однажды её поймали на горячем. Лидия Михайловна, дама широкая, любила размах во всём. Даже картошку она покупала сверхкрупную, чтобы меньше было чистки. Положив в кастрюльку три огромные картофелины, она на минуточку забежала в комнату. Ей показалось, что зазвонил телефон. На связь должна была выйти Феля, близкая подруга и непревзойдённый знаток интимных тайн своих знакомых. Феля что-то где-то писала, вращалась в богемных кругах и регулярно снабжала приятельницу последними светскими сплетнями.

Возвращение на кухню было шокирующим. За время отсутствия с кастрюлькой произошла удивительная метаморфоза. В пузырящемся кипятке вместо трёх прыгало два корнеплода.

— Где моя картошка? — трагически бросила реплику в пространство кухни Лидия Михайловна. Интонация не предвещала ничего хорошего. В ней явно прощальски звывали нотки скрытой угрозы.

Шкутиха шумно вертелась у плиты. Карман её кофты подозрительно оттопыривался и из него вился предательский парок.

— Где моя картошка?! — на два тона выше повторила Лидия Михайловна. На этот раз вопрос целил конкретно не в бровь, а в глаз. Обстановка накалялась.

— Лидя, я чиста как кристалл! — не выдержала Шкутиха, — Видит бог, я чиста как кристалл!

— А это что? — Лидия Михайловна резко рванулась к влажному карману, но картошка уже валялась на полу.

— Это бабушкина кошка! Лидя, я чиста как кристалл! Чтoб так войны не было!

— Нагло врётe! — закричала из комнаты бабушка. Почувствовав, что справедливость под угрозой, она в мгновение ока очутилась на поле брани, — да моя кошка и близко не подойдёт к вашей паршивой картошке.

— Вы грязная воровка! — орала Лидия Михайловна.

Склока явно начинала выходить из-под контроля. Тут появлялся Лазарь Александрович в обиходе Люся, муж Лиды, чтобы забрать жену греха подальше.

— А вы Лидя, — проститутка, но ваш Люся золотой человек! — истерически парировала Шкутиха.

— Люся, немедленно убей эту тварь, и милиция тебя оправдает! — крики разносились по всему дому, но до рукоприкладства не доходило! Для остальных жильцов вопли из нашей квартиры были привычными, и никто на них не обращал ровно никакого внимания. Скорее было бы наоборот, если бы квартира замолкла.

В конечном итоге Шкутиха оставляла стратегические высоты и убиралась восвояси. Но планы реванша не покидали её ни на секунду и были залогом грядущих конфликтов. В сердцах она густо пудрила нос, румянила щёки и с забытой бигудиной в волосах и спущенным чулком шла на прогулку. Вид у неё был на Мадрид, как говорила бабушка.

Однажды на остановке, на Бессарабке возле бывшего магазина «Синтетика», где сейчас уважаемый бутик швейцарских часов, меня кто-то окликнул. Я обернулся. Из передней двери троллейбуса торчала знакомая физиономия.

— Вова, здравствуй! — поприветствовала меня Шкутиха, хотя утром мы виделись.

Позже дома я поинтересовался, зачем я ей понадобился.

— Я рассказывала в троллейбусе, какие у меня сволочи соседи! — сообщила мне она с энтузиазмом.

Но в вопросах пения она, наверняка, кое-что смыслила. Я прислушивался к её советам, втягивал брюхо, и голос приобретал металлические оттенки.

Старик Шапиро заметил на кухне:

— Бабушка, у вас так громко поёт радио!

— Это Вова! — не без гордости сказала бабушка.

— Надо же! А я думал — радио! — сказал старик Шапиро.

Лидия Михайловна, столкнувшись со мной в коридоре, сказала:

- Вовка, когда ты, наконец, перестанешь драть глотку?
— У меня голос! — сказала я.
— Какой голос? Вопли облезлой козы с прищемлённым хвостом!
— А некоторым нравится! — сказала я.
— И кому же это? — не унималась она.
— Бабушке, например.
— Бабушке будет нравиться всё, что бы ты не выкинул.
— Ну, ещё Бэле.
— Бэла садистка. — сказала Лидия Михайловна.

Бэла из флигеля откармливала своего пятилетнего Лёню как рождественского гуся, запихивая ему в рот силком котлету за котлетой. При этом она истерически орала и топала ногами. Чтобы заглушить свои вопли и рёв сына, она устраивала маленький Освенцим. Включала радиолу на полную катушку. При трубных звуках музыки все в доме знали — Бэла начинает кормить Лёню.

У Сёмки голос прорезался четырьмя днями позже. Зарывать свой талант в землю он не собирался и тут же объявил о нём городу и миру. На ближайшее школьное торжество Сёмка записался на выступление. Вот тут-то и выплыло его двурушничество. Он решил исполнить не больше ни меньше как хит Козловского, нашего непримиримого конкурента и соперника. Это была настоящая измена, но я ничего не сказал. Он и так догадался. В жертву была избрана «Восходит луна и заходит луна». Песня была записана в районе голодного сорок седьмого и слова у неё были, нарочно не придумавшись, прямо таки на злобу дня.

Восходит луна и заходит луна,
Джигигом скачи на лихом скакуне,
Тебя не обскачешь родная страна
За сотню ночей на коне.
На наших дорогах счастливый народ,
На наших дорогах нет места нужде
О светлом великом и мудром вожде
О Сталине песню поёт.

Запись пользовалась большой симпатией редакторов музыкальных программ. По радио её крутили, чуть ли не каждый день. Вместе с хором мальчиков голос Козловского звучал очень эффектно. Сёмка сделал ставку на верняк. Банк сорвать он решил, во что бы то ни стало. На репетицию он не пошёл и объявил, что никаких репетиций ему не нужно. Он будет петь без сопровождения «а капелла». Вещь была достаточно известная, и предварительного прослушивания никто не потребовал.

Всё шло, как по маслу. В назначенный час после официальной части началась концертная программа. Лора старшая пионервожатая, стажёрка пединститута, объявила номер, и Сёмка выполз на сцену. Держался он без всяких комплексов. Его апломб был достоин восхищения. Он бойко раскланялся под жидкие хлопки, прочистил горло, положил ладони одна на другую и начал готовиться — входил в образ, как и положено артисту. Ещё раз прокашлялся и неожиданно высоким фальцетом завыл:

— Восходит луна и заходит луна...

Но тут произошла осечка. Он остановился, махнул рукой, наверное, считал, что начал слишком высоко и повторил всё сначала. И снова ему показалось что-то не так. Когда он в третий раз затянул «восходит луна и заходит луна» и опять

остановился, в зале началось нечто невообразимое. Все свистели, топали ногами и орали. Сёмка пытался в четвёртый раз начать всё сначала, но Лора стала стаскивать его со сцены. Он отчаянно сопротивлялся и вырывал руку. Веселье достигло наивысшей точки. Все валялись по полу от хохота и вопили что есть сил браво и бис. Угомонить зал долго ещё не удавалось. Взрывы смеха периодически вспыхивали то тут, то там.

— Ну и что с того — сказала Беба, сёмкина мама, — зато, какая у него богатейшая «мымыка»!

Это была воистину крылатая фраза, достойная быть увековеченной. Хвост «мымыки» тянулся за Сёмкой по крайней мере ближайшие полгода. Стоило кому-то из преподавателей сказать в адрес Сёмки что-нибудь нелестное, как весь класс орал в ответ «зато, какая у него богатейшая «мымыка»!

На этом сёмкина карьера певца не кончилась. Как всякому человеку без слуха и голоса Сёмке до боли в суставах хотелось петь. Его всё время преследовали призрачные апофеозы, где поклонники выносили его на руках со сцены, осыпая цветами. Так просто поставить крест на музыке он не мог. И он всё-таки придумал, как прославиться. Он открыл способ пения под фанеру. Относительно приоритета мнения расходятся. Но то, что Сёмка был в числе первопроходцев прибыльного нынче занятия, сомнений быть не может.

К концу сороковых Зяма купил радиолу «Урал». Это была роскошная вещь. Ничего похожего позволить себе мы с мамой не могли. Отец ушёл из семьи вскоре после войны к фронтовой подруге, как говорили в ту пору, и мы едва сводили концы с концами. Мама всё время вспоминала разбитое зеркало. Примета сбылась, и я чувствовал себя глубоко виноватым со всех сторон. Если бы я не расколотил его тогда, возможно всё бы сложилось иначе. Сёмкины родители рядом с нами были просто Крезами. Но сына держали в чёрном теле. Карманных денег у Сёмки не водилось. И ему приходилось добывать их собственными усилиями, изощряться разными методами, сдавать бутылки, макулатуру и всё такое прочее. Хотя наш семейный бюджет был более чем скромн, никакого комплекса неполноценности относительно Сёмки я не испытывал. Бабушка и мама ничего для меня не жалели. Я рос барчуком и даже водил дружка в кино и угощал мороженым. Запреты для Сёмки распространялись на всё, и ничего удивительного в том не было. Вёл он себя как шкодливый кот. Ему, например, было запрещено до прихода матери прикасаться к молоку. От сёмкиных дегустаций прямо из кастрюли пенки оседали на стенках, и молоко скисало. Холодильников тогда не было, и молоко ставили на окно. Сёмка открыл способ, как не оставлять следов. Он вставлял свою морду прямо в кастрюлю, отпивал из середины, а потом доливал до прежней отметки водой из крана. Молоко, так или иначе, скисало. Это был повод для скандалов с молочницей. Та била себя в грудь и клялась всеми святыми, что молоко утреннее, прямо из-под коровы. Самым убедительным доводом в её пользу было то, что скисало оно только у Бебы. Она старательно мыла и кипятила кастрюлю. Но молоко всё равно скисало, и все пришли к выводу, что всё дело в проклятом подоконнике.

В общем, изобретательность моего друга не имела границ, но «Урал» открывал новые горизонты. Мы учились во вторую смену, и всё утро радиола была в нашем распоряжении. Светло-кофейного цвета с подпалинами она сверкала и благоухала свеженьким лаком. Зелёный глазок индикатора настройки действовал завораживающе, как взгляд змеи. А запах этого чуда техники просто сводил с ума. Для нас это был, безусловно, предмет культа. Служение начиналось, как только

сёмкины родители исчезали за углом. Пластинку, которая нам нравилась, мы крутили до одурения. Слова влетали в голову без всяких усилий. Сам эффект фанеры Сёмка открыл совершенно случайно, как Ньютон закон всемирного тяготения.

Напротив, через дорогу на третьем этаже жила Светка Чиплета. Она была настоящим чемпионом по количеству слов в минуту. Громоздила Чиплета слова одно на другое без пауз и передышки. Может быть, ей чудилось, что кто-то её перебьёт, хотя это было невозможно, таким она была пулемётом. С дикцией она не дружила. Вместо «б» у неё получалось «п», вместо «д» — «т» и всё остальное в том же духе. Слово «шпиглета» Светка озвучивала чем-то нечленораздельным, схожим на «чиплета», и прозвище прилипло к ней как репейник. На балконе у них вечно болталась шеренга носков. Это сушились доспехи светкиных братьев. Особенно прославился на весь околоток старший Сенька. Он был единственным пострадавшим во время знаменитого пожара сорок седьмого. В центре тогда жили в основном евреи. Соседи, соученики и друзья у меня были сплошь евреями. После освобождения город был полупустым. В сорок четвёртом, когда мы только въехали в свою квартиру, пятый этаж и подвалы были заполнены только битым стеклом. В них гулял ветер, да и мы устраивали свои игры. Вскоре вакуум быстро заполнился самыми предприимчивыми. Население противоположного дома в национальном плане было достаточно однородным. Дом полыхал, как свеча, и был охвачен паникой. Кто не видел настоящей еврейской паники, тот ничего не видел. Из окон летело всё, что в иных обстоятельствах спасению не подлежало, вплоть до вазонов и зеркал. На Сеньку свалился пружинный матрас. Голова уцелела, но ключица здорово пострадала, и Сеньку увезла скорая. На пожар приезжал даже сам Никита Хрущёв. Он тогда был главным на Украине. Приехал он к шапочному разбору. Огонь уже загасили. Побывало на пожаре высокое начальство совсем недолго, покачало головой, дало несколько руководящих указаний и отбыло восвояси. Визит руководителя партии и правительства скоро забылся, но Сенькину ключицу помнили все. Достаточно было сказать, что это тот самый Сенька, у которого во время пожара была сломана ключица, как все тут же догадливо кивали головами. Остальные братья ничем замечательным не отличались. Но носки стирали исправно, и Светка постоянно развешивала их и снимала. На сёмкины заигрывания Светка не обращала ровно никакого внимания. Всё это было пустое. Попытки каким-то образом ответить на них во дворе ни к чему не приводили. Сёмка делал вид, что видит её впервые. Хоть красотой Светка не отличалась, но была вовсе не дурой. В сёмкину сторону с той поры она глядеть не глядела. Да и Сёмка прекрасно понимал, что все его шуры-муры в адрес соседки были не более чем упражнениями для разминки мышц.

Но тут случилось нечто выходящее из ряда вон. Светка забыла про носки и вытаращилась на него, развесив уши. Ещё бы, из его уст лился медовый голос, подслащённый звуками оркестра. Пока она пыталась понять, что и откуда растёт, Сёмка окончательно вошёл в раж. Он открывал рот не просто синхронно, а с вдохновением и самозабвенно. Наконец-то его богатейшая «мымыка» нашла достойное применение. Это был его звёздный час. Фанера торжествовала триумф, и Сёмка не раз повторял его в открытом окне перед случайными прохожими. Дальше этого дело не пошло. Его успех был преждевременным. Тогда ещё был спрос на голоса, и промышленного применения его открытие не нашло.

Эра магнитной плёнки едва только забрехала вначале пятидесятых. Магнитофон был редкой и дорогой игрушкой не каждому по карману. Одной из счастливых обладательниц чуда была Галка. Как она попала в нашу орбиту, трудно ска-

зять. Вероятней всего из-за магнитофона. Плотная невысокого роста с широким лицом в венчике чёрных всклокоченных волос привлечь чем-либо другим она вряд ли могла. Ничего о ней мы больше и не знали. Да нам этого и не надо было. Обитали они в маленькой, скудно обставленной комнатёнке на первом этаже, на Житомирской рядом со сквером. Здесь, где теперь стекляшка выставочного зала торговой палаты, когда-то стояла церковь Сретения. Сотая реплика Айя-Софии в исполнении местного архитектора Николаева, судя по открыткам, удачно вписывалась в мыс на слиянии Стретенской и Житомирской. Но жить храму долго не судилось. В тридцатые в горячке богоборчества его снесли. А после войны разбили цветник с петуниями и бетонными вазами под антик. К скверу глухой стеной примыкал галкин дом. В программу нашего вечернего променада входило предстояние у окон обладательницы редких записей. Как только спускались сумерки, Галка запускала катушки бобин и устраивалась на подоконнике, опершись на локти. Один за другим шумно проносились троллейбусы, обдавая ветерком и пылью прохожих, а в полумраке комнаты священнодействовал магнитофон. Из его недр в пространство изливалось нечто похожее на музыку. Записи из прямого эфира хрипели и трещали взрывами атмосферных помех, но отличить Эллу Фитцджеральд от Луи Армстронга всё же было возможно. Мы прилипали к окну и с благоговением внимали шумному многообразию звуков, Галка из комнаты, мы снаружи на улице. Между нашей троицей устанавливалась настоящая мистическая связь. Мы понимающе переглядывались, глазами отмечали удачный пассаж, восхищённо качали головой, поджимали губы. То был язык знаков, понятных только посвящённым. Со стороны всё напоминало тайный совет заговорщиков. Сёмка и я, Галка с отрешённой улыбкой Будды на круглой физиономии и свинговые ритмы оркестра. Самозабвенное растворение в музыке имело ещё и символический смысл. Это было приобщение к другому идеальному миру. Живая его пульсация, запечатлённая на плёнке, подтверждала реальность существования далёких неведомых стран. Яркая и красивая жизнь манила иллюзиями и несбыточными мечтами. В экстатическом транс торчали мы у окна битый час. Галку распирало сознание собственной значимости. Подобно сирене она притягивала поклонников джаза со всего околотка. И чрезвычайно этим гордилась. Услышать такую музыку больше было негде. На смену нам причаливали другие, а мы, перегруженные эмоциями, отдавали швартовы и брели по курсу дальше по полуосвящённой улице.

Попытки власти, взять под контроль мозги, в конце концов, оказались неэффективными. В ногу с веком меры явно не шагали и попахивали нафталином бабушкиного сундука. Даже в достопамятные времена царя гороха революционеров-демократов схожими методами не могли перевоспитать. А нас и подавно. Вбивали в головы одно, а оседало совсем другое. Жизнь не стояла на месте. Средства информации здорово рванули вперёд. Обуздать радиоэфир не удавалось, несмотря на мощные глушилки. А это не осталось без последствий. Капля долбит камень. Грандиозный социальный эксперимент в отдельно взятой стране и так понемногу начинал давать крен и трещины в корпусе. Как сорвавшийся с орбиты космический корабль он постепенно терял признаки управляемости и неуклонно приближался к гибели в плотных слоях атмосферы. Конечно, изолированность от мира туманила разум. Убедить любого можно было в чём угодно. Но пропасть между словами и делами вызывала кучу вопросов. Заклинания на счёт классовой борьбы и всего такого прочего не могли дать вразумительного ответа. И искали его отнюдь не на партсобраниях или в газетах.

Радиола «Урал» была укомплектована приёмником с коротковолновым диапазоном. Пройти мимо такой приманки мы никак не могли. Гуляя по эфиру, рано или поздно мы должны были наткнуться на Би-би-си или «Голос Америки». В конце концов, так оно и вышло. Прильнув ухом к динамику, мы ежедневно сквозь шум глушения вслушивались в запретную информацию. Она легко находила отклик в наших душах.

Стоя у плиты на кухне старик Шапиро никогда не молчал. Мария Моисеевна, его дочь, считала, что у отца поехала крыша. Она, конечно, никому об этом не сообщала, но и так было видно.

— Папа, — говорила она, — ты бы всё мог делать без лишних слов. Все бы от этого выиграли. Особенно твой обед.

Старик никому не доверял приготовление пищи. Он считал, что кто-либо другой обязательно допустит какую-нибудь оплошность в ритуале и у него с небесами могут возникнуть непредвиденные осложнения, а это было вовсе ни к чему. Вереница мыслей вырывалась наружу потоками слов. Ему было безразлично, кто рядом. Иногда казалось, что он говорит сам с собой. Он вещал как библейский пророк. Речения были загадочны и непонятны. Но накрепко оседали в голове, тревожили и заставляли всё время к ним возвращаться. Смысл мудрёных сентенций раскрывался не сразу. Чем больше я размышлял над ними, тем больше находил в них разумности. Нет, старик вовсе не выжил из ума. Просто его речи нуждались в толковании. Вероятно, я многое додумывал, но мысли его сами собой выстраивались в логический ряд. Он считал, что вся мудрость человечества дана в равной степени каждому. Только один в силах её извлечь, а у другого она до конца дней так и пылится в голове невостребованным грузом как на складе. Разница лишь в кладовщике. Кто шире распахнёт дверь, тому и карты в руки.

— Не ты открываешь истину, а истина открывает тебя — говорил он. — Догадка она только придаёт смысл и мнение о том, о сём, пятом и десятом.

Это било в точку. Новая информация словно приотворяла у меня какие-то клапаны в глубинных пластах и поднимала на поверхность сознания ответный импульс. С удивлением я отмечал, что любая новая мысль поселяется во мне не загадочной незнакомкой, а давней приятельницей, вроде знал её сто лет. Словно минуто назад она вышла за хлебом и тут же возвратилась.

Вражеские голоса из-за бугра не открывали ничего нового. Они только подтверждали сомнения и предположения. Конечно, о себе человек может воображать всё что угодно, но по-настоящему его могут оценить только другие. Это, наверно, и есть истинное твоё зеркало. В глазах остального цивилизованного мира мы выглядели не очень презентабельно. По западным меркам наше передовое общественное устройство оказалось более чем анахроничным. Попытка перепрыгнуть капитализм не удалась. Западные социалистические ценности были не по зубам недавним крепостным. Феодалный менталитет смог переварить лишь революционную риторику. Сущность оставалась прежней. С чего начали, тем и кончили. Бог здорово подшутил над нами. По идеальному проекту в горячем энгуизме мы воспроизвели одну из самых жестоких восточных деспотий прошлого, чуть ли не шумерскую. Что-то вроде общежития семейного типа с комендантом во главе. Это было общественное устройство с товарным распределением, где и деньги практически были лишними. В соответствии с марксисткой терминологией всё это называлось демократией и диктатурой пролетариата. Это и в самом деле была диктатура, но только диктатура одного человека. Ещё до переломного момента войны

персона вождя и учителя вошла в фазу обожествления. Победа прочно утвердила его в ранге небожителя. Перед портретами Сталина только что не падали ниц. Наш бездомный религиозный инстинкт, наконец, обрёл надёжную гавань. Нам просто необходимо было чему-либо или кому-либо поклониться. Религия была у нас в крови. Высшая цель, освобождение всего остального мира от пут капитализма, объединяла и оправдывала нашу нищенскую жизнь. В большинстве все этому верили. В ответственной миссии перед человечеством были убеждены и наши руководители. Люди в общем недалёкие, они пребывали во власти канонизированной революционной доктрины. У них был и свой козырь — коммунизм. Светлое будущее ожидало человечество впереди. О нём без устали трезвонили денно и ночью на всех перекрёстках. Конкретные анкетные данные будущего исчерпывались формулой — от каждого по способности, каждому по потребности. Остальное тонуло в дымке неопределённости. Туманным пятном на горизонте. Чем ближе к нему подступались, тем дальше оно отдалялось в светоносную даль. Если бы реконструировать коммунизм по Марксу, как по библейским описаниям пытаются сегодня воспроизвести Ноев ковчег, то получился бы образцовый концлагерь. По технике безопасности каждому из его обитателей полагалось бы ещё вливать ежедневную порцию счастья внутримышечно или таблетками. Иначе от тоски все бы запили и разнесли всю эту музыку в щепы в ближайшую пару недель.

Каждому обещанное светлое будущее виделось по-своему. Шкутихе, например, коммунизм представлялся огромной сценой, где она, наконец, могла бы развернуться в полную силу своих способностей. В расшитом блёстками платье каждый вечер она услаждала бы всех романсом «Я под маской Коломбины» под собственный аккомпанемент на гитаре.

Владимиру Яковлевичу, тоже при нулевых способностях, в потребностях числилась студия звукозаписи с микрофонами. Поставленным дикторским голосом вешал бы он городу и миру ежедневно свои глубокомысленные кухонные прозрения. Например, когда нас затопили соседи сверху, он среди всеобщей суматохи с философской невозмутимостью изрёк «не спросивши броду, не лезь в воду». Берта Ароновна, его жена, заведующая детским садом, видела в нём кладёзь мудрости и знания.

Вообще наши потребности значительно превышали возможности. Как в старом анекдоте, когда одна дама в трамвае в сердцах посетовала:

— Боже мой, никто места не уступит! Интеллигенты совсем перевелись!

На что пассажир в бабочке и шляпе, отложив газету в сторону и сняв пенснэ, сообщил:

— Мадам, интеллигентов до хрена, местов нет!

Так оно было и в действительности. Количество мест с обслуживанием “всё включено” явно было в обрез. Распределителей и четвёртого управления едва хватало правящей верхушке с роднёй. Сделать прикидку, приблизительную калькуляцию светлого будущего никто никогда не пытался. Даже при самом благоприятном раскладе было очевидно: количество желающих слишком превышает наличие свободных мест. Никто этого не брал в голову. Коммунизм виделся неким подобием рая господнего на земле. В библейском раю все проблемы решались сами собой. Он был нематериален. Но на земле сразу возникла бы куча вопросов, хотя бы относительно содержания светлого будущего в надлежащем порядке. Одни коммунальные услуги вылетали бы в копеечку. Но кто об этом задумывался? Передранное с библейских райских кушей видение земного парадиза все насущные заботы

оставляло за кадром. Еда, одежда, крыша над головой, экология, энергетика — всё пролетало мимо. Будто ничего похожего и вовсе не существовало. При внимательном дотошном рассмотрении коммунизм оказывался всего лишь чем-то вроде сказки на ночь, досуговой игрой воображения. Это был миф чистой воды, порождение коллективного сознания полуголодной массы, измотанной войнами и революциями, хрупкая мечта об отдохновении от забот и тяжкого труда.

В общем, пудрили нам мозги, как хотели. Как выяснилось впоследствии вращали обоюдно. Недоверие к доморощенному социализму работало на встречный миф о рае по ту сторону железного занавеса. Из-за бугра легенду о золотом Западе с молочными реками и кисельными берегами поддерживали, как могли. В красках расписывали прелести и соблазны сладкой жизни в свободном мире. Пользовались моментом. Попробовать на зуб тогда всё равно никто бы не смог, как ни старался.

Мы жили в мифологическом пространстве и были разменной монетой в большой игре за власть над миром. Мифы требуют веры, а не размышлений, и мы отдавали им должное, легко принимая желаемое за действительное. Хотя вроде и были способны оперировать фактами, сопоставлять и делать выводы, мыслить и даже анализировать, но, к сожалению, задним числом.

Мой друг историк видит сейчас всё совершенно в ином свете. Он из другого времени. Он молод. Мифология коммунистической доктрины для него мертва. И это даёт возможность препарировать историю трезво без эмоций. Многое, о чём мы не догадывались, поднимает его над временем. С других позиций можно охватить прошлое и настоящее как из космоса. Из заоблачных высот наша история видится ему грандиозной гладиаторской ареной, где идёт постоянная схватка азиатского и европейского начал. Какое берёт гору, то и заставляет плясать под свою дуду, окрашивает время в свой цвет. Большевики выпустили из подполья подавленный азиатский синдром, дремавший в ожидании своего часа. Лавина снесла все европейские наработки Петра последней четверти тысячелетия. Даже столицу снова перенесли из европейского Петербурга в азиатскую Москву.

Победа качнула мятник ещё дальше в тёмные допетровские времена самодостаточности и изоляции. Дело зашло далеко. Если бы в те времена советская империя вдруг снялась с якоря и полетела в тартарары, никто бы в мире ничего и не заметил. Настолько мы были сами по себе.

Но всё дело, считает мой друг, в специфическом недуге нации. Он метастазами пронизывает все поры и стал застарелой хронической болезнью на все времена. Идея первородного превосходства над другими сидит в каждом народе. Но бациллу имперской мании величия вместе с орлом-мутантом о двух головах занесла на эти земли Софья Палеолог, дочь последнего византийского императора, вместе с компанией бездомных обломков константинопольского двора. После краха империи надо было где-то осесть, да и царевну пристроить. Бывалым интриганам убедить доверчивых москвитов, что их родина после Константинополя стала третьим Римом, было проще пареной репы. И не такое проворачивали. В конце концов, вера одна. В мире остался единственный бастион православия. Кому же ещё может принадлежать византийское наследство? Идея манной небесной легла на душу. Эстафету передали в нужные руки. Почва была благодатной. Призрачное видение замаячило перед глазами тёмных аборигенов вселенскими Нью-Васюками с золотыми маковками церковей по всей земле. Это было озарение, момент истины, каким можно было объяснить всё: нищету, отсталость, голод. Оказывается всё спущено свыше, всё следует претерпеть ради одного — спасения чело-

вечества. С амвонов высшая цель объявлялась божественной миссией Москвы, истинным её предназначением. Нужно ли это всем остальным, или не нужно — никого не спрашивали! Других вариантов ведь не ведали. Только бы выполнить волю божью, осчастливить мир, а там трава не расти.

Мой друг твёрдо убеждён, что именно оттуда идея третьего Рима, идея имперского превосходства и мессианства, пошла гулять по Московии и продолжает своё победное шествие до сих пор. Время от времени болезнь обостряется и являет себя на свет в самых разных, иногда совсем неузнаваемых обличьях. В нашем веке историческим маскарадом служил для неё большевистский реквизит, а сущность оставалась прежней. Только кресты заменили звёзды и красные флаги. Роль императора, наместника бога на земле исполнял Иосиф Джугашвили, сценическое имя Сталин.

Ничего похожего тогда у нас и отдалённо не мелькало в голове. Не хватало ни знаний, ни дистанции. Да и информация была куцей. Охватить такое можно только издали. А наши с Сёмкой виртуальные открытия, хотя и сворачивали мозги набекрень и приятно щекотали нервы, были местного значения. На жизнь никакого влияния не имели. Разве только однажды.

В марте пятьдесят третьего мы, как всегда, готовились к сёмкиному рождению. И тут на тебе — совсем некстати смертельно заболел вождь. Сводки о здоровье передавались каждый час. Одно было ясно: на этом свете он — не жилец. Если вообще уже не отправился к праотцам. Официальным сообщениям никто не доверял. Они вполне могли быть позавчерашней липой, чтобы подготовить народ. Наподобие того, как готовили Нюсю сверху к сообщению о смерти зятя. Была ещё Нюся снизу, но у той было всё в порядке. Нюся сверху слыла большой хозяйкой и заря ничего не выкидывала. Из апельсиновых корок делала цукаты, из гнилых помидоров варила кетчуп, а в картофельной кожуре не то мыла голову, не то парила ноги. Но особенно славилась она сверхчувствительностью. Из сочувствия она могла пустить слезу по самому пустячному поводу, просто за компанию. Подготовить её к несчастью взялось несколько доброхотов. Старались всюю. Старания не прошли втуне. Целый месяц Нюсю откачивали в больнице скорой помощи на Рейтарской. Сказать бы ей всё сразу, может быть, обошлось бы и без последствий.

Тут тоже тянули резину, и атмосфера была накалена до предела. Смерть божества и заступника ничего хорошего не сулила.

Наверное, никто больше не желал так сильно великому вождю и учителю протянуть ещё хоть пару деньков на этом свете, чем мы с Сёмкой. Очень хотелось погулять на именинах. Ведь во время траура всякие празднества естественно были бы попросту опасны. Да и кто бы захотел рисковать!

(окончание следует)



Наталия Гинзбург

МОЙ МУЖ*

Перевод с итальянского Моисея Бороды

Мне было двадцать пять лет, когда я вышла замуж. Выйти замуж я хотела уже давно, и всё это время думала с каким-то угнетённым, подавленным чувством, к которому примешивалось унижение, что очень больших шансов на замужество у меня нет. Сирота, без отца и матери, я жила вместе с сестрой в провинции, в семье моей уже пожилой тётки. Жизнь наша протекала монотонно, и кроме поддержания чистоты в квартире и вышивок гладью на огромных скатертях, с которыми мы потом не знали, что делать, никаких особенных занятий у нас не было. Время от времени приходили гости, но разговоры с ними сводились к тем же скатертям.

Человек, который захотел на мне жениться, появился в нашем доме случайно. Связано это было с тёткиной усадьбой, которую он хотел купить. Не знаю, откуда он об этой усадьбе узнал. Работал он врачом в небольшой деревушке, но был достаточно богат. Он приехал на автомобиле, и, так как шёл дождь, моя тётка пригласила его остаться на обед. Приезжал он ещё несколько раз, и в конце концов сделал мне предложение. Я не скрывала, что небогата. Но он сказал, что это не имеет для него значения.

Моему мужу было тридцать семь. Высокого роста, элегантный, волосы с проседью, очки в золотой оправе, серьёзный, сдержанный, но быстрый в реакциях — качества, по которым узнаётся человек, привыкший назначать лечение пациентам. Был он очень уверен в себе. Любил, стоя посреди комнаты, заложив руку за воротник рубашки, молча смотреть испытующим взглядом, как бы допытываясь до чего-то.

До моего замужества мы едва говорили друг с другом. Он не целовал меня, не дарил мне цветы, вообще не делал ничего из того, что обычно делают женихи. Единственное, что я от него узнала — это то, что он живёт в селении в огромном старинном доме, окружённом большим садом, и что у него есть двое слуг — молодой человек небольшого роста и состарившаяся служанка по имени Феличетта.

Было ли что-то во мне, что могло его заинтересовать, вызвать неожиданную любовь ко мне, или он просто хотел жениться — не знаю. Я попросилась с тетей, он усадил меня в его забрызганную грязью машину, сел сам — и мы поехали по обсаженной деревьями ровной, гладкой, однообразной дороге, которая, как я понимала, ведёт к его дому.

Я смотрела на него. Широко раскрыв глаза, я долго с любопытством, может быть граничащим с дерзостью, рассматривала его из-под полы моей фетровой шляпы. Он обернулся в мою сторону, улыбнулся, пожал мне руку и сказал: "Надо бы нам немного познакомиться друг с другом".

Нашу первую брачную ночь мы провели в отеле в одном из селений недалеко от нашего. На следующее утро мы должны были ехать дальше, к его дому. Я поднялась в комнату — мой муж в это время заправлял машину бензином — сняла шляпу и посмотрела на себя в огромное зеркало, в котором могла видеть себя всю. Я знала, что я некрасива, но лицо моё было ярким и живым, я была высокого роста,

и выглядела в новом сером костюме мужского покроя привлекательно. Я чувствовала себя готовой любить этого человека — если он мне в этом поможет. Он должен мне помочь. Я должна заставить его это сделать.

Назавтра, к моменту нашего отъезда, в наших отношениях не изменилось ничего. Мы едва обменялись несколькими словами, между нами не промелькнуло ни искры, ни лучика света. Девушкой я думала, что то, что произошло сейчас между мной и моим мужем, должно изменять и мужчину, и женщину — оттолкнув или наоборот, притянув их друг к другу. Теперь я поняла, что это может быть и по-другому. Меня передёрнуло от озноба, хотя я была в пальто. Нет, он не изменился, не стал другим.

К его дому мы подъехали в полдень. Феличетта ждала нас у ворот. Седая, маленького роста горбунья, с манерами, сочетавшими хитрость и угодливость. Дом, сад и Феличетта оказались именно такими, какими я их себе представляла. Но внутри дом был совершенно лишён обычной для старинных домов мрачности. Это был просторный, светлый дом, с белыми занавесками и плетёнными соломенными креслами. Стены и ограда были увиты плющом и розами.

Передавая мне ключи, Феличетта, шла за мной из комнаты в комнату крадучись как кошка, я же чувствовала себя счастливой и готовой показать моему мужу и всем другим, на что я способна. Я не была ни образованной, ни даже, может быть, умной, не было у меня и опыта управлять домом по всем правилам. Но моя тётя меня чему-то научила. Я смогу выполнять мои обязанности по дому, и мой муж увидит, что я это могу.

Так началась моя новая жизнь.

Муж приходил домой только к вечеру. Я занималась работой по дому, присматривала за приготовлением обеда, готовила сладости и варенья. Мне нравилось работать в саду вместе со слугой. С Феличеттой я ссорилась, а вот со слугой мы ладили. Когда он, отбрасывая кверху свой чуб, подмигивал мне, в его лице появлялось что-то, что приводило меня в радостное настроение.

Я совершала долгие прогулки по деревне, вступала в разговоры с крестьянами; задавала им вопросы, они спрашивали о чем-то меня. Но когда наступал вечер, я, сидя у сложенной из майолики печи, чувствовала себя одинокой, тосковала по моей тётке и моей сестре, и хотела быть, как прежде, с ними. Я вспоминала, как мы с моей сестрой раздевались перед сном в нашей комнате, вспоминала наши железные кровати, наш балкон с видом на улицу, на котором мы в безмятежном настроении сидели по воскресным дням. В один из таких вечеров я расплакалась.

Неожиданно вошёл мой муж. Был он бледен и выглядел очень уставшим. Увидев мои растрёпанные волосы и слёзы на щеках, спросил: Что с тобой? Не ответив, я опустила голову. Он сел со мной рядом и, лаская меня, спросил: "Трустно тебе?" — Я кивнула. Он обнял меня, прижал к себе, а потом, отпустив, вдруг встал, подошёл к двери и закрыл её на ключ.

— Давно хотел поговорить с тобой об этом, но мне было трудно начать этот разговор, поэтому и молчал до сих пор. Каждый день я говорил себе "сегодня", и каждый день откладывал, мне казалось, что я не найду нужные слова, я боялся тебя.

Замужняя женщина боится мужа, но непонятно, боится ли в свою очередь муж своей жены, а если боится, то в чём, в силу чего он может испытывать страх перед ней.

О многом я хотел поговорить с тобой. Если смогу об этом говорить, если ты постепенно поймёшь меня, то может быть всё у нас будет хорошо, и твоя меланхолия пройдёт.

Когда я впервые увидел тебя, я подумал: "Эта женщина мне нравится, я хочу полюбить её, хочу, чтобы и она меня любила и мне помогала, хочу быть с ней счастливым". Может быть тебе кажется странным, что я нуждаюсь в помощи, но это так — Говоря, он комкал в пальцах складки моего платья.

— Здесь, в селении живёт женщина, которую я любил. Сказать о ней „женщина“ можно только в шутку. Речь идёт не о женщине — о девочке, о маленьком грязном животном, дочке здешнего крестьянина. Два года тому назад я вылечил её от тяжёлого плеврита. Ей было тогда пятнадцать.

Родители её — бедные люди, даже больше, чем бедные — нищие, с дюжиной детей. Покупка лекарства — вещь для них неизвестная. Я снабжал девочку лекарствами, и когда она выздоровела, я стал искать её в лесу, куда она ходила за дровами — искать, чтобы дать ей денег, на которые она купила бы себе еду.

У себя дома она не знала другой еды, кроме хлеба и картошки с солью — впрочем, в этом нет ничего удивительного: тем же самым питались и её братья, и отец, и мать, да и большинство их соседей. Если бы я дал её матери денег, она бы постаралась поскорее спрятать их под матрасом и не купила бы на них ничего.

Видя, что девочка стесняется идти и что-то для себя покупать — из страха ли, что мать об этом узнает, а может быть, желая спрятать деньги, которые я ей дам, под матрас, как это всегда делала её мать — я сказал ей, что если она не будет хорошо питаться, она опять заболеет и умрёт. И я каждый день носил ей еду.

Вначале она стыдилась есть при мне, но потом привыкла и ела, а насытившись, ложилась на землю и нежилась под лучами солнца. Так мы проводили целые часы вместе, я и она. Мне необычайно нравилось смотреть, как она ест, это время было для меня самой лучшей частью дня, и когда я был один, я думал о том, что она ела сегодня и что я принесу ей поесть завтра. Так началась и наша физическая близость. Каждый раз, когда это было возможно, я поднимался в лес, ждал её, она приходила, но я никогда не знал, приходила ли она, чтобы поесть или чтобы заняться со мной любовью, или из страха, что я рассержусь, если она не придёт. Но я — как я её ждал!

Когда в твоём чувстве к другому соединяются сострадание, жалость к нему и угрызения совести, ты становишься рабом, ты уже не можешь найти покой. Я просыпался ночью и думал, что будет, если она забеременеет и я должен буду жениться. Мысль о том, чтобы делить с ней мою жизнь, приводила меня в ужас — но в то же время я страдал, представляя её замужем за другим, в доме другого; любовь к ней отнимала у меня все силы.

Увидев тебя, я подумал, что соединив мою жизнь с тобой, я может быть освобожусь от неё, забуду эту девочку. Я не хотел быть с ней, не хотел быть с Мариуччей, я хотел такую женщину, как ты, женщину, похожую на меня, взрослую, сознательную, отдающую себе отчёт в своих поступках. В тебе было нечто, что говорило мне: эта женщина может простить тебя, она согласится помочь тебе. Мне казалось, что даже если я и поступаю плохо по отношению к тебе, это не так значительно: мы постепенно станем друзьями, и всё это, всё, что меня мучило, уйдёт, исчезнет.

— Это может исчезнуть?

— Не знаю. Не знаю. С того дня, как я на тебе женился, я перестал о ней думать — думать так, как это было до женитьбы. И встречая её, я спокойно здоро-

вался, а она смеялась и вся краснела, и я говорил себе, что пройдёт несколько лет — и я увижу её замужем за каким-нибудь крестьянином, с детьми на руках, уставшую, сдавшуюся жизни. Но может быть, что-то перевернётся во мне, и я опять захочу пойти за ней в лес, слышать её смех, её речь на диалекте, смотреть, как она собирает ветки для домашней печи.

— Покажи мне её. Хочу с ней познакомиться.

На другой день мы вышли на прогулку, и он показал мне её, когда она проходила мимо. Это был моё первое "Хочу!" в нашем браке, и я испытала удовольствие оттого, что моё желание исполнено. Он спросил: "Ты не затаишь на меня обиду?" Я покачала головой. Я не ощущала в себе ни обиды, ни злости; я не знала, как назвать то чувство, какое я в этот момент испытывала — печаль и удовлетворение одновременно.

Было уже поздно, и когда мы вернулись домой к обеду, всё было уже холодным — но есть нам не хотелось. Мы спустились в сад и пошли к темневшему вдалеке лугу. Он держал меня за руку и говорил: "Знаю, что ты сумеешь понять". Ночью он просыпался несколько раз, и каждый раз, прижимая меня к себе, говорил: "Как же ты сразу всё поняла!"

В другой раз я увидела Мариуччу, когда она возвращалась от родника, неся наполненный водой большой медный кувшин.

На ней было бледно-голубое платье и чёрные чулки, на ногах — огромного размера мужские ботинки, так что она шла шаркающей походкой. Когда она увидела меня, её смуглое лицо покраснело, она обернулась и посмотрела на меня; несколько капель воды из кувшина упало на крыльцо её дома. Встреча эта так сильно меня впечатлила, что я попросила мужа остановиться и присесть вместе со мной на скамейку перед церковью. Но в этот момент кто-то позвал его к больному, и я осталась одна.

При мысли, что в один прекрасный день я, может быть, увижу Мариуччу в состоянии, когда она уже не сможет беззаботно ходить по этой дороге, меня охватило отчаяние.

Я думала, что в деревне, куда я ехала жить с моим мужем, я буду любима, буду в дружбе со всеми её обитателями, буду принята в любом её уголке как своя — и вот теперь то, что я узнала, отталкивало меня от них, отвергало меня навсегда.

Стоило мне выйти из дома, как я встречалась с ней, видела её полощущей в источнике бельё или волокущей огромный кувшин с водой или держащей на руках одного из её неумытых, грязно выглядящих младших братьев.

Как-то раз её мать, толстая крестьянка, пригласила меня зайти к ним на кухню, и я увидела Мариуччу стоящей за дверью. Она держала руки под передником и время от времени бросала на меня взгляд, одновременно и любопытствующий, и насмешливо-злой, и, в конце концов, я поспешно ушла.

Каждый раз, возвращаясь домой, я говорила мужу: "Сегодня я видела Мариуччу" — но он отводил взгляд, ничего не отвечая, пока однажды не сказал мне раздражённым тоном: "Ну и что, что ты её видела? Это прошлое дело, не надо о нём больше говорить". Кончилось тем, что я выходила из дома не дальше нашего сада.

Я была в положении, пополнела, отяжелела. Сидела в саду за шитьём. Всё вокруг дышало покоем: тихо шелестела листва на отбрасывающих тень деревьях, слуга мотыжил в огороде, Феличетта сновала между садом и кухней, где чистила и отполировывала медную посуду.

После того вечера, когда мой муж заговорил со мной о Мариучче, он перестал искать моего общества, был постоянно погружён в молчание, и когда я с ним

заговаривала, он поднимал на меня оскорблённый взгляд, как бы говоря: "Ты отвлекла меня своими легкомысленными разговорами от моих размышлений". И тогда я спрашивала себя, как же так получилось, что наши отношения настолько изменились? Что подумает о нас наш ребёнок, когда родится? Но потом я смеялась над этой своей мыслью: как это новорожденный ребёнок может о чём-то думать?

Ребёнок родился в августе. Приехали моя сестра и тётя, в честь крещения был устроен праздник, дом ходил ходуном, всё время кто-то приходил, кто-то уходил. Ребёнок спал в колыбельке у моей кровати. Розовое личико, руки сжатые в кулачки, прядка тёмных волос выпросталась из под чепчика. Муж каждую свободную минуту подходил, чтобы посмотреть на него; был он всё это время весел, смеялся, говорил о ребёнке со всеми.

В один из дней мы остались с мужем одни. Был полдень. Я лежала на кровати, вялая, уставшая от жары. Он смотрел на ребёнка, смеялся, касался его волос, ленты чепчика. Я вдруг сказала: "Не знала, что ты любишь детей". Он вздрогнул и обернулся ко мне: "Я не люблю детей, я люблю этого ребёнка, потому что он наш".

— Наш? Для тебя важно, что он наш, то есть мой и твой? Я что-то для тебя значу?

— Да, — ответил он как бы в раздумье, и сел ко мне на кровать. — Каждый раз, возвращаясь домой, я думаю, что встречу тебя, и думать об этом доставляет мне радость, мне становится тепло на душе.

— Ну а потом? — я спросила это тихим голосом, пристально на него посмотрев.

— Потом, рядом с тобой, я хотел бы рассказать тебе о том, что делал в течение дня, о чём думал — и это не получается, не знаю почему. А может быть, знаю. Потому, что что-то из того, что произошло за день, что-то из того, о чём я думал, я хотел бы скрыть от тебя, поэтому и не могу рассказать тебе ни о чём.

— В чём дело?

— В том, что я опять встретился с Мариучей в лесу.

— Я знала, что так будет, я чувствовала это уже давно.

Он наклонился ко мне, стал целовать мне руки.

— Помоги мне, прошу тебя, что я буду делать, если ты мне не поможешь?

Я оттолкнула его, крикнула ему в лицо: "Что мне сделать, чтобы помочь тебе?" — и разрыдалась. Муж взял Джорджию на руки, поцеловал его, передал мне и сказал: "Вот посмотришь, сейчас всё будет намного легче".

У меня не было молока, и мы взяли кормилицу из соседней деревни. Наша жизнь вошла в обычную колею.

Сестра и тётя уехали домой, я, вставая утром, шла в сад, мало-помалу возвращаясь к моим прежним привычкам. Но присутствие ребёнка изменило дом: в саду и на террасах были развешаны белые пелёнки, в коридорах то тут, то там мелькала бархатная юбка кормилицы, во всех комнатах дома были слышны распеваемые её звучным голосом песни. Была она уже не очень молодой. Толстая, гщеславная, она любила рассказывать о знатных домах, в которых бывала. Каждый месяц мы покупали ей новый вышитый передник и булавки для заколки платка.

Когда муж возвращался домой, я встречала его у калитки, мы шли вместе в комнату Джорджию и смотрели, как он спит, а потом шли ужинать, и я рассказывала ему, как кормилица ссорилась с Феличеттой, потом мы долго говорили о нашем ребёнке, о приближающейся зиме, о том, что надо вовремя заготавливать

дрова. Я рассказывала ему о романе, который читала, делилась с ним впечатлениями. Он обнимал меня за талию, ласкал, я прислонялась головой к его плечу.

Наши отношения, наверное, действительно изменились с рождением ребёнка. И всё же время от времени я — не могу сказать, почему — ощущала какое-то напряжение в наших разговорах, что-то принуждённое в его добром расположении, в его нежности. Ребёнок рос, понемногу прибавлял в весе, мне доставляло удовольствие видеть, как он, лёжа в кроватке, дрыгает ножками, но порой я спрашивала себя, действительно ли я его люблю. Иногда мне не хотелось подниматься по лестнице и идти в его комнату. Мне казалось, что он принадлежит другим — кормилице, Феличетте, но не мне.

Случайно я узнала, что отец Мариуччи умер. Мой муж мне ничего об этом не сказал.

Я одела пальто и вышла из дому. Шёл снег. Покойника похоронили уже утром. В тёмной кухне, окружённые соседями, сидели Мариучча и её мать, зажав в ладонях голову и время от времени испуская громкие крики, как это принято в деревне, когда умирает кто-то из домашних; братья, одетые в их лучшую одежду, грели у огня посиневшие от холода руки. Когда я вошла, Мариучча бросила на меня удивлённый взгляд, в котором на мгновение вспыхнула какая-то весёлость. Но длилось это один миг, и не задержавшись на мне взглядом, она вернулась к своим причитаниям.

С этой поры она ходила по деревне в тёмном платке. Всякий раз, встречая её, неприятно смущалась. Видя перед собой её чёрные глаза, её крупные белые зубы, выпирающие из несомкнутых губ, я чувствовала, как ко мне возвращается моё прежнее печальное настроение. Но когда я её не встречала, я редко о ней думала.

Через год я родила второго, снова мальчика. Мы назвали его Луиджи.

Моя сестра была уже замужем, жила далеко от нас, тётя не выходила из дома, а кроме мужа, мне не мог помочь при родах никто. Кормилица, кормившая нашего первенца, ушла от нас, и пришла другая, высокая и застенчивая девушка, которая привязалась к нам и оставалась у нас и после того, как Луиджи отняли от груди.

Мой муж был очень рад тому, что у него есть дети. Возвращаясь домой, сразу спрашивал о них, шёл к ним, забавлял их, пока им не приходила пора спать. Он любил их и, конечно, думал, что я люблю их ещё больше, чем он. И я любила их, но не так, как мне когда-то казалось, я буду любить моих детей. Что-то во мне молчало, когда они держали мою грудь. Они теребили меня за волосы, хватили за нитку ожерелья, порывались шарить в моём рабочем ящичке, я уставала от этого и звала кормилицу.

Иногда я думала, что я слишком печальна для того, чтобы иметь детей. — Почему ты печальна? — спрашивала я себя. — В чём дело? Нет у тебя причины быть такой грустной.

Как-то в один из солнечных осенних дней — мы с мужем сидели на кожаном диване в его кабинете — я сказала: "Мы уже три года как женаты". — "Да, правда. И видишь — всё сложилось так, как я думал, видишь, как мы научились жить вместе". — Я погладила его по руке. Он поцеловал меня, поднялся и вышел.

Прошло несколько часов. Мне захотелось немного пройтись, захотелось смотреть на текущую воду. Я вышла из дома, пошла по улице и потом по тропинке к реке. Прислонившись к деревянному парапету моста, я смотрела на медленно, спокойно перекатывающиеся через камни и траву тёмные волны. Ровный гул текущей воды туманил сознание, я почти засыпала. Потом мне стало холодно, и я уже

собралась уходить, когда вдруг увидела моего мужа, подымающегося по покрытому травой склону к лесу. Я заметила, что и он меня увидел. Он остановился, на миг постоял, неуверенный, что ему делать дальше, потом продолжил свой путь по склону, хватаясь за ветки кустов; наконец, он скрылся за деревьями. Я вернулась домой, прошла в его кабинет, села на диван, сидя на котором он только недавно говорил мне, что мы научились жить вместе. Теперь я понимала, что он имел в виду.

Что ж, он научился врать мне, но — говорила я себе — я уже больше не страдаю от его лжи. Моё присутствие в его доме вновь стало для него тяжёлым — но и я отношусь к нему хуже, чем прежде. Во мне всё как бы высохло, угасло. Я не страдаю, не чувствую душевной боли. Не только он обманывает меня, но и я обманываю его: уже не любя его, не чувствуя по отношению к нему ничего, веду себя рядом с ним так, как будто его люблю.

Внезапно раздался его шаг — он поднимался по лестнице. Войдя в гостиную, снял, не глядя на меня, куртку и надел свою старую тужурку из бумазеи, которую носил дома. Я сказала: "Хочу, чтобы мы уехали из этой деревни".

— Хорошо, если ты хочешь, могу поискать возможность работы в другом участке.

— Это ты должен этого хотеть, — крикнула я. И вдруг я поняла, что неправда то, что я не страдала: я страдала невыносимо, меня била дрожь.

— Ты сказал мне тогда, что я должна помочь тебе, что ты из-за этого на мне женился. Почему ты женился на мне? Почему?

— Ох, правда, почему? Какой ошибкой это было! — он сел и закрыл лицо руками.

— Не хочу, чтобы ты ходил к ней. Не хочу, чтобы ты с ней виделся.

Я наклонилась к нему голову, но он оттолкнул меня.

— Что ты для меня? Ты мне безразлична. В тебе нет ничего нового для меня, ничего, что могло бы меня заинтересовать. Напоминаешь мне мою мать и её мать, и всех женщин, живших в этом доме. Тебя не били в детстве, ты не страдала от голода. Ты не была вынуждена работать в поле с утра до вечера, под солнцем, обжигавшем спину. Да, твоё присутствие принесло мне покой, но не больше. Не знаю, что мне сделать: любить тебя не могу.

Он достал трубку, медленно, аккуратно, с неожиданным спокойствием в движениях набил её табаком и разжёг. Потом сказал: "В общем, все эти разговоры бесполезны, просто болтовня, не имеющая значения. Мариучча беременна".

Через несколько дней я уехала с детьми и кормилицей к морю. Поездку эту мы планировали задолго: дети были нездоровы, и им, и мне был нужен морской воздух. Муж собирался нас сопровождать и оставаться с нами на месяц. Но он не мог ни на что решиться, и в конце концов стало ясно, что он не поедет. Отправились мы зимой. Каждую неделю я писала мужу; он пунктуально отвечал. Письма наши были короткими — несколько фраз — и очень холодными.

Вернулись мы в начале весны. Муж встретил нас на вокзале. Когда мы ехали в его машине по деревне, я увидела Мариуччу; была она уже с большим животом. Несмотря на это, двигалась она легко. Беременность не изменила её, на вид она казалась, как и прежде, ребёнком. Изменилось только её лицо, на нём появилось новое выражение какой-то покорности и стыда. Увидя меня, она покраснела, но не так, как краснела раньше, с выражением дерзкой весёлости. И я подумала, что в скором времени я увижу её с грязным, неумытым ребёнком на руках, одетым в длинное, до пят платье, какое носят маленькие крестьянские дети, и этот ребёнок

будет сыном моего мужа, братом Луиджи и Джорджо. Я подумала, что не смогу вынести вида этого ребёнка в длинном платье, не смогу больше продолжать жить с моим мужем, не смогу оставаться в этой деревне. Наверное, я уеду.

Мой муж ходил как убитый. По целым дням от него нельзя было услышать ни слова. Не радовали его и дети. Он заметно постарел, стал небрежен в одежде, перестал бриться. Приходил домой поздно вечером и порой, не поужинав, сразу укладывался спать или всю ночь бодрствовал в своём кабинете.

Приехав, я застала дом в ещё большем беспорядке, чем до нашего отъезда. Феличчетта постарела, стала забывчивой, ссорилась со слугой, обвиняла его, что он много пьёт. Они обменивались ужасными оскорблениями, и я постоянно должна была их мирить.

Несколько дней подряд я была полностью загружена делами по дому: убирала, подготавливала дом к лету. Нужно было уложить в шкаф шерстяные одеяла, пальто, закрыть кресла белыми чехлами, выставить на террасу тенты, посадить в огороде семена овощей, подрезать розы в саду. В моей памяти ещё было то воодушевление, та гордость, с какой я делала всё это в первое время моего замужества. Прошло неполных четыре года — и как же я изменилась! Изменилась не только внутренне, но и внешне: теперь это был вид взрослой, зрелой женщины: причёска без пробора, волосы, лежащие на шее завязанным в узел пучком. Временами, разглядывая себя в зеркале, я думала, как плохо, как старо я выгляжу с такой причёской. Но мне больше не хотелось выглядеть молодой. Мне вообще больше ничего не хотелось.

В один из вечеров мы с няней сидели в столовой; она показывала мне, как делать петли при вязании. Дети спали. Муж был в отъезде: уехал в далёкую деревню к тяжело больному. Вдруг раздался звонок. Слуга, босой, поспешил к двери. Я тоже поднялась. У дверей стоял мальчик лет четырнадцати, в котором я узнала брата Мариуччи. Он сказал: меня послали за доктором, моей сестре плохо. — Но доктора нет дома.

Он пожал плечами, повернулся и ушёл. Через некоторое время он появился снова. — Доктор ещё не вернулся? — Нет. Я пошлю ему записку, предупрежу.

Слуга уже хотел идти спать, но я сказала ему, чтобы он оделся, сел на велосипед и поехал за доктором. Я поднялась к себе и начала уже было раздеваться, но мне было беспокойно на душе, меня охватило возбуждение, я чувствовала, что должна что-то сделать, что-то предпринять. Я накинула на голову шаль и вышла из дома.

Я шла по деревне в полной темноте, на улицах не было ни души.

В кухне, сидя за столом, дремали братья Мариуччи. Перед дверью в комнату столпились, переговариваясь друг с другом, соседки. В комнате, в узком проходе между кроватью и дверью, металась, опираясь руками на стены и крича, Мариучча. Когда я зашла, она на мгновение пристально на меня посмотрела, не узнала, и продолжила, крича, метаться между кроватью и дверью. Но мать бросила на меня нехороший, злобный взгляд.

Я села на кровать. — Доктор опаздывает, госпожа? — спросила акушерка. — Девочка мучается уже несколько часов, потеряла много крови. Эти роды протекают нехорошо.

— Я послала за доктором. Он должен скоро быть, — ответила я.

Вдруг Мариучча упала без сознания. Мы положили её на кровать. Нужно было что-то взять в аптеке, я вызвалась пойти туда и принести. Когда я вернулась,

Мариучча уже пришла в себя и начала вновь кричать от боли. Щёки её пылали, она вздрагивала всем телом, била руками по одеялу, которым была покрыта, время от времени впивалась руками в спинку кровати и кричала. Акушерка принесла бутылки с водой. — Плохое дело, — сказала она мне тихо. — Но что-то же надо делать. Если мой муж опаздывает, надо позвать другого врача. — Врачи говорят красивые слова, а больше ничего, — произнесла мать и бросила на меня взгляд, полный горечи.

— Все кричат, когда рожают, — сказала одна из стоящих у двери женщин.

Когда Мариучча приподнялась на постели, я увидела, что простыня пропиталась кровью, кровь была и на полу. Акушерка не отходила от кровати и всё повторяла: "Крепись, крепись".

Дыхание у Мариуччи сделалось прерывистым и хриплым, как при рыдании. У глаз появились тёмные круги, лицо, всё в поту, потемнело. Теперь акушерка говорила уже не "крепись", а "плохо идёт, плохо"... Наконец она приняла ребёнка, взяла его в руки, подняла, посмотрела на него, сказала: Мёртвый, — и бросила его на постель, в угол.

Я увидела лицо крохотного китайца. Женщины завернули мёртвого ребёнка в шерстяное тряпье и вынесли из комнаты.

Мариучча уже не кричала, лежала смертельно бледная, как будто кровь больше не имела сил течь в её теле. Я вдруг заметила пятно крови на моей блузке. — Промоете водой — отойдёт, — сказала акушерка. — Ничего, ничего, — ответила я. — Вы мне этой ночью очень помогли, очень Вы мужественная, госпожа. Настоящая жена доктора.

Одна из соседок непременно хотела заставить меня выпить кофе. Я прошла на кухню, выпила налитый в стакан тёплый, почти прозрачный кофе. Когда я вернулась, Мариучча была мертва. Мне сказали, что она умерла, не придя в сознание.

Женщины заплели ей волосы в косу, поправили под ней матрас.

Наконец появился мой муж: бледный, запыхавшийся, в пальто нараспашку, в руке — кожаный кейс. Я сидела у кровати Мариуччи, но он даже не взглянул на меня, прошёл в середину комнаты, остановился. Мать Мариуччи подошла к нему, вырвала у него из рук кейс, швырнула его на пол и сказала: "Не пришёл даже, чтобы на неё умирающую посмотреть!"

Я подняла кейс, взяла моего мужа за руку и сказала: "Идём отсюда". Мы прошли через кухню, мимо что-то шепчущих женщин, и вышли на улицу. Перед домом я остановилась; у меня вдруг мелькнула мысль, что я должна показать ему крохотного китайца. Но потом я подумала, что его уже унесли — кто знает, куда.

На пути к дому я старалась прижаться к нему, но он не отвечал на эти попытки; его рука бессильно, безжизненно висела, едва касаясь меня. Я поняла, что он не хочет говорить со мной, не хочет даже видеть меня, что я сейчас должна быть с ним очень осторожной. Мы прошли вместе до дверей нашей комнаты; там он оставил меня и поднялся к себе в кабинет — как он это делал всё последнее время.

Было раннее утро, на деревьях уже начали петь птицы. Я легла. Внезапно я почувствовала огромный прилив радости, счастья. Я никогда не думала, что можно быть такой счастливой оттого, что кто-то умер. Я не чувствовала угрызений совести. Давно я не была счастлива, и это чувство было сейчас для меня новым; оно поразило меня — и преобразило. Меня распирало от гордости за то, как я себя держала, как вела себя в эту ночь. Я понимала, что мой муж не может думать об этом сейчас, но

позже, когда он немного придёт в себя, вновь будет собой владеть, он обдумает всё и поймёт, что я, в моём радостном возбуждении, ощущении счастья, была права.

Внезапно в тишину дома ворвался звук как от удара. С криком вскочила я с постели, крича, сбежала по лестнице, бросилась в кабинет — и увидела моего мужа, неподвижно лежащего на спине, с раскинутыми по сторонам руками. На щеках и губах так хорошо знакомого мне лица — кровь.

Дом наполнился людьми. Я должна была говорить, отвечать каждому на вопросы. Детей увели.

Двумя днями позже я проводила моего мужа на кладбище. Вернувшись, я в каком-то напряжённом сосредоточении обошла все комнаты, думая о том, что вот дом этот мне нравится, но у меня нет права в нём жить, потому что он не принадлежит мне и потому, что я делила его с человеком, который умер, не обменявшись со мной ни словом. Но куда мне идти — я не знала. Не было ни одного уголка на свете, куда бы мне хотелось бы уйти.

* Natalia Ginzburg. Mio marito. (Natalia Ginzburg. Cinque romanzi brevi. I racconti)



Игорь Ефимов
ЗАКАТ АМЕРИКИ
Саркома благих намерений

(продолжение. Начало в №1/2015)

2. В УНИВЕРСИТЕТЕ

«Тургенев любит написать роман *Отцы с ребёнками*
Отлично, Джо! Пятёрка!
Лев Лосев

Когда тысячи эмигрантов Третьей волны начали прибывать в Америку из СССР в середине 1970-х, мера их подготовленности к вступлению в новую жизнь была очень различной. Кто-то едва-едва умел говорить по-английски, кто-то боялся всех чёрных и всех полицейских, кто-то не владел своим ремеслом на требуемом уровне. Врачам, инженерам, пилотам, юристам часто приходилось чуть ли не заново овладевать своей профессией. Но те, кого судьба так или иначе заносила в академическую среду, сталкивались с феноменом, к которому они были абсолютно не готовы.

Никто из нас не представлял себе, до какой степени американские университеты были захлестнуты марксистскими и социалистическими идеями всех возможных оттенков. В Советском Союзе мы знали, что проклинать буржуев, эксплуататоров, колонизаторов, капиталистов — дело кремлёвской пропаганды, и отшатывались от тех, кто употреблял этот жаргон в повседневной жизни. Встретаться в Америке с образованным, вежливым, приветливым, разумным человеком, который с убеждением повторял все антибуржуазные клише из газеты «Правда», было для нас каждый раз шоком.

Вспоминаю, как в Мичиганский университет в Энн Арборе приезжал из Канады профессор Питер Соломон — главный специалист по истории советской юстиции. Предложенная им лекция называлась «Возрождение законности при Сталине». Она была пересыпана цитатами из советских книг и журналов, из речей Вышинского, из постановлений Политбюро. После лекции я задал вопрос: «Использовали ли вы в своих исследованиях мемуары Авторханова, Аксёновой-Гинзбург, Льва Копелева, Надежды Мандельштам, Солженицына и других жертв этого возрождения законности?» «Ну, что вы, — отмахнулся профессор. — Ведь это всё книги предвзятых противников режима, написанные без правильного научного подхода».

В издательстве «Ардис» мне довелось выступать в роли редактора русского издания книги профессора Стивена Козна «Бухарин».¹ Автор пытался изобразить своего героя «хорошим коммунистом», который мог бы, придя к власти, повести Россию совсем по другому пути и позволил бы ей воспользоваться всеми плодами «правильно применяемых передовых идей марксизма и социализма». Если аргументов и цитат профессору не хватало, он вставлял «одна женщина на Красной площади сказала мне» — это должно было показать, как глубоко он погружался в глубь исследуемого предмета — Советской России.

В 1980 году славянская кафедра университета пригласила меня сделать доклад по моей книге «Без буржуев», только что вышедшей в Германии в издательстве «Посев».² Когда я дошёл до главы, объясняющей, почему в СССР нет безработицы (заводы должны были любой ценой увеличивать выпуск продукции, независимо от того, есть на неё спрос или нет), один слушатель встал и демонстративно покинул аудиторию. Потом мне объяснили, что это профессор, который уже много лет расписывал студентам все «преимущества положения рабочего класса при социализме».

Вообще говоря, находиться в оппозиции к правящему режиму — традиционная роль интеллигента в любой стране. Мы в СССР шёпотом на кухнях поносили своих правителей, американцы громко и красноречиво разоблачали своих. Так как в условиях Холодной войны противоборство с мировым коммунизмом часто использовалось как оправдательный аргумент в американской политике, университетский народ страстно искал идейных опровержений антикоммунистической пропаганды. В ответ на наши рассказы о родственниках, погибших в Большом терроре в 1937-1938, нам часто приходилось слышать в ответ: «Да, конечно, и у нас тоже были ужасные годы маккартизма. Все правители одинаковы, все отвратительны».

Сергей Довлатов писал мне в письме 1986 года: «Воннегут с женой однажды минут двадцать убеждали меня, что Сталин и Рейган — одно».³

В середине 1980-х Иосиф Бродский преподавал в одном из университетов штата Массачусетс. Как-то мы обсуждали с ним идейные веянья в академической среде, и я спросил:

— При твоём горячем антикоммунизме, при твоей открытости всему метафизическому и религиозному, как они тебя терпят?

— Как клоуна, — ответил он.

Советский пропагандный аппарат умело воздействовал на американскую профессуру. За опубликование антисоветской статьи исследователю могли закрыть въезд в СССР, лишить его возможности приезжать во главе группы студентов, что практически означало конец карьеры. Пекинское руководство шло ещё дальше: наказывало весь университет. Одному лингвисту из Стэнфорда было разрешено прожить полгода в глухой китайской деревне. Он, вернувшись, опубликовал статью о старинных диалектах, но не удержался — вставил описание абортов на восьмом месяце, проводившихся по приказу правительства. За это в визах было отказано стэнфордским археологам, историкам, географам. Они потребовали увольнения «безответственного» коллеги, и администрация удовлетворила их просьбу.

То, что мы застали в американских университетах 1980-х годов, было в значительной мере результатом настоящей студенческой революции, произведённой в 1960-х. Об этой революции написаны тысячи книг и статей, большинство — в тоне ностальгически восторженном. Участники вспоминают, как они устраивали демонстрации протеста против расизма и войны во Вьетнаме, требовали изменения учебных программ, терроризировали профессоров и администрацию, нарушали все писанные и неписанные правила. Но раздаются и трезвые голоса, вспоминающие эти бунты с горечью и осуждением.

Профессор Элан Блум в эти годы преподавал в Корнельском университете. В своей книге «Закрывание американского разума» он писал: «Сейчас модно говорить, что перемены несли много положительного — большая открытость, меньше жёсткости, свобода от авторитетов... Однако, что касается университетов, то для них всё это обернулось катастрофой... Отмена существовавших учебных программ не улучшала качества образования. Невозможно заменить что-то, не предлагая ни-

чего взамен... Наркотики стали частью жизни; все ограничения в сексуальной жизни были отброшены; требования академической успеваемости ослаблены до предела. Все эти привилегии маскировались красивыми ярлыками: индивидуальная ответственность, духовный рост, приобретение жизненного опыта, самовыражение, раскрепощение. Никогда в истории людям не удавалось достичь такого совпадения морального и приятного». ⁴

В эти же годы начали набирать силу идеи «мультикультурализма». Объявить какие-то творения или какие-то стадии цивилизации выше других означало впасть в грех *элитизма*. Вигвамы индейцев, кибитки кочевников, чукотские яранги, иглу эскимосов должны были рассматриваться в истории культуры с таким же почтением, как Парфенон, Колизей, собор Святого Марка, Ватикан. Тот же культ равенства, который насаждался в школах являл себя с удвоенной силой в университетах.

С другой стороны, именно между университетами шла и идёт скрытая, но яростная борьба за то, чтобы подняться на несколько ступенек выше в ежегодно публикуемых списках общенационального ранжирования высших учебных заведений. Гарвард, Йейл, Корнел, Коламбия, Принстон, Стэнфорд и несколько других прочно удерживают свои позиции на вершине этой пирамиды. Остальные же постоянно прилагают усилия к улучшению своей репутации. Ибо каждый подъём на следующую ступеньку улучшает шансы на получение государственных грантов на всевозможные исследования и даёт возможность повышать плату, взимаемую со студентов.

Репутация университетского преподавателя в огромной степени зависит не от его педагогических талантов, а от его умения придумывать эффектные темы для научных исследований и добывать субсидирование для них. В СССР мы любили потешать себя анекдотами о темах научных диссертаций типа «Роль металлического стержня в ящике библиотечного каталога». Но и в Америке множество так называемых «научных исследований» не поднимаются над этим уровнем. Большие средства выделялись Национальным гуманитарным центром (National Endowment for Humanities) на изучение старинных арф в Уганде, охоты на енотов в Канаде или ловли рыбы руками в водах Амазонки. ⁵

Охота за грантами отнимает так много времени и сил у профессоров со стажем, что они вынуждены передоверять преподавание аспирантам, а порой и старшекурсникам, которым для этой цели присваивается звание ассистентов. Те же, кто достиг заветного пожизненного теньюра, предпочитают преподавать не то, что требуется по изучаемому предмету, а продвигать свои любимые идеи. Кафедра истории может предложить студентам курс по истории кино, но не включить в программу историю европейских стран. Кафедра философии станет рекламировать курсы по феминизму, но «забудет» включить курс по «Логике» Аристотеля. ⁶

Высшее образование сделалось в такой мере вопросом престижа, что родители часто залезают в долги, чтобы дать возможность своему отпрыску получить заветный диплом. Многие молодые люди входят в самостоятельную жизнь уже обременённые долгом за образование. «Как я могу завести второго ребёнка, если я должна ежемесячно выплачивать 990 долларов за колледж?», жалуется молодая мать. В 2008-2009 году средняя плата в частном колледже достигла 25 тысяч долларов в год. ⁷

В значительной мере стоимость обучения, также, как и в школах, растёт из-за раздувания административного аппарата. «Загляните в сайт любого американского колледжа, и вы увидите фотографии сотрудников с их краткими биографиями: помощник ректора по учебным программам, по международным отношениям,

вице-президент по кадрам, по рабочим отношениям, директор общежития с тремя помощниками, вице-президент по равноправию при найме, консультант по мультикультурализму, советник по финансированию, и так далее до бесконечности».⁸

Под нажимом погони за престижем в университетские аудитории попадает множество молодых людей абсолютно неспособных к усвоению абстрактных знаний. В группах, которым я преподавал в Хангер-Колледже (Нью-Йорк), примерно четверть студентов демонстрировали ту или иную меру одарённости. 50% составляли середняки, и ещё четверть являлась на занятия только для того, чтобы героически — и часто безуспешно — бороться со сном. Однако администрация, следуя догматам священного равенства, требовала, чтобы я вовлекал в дискуссию всех, даже тех, кто с трудом мог составить грамотную фразу. Сознаюсь, я всеми правдами и неправдами уворачивался от того, чтобы заставить одарённых тратить время на пустой бубнёж неспособных. (Не потому ли моя преподавательская карьера продлилась недолго?)

Сказать вслух, что не все люди имеют умственные способности, необходимые для получения высшего образования, будет в высшей степени политически некорректным, почти кощунственным. Только исключительные авторы, такие, как Чарльз Мюррей, позволяют иногда себе подобную смелость. «Не более 20% молодых людей обладают способностью усваивать абстрактные знания. Для студента, собирающегося стать управляющим отеля, программистом, бухгалтером, фермером, больничным администратором, автомехаником или футбольным тренером, четыре года в колледже абсолютно не нужны. Чтобы стать хорошим профессионалом в этих профессиях, ему понадобится больше лет, но весь необходимый опыт он получит на рабочем месте».⁹

Традиционно поддержание порядка на территории университетов должно осуществляться без вмешательства полиции. Когда администрация сталкивается со случаями разгула студенческой толпы, она предпочитает прятать свою беспомощность за тезисом «охраны академических свобод». Если хулиганы доходят до того, что бьют окна в зданиях, ломают мебель, покрывают стены граффити, политическая корректность требует, чтобы их действия назывались «выражение возмущения, гнева, протеста». Но газета Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе привела слова одного из инициаторов беспорядка, более точно передающие мотивы вандалов: «Ну мы и повеселились!»¹⁰

Проблемы расовых отношений в американских университетах всплывают в усиленном виде и порой в весьма причудливых формах. Во время студенческих волнений 1960-х университетская администрация пускалась на всевозможные уловки, чтобы увеличить число чёрных студентов. Для них искусственно снижались требования при приёме, преподавателей поощряли завышать им оценки на экзаменах. Но эти льготы только укрепляли позиции чёрных радикалов в студенческой среде. Их агитаторы объявляли все попытки сгладить расовые противоречия очередным коварным наступлением белой культуры на самобытность чёрных. Музыка рэп, причёски растрарафари, разболтанная походка, приспущенные шорты, собственный жаргон, возводимый в права самостоятельного языка black English, — всё годилось для расового самоутверждения.

Считалось, что века угнетения должны были наполнять души белых неизбывным чувством вины, а чёрным гарантировать чувство правоты, служить извинением за любые эксцессы. Запуганные профессора уже не решались говорить о том, что для них пресловутая свобода слова исчезла, если за высказывание мнений, не совпадавших с «прогрессивными» идеями, их могли освищать, забросать яй-

цами, осыпая оскорблениями. Распалённая гневливостью студентов объявлялась страстной защитой высоких моральных требований, превосходивших «убогую мораль буржуазного мира».

Стремление искупать грехи рабовладельческой эры порой принимает характер истерии. В конце 1990-х администрация Гарварда вдруг обнаружила, что среди 750 живописных полотен, украшающих стены библиотек, общежитий, кафе-териев, только на двух изображены представители этнических меньшинств. Была начата паническая кампания по замене старых картин новыми, на которых чёрные, индейцы и азиаты были представлены в изобилии.¹¹

Ушла в прошлое борьба с сегрегацией, в стране не осталось высших учебных заведений, которые открыто отказывались бы принимать чернокожих студентов. Зато на смену ей пришла так называемая «политика компенсации» или «позитивная дискриминация» (compensatory policy, affirmative action). Под нажимом благонамеренных «борцов с расизмом» выпускаются законы и постановления, требующие, чтобы среди преподавателей и студентов университета имелся определённый процент представителей расовых меньшинств. Пытаясь выполнить эти квоты, администрация вынуждена была снижать требования к чёрным и латиноамериканцам, заманивать чёрных профессоров, предлагая им льготные условия.

Жалобы на это вмешательство государства раздаются сегодня из уст как белых, так и чёрных. Молодые чёрные инженеры, врачи, адвокаты при поисках работы обнаруживают, что потенциальные наниматели относятся с подозрением к их дипломам, считают, что они могли быть выданы университетом только ради улучшения «расовых показателей». Белые же абитуриенты, которым было отказано в поступлении, считают, что их места были отданы представителям меньшинств, и даже подают в суд за «обратную расовую дискриминацию».

Одно из таких дел наделало особенно много шума, ибо оно дошло до Верховного суда. Университет Техаса в городе Остин отказался принять белую выпускницу школы, Абигайль Фишер, несмотря на то, что её оценки на экзаменах были выше, чем у некоторых чёрных абитуриентов, принятых в том же году. Нижняя судебная инстанция вынесла приговор в пользу университета. Фишер и её сторонники подали апелляцию.

Дело двигалось взад-вперёд в течение десяти лет. В 2013 году Верховный суд рассмотрел аргументы обеих сторон и вернул дело на пересмотр. Летом 2014 года три судьи Пятого судебного округа разошлись во мнениях — двое против одного. Приговор «большинства» был сформулирован так: «Постановляем, что университеты имеют право учитывать расу при формулировании своих правил приёма студентов... Это решение опирается на тот факт, что высшее образование влияет на будущую судьбу человека и не должно рассматриваться как простое заполнение его головы различными сведениями».¹²

Мечта о достижении расового мира в Америке не умирает, попытки её осуществления делаются на многих фронтах. Но добровольная сегрегация упорно являет себя в выборе мест проживания, в выборе церквей, в выборе друзей и соседей, даже в выборе развлечений и мод. Однажды мне довелось во время очередной слави́стской конференции в штате Делавер обедать в университетской столовой. Я был поражён, увидев, как строго соблюдался добровольный раздел: без всяких запрещающих табличек чёрные студенты усаживались за одними столиками, белые — за другими. Видимо, благонамеренным реформаторам в штате Делавер предостиг ещё очень много работы.

Вопрос о том, существует ли врождённое неравенство умственных способностей различных людей и можно ли измерять его существующими тестами IQ и SAT, был и остаётся темой самых жарких дебатов в Америке. В 1994 году много шума наделала книга Ричарда Херренштейна и Чарльза Мюррея «Кривая Гаусса». Авторы решительно и аргументировано отвечали «да» на поставленный вопрос, но также описывали, какие опасности подстерегали каждого, кто осмеливался обсуждать его вслух. «Их карьера, семейная жизнь, отношения с коллегами, даже личная безопасность оказывались под угрозой. Зачем открывать рот, когда никто не тянет тебя за язык? Исследования умственных способностей продолжались, но только в тишине научных кабинетов».¹³

В реальной жизни получение высшего образования, конечно, способствовало продвижению индивидуума по лестнице успеха и, в той или иной мере, выносило его в элитарные группы, управляющие социальными процессами в государстве. Однако внутри этих групп наметился резкий идейный раскол, который в других своих книгах я обозначил терминами «уравнители» и «состязатели».¹⁴ Склад ума уравнивателей влечёт их заниматься профессиями, связанными с хранением, обменом и анализом информации: журналистика, юстиция, преподавание, филология, научные исследования и так далее. Склад ума состязателей помогает им преуспевать во всех отраслях деловой жизни, в бизнесе и коммерции. Первые становятся «хозяевами знаний», вторые — «хозяевами вещей». И мера их взаимонепонимания только возрастает год от года.

Тот же самый раскол мы видим и в других демократических странах, и он наглядно отражён в существовании в каждой стране двух главных партий, условно говоря — либералов и консерваторов. Хозяева знаний составляют ядро либералов, хозяева вещей — ядро консерваторов. В своих предвыборных обещаниях консерваторы обещают улучшить и увеличить объём производимой продукции, а либералы — улучшить *распределение* производимого.

Понятно, что улучшение распределения должно соответствовать идеям Справедливости. А там, где на сцену выходит богиня Справедливость, она тянет за собой своего любимого сыночка по имени Равенство. И конечно, для двух этих божков нового язычества идея врождённого неравенства людей должна казаться самой опасной гидрой, головы которой герои новой мифологии должны отсекают своими перьями и компьютерами безжалостно и неутомимо.

Именно этой «священной» войной и занимаются уравнители, захватившие все ключевые позиции в американских университетах. Обладая даром красноречия и апеллируя к возвышенным идеалам свободы, разума, терпимости, они легко заражают юных выпускников вирусом благих намерений, который позволит им в будущем закрывать глаза на грубую низменную реальность.

О засильи лево-либеральной идеологии в университетах много писал известный социолог, Давид Горовец, в таких своих книгах, как «Однопартийная аудитория», «Промывка мозгов», «101 самый опасный профессор в США», «Новый Левиафан».¹⁵ Обследование, проведённое в 2002 году на гуманитарных и политико-социальных факультетах девятнадцати главных университетов, показало, что среди профессоров число демократов превосходит число республиканцев в восемь-десять раз.¹⁶

Как это ни парадоксально, жизненная ситуация американского профессора во многом стала похожа на ситуацию советского члена номенклатуры. Судьба обоих зависела не от реальных профессиональных свершений, а от того, как он выглядел («сколько он весил!») в глазах своих коллег и вышестоящих. Оба достигли

завидного статуса «непогрешимости суждений». Если реальная жизнь отказывалась соответствовать этим суждениям, она либо замалчивалась, либо объявлялась злыми происками врагов всего правильного и высокого. Конечно, разница — огромная! — состояла в том, что ошибочные суждения и распоряжения номенклатурщика несли разорение его стране, а мнимая непогрешимость американского профессора наносит ущерб только моральному состоянию общества. Но эти невидимые утраты и ослабление духовных устоев могут привести к изменениям роковым и необратимым.

Стремление человека к статусу «непогрешимого» пронизывает всю историю цивилизации. Похожие явления можно было наблюдать и в Средневековой Европе. Там в университетах доминировала католическая церковь, которая тоже была непогрешима во всех своих мнениях и суждениях. У неё находились ответы на все трудные вопросы бытия, объяснения всех бедствий и катастроф. Неурожай, падёж скота, эпидемия чумы? Это ведьмы, колдуны и еретики насылают чёрной магией несчастья на добрых христиан и всех бы давно погубили, если бы святая инквизиция не отыскивала их и не сжигала без устали. Крестовые походы терпят поражения от рук неверных? Это потому, что погрязли в грехах, а надо послать на завоевание Иерусалима невинных детей, и тогда Господь дарует им победу. Полчища диких кочевников надвигаются из азиатских степей, осаждают города? А вот мы выйдем им навстречу, неся мощи наших святых праведников, отгоним их горячими молитвами к Богородице.

Не зря Томас Суэлл окрестил интеллектуальную элиту сегодняшней Америки словом «помазанники» (anointed). «Дело не в том, что их взгляды как-то особенно злонамерены или ошибочны. Дело в том, что их стратегия включает один опаснейший ингредиент — неуязвимость для опровержений реальностью. Именно поэтому помазанники могут повести общество по опасному курсу до непоправимой катастрофы... Несмотря на свободу слова и печати, их методика отбрасывать всё, что противоречит их видению мира, оказывается невероятно эффективной».¹⁷

Можем ли мы ожидать, что молодой человек, оканчивающий университет и вступающий в деловую жизнь страны, окажется свободным от влияния идей и методов, внушавшихся ему красноречивыми профессорами и журналистами, иллюстрировавшихся яркими фильмами и книгами? Тот же Суэлл признаётся, что в молодые годы он был необычайно увлечён социалистическими идеями, даже написал книгу «Марксизм».¹⁸ Социальные процессы в современном мире так сложны, что проследить и убедительно продемонстрировать их взаимодействие друг с другом крайне трудно. Однако грубая реальность рыночной экономики очень скоро начнёт наносить такие тычки и оплеухи выпускнику, к каким его совершенно не готовили профессора-помазанники.

(продолжение следует)

Примечания:

1. Cohen, Stephen F. *Bukharin and the Bolshevik Revolution*. New York: Alfred A. Knopf, 1974.
2. Ефимов Игорь. «Без буржуев». Франкфурт: «Посев», 1979.
3. Довлатов Сергей и Игорь Ефимов. «Эпистолярный роман» (Москва: Захаров, 2001), с. 378.
4. Bloom, Allan. *The Closing of American Mind* (New York: Simon and Schuster, 1987), pp. 62, 64.
5. Sowell, Thomas. *Barbarians Inside the Gate* (Stanford: Hoover Institution Press, 1999), p. 229.

6. Ibid., 216.
7. Derbyshire, John. *We Are Doomed* (New York: Crown Forum, 2009), p. 103.
8. Ibid., p. 104.
9. Murray, Charles. *Real Education*. Quoted from Derbyshire, op. cit., p. 120.
10. Sowell, *Barbarians*, op. cit., p. 203.
11. Buchanan, Patrick J. *Suicide of a Superpower. Will America Survive to 2025?* (New York: St. Martin Press, 2011), p. 261.
12. See Wikipedia, Abigail Fisher.
13. Herrnstein, Richard J., & Murray, Charles. *The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life* (New York: The Free Press, 1994), p. 13.
14. Тот же разрыв был замечен Томасом Соуэллом и описан в его книге «Конфликт мировоззрений» (см. библиографию).
15. Horowitz, David, & Laksin, Jacob. *The New Leviathan. How the Left-Wing Money Machine Shapes American Politics and Threatens America's Future*. New York: Crown Forum, 2012.
16. Jackson, Gregory. *Conservative Comebacks to Liberal Lies* (Ramsey, NJ: JAJ Publishing, 2006), pp. 166-167.
17. Sowell, Thomas. *The Vision of the Anointed* (New York: Basic Books, 1995), p. 1.
18. Sowell, Thomas. *Marxism: Philosophy and Economics*. New York: William Morrow & Co., 1985.



Виктор Гопман

ПРАЖСКИЕ СОБЛАЗНЫ И ЗАГАДКИ

Вспомним для начала диалог между Швейком и одним из многочисленных его сокамерников — многочисленных, поскольку бессмертный персонаж Ярослава Гашека на протяжении своей многогранной жизни удостоился побывать в самых различных местах заключения и задержания. Нигде, впрочем, особо не задерживаясь. Итак, товарищ Швейка по несчастью рассказывает о том, как их компания пошла в один винный погребок, "потом в другой, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый... — Не могу ли я помочь вам сосчитать? — вылезал Швейк. — Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будет сказано, нигде больше трех кружек не пил".

Будучи в Праге, мы с женой постарались посетить те места, о которых говорится в этой великой книге. Разумеется, не то, чтобы двадцать восемь за одну ночь — мы бы и за всю неделю такого количества не осилили. Ведь на такое способен лишь Швейк — ну, разумеется, и его создатель, чьи биографы отмечают: в городе насчитывается более ста заведений, которые регулярно посещал Гашек. Вряд ли стоит тут удивляться — ведь известно порядка полусотни пражских адресов писателя (заметим в скобках: источник сведений о его местожительстве — в основном полицейские протоколы, так что и об этой стороне жизни Гашек знал отнюдь не понаслышке).

Итак, в путь. С любовью к Швейку, с верой в благополучный исход нашего путешествия и с надеждой на получение того удовольствия, которое такое путешествие должно принести.

Городская площадь обычно имеет очертания, близкие к квадрату или кругу (Красная площадь в Москве, Дворцовая площадь в Питере, Трафальгарская площадь в Лондоне и так далее), но Вацлавская площадь в Праге, при ее размерах 750 на 60 метров, представляет собой несомненный прямоугольник, непохожий на квадрат. Памятник Св. Вацлаву, патрону Чехии, стоит перед величественным зданием Национального музея, которое замыкает площадь. Дойдя до Национального музея, свернем направо и продолжим наш путь (можно, конечно, и проехать одну остановку на метро, но пражские расстояния — безусловно, для пешеходов). Минут десять, не больше, и направо будет улица, называемая "На Боиште". Здесь жил в начале прошлого века некий человек, по имени Йозеф, а по фамилии действительно Швейк. И он регулярно бывал в пивной, носившей название «У калиха» (что в переводе означает "У чаши") — вот она, в двух шагах после того, как вы повернули направо, по левой стороне улицы. Имя этого человека, равно как и название его любимой пивной, обессмертил Ярослав Гашек, который, кстати, тоже был завсегдатаем этого заведения. Входим в пивную, и слева на стене — портреты Гашека и Йозефа Лады, тезки заглавного героя, чьи иллюстрации буквально сжились с текстом, да так, что мы и представить себе не можем другого Швейка, другого Марека, Водичку или фельдкурата Каца. «С шести вечера я всегда "У чаши" на Боиште», — говаривал Швейк своему приятелю, саперу Водичке. Мы туда зашли, однако, где-то в половине второго, просто чтобы прикоснуться к истории — ну, впрочем, и выпить по кружке. Ведь глупо, согласитесь, побывать у Швейка и не выпить. Войдя, мы были просто поражены: кроме нас, в зале никого. Ни единого человека. Ну, середина дня, ну, и день к тому же будний — но все-таки, согласитесь...



Пивная «У чаши». Портреты Ярослава Гашека и Йозефа Лады, первого и лучшего иллюстратора походов Швейка

Прервем тут наш рассказ и обратимся к путеводителю, который утверждает прямым текстом: "Не удивляйтесь, если в пользующихся известностью местах официанты окажутся неприветливыми и грубоватыми; зато в маленьких пивных вас почти наверняка обслужат расторопно и сердечно". Так вот, «У чаши» официант был "всего лишь" неприветлив — особенно когда выяснилось, что мы пришли ознакомиться с интерьером и при этом намерены ограничиться кружкой светлого пива на нос, а обедать не собираемся, потому, в частности, что, согласно тому же путеводителю, "здесь можно отведать блюда традиционной чешской кухни, однако по ценам, ориентированным скорее на кошелек западного туриста". С реальной грубостью мы столкнулись в другой известной пивной, также фигурирующей в великой книге — "У Флеков", которая была основана вроде бы в 1499 году и славится своим темным пивом, известным под названием "флековский лежак".



Пивная «У Флеков»

Заскочили мы туда также в дневное время, с аналогичными намерениями: оглядеться и выпить по кружке. Там, правда, зал был достаточно заполнен, хотя и не битком, но официант, выслушав наш скромный заказ, безапелляционно заявил нечто вроде: "Идите в сад!" Понять его можно было и в буквальном смысле (действительно, имеется при пивной такой дворик со столиками на свежем воздухе), но подбор лексических средств, да и сам интонационный строй фразы свидетельствовали в пользу менее невинной трактовки сказанного. С учетом того, что как план содержания, так и план

выражения явно указывали на достаточный уровень знания собеседником английского языка, я ответил ему развернуто, предложив, в свою очередь, ряд альтернативных маршрутов. Это сработало должным образом, он без дальнейших рассусоливаний принес нам запрошенное, мы скоренько осушили своих кружки (пиво, кстати, нам очень не понравилось — и это при том, что вообще-то я любитель именно темного пива), сделали ряд снимков и покинули негостеприимный кров.

А вот в эту пивную, "У оленя", мы так и не зашли — уж очень там было накурено, и клубы табачного дыма вырывались на улицу, буквально загораживая вход.



Пивная «У оленя»

Пивная славна тем, что здесь Гашек (ну, ясное дело, за кружкой пива) продавал первые экземпляры своей великой книги. Впоследствии любители старых чешских традиций приватизировали, на паях, это заведение и установили там порядки, характерные для начала прошлого века. То есть, нормальная атмосфера пивной, где и курят, и вообще чувствуют себя раскованно — а если туристам не нравится, то пусть поищут себе другое место. Мы и отправились в поисках такого места, и буквально в пяти минутах ходьбы набрали на заведение под названием "У Пинкаса".



Пивная «У Пинкаса»

Дали нам замечательные жареные колбаски, а на гарнир — полгарелки тертого хрена. Но именно что на гарнир, а не как приправу: он был обработан таким образом, что сохранял вкус хрена, и в то же время его можно было есть ложкой. Что мы и делали, заедая поразительно вкусным серым хлебом, того типа, про который принято говорить "домашней выпечки". Ну, и пиво, естественно. И только потом, вернувшись в гостиницу, мы (подводя, по обыкновению, итоги дня, с путеводителем в руках) обнаружили, что "У Пинкаса" было самым первым в Праге заведением, где начали подавать пльзенское пиво. В 1843 году (как и обозначено на вывеске, справа от названия, если приглядеться) — неплохая дата, учитывая, что впервые пиво этого типа стали варить в городе Пльзене (80 км к юго-западу от Праги) в 1842 году.

Еще одна швейковская пивная, где мы так и не побывали, находится на Малой Стране, на углу улочки, называемой Замковая лестница и ведущей наверх, к Пражскому замку. Место это славно тем, что именно здесь Швейк вел переговоры со своим приятелем и коллегой по кинологической части, планируя похищение пинчера для поручика Лукаша. А не зашли мы туда, потому что невозможно ведь побывать повсюду.



В этой пивной Швейк планировал похищение пинчера для поручика Лукаша

В тот день, наш второй пражский день, мы приехали на Малу Страну и отправились прямехонько на улицу, носящую имя Яна Неруды, классика чешской литературы. Улица эта славна не только архитектурными изысками, но и геральдическими знаками, которые в свое время обозначали дома — вместо номеров. Знак дома, где жил Неруда — "Два солнца"; в числе других знаков — "Красный орел", "Белый лебедь", "Зеленый омар", "Три скрипки", "Золотая подкова"... Далее мы поднялись на Градчаны, в Пражский замок: собор Святого Вита, Национальная галерея во дворце Штернберга, Золотая улочка с домом Кафки. На Градчанах и пообедали, заказав *polevku*, знаменитый чешский суп, который бывает и картофельным, и грибным, и луковым, и с фрикадельками; это дело нам так понравилось, что в дальнейшем ни один пражский обед у нас не обходился без супа.



Мала Страна, дом Яна Неруды на улице его имени

Но, пожалуй, самое большое гастрономическое удовольствие мы получили в пивной, которая является, так сказать, головным заведением пивного завода "Ста-

ропрамен" и входит в комплекс зданий пивзавода, расположенного на Вокзальной улице — довольно далеко от центра, рядом со станцией метро «Андел» (это по желтой линии). Кормят там вне всякой критики, а пиво — как говорится, из первоисточника. Причем мы попробовали и темное: очень хорошо. О светлом же старопраменском, знакомом нам издавна — что уж и говорить. Однако, сами понимаете, Швейк в такую глушь, да еще на другом берегу Влтавы, никогда не захаживал.

Да и вообще Швейк, наверное, не разгуливал по городу так, как мы. И не удивительно: он там жил, а мы прилетели на какую-то неделю. К тому же логично предположить, что он предпочитал особо далеко не удаляться от своей родной улицы, которая находится в Новом Месте — это, конечно, не Старо Место и не Мала Страна, но все-таки не окраина вроде Вышеграда или того же Жижкова (помните, как он бросил снисходительно: "Ну, я дал им адрес глухой старушки на Жижкове..."). Ново Место — родной край. Там не только трактирчики, но даже полицейские — свои люди, а это очень важно, поскольку с завсегдатаями "У чаши" вечно случались разные истории. Как объяснял Швейк Водичке, "там каждый день бывает скандал, а если выдаться очень тихий день, то мы сами что-нибудь можем устроить".

Вообще все рассказы Швейка строго привязаны к топографии Праги — разумеется, практически вековой давности, и сопоставление тех дней с нынешними забавно само по себе. Взять хотя бы частенько упоминаемую в романе улицу Неказанка, что в Старом Месте. Сейчас это воплощение респектабельности, едва ли не в каждом доме банк или иной солидный офис. А во времена Гашека это было средоточие заведений более чем сомнительной репутации, и недаром в одном из них поручик Лукаш устроил прощальную вечеринку для приятелей перед своим отъездом на фронт. К числу известных морализаторских историй Швейка относится и нижеследующая, про некоего Нехабу с Неказанки, завсегдатая трактира "Сучий лесок" — который постоянно мечтал стать добродетельным и каждую субботу собирался начать новую жизнь, а на другой день рассказывал: "А утром-то я заметил, братцы, что лежу на нарах!" (то есть, в полицейском участке). Кстати, эту историю Швейк рассказывает поручику Лукашу в поезде, по пути из Праги в Чешские Будейовицы, когда они направляются к театру военных действий. Рассказчик почтительно стоит в дверях купе, Лукаш, естественно, сидит, а напротив поручика расположился лысый человек в штатском, который впоследствии (то есть, в ходе очередного скандала, устроенного Швейком — как обычно, по нечаянности) оказался генерал-майором фон Шварцбургом. Этот генерал в штатском читал "Нойе Фрайе Прессе", влиятельную венскую газету, парижским корреспондентом которой с октября 1891 г. по июль 1895 г. (за пару десятилетий до описываемых событий) был Теодор Герцль. Прошло еще сто лет, и 90-е годы следующего, то есть, XX века стали пиком репатриации советских евреев, вернувшихся на свою историческую родину прямо-таки в массовом порядке, что вряд ли мог предвидеть Герцль. Все мы и всё, что с нами происходит в этом мире, связаны прочнейшими, хоть и невидимыми нитями. Вряд ли могли и мы с женой предвидеть в августе 1968 года ("Граждане, Отечество в опасности! // Наши танки на чужой земле..."), что нам доведется, уже ближе к концу первого десятилетия XXI века, свободно бродить по пражским улочкам, да еще и с израильскими паспортами в кармане (то есть, разумеется, в кармане ксерокопии, а сами паспорта в сейфе гостиницы).

Прага славится не только пивными заведениями — там можно отведать замечательный кофе и к нему пирожное с фруктами, или яблочный пирог, или кусок

шоколадного торта. Вот одна из бесчисленных пражских кофейен-кондитерских, с вывесками кисти не то Пирсомани, не то Кустодиева.



Вывеска пражской кофейни

А в пассаже "Люцерна" есть кафе, где ватрушки с творогом такие, что каждая едва помещается на десертной тарелочке. Кстати, архитектор этого здания — дед Вацлава Гавела, а выходит пассаж на Вацлавскую площадь, напротив гостиницы "Европа", самого, пожалуй, впечатляющего пражского здания в стиле модерн.



Прага. Гостиница «Европа»

Ну, и под конец — о загадочном. Мы столкнулись с этой загадкой давно, будучи в Праге проездом, буквально на десять часов. Разумеется, теперь, имея в своем распоряжении целую неделю, свободное расписание, а также проездной билет на все виды городского транспорта, мы решили заняться ее разрешением (или хотя бы рассмотрением), что называется, вплотную. Обошли центральную площадь Старого города, уделив пристальное внимание каждому из сувенирных ларьков, заглянули в магазинчики по пути оттуда как к Карлову мосту, так и к Вацлавской площади, не поленились даже зайти в сувенирные отделы нескольких боль-

ших универмагов. Прделали же мы все это в тщетных поисках канонической фигурки бравого солдата Швейка, облаченного в висящую на нем мешком форму рядового австро-венгерской армии и в фуражке, сползающей на уши. А ведь в последней трети XX века это был лучший сувенир, привозимый из тогдашней Чехословакии. Это, равно как и картонные подставочки под пивные кружки, тщательно набираемые туристами в разных городских пивных. Кстати, на взятой нами в Швейковской пивной подставочке написано просто: "У калиха" — а ведь на тогдашних картонных кружочках значилось: "В шесть вечера "У калиха" — есть разница, согласитесь.



Виктор Захаров

РУССКАЯ ПРАГА

Как известно, Прага, наряду с Парижем, Берлином, Белградом, Харбином, была одним из главных центров русской послереволюционной эмиграции. В каждом из этих городов сложился свой особый русскоязычный мир. Отсюда и понятие «Русская Прага» — духовный и материальный мир жизни русских обитателей в Праге. Цель нашей заметки — кратко рассказать о быте русских эмигрантов в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Об этом сохранилось немало документов и воспоминаний, часть из которых была опубликована.

Среди известных представителей русской эмиграции, обосновавшихся в Праге, можно назвать кн. Петра Долгорукого, представителя одного из старейших родов России, литераторов М. Цветаеву, А. Аверченко, Е. Чирикова, Вас. Немировича-Данченко, лингвиста Р. Якобсона, историка и философа Д. Чижевского, художника г. Мусатова и многих других. Однако большую часть русской эмиграции в Чехословакии, составили воины белой армии, бежавшие из Крыма после поражения белогвардейского движения. В значительной мере это были молодые люди, позванные чехословацким государством в рамках так называемой «Русской акции» — программы помощи чехословацкого государства русским беженцам в деле получения образования. За короткий период в Чехословацкой республике (ЧСР) было создано большое число учебных и преподавательских мест (со стипендиями), организованы русскоязычные учебные заведения, различные научные учреждения и союзы. Прага заслуженно получила название «русского Оксфорда», центра подготовки кадров для будущей постбольшевистской России. При этом не следует забывать и Братиславу, Брно, Ужгород и другие города, где также были русские учебные заведения. Вскоре, однако, выяснилось, что планам возвращения на родину после падения скорого большевистского режима, как тогда казалось большинству эмигрантов, не суждено сбыться. И так на территории ЧСР образовалась русская диаспора. Немногие вернулись домой, и не все добровольно — немало бывших русских граждан было арестовано после Второй мировой войны отрядами СМЕРШа и отправлено в теплушках в сталинские концлагеря. Однако это случилось в 1945 г., а до этого времени нужно было еще дожить.

Что же отличает «русскую» Прагу от других центров эмиграции? Прежде всего, состав беженцев. Условно говоря, большую часть русских эмигрантов в Чехословакии можно назвать «разночинцами». Это, прежде всего, представители бедных слоев русской интеллигенции. В официальном документе Министерства иностранных дел ЧСР среди людей, имеющих право на получение финансовой и другой помощи, перечисляются школьники, студенты, люди умственного труда, писатели, художники и др.

Одна из основных проблем вновь прибывших — где жить? В самом начале «Русской акции» власти Праги выделили для временного проживания приезжающих русских здание богадельни св. Варфоломея (чешск. Chudobinec Bartoloměje) и часть заводского общежития. Богадельня св. Варфоломея располагалась по тогдашнему адресу Вышеградская ул., порядковый № (popisné číslo) 424-427. В ареале богадельни для русских были выделены не только места для проживания, но и открыты столовая,

поликлиника, юридическая консультация. Там же размещалась штаб-квартира русских студенческих организаций, редакции студенческих журналов и др.

Другим местом массового расселения русских было общежитие для холостых фабричных рабочих, работавших на заводах в районах Либень и Высочаны («Свободарна», Svobodárna). Это было современное по тем временам здание, однако миниатюрные комнаты на одного не предполагали никакой мебели, а тонкие перегородки, не доходящие до потолка, совсем не обеспечивали звукоизоляции. Однако русские, проводившие перед этим по несколько лет в казармах и окопах, были рады и этому. По субботам и воскресеньям давались концерты и проводились другие общественные мероприятия. В «Свободарне» была освящена временная часовня, где богослужение вел о. С. Булгаков. Что было плохо — это связь с городом. Трамвай доходил только до середины Карлина, а дальше надо было идти пешком или ловить извозчика. Естественно, русским студентам ничего не оставалось, как выбирать первое.



Рис. 1. Изображение Министерства иностранных дел ЧСР.
«Моление об удостоверении»

Возможность учиться в пражских вузах притягивала в столицу Чехословакии все большее количество русских беженцев, которые не пренебрегали и нелегальными способами попасть в республику. Чехословацкие власти пытались с этим бороться, но без большого успеха. Дальше переселенцы всякими правдами и неправдами старались получить официальные документы, которые выдавало Министерство иностранных дел, располагавшееся в Тосканском дворце Градчанской площади. Сохранился шуточный рисунок с изображением этого дворца (см. рис. 1), где изображены русские, терпеливо «молящиеся» о получении чешского удостоверения личности (průkaz).

В связи с непрекращающимся притоком беженцев чешские власти вынуждены были сменить свою политику в отношении русских эмигрантов. Во-первых, было принято решение о приеме русских студентов в вузы других городов (Брно, Пршибрам, Братислава, Ужгород). Но и в Праге, и в других городах было необходимо подыскивать места для расселения новых эмигрантов. Наконец было принято решение экономически выгодное для обеих сторон: выплачивать эмигрантам денежное пособие, предоставляя им возможность самим выбирать жилье и столовую.

Правда это касалось только тех, кто был на государственном обеспечении в рамках «Русской акции» — студентов вузов и профессоров. Размер денежного пособия зависел от семейного положения, состояния здоровья, успехов в учебе и проч.

В конце 1923 г. и в течение 1924 г. эпоха Свободарны, Худобинца и других временных жилищ закончилась. Русская эмиграция рассредоточилась по разным частям Праги, а многие начали снимать более дешевое жилье в пригородах. Еще одним результатом такого решения жилищной проблемы явилось то, что русские стали быстрее вливаться в чешскую среду, осваивая чешский язык и перенимая соответствующие нормы поведения. Постепенно русские семьи разъехались по всей Праге и по всей республике. Однако чаще всего, когда говорят о русских в Праге, упоминают два района: Дейвице и Страшнице.

Русские профессора также покинули Свободарну и стали искать себе новые квартиры и даже мечтать о собственном жилье. Одним из способов получить его было кооперативное строительство. После Первой мировой войны в Праге начался строительный бум. Районами, где велось особенно интенсивное строительство, были Дейвице (Dejvice), Бубенеч (Bubeneč) и вообще северо-запад столицы. Именно там был построен первый кооперативный дом для русских эмигрантов, получивший название Профессорского дома. Четырехэтажный дом, получивший пор. номер 597, был построен в конце 1925 г. на Бучковой улице (Bučková ul.), впоследствии ул. Рузвельта, д. 27-29.

Одним из инициаторов строительства и автором проекта был русский эмигрант В.А. Брандт. В подвальном этаже дома было оборудовано большое помещение, получившее название *сборовна* (sbohovna) — актовый зал, где проходили всякие встречи, праздники, свадьбы, дни рождения и т. п. Там же проходили занятия воскресной школы, в которой преподавался Закон Божий, русская грамматика, русская литература и история России. Там же, в подвальном этаже, рядом со *сборовой*, был овощной магазин, хозяином которого был русский инженер И.В. Самецкий.

Профессорский дом, в котором жили ведущие представители русской пражской эмиграции скоро, естественно, стал центром русской общественной жизни в Праге. Здесь обосновались различные русские общества. Учитывая преклонный возраст обитателей и превратности судьбы, для многих дом стал последним местом их жизни. Сами жильцы шутливо прозвали этот дом «братской могилой»; и это название прижилось.

Обитателями профессорского дома были литературовед А.Л. Бэм, писатель Е.Н. Чириков, философы Г.М. Катков и его брат византолог К.Н. Катков (умер в 1995 г.), историк С.Н. Кондаков, философ Н.О. Лосский, инженер А.С. Ломшаков, юрист Г.Н. Михайловский (сын писателя Н.Г. Гарина-Михайловского) и многие др.

Следующий русский кооператив был основан 5 мая 1927 г. и получил название «Сплоченный дом». Однако «сплоченности» кооператоры как раз не проявили, и строительство нового дома в Подбабской ул. (Podbabská ul., затем проспект [югославского] короля Александра, современный адрес пр. Югославских партизан, д. 23) сопровождалось многочисленными финансовыми аферами и судебными тяжбами, и в результате построенный только к 1930 г. дом получил название «У трех жуликов». По возрастному составу жильцы этого дома были помоложе, чем в Профессорском доме. Любопытно, что в профессиональном отношении среди владельцев квартир преобладали историки, работавшие в Славянском институте, в Архивном институте Н.П. Кондакова и в Русском заграничном историческом архиве. Среди наиболее известных людей, в разные годы живших в этом доме, следует

назвать известного эсера В.М. Чернова, писателя Е.Н. Чирикова (переехал сюда из Профессорского дома), историков П.В. Флоровского, А.А. Кизеветтера, И.И. Лапш, Н.Л. Окунева, П.Б. Струве. Один из жильцов дома предприниматель Л. Новаченко держал в доме контору своей фирмы «Восторус» (Wostorus). Здесь же проживал юрист Д.И. Мейснер, после войны вернувшийся в СССР и издавший в 1966 г. книгу о пражской эмиграции «Мираж и действительность».

Следующий кооперативный дом был построен в 1933 г. кооперативом «Патриотика», основанным Чешско-русским обществом взаимного кредита, в Коуловой ул. (Koulová, 6). И здесь не обошлось без того, чтобы русские не посмеялись над самими собой: это выразилось в шутовском названии, присвоенном новому дому — «Идиотика». Как и в прежних домах, помимо квартир, несколько помещений на первом этаже занимали канцелярии, а также продуктовая лавка В. Пивоварова, торговавшего разным «русским» ассортиментом (рис. 2).

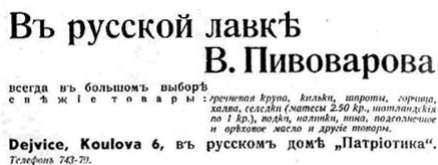


Рис. 2. Рекламное объявление тов-ва В.В. Пивоварова

По социальному составу жильцы дома принадлежали к среднему классу. Среди известных людей можно назвать семью Набоковых: Ю.И. Набокову, мать, О.В. и К.В. Набоковых, сестру и брата писателя В.В. Набокова. Другим районом в Праге, где обосновались русские, были Страшнице (Strašnice), фактически представлявшие тогда собой пригород. Развитие русских Страшниц началось с открытия там в 1934 г. русской гимназии-интерната (Starostrašnická ul., 120). Число учащихся в конце 20-х годов составляло около 300 чел. Постепенно в этот район начали переселяться как работники гимназии, так и родители учащихся. Тем более что в это время началась застройка Страшниц, и возможность снять подходящую квартиру определялась только финансовым состоянием нанимателя. С течением времени сформировалась колония, получившая название «страшницкие русские». Справедливости ради следует сказать, что понятие «русские» часто включало в себя и украинцев, и белорусов, и представителей других народов дореволюционной России.

Преподавание в гимназии велось на русском языке, в число обязательных предметов входили чешский, латынь и один из западноевропейских языков. Здесь тем же кооперативом «Сплоченный дом» был построен трехэтажный дом, на углу улиц Прубешная (Průběžná) и в Ольшинах (v Olšínách). За внешний вид дом получил название «Корабль», но и здесь не обошлось без самоироничного прозвища — многие жильцы называли его «Зверинец». В отличие от девичьих домов, здесь вместо магазина на первом этаже был медпункт, которым ведал живший здесь же дипломированный врач П.А. Марков. Несколько квартир занимали представители проживавшей компактно в Страшницах калмыцкой общины во главе с юристом С.Б. Баяновым. Хочется упомянуть также инженера П.С. Цамутали, с родственниками которого автор статьи встречался уже в наше время как в Ленинграде-Петербурге, так и в Праге. Конечно, в понятие «Русская Прага» входят не только и не столько жилые дома эмигрантов, но и многочисленные общественно-политические, научные, образовательные организации, литературно-художественные объ-

единения и т. п. Об одной из них (Русский Свободный Университет) мы уже рассказывали (Ежегодник Общества братьев Чапек в Санкт-Петербурге, 2004). Следует отметить, что, несмотря на прекращение государственной поддержки большей части русских организаций и на естественные процессы ассимиляции, общественная жизнь русской общины в Праге и в других городах активно не затихала до конца Второй мировой войны. Эта тема неплохо отражена в публикациях последних лет.

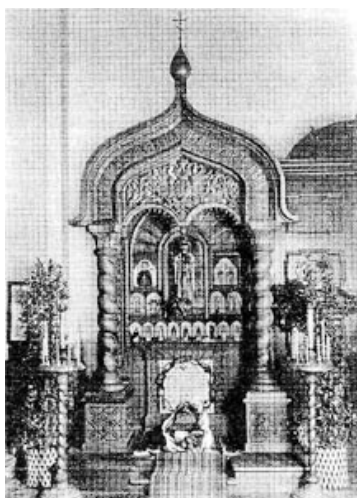


Рис. 3. Алтарь церкви Св. Николая

Упомянем здесь лишь два общественных института, объединявших русских пражан: церковь и общепит. Наряду с уже упоминавшимися богослужениями в «Свободарне», главным центром православной жизни в Праге были два храма — св. Николая на Староместской площади (рис. 3) и Успения Богородицы на Ольшанском кладбище. Были годы, когда огромный храм св. Николая во время богослужений был полностью занят прихожанами. После войны этот собор был передан чехословацкой церкви, а православный храм переместился в актовъ зал в подвале Профессорского дома, где влчит жалкое существование и по сей день (обычно на богослужение собираются не более 10 человек). В отличие от нее, церковь на Ольшанах пользуется большей популярностью среди русских, причем эта популярность выросла с появлением в Праге новой волны русской эмиграции 1990-х годов, на этот раз добровольной. Еще одно объяснение, почему люди всегда больше ездили на Ольшаны, заключается в соседстве этого храма с еще одним общественным институтом — кладбищем. На русской части Ольшанского кладбища у многих эмигрантов покоятся родственники. К сожалению, нам не известно ни одного исследования, посвященного русским захоронениям на пражских кладбищах и, в первую очередь, конечно, на Ольшанском.

Что касается общепита, то одним из излюбленных мест, где обедали наши соотечественники, был ресторан «Огонек» на улице Малая Штепанская (Malá Štěpánská, 11), напротив которого в доме номер 6 располагались также русский продуктовый магазин товарищества «Самовар» и Галлиполийский союз (позднее Общество гал-

липолийцев). «Огонек» был разбомблен во время налетов американской авиации 14 февраля 1945 г. Назовем также ресторан и столовую в русском отеле «Беранек» (Beránek), располагавшемся на Тыловой площади (Tylovo nám.) на Виноградах. Отель, имевший русского владельца, вообще был любимым местом встреч русской эмиграции. Там жили, там устраивали концерты, лекции и заседания, в частности, на протяжении 20 лет каждую пятницу в этом отеле собиралось общество «Чешско-русское единство» (Česko-ruská jednota).

Русская эмигрантская колония, насчитывавшая в конце 1920-х годов 25 тысяч человек, к началу Второй мировой войны по разным причинам поредела примерно до 10 тысяч (включая сюда и тех, кто принял чехословацкое гражданство). В книге Анастасии Копршиовой приведен интересный анализ социального состава русских в Праге на основе телефонного справочника 1937-1938 гг. В числе прочего, приводится, что «Русская акция» не прошла даром, что две трети русских абонентов указали в справочнике род занятий, требующий высшего и среднего образования.

К середине 1930-х годов большинство русских эмигрантов уже стали забывать все драматические и тяжелые обстоятельства своего прошлого. Жизнь «вошла в берега». Но, как всегда, «день грядущий» готовил новые испытания. Самыми страшными и всеобщими из них стали немецкая оккупация Чехословакии и, как ни парадоксально, освобождение Чехословакии от немцев. Это совершенно отдельная, мало исследованная тема. Скажем лишь, что в послевоенные годы русская Прага фактически перестала существовать. Большое число русских, оставшихся в Чехословакии к концу войны, было арестовано органами советской контрразведки (по некоторым оценкам порядка 10%), увезено в советские лагеря, и мало кому посчастливилось вернуться обратно. Был арестован и вывезен в СССР даже Русский заграничный исторический архив! Это привело к тому, что многие русские организации перестали функционировать. Церковная жизнь русской Праги также была кастрирована и сведена к минимуму. В конце 1940-х годов практически все русские общественные эмигрантские организации, начиная от жилищных кооперативов и кончая научными обществами, были закрыты распоряжениями новых просоветски настроенных чехословацких властей. Воцарилась атмосфера слежки и доносов, которая порождала недоверие и все больше заставляла людей замыкаться в личной жизни и избегать контактов с соотечественниками. Немногим русским удалось еще после войны нелегально уехать на Запад, некоторые вернулись на родину в СССР, оставшиеся же разделили с чехословацкими согражданами темные годы тоталитаризма. И только после падения коммунистического режима появилась возможность исследований и публикаций на тему «Русская Прага» и создания новых общественных институтов русских, проживающих в Чехии и Словакии. Но об этом уже в другой статье.



Борис Юдин

ЭФФЕКТ ГАЛАТЕИ

(о стихотворении “Гренада” Михаила Светлова)

В незапамятные времена царь Крита Пигмалион изваял скульптуру женщины. И так полюбил своё творение, что скульптура ожила.

Жан-Жак Руссо в сочинении “Пигмалион” назвал её Галатея.

Это миф о том, что художественный образ, придуманная жизнь может быть достовернее, чем настоящая.

Миф мифом, но в творчестве нередко не только автор создаёт произведение, но и произведение создаёт автора. То есть Галатея создаёт Пигмалиона. Так роман “Унесённые ветром” создал Маргарет Митчелл, песня “Besame mucho” — композитора Консуэло Веласкес, сказка “Три толстяка” — писателя Юрия Олешу, а стихотворение “Гренада” — поэта Михаила Светлова.

Правда, в этих случаях не столько автор влюблялся в своё создание, сколько зритель, слушатель, читатель.

А для этого нужно, чтобы сошлись воедино три составляющих: личность автора, потребность социальной среды и случайность, как энергетический толчок в химической реакции.

Сказано в Новом Завете:

“...вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро возошло, потому что земля была неглубока. Когда же возошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод.” (Мф 13, 3.)

“Гренада” упала на подготовленную почву.

Отгремела Гражданская война, унесшая тринадцать с лишним миллионов жизней. Пришло время рассказать стареющим бойцам, что кровь была пролита не зря, а жертвы были неизбежны и прекрасны, потому что это были жертвы во имя идеи, во имя мечты.

Старость накатывала асфальтным катком, пугала немощью.

А стареть не хотелось. Юная республика предлагала пожилым почёт, но кормить не хотела.

Владимир Маяковский, “150 000 000”, 1919

*“Мы тебя доконаем, мир-романтик!,
Вместо вер — в душе электричество, пар.
Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!
Стар — убивать. На пепельницы черепа!”*

Константин Эдуардович Циолковский “Радость без расплаты”, 1925

“Положим, человек или другое смертное животное живёт только до тех пор, пока не начинается уклон к старости и к тяжести жизни. У человека этот период начинается с 30, 40 или 50 лет, смотря по темпера-

менту или условиям. Когда начинается у человека жизненная тяга, объём его безболезненным способом. Врачи уверяют, что такой способ есть. В самом деле, если устроить машину, которая в тысячную долю секунды или ещё скорее (это теоретически возможно) раскрошивает человека на малейшие кусочки, то как это разрушение может ощущать человек? Оно не должно сопровождаться мукой, так как не может отразиться на нервах по своей кратковременности, не может запечатлеться памятью.”

Герои Гражданской не хотели стареть и жаждали славословий.

“...теория становится материальной силой, как только она овладевает массами.”

К. Маркс “К критике гегелевской философии права”.

Теория, овладевшая массами, жестока и беспощадна. С её появлением личностное “Я” исчезло и появилось размыто-неопределённое “Мы”.

В этом “Мы” убийство — не грех, а необходимость. Для “Мы” смерть не страшна, потому что победа требует жертвенности, а идея материализуется в молодых.

Формула В. Высоцкого “А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки” приложима к любому времени. Так же, как и игра в благородного разбойника. Отобрать у богатого и отдать бедному — это справедливо и романтично. Для этого юность готова пожертвовать собой. Готова, но в реальность смерти не верит.

Но лирический герой в поэзии 20-х обязательно умирает.

У него не было шанса выжить. Он был просто функцией, образцово-показательная единица, придуманная для демонстрации героической смерти во имя общего дела. Что делать со случайно выжившими героями авторы просто не знали. Будущее было туманно. Даже Маяковский не смог представить это долгожданное завтра. В его пьесах жители будущего стерильны и напоминают санитаров в дурдоме.

И поэзия тех лет не уставала воспевать смерть во имя общего дела.

Николай Асеев:

*“Ах, еще, и еще, и еще нам
надо видеть, как камни красны,
чтобы взорам, тоской не крещенным,
переснились бы страшные сны,
Чтобы губы, не знавшие крика,
превратились бы в гулкую медь,
чтоб от мала бы всем до велика
ни о чем не осталось жалеть”.*

Эдуард Багрицкий:

*“Возникай содружество
Ворона с бойцом, —
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла”.*

Анна Баркова:

*“Пропитаны кровью и желчью
Наша жизнь и наши дела.
Ненасытное сердце волчьё
Нам судьба роковая дала.
Разрываем зубами, когтями,
Убиваем мать и отца,
Не швыряем в ближнего камень –
Пробиваем пулей сердца.
А! Об этом думать не надо?
Не надо — ну так изволь:
Подай мне всеобщую радость
На блюде, как хлеб и соль”.*

По павшим горевать не следовало. Литераторы их даже хоронили в неподобающих местах. На площадях, на курганах, на речных откосах.

*“Юношу стального поколенья
Похоронят посреди дорог”.*
М. Светлов.

Это чтобы над ними летали самолёты и мимо проплывали корабли.

*Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают лётчики — привет Мальчишу!
Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!
А. Гайдар “Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и его
твёрдом слове”.*

И лишь фольклорная солдатская песня оплакивала павших.

*“И никто про солдата не знает,
Не придет к нему родная мать.
Только ворон могучий, холодный
Стал сильнее над трупом летать”.*
“Далеко от родимого края”
*“А дочка спросит у мамиши:
— А где наш папёнька родной?
Она ей скажет и заплачет:
— Убит, зарыт в земле чужой. “*
“Конь боевой с походным вьюком”

И в этом было нечто из детства, когда обиженный ребёнок придумывает свою смерть и любит её.

“Он стал думать о том, пожалела ли бы она его, если б знала. Может, заплакала бы, захотела бы обнять и утешить. А может, отвернулась бы равнодушно, как и весь холодный свет. Эта картина так расстрогала его и довела его муки до такого приятно-расслабленного состояния, что он мысленно повертывал ее и так и сяк, рассматривая в разном освещении, пока ему не надоело”.

Марк Твен “Приключения Тома Сойера”

И всё же поэты 20-х рыдать над своим героем не хотели. Хотя в русской литературной традиции смерть воина поэтизировалась. Ещё в летописный князь

Святослав, когда не получилось безнаказанно пограбить Византию, держал перед войском такую речь:

«Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костями, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим — позор нам будет».

Как подействовала такая речь на войско, трудно сказать. Русский летописец пишет о победе Святослава, а Византийский о полном разгроме русских.

Литература павших любила и оплакивала. Сначала плакала мать-старушка, потом невеста и жена, а потом:

“Плачут все, как один человек”

Скиталец “На сопках Маньчжурии”

В “Гренаде”: “Не надо, ребята, о песне тужить“, — это не о человеке. Это о мечте, об Идее.

Однако, ко времени рождения “Гренады” идея Мировой революции уже приказала долго жить.

“Перерождение правящего слоя в СССР не могло не сопровождаться соответственным изменением целей и методов советской дипломатии. Уже “теория” социализма в отдельной стране, впервые возведенная осенью 1924 года, знаменовала стремление освободить советскую внешнюю политику от программы международной революции”.

Лев Троцкий “Преданная революция”, глава 8 (1936 г.)

Построение социализма в отдельной стране — это и есть те самые “Новые песни”, которые “придумала жизнь.”

Почва была возделана, и Пушкинская “милость к падшим” казалась глупостью.

Но, кроме этого, для рождения Галатеи нужен был авторский талант. Личность, вобравшая в себя время.

“После многих лет, исследуя своё тогдашнее состояние, я понимаю, что во мне накопилось к тому времени большое чувство интернационализма. Я по-боевому общался и с русскими, и с китайцами, и с латышами, и с людьми других национальностей. Нас объединило участие в гражданской войне. Надо было только включить первую скорость, и мой интернационализм пришёл в движение. Значит, главная гарантия успеха твоего будущего сочинения — это накопление чувств и, значит, твоего отношения к действительности. Если ты хочешь как поэт принести пользу людям, то ты можешь это сделать только „размозолев от брожения“, как сказал Маяковский”.

Михаил Светлов “Беседует поэт”, Советский писатель, М., 1968

Михаил Светлов шёл воевать за мировую революцию. В 1920-и году ему было семнадцать лет. Тот возраст, когда поверить в собственную смерть невозможно, а чужая неправдоподобна.

“Восход поднимался и падал опять“ — это поднимается и падает театральный занавес. Это истекает клюквенным соком Блоковский Пьеро из “Балаганчика”.

Если верить Светловскому стихотворению “Колька”, он так и не убил никого за несколько месяцев службы.

*“Мы поймали махновца Кольку,
И чтоб город увидел
и чтоб знали поля,
Мне приказано было его
расстрелять”.*

Но выполнить приказ, тогдашний ещё не Светлов, а Миша Шейнкман не смог.

*“Возле Брянского завода
В незнакомом кабаке.
И друг друга с дружбой новой
Поздравляли на заре,
Он забыл, что он — махновец,
Я забыл, что я — еврей.”*

Итак — и почва и сеятель были готовы. Оставалось добавить случай, когда, нерождённый ещё, младенец толкнёт ножкой в материнский живот.

И случай не заставил себя ждать.

“В двадцать шестом году я проходил однажды днём по Тверской мимо кино «Арс» (там теперь помещается театр имени Станиславского). В глухине двора я увидел вывеску: «Гостиница „Гренада“». И у меня появилась шальная мысль — дай-ка я напишу какую-нибудь серенаду!

Но в трамвае по дороге домой я пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, я начал напевать: „Гренада, Гренада...“ Кто может так напевать? Не испанец же? Это было бы слишком примитивно. Тогда кто же? Когда я открыл дверь, я уже знал, кто так будет петь. Да, конечно же, мой родной украинский хлопец. Стихотворение было уже фактически готово, его оставалось только написать, что я и сделал”.

Михаил Светлов “Беседует поэт”, Советский писатель, М., 1968

Некоторые литературоведы связывают двустопный амфибрахий, которым написана “Гренада”, с балладами Генриха Гейне в русских переводах и со стихотворением А.С. Пушкина “Чёрная шаль”.

Не думаю, что стихотворение Пушкина со строкой: “Ко мне поступался презренный еврей” — было в числе любимых Светловым.

А вот ответ баллад Гейне на “Гренаде” был замечен и вызвал в своё время немало пародий. Вот одна из них:

*А. Архангельский:
Я видел сегодня
Лирический сон
И сном этим странным
Весьма поражён.
Серьёзное дело
Поручено мне:
Давлю сапогами
Клопов на стене.
Большая работа,
Высокая честь,
Когда под рукой
Насекомые есть.
Клопиные трупы*

*Усеяли пол.
Вдруг дверь отворилась
И Гейне вошёл.
Талантливый малый,
Немецкий поэт.
Вошёл и сказал он:
— Светлову привет!
Я прыгнул с кровати
И шаркнул ногой:
— Садитесь, пожалуйста,
мой дорогой!
Присядьте, прошу вас,
На эту тахту,
Стихи и поэмы
Сейчас вам прочту!..
Гляжу я на гостя, —
Он бел, как стена,
И с ужасом шепчет:
— Спасибо, не на ...
Да, Гейне воскликнул:
— Товарищ Светлов!
Не надо, не надо,
Не надо стихов!"*

Впрочем, в то время амфибрахий был не так уж редок.

В. Луговской:

*"Итак, начинается песня о ветре.
О ветре, обутом в солдатские гетры".*

Э. Багрицкий:

*"От чёрного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены."*

Да и в самом слове "Гренада" лежит амфибрахий и стук лошадиных копыт по подмёрзшей земле.

В дактиле прячется музыка и плавность вальса, в амфибрахии — цокот копыт, а в анапесте — паровоз и перестук колёс по рельсовым стыкам.

Итак — двустопный амфибрахий, театральность, гибель песни-мечты и "не надо, ребята, о песне тужить", романтизация, только что отгремевшей войны и — Галатей рождена.

Оставалось только одеть новорожденную поприличней. "Скромненько, но со вкусом" — как любили говорить партийно-комсомольские дамы. Правда, метафора про яблочко-песню оказалась немного поношенной, но выглядела, как новая.

Александр Прокофьев:

*"Неясными кусками
На землю день налег ...
Мы "Яблочко" таскали,
Как песенный паек.*

*.....
А "Яблочку" не рыскать
По голубым рекам:*

*Оно уже в огрызках
Ходило по рукам! “*

Как бы там ни было, Галатея-Гренада выглядела прилично и пора было её выпускать в люди.

“Стихотворение, скажу прямо, мне очень понравилось. Я с пылу, с жару побегал в „Красную новь“. В приёмной у редактора Александра Константиновича Воронского я застал Есенина и Багрицкого. С Есениным я не был коротко знаком, но Багрицкому я тотчас же протянул стихи и жадно глядел на него, ожидая восторга. Но восторга не было. „Ничего!“ — сказал он. Воронского „Гренада“ также не потрясла: „Хорошо. Я их, может быть, напечатаю в августе“.

А был май, и у меня не было ни копейки. И я, как борзая, помчался по редакции. Везде одно и то же. И только старейший журнальный работник А. Ступникер, служивший тогда в журнале „Октябрь“, взмолился: „Миша! Стихи великолепные, но в редакции нет ни копейки. Умоляю тебя подождать!“

Но где там ждать!

Я помчался к Иосифу Уткину. Он тогда заведовал „Литературной страницей“ в „Комсомольской правде“. Он тоже сказал: „Ничего!“, но стихи напечатал».

Эпохальное событие произошло 29 августа 1926 года, когда в газете «Комсомольская правда» было напечатано стихотворение «Гренада». Поэт продолжает:

"Прошло некоторое время. И вдобавок (горе моё!) мне уплатили не по полтиннику за строку, как обычно, а по сорок копеек. И когда я пришел объясниться, мне строго сказали: «Светлов может писать лучше!»

Как-то Семён Кирсанов прочел «Гренаду». Она ему очень понравилась. Он побегал с ней к Маяковскому. Маяковский бурно не реагировал, но оставил стихи у себя.

Через несколько дней состоялся его вечер в Политехническом музее. Зал был переполнен. Я долго стоял, очень устал и отправился домой, не дождав-шись конца. А вернувшийся позже сосед сказал мне: «Чего ж ты ушел? Маяковский читал наизусть твою „Гренаду“!»

А потом он читал её во многих городах. Мы с ним тесно познакомились. Но это уже отдельная тема — разговор о бесконечно дорогом мне поэте и человеке. Такова, насколько я помню, история моего стихотворения”.

Михаил Светлов “Беседует поэт”, Советский писатель, М., 1968

И Гренада-Галатея пошла по рукам. Её читали, её почитали, её пели и её любили.

А она не теряла любви к своему создателю и, как Ангел-хранитель, берегла его от невзгод.

Треть участников Первого съезда Союза писателей (182 человека) погибла в течение нескольких лет после Съезда в застенках и ГУЛАГе. Ещё 38 человек пострадали от репрессий, но остались живы

Среди тех, кто был объявлен “врагами народа”, — Исаак Бабель, Михаил Кольцов, Борис Корнилов, Борис Пильняк.

В том, что Михаил Аркадьевич Светлов остался жив и невредим, “Гренада” сыграла немалую роль.

Поэт создаёт бессмертное стихотворение — стихотворение создаёт поэта и дарит ему вечность.

В этом — эффект Галатеи, ответившей взаимностью влюблённому Пигмалиону.

Романтика справедливой битвы за всеобщее счастье — вне времени. И комиссары в пыльных шлемах склоняются над Булатом Окуджавой. И кажутся справедливыми слова Николая Тихонова, написанные в 1921 году:

*“Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.*

*Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке;
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.*

*Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы”.*

В 1959 году Виктор Берковский написал песню на слова М. Светлова. И эта “Гренада” среди остальных двадцати с лишним песенных “Гренад” поётся до сих пор. Она действительно напоминает “Чёрную шаль” Верстовского, но хуже от этого не стала.



Журнал «Семь искусств» № 2 (60) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 356 с., 24,4 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2015

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"

